

ВЛ. КОРОЛЕНКО

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМЪ
VII

КНИГА

ИЗД. Т-ВА А. Ф. МАРКСЪ, ПЕТРОГРАДЪ.

Контора „Нивы“ считаетъ долгомъ обратитьъ вниманiе гг. подписчиковъ на то, что изъ изготовленныхъ нашею переплетною крышкѣ къ соч. О. И. Тютчева, Л. Андреева, В. В. Вересаева и Мольера вытиснены: надпись „Заявлено въ Дѣлу Промышленности“ в утвержденныхъ марку Товарнаго знака, и что нашего изготовленiя являются только переплеты съ указанной надписью и маркой и только того рисунка, который изображенъ на помѣщенномъ здѣсь снимкѣхъ. Съ своей стороны, Контора будетъ преслѣдовать закономъ въ порядкомъ всякую поддѣлку.

КРЫШКИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ „НИВА“ 1913 г.,



изготовленные изъ лучшаго лiтцiйскаго переплетка, съ красивыми тисненiями золотомъ и красками по рисунку художника Я. Я. Зельмана и др.

1 крышка на полн. собранiе сочиненiй (въ 3 кн.).
О. И. ТЮТЧЕВА

Цѣна: 25 к., съ перес. 40 к.

4 крышки на полн. собранiе сочиненiй (въ 17 кн.).
Леон. АНДРЕЕВА

(по одной крышкѣ на каждыя 4 книги).
Цѣна: 4 крышк. 1 р., съ перес. 25 к.

2 крышки на полное собранiе сочиненiй (въ 10 кн.).
В. В. ВЕРЕСАЕВА

(по одной крышкѣ на каждыя 5 книгъ).
Цѣна: 2 крышк. 50 к., съ перес. 75 к.

2 крышки на полн. собр. сочиненiй (въ 10 кн.).
МОДЕРНА

(по одной крышкѣ на каждыя 5 книгъ).
Цѣна: 2 крышк. 50 к., съ перес. 75 к.

Крышки имѣются красн., зелен., коричн., желт., кремь, голуб. и синяго цвѣтовъ. При выпискѣ, пожалуйста просимъ обозначать 2—3 желательныхъ цвѣта на случай замѣны распроданнаго цвѣта другимъ.

1 КРЫШКА НА журналъ „НИВА“ 1913 г.

Цѣна этой крышкѣ на полн. томъ журн. за весь годъ—75 к., съ перес. въ Европ. Россiи 1 р.

Выписывающiе одновременно крышки на соч. Тютчева, Андреева, Вересаева и Мольера, на „Ниву“ и „Литер. Прилож.“ платятъ за совмѣстную перес. въ Европ. Россiи лишь 1 р.

3 КРЫШКИ НА 12 КНИГЪ

„Литературныхъ Приложенiй“ за 1913 г.

(по 1 крышкѣ на 4 книги). Цѣна 3 крышк. 75 к., съ перес. 1 р.

КРЫШКИ НА „НИВУ“ И ПРИЛОЖЕНИЯ прошлыхъ лѣтъ:

Соч. ГАРШИНА, ПОМЯЛОВСКАГО. Ц. 1 крышкѣ на полн. собр. соч. каждого автора 25 к., съ перес. 40 к. Соч. МЕЯ, ГОРБУНОВА, ФЕТА, УАЙЛЬДА. Ц. 2 крышк. на соч. каждого автора 50 к., съ перес. 75 к. Соч. ГАУПТМАНА, ЖУКОВСКАГО. Ц. 3 крышк. на соч. каждого автора 75 к., съ перес. 1 р. Соч. КУПРИНА, гр. А. ТОЛСТАГО, ИБСЕНА. Ц. 4 крышк. на полн. собр. соч. кажд. автора 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. Соч. ГАМСУНА. Ц. 5 крышк. на полн. собр. соч. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. Соч. УСПЕНСКАГО, ГЕЙНЕ, ГОГОЛЯ, ГРИГОРОВИЧА, БОБОРЫНИНА. Цѣна 6 крышкамъ на полн. собр. сочинен. каждого изъ означенныхъ 5 авторовъ 1 р. 50 к., съ перес. 2 руб. Соч. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКАГО, ДАНИЛЕВСКАГО, ГОНЧАРОВА, ТУРГЕНЕВА. Цѣна 7 крышк. для полн. собр. соч. каждого изъ означенныхъ 4-хъ авторовъ 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. 25 к. Соч. ПИСЕМАНАГО. Цѣна 8 крышкамъ на полн. собр. сочиненiй 2 руб., съ перес. 2 р. 50 к. Соч. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, СТАНЮКОВИЧА, ЛЬСКОВА, ДОСТОЕВСКАГО. Цѣна 12 крышк. на полн. собр. соч. наждаго изъ этихъ 4-хъ авторовъ 3 руб., съ перес. 3 р. 50 к. Соч. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА. Цѣна 16 крышкамъ на полн. собр. соч. 4 руб., съ перес. 4 р. 75 к. Соч. АНТ. П. ЧЕХОВА. Ц. 9 кр. на полн. собр. соч.—2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 75 к. (Ц. 6 крышк. на 16 том. (1903 г.)—1 р. 50 к., съ перес. 2 р. Ц. 3 кр. на дополн. 12 кн. (1911 г.)—75 к., съ перес. 1 р.



Цѣна 1 крышки на полный томъ журн. „Нива“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ—75 к., съ перес. въ Европ. Россiи—1 руб. Цѣна одному комплекту крышекъ на 12 книгъ „Ежем. Литер. Приложенiй“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ—75 коп., съ перес.—1 руб.

Требованiя адресовать на Контору журналовъ „НИВА“, Спб., ул. Гоголя, 22.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. Г. КОРОЛЕНКО.



Handwritten signature: W. G. Korolenko

ТОМЪ СЕДЬМОЙ



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEK
90-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 13
Tel. 26-68-63

ИЗДАНИЕ Т-ВА А. Ф. МАРКСЪ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ. 1914.

Приложніе къ журналу „Нпва“ на 1914 г.

<http://rcin.org.pl>



Artystyczne Związanie T-za A. Ф. Маркс, Измайл. просп., № 29.

24.108/7

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННОГО.

ОТЪ АВТОРА.

Въ этой книгѣ я пытаюсь вызвать въ памяти и оживить рядъ картинъ прошлаго полустолѣтїя, какъ онѣ отражались въ душѣ сначала ребенка, потомъ юноши, потомъ взрослого человѣка. Раннее дѣтство и первые годы моей юности совпали съ временемъ освобожденїя. Середина жизни протекла въ періодъ темной, сначала правительственной, а потомъ и общественной реакціи и среди первыхъ движеній борьбы. Теперь я вижу многое изъ того, о чемъ мечтало и за что боролось мое поколѣніе, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многіе эпизоды изъ времени моихъ ссыльныхъ скитаній, событія, встрѣчи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли и теперь интереса самой живой дѣйствительности. Мнѣ хочется думать, что они сохранятъ еще свое значеніе и для будущаго. Наша жизнь колеблется и вздрагиваетъ отъ острыхъ столкновеній новыхъ началъ съ отжившими, и я надѣюсь хоть отчасти освѣтить нѣкоторые элементы этой борьбы.

Но ранѣе мнѣ хотѣлось привлечь вниманіе читателей къ первымъ движеніямъ зарождающагося и растущаго сознанія. Я понималъ, что мнѣ будетъ трудно сосредоточиться на этихъ далекихъ воспоминаніяхъ подъ грохотъ настоящаго, въ которомъ слышатся раскаты надвигающейся грозы, но я не представлялъ себѣ, до какой степени это будетъ трудно.

Я пишу не исторію моего времени, а только исторію одной жизни въ это время, и мнѣ хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно съ той призмой, въ которой оно отражалось... А это возможно лишь въ послѣдовательномъ разсказѣ. Дѣтство и юность составляютъ содержаніе этой первой части.

Еще одно замѣчаніе. Эти записки не біографія, потому что я не особенно заботился о полнотѣ біографическихъ свѣдѣній; не исповѣдь, потому что я не вѣрю ни въ возможность, ни въ полезность публичной исповѣди; не портретъ, потому что трудно рисовать собственный портретъ съ рючательствомъ за сходство. Всякое отраженіе отличается отъ дѣйствительности уже тѣмъ, что оно отраженіе. Отраженіе завѣдомо не полное,—тѣмъ болѣе. Оно всегда, если можно такъ выразиться, гуще отражаетъ избранные мотивы, а потому часто, при всей правдивости, привлекательнѣе, интереснѣе и, пожалуй, чище дѣйствительности.

Въ своей работѣ я стремился къ возможно полной исторической правдѣ, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здѣсь не будетъ ничего, что мнѣ не встрѣчалось въ дѣйствительности, чего я не испыталь, не чувствовалъ, не видѣлъ. И все же повторяю: я не пытаюсь дать собственный портретъ. Здѣсь читатель найдетъ только черты изъ „исторіи моего современника“, человѣка, извѣстнаго мнѣ ближе всѣхъ остальныхъ людей моего времени...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Раннее дѣтство.

I.

Первыя впечатлѣнія бытія.

Я помню себя рано, но первыя мои впечатлѣнія разрознены, точно ярко освѣщенные островки среди безцвѣтной пустоты и тумана.

Самое раннее изъ этихъ воспоминаній—сильное зрительное впечатлѣніе пожара. Мнѣ могъ идти тогда второй годъ, но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени надъ крышей сарая во дворѣ, страшно освѣщенные среди ночи стѣны большого каменнаго дома и его отвѣчивающія пламенемъ окна. Помню себя, тепло закутаннаго, на чьихъ-то рукахъ, среди кучки людей, стоявшихъ на крыльцѣ. Изъ этой неопредѣленной толпы память выдѣляетъ присутствіе матери, между тѣмъ какъ отецъ, хромой, опираясь на палку, подымается по лѣстницѣ каменнаго дома во дворѣ напротивъ, и мнѣ кажется, что онъ идетъ въ огонь. Но это меня не пугаетъ. Меня очень занимаютъ мельбающія, какъ головешки, по двору каски пожарныхъ, потомъ одна пожарная бочка у воротъ и входящій въ ворота гимназистъ съ укороченной ногой и высокимъ наставнымъ каблучкомъ. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывалъ, связи явленій не устанавливалъ. Въ мои глаза въ первый еще разъ въ жизни попадало столько огня, пожарныя каски и гимназистъ съ короткой ногой, и я внимательно разсматривалъ всё эти предметы на глубокомъ фонѣ ночной тьмы. Звуковъ я при этомъ не помню: вся картина только безмолвно переливается въ памяти пловучими отсвѣтами багроваго пламени.

Вспоминаю, затѣмъ, нѣсколько совершенно незначительныхъ случаевъ, когда меня держатъ на рукахъ, унимаютъ мои слезы или забавляютъ. Мнѣ кажется, что я вспоминаю, но очень

смутно, свои первые шаги... Голова у меня въ дѣтствѣ была большая, и при паденіяхъ я часто стучался ею объ полъ. Одинъ разъ это было на лѣстницѣ. Мнѣ было очень больно, и я громко плакалъ, пока отецъ не утѣшилъ меня особымъ пріемомъ. Онъ побилъ палкой ступеньку лѣстницы, и это доставило мнѣ удо-летвореніе. Вѣроятно, я былъ тогда въ періодъ фетишизма и предполагалъ въ деревянной доскѣ злую и враждебную волю. И вѣтъ, ее бьютъ за меня, а она даже не можетъ уйти... Разумѣется, эти слова очень грубо переводятъ тогдашнія мои ощущенія, но доску и какъ будто выраженіе ея покорности подъ ударами вспоминаю ясно.

Впослѣдствіи то же ощущеніе повторилось въ болѣе сложномъ видѣ. Я былъ уже нѣсколько больше. Былъ необыкновенно свѣтлый и теплый лунный вечеръ. Это вообще первый вечеръ, который я запомнилъ въ своей жизни. Родители куда-то уѣхали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался съ однимъ только лакеемъ, носившимъ неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь изъ передней на дворъ была открыта, и въ нее откуда-то, изъ озаренной луною дали, несло рокотаніе колесъ по мощеной улицѣ. И рокотаніе колесъ я тоже въ первый разъ выдѣлилъ въ своемъ сознаниі, какъ особое явленіе, и въ первый же разъ я не спалъ такъ долго... Мнѣ было страшно,—вѣроятно, днемъ рассказывали о ворахъ. Мнѣ показалось, что нашъ дворъ при лунномъ свѣтѣ очень странный, и что въ открытую дверь со двора непременно войдетъ „воръ“. Я какъ будто зналъ, что воръ—человѣкъ, но смѣстѣ онъ представлялся мнѣ и не совсемъ человѣкомъ, а какимъ-то человѣкообразнымъ таинственнымъ существомъ, которое сдѣлаетъ мнѣ зло уже однимъ своимъ внезапнымъ появленіемъ. Отъ этого я вдругъ громко заплакалъ.

Не знаю ужъ по какой логикѣ, — по лакей Гандыло опять принесъ отцовскую палку и вывелъ меня на крыльцо, гдѣ я, быть можетъ, по связи съ прежнимъ эпизодомъ такого же рода, — сталъ крѣпко бить ступеньку лѣстницы. И на этотъ разъ это опять доставило удовлетвореніе; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я безстрашно выходилъ наружу уже одинъ, безъ Гандыла, и опять колотилъ на лѣстницѣ воображаемаго вора, уживаясь своеобразнымъ ощущеніемъ своей храбрости. На слѣдующее утро я съ увлеченіемъ рассказывалъ матери, что вчера, когда ея не было, къ намъ приходилъ воръ, котораго мы съ Гандыломъ крѣпко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я зналъ, что никакого вора не было, и что мать это знаетъ. Но я очень любилъ

мать въ эту минуту за то, что она мнѣ не противорѣчить. Мнѣ было бы тяжело отказаться отъ того воображаемаго существа, котораго я сначала боялся, а потомъ положительно „чувствовалъ“, при страшномъ лунномъ сіяніи, между моею палкой и ступенькой лѣстницы. Это не была зрительная галлюцинація, но было какое-то упоеніе отъ своей побѣды надъ страхомъ...

Еще стоитъ островкомъ въ моей памяти путешествіе въ Кишиневъ, къ дѣду съ отцовской стороны... Изъ этого путешествія я помню переправу черезъ рѣку (кажется, Прутъ), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отдѣлилась отъ берега, или берегъ отдѣлился отъ нея, — я этого еще не различалъ. Въ то же время переправлялся черезъ рѣку отрядъ солдатъ, при чемъ, мнѣ помнится, солдаты плыли по-двое и по-трое на маленькихъ квадратныхъ плотикахъ, чего, кажется, при переправахъ войскъ не бываетъ... Я съ любопытствомъ смотрѣлъ на нихъ, а они смотрѣли въ нашу коляску и говорили что-то, мнѣ непонятное... Кажется, эта переправа была въ связи съ севастопольской войной...

Въ тотъ же вечеръ, вскорѣ послѣ переѣзда черезъ рѣку, я испыталъ первое чувство рѣзкаго разочарованія и обиды... Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидѣлъ у кого-то на рукахъ впереди, и вдругъ мое вниманіе привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая въ углу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ отецъ. Я сталъ смѣяться и потянулся къ ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мнѣ такъ хотѣлось ближе ознакомиться съ интереснымъ предметомъ или существомъ, что я заплакалъ. Тогда отецъ подвинулъ ко мнѣ маленькую красную звѣздочку, ласково притаившуюся подъ пепломъ. Я потянулся къ ней указательнымъ пальцемъ правой руки; нѣкоторое время она не давалась, но потомъ вдругъ вспыхнула ярче и меня внезапно обжегъ рѣзкій укусъ. Думаю, что по силѣ впечатлѣнія теперь этому могло бы равняться развѣ крѣпкое и неожиданное укушеніе ядовитой змѣи, притаившейся, на примѣръ, въ букетѣ цвѣтовъ. Огонекъ казался мнѣ сознательно хитрымъ и злымъ. Черезъ два-три года, когда мнѣ вспомнился этотъ эпизодъ, я прибѣжалъ къ матери, сталъ рассказывать и заплакалъ. Это были опять слезы обиды...

Подобное же разочарованіе вызвало во мнѣ первое купаніе. Рѣка произвела на меня чарующее впечатлѣніе: мнѣ были новы, странны и прекрасны мелкія зеленоватыя волны зыби, врывающіяся подъ стѣнки купальни, и то, какъ онѣ играли блестящими, осколками небесной синева и яркими кусочками

какъ будто изломанной купальни. Все это казалось мнѣ весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивалъ мать поскорѣе внести меня въ воду. И вдругъ — неожиданное и рѣзкое впечатлѣніе не то холода, не то ожога... Я громко заплакалъ и такъ забился на рукахъ у матери, что она чуть меня не выронила. Купаніе мое на этотъ разъ такъ и не состоялось. Пока мать плескалась въ водѣ съ непонятнымъ для меня наслажденіемъ, я сидѣлъ на скамьѣ, надувшись, глядѣлъ на лукавую зыбь, продолжавшую играть такъ же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился... На кого? Кажется, на рѣку.

Это были первыя разочарованія: я кидался навстрѣчу природѣ съ довѣріемъ незнанія, она отвѣчала стихійнымъ безстрастіемъ, которое мнѣ казалось сознательно враждебнымъ...

Еще одно изъ тѣхъ первичныхъ ощущеній, когда явленіе природы впервые остается въ сознаніи выдѣленнымъ изъ остального міра, какъ особое и рѣзко законченн е, съ основными его свойствами. Это — воспоминаніе о первой прогулкѣ въ сосновомъ бору. Здѣсь меня положительно заворожилъ протяжный шумъ лѣсныхъ верхушекъ, и я остановился, какъ вкопанный, на дорожкѣ. Этого никто не замѣтилъ, и все наше общество пошло дальше. Дорожка въ нѣсколькихъ саженихъ впереди круто опускалась книзу, и я глядѣлъ, какъ на этомъ изломѣ исчезали сначала ноги, потомъ туловища, потомъ головы нашей компаніи... Я ждалъ съ жуткимъ чувствомъ, когда исчезнетъ послѣдней ярко бѣлая шляпа дяди Генриха, самаго высокаго изъ братьевъ моей матери, и, наконецъ, остался одинъ... Я, кажется, чувствовалъ, что „одинъ въ лѣсу“ — это, въ сущности, странно, но, какъ заколдованный, не могъ ни двинуться, ни произнести звука, и только слушалъ то тихій свистъ, то звонъ, то смутный говоръ и вздохи лѣса, сливавшіеся въ протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонію, въ которой улавливались одновременно и общій гулъ, и отдѣльные голоса живыхъ гигантовъ, и колыбанія, и тихія поскрипыванія красныхъ стволовъ... Все это какъ бы проникало въ меня захватывающей могучей волной... Я переставалъ чувствовать себя отдѣльно отъ этого моря жизни, и это было такъ сильно, что, когда меня хватилась, и братъ матери вернулся за мной, то я стоялъ на томъ же мѣстѣ и не откликался... Подходившаго ко мнѣ дядю, въ свѣтломъ костюмѣ и соломенной шляпѣ, я видѣлъ, точно чужого незнакомаго человѣка во снѣ...

Впоследствии и эта минута часто вставала въ моей душѣ, особенно въ часы усталости, какъ первообразъ глубокаго, но

живого покоя... Природа ласково манила ребенка въ началѣ его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, какъ будто обѣщая гдѣ-то въ безконечности глубину познанія и блаженство разгадки...

Какъ, однако, грубо наши слова выражаютъ наши ощущенія... Въ душѣ есть тоже много непонятнаго говора, который не выразить грубыми словами, какъ и рѣчи природы... И это именно то, гдѣ душа и природа составляютъ одно...

.....

Все это разрозненные, отдѣльные впечатлѣнія полусознательнаго существованія, не связанные, какъ будто, ничѣмъ, кромѣ личнаго ощущенія. Последнимъ изъ нихъ является переездъ на новую квартиру... И даже не переездъ (его я не помню), какъ не помню и прежней квартиры, а опять первое впечатлѣнiе отъ „новаго дома“, отъ „новаго двора“ и сада. Все это показалось мнѣ новымъ міромъ, но странно: затѣмъ это воспоминаніе выпадаетъ изъ моей памяти. Я вспомнилъ о немъ только уже черезъ нѣсколько лѣтъ и, когда вспомнилъ, то даже удивился, такъ какъ мнѣ представлялось въ то время, что мы жили въ этомъ домѣ вѣчно, и что вообще въ мірѣ никакихъ крупныхъ переменъ не бываетъ. Основнымъ фономъ моихъ впечатлѣній за нѣсколько дѣтскихъ лѣтъ является безсознательная увѣренность въ полной законченности и неизмѣняемости всего, что меня окружало. Если бы я имѣлъ ясное понятіе о твореніи, то, вѣроятно, сказалъ бы тогда, что мой отецъ (котораго я зналъ хромымъ) такъ и былъ создавъ съ палкой въ рукѣ, что бабушку Богъ сотворилъ именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая, голубоглазая женщина съ русой косой, что даже сарай за домомъ такъ и явился на свѣтъ покосившимся и съ зелеными лишаями на крышѣ. Это было тихое, устойчивое нарастаніе жизненныхъ силъ, плавно уносившее меня вмѣстѣ съ окружающимъ міромъ, а берега сторонняго необъятнаго міра, по которымъ можно было бы замѣтить движеніе, мнѣ тогда не были видны... И самъ я, казалось, всегда былъ такимъ же мальчикомъ съ большой головой, при чемъ старшій братъ былъ нѣсколько выше меня, а младшій ниже... И эти взаимныя отношенія должны были остаться навсегда... Мы говорили иной разъ: „когда мы будемъ большими“, или: „когда мы умремъ“, но это была глупая фраза, пустая, безъ живого содержанія...

Однажды утромъ мой младшій братъ, который и засыпалъ, и вставалъ раньше меня, подошелъ къ моей постели и сказалъ съ особеннымъ выраженіемъ въ голосѣ:

— Вставай, скорѣй... Что я тебѣ покажу!

— Что такое?

— Увидишь. Скорѣй, я ждать не стану.

И онъ опять ушелъ на дворъ съ видомъ серьезнаго чело-
вѣка, не желающаго терять время. Я торопливо одѣлся и вы-
шелъ за нимъ. Оказалось, что какіе-то незнакомые намъ му-
жики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. Отъ
него оставалась куча досокъ и разной деревянной гнили, а
выходная дверь страннымъ образомъ висѣла высоко надъ
землей. А главное—подъ дверью зіяла глубокая рана изъ
обдупленной штукатурки, темныхъ бревенъ и свай... Впеча-
тлѣніе было рѣзко, отчасти болѣзненно, но еще болѣе пора-
зительно. Братъ стоялъ неподвижно, глубоко заинтересован-
ный, и провожалъ глазами каждое движеніе плотниковъ. Я
присоединился къ его безмолвному созерцанію, а вскорѣ къ
намъ обоимъ присоединилась и сестра. И такъ мы простояли
долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня черезъ три-четыре
новое крыльцо было готово на мѣстѣ стараго, и мнѣ положи-
тельно казалось, что фізіономія нашего дома совершенно измѣни-
лась. Новое крыльцо было явно „приставлено“, тогда какъ
старое казалось органической частью нашего почтеннаго цѣль-
наго дома, какъ носъ или брови у человѣка.

А главное,—въ душѣ отложилось первое впечатлѣніе „из-
нанки“ и того, что подъ этой гладко выстроганной и закра-
шенной поверхностью скрыты сырыя, изъѣденныя гнилью
сваи и зіяющія пустоты...

II.

Мой отецъ.

По семейному преданію, родъ нашъ шелъ отъ какого-то
миргородскаго казачьяго полковника, получившаго отъ поль-
скихъ королей гербовое дворянство. Послѣ смерти моего дѣда
отецъ, ѣздившій на похороны, привезъ затѣйливую печать,
на которой была изображена ладья съ двумя собачьими го-
ловами на носу и кормѣ и съ зубчатой башней посрединѣ.
Когда однажды мы, дѣти, спросили, что это такое, то отецъ
отвѣтилъ, что это нашъ „гербъ“, и что мы имѣемъ право
припечатывать имъ свои письма, тогда какъ другіе люди
этого права не имѣютъ. Называется эта штука по-польски
довольно странно: „Korabl i Lodzia“ (ковчегъ и ладья), но
какой это имѣетъ смыслъ, самъ отецъ объяснить намъ не
можетъ; пожалуй, и никакого смысла не имѣетъ... А вотъ
есть еще гербъ, такъ тотъ называется проще: „pchła na ben-
benku hopki tnie“ и имѣетъ болѣе смысла, потому что каза-

ковъ и шляхту въ походахъ сильно кусали блохи... И, взявъ карандашъ, онъ живо набросалъ на бумагѣ блоху, отплясывающую на барабанѣ, окруживъ ее щитомъ, мечомъ и всѣми гербовыми атрибутами. Рисовалъ онъ порядочно, и мы смѣялись. Такимъ образомъ, къ первому же представленію о пашихъ дворянскихъ „клеюдахъ“ отецъ присоединилъ отѣнокъ насмѣшки, и мнѣ кажется, что это у него было сознательно. Мой прадѣдъ, по словамъ отца, былъ полковымъ писаремъ, дѣдъ—русскимъ чиновникомъ, какъ и отецъ. Крѣпостными душами и землями они, кажется, никогда не владѣли... Возстановить свои потомственно-дворянскія права отецъ никогда не стремился, и, когда онъ умеръ, мы оказались „сыновьями надворнаго совѣтника“, съ правами безпомѣстнаго служилаго дворянства, безъ всякихъ реальныхъ связей съ дворянской средой, да, кажется, и съ какой бы то ни было другой.

Образъ отца сохранился въ моей памяти совершенно ясно: человекъ средняго роста съ легкой наклонностью къ полнотѣ. Какъ чиновникъ того времени, онъ тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы. Орлиный носъ, большіе, каріе глаза и губы съ сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что въ молодости онъ былъ похожъ на Наполеона перваго, особенно, когда надѣвалъ по-наполеоновски чиновничью треуголку. Но мнѣ трудно было представить Наполеона хромымъ, а отецъ всегда ходилъ съ палкой и слегка волочилъ лѣвую ногу...

На лицѣ его постоянно было выраженіе какой-то затаенной печали и заботы. Лишь ирѣдка оно прояснялось. Иной разъ онъ собиралъ насъ къ себѣ въ кабинетъ, позволялъ играть и ползать по себѣ, рисовалъ картинки, рассказывалъ смѣшные анекдоты и сказки. Вѣрояно, въ душѣ этого человека былъ большой запасъ благодушія и смѣха; даже своимъ поученіямъ онъ придавалъ подлюмористическую форму, и мы въ эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились съ годами все рѣже, природная веселость все гуще задерживалась меланхоліей и заботой. Подъ конецъ, его хватало уже лишь на то, чтобы достигивать кое-какъ наше воспитаніе, и въ болѣе сонателъные годы у насъ уже не было съ отцомъ никакой внутренней близости... Такъ онъ и сошелъ въ могилу, мало знакомый намъ, его дѣтиамъ. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собралъ черта за чертой, что могъ, объ его жизни, и образъ этого глубоко-несчастливаго человека ожилъ въ моей душѣ—и болѣе дорогой, и болѣе знакомый, чѣмъ прежде.

Онъ былъ чиновникъ. Объективная исторія его жизни сохранилась поэтому въ „посужныхъ спискахъ“. Родился въ 1810 году, въ 1826 поступилъ въ писцы... Умеръ въ 1868 г. въ чинѣ надворнаго совѣтника... Вотъ скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человѣческой жизни... Надежды, ожиданія, проблески счастья, разочарованіе... Среди пожелтѣвшихъ бумагъ сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отецъ сберегъ, какъ воспоминаніе. Это—полуофициальное письмо кн. Васильчикова по поводу назначенія отца уѣзднымъ судьей въ городъ Житомиръ. „Судь этотъ,—пишетъ князь Васильчиковъ,—по случаю присоединенія къ нему магистрата, принимая болѣе обширный, а слѣдственно, и болѣе важный кругъ дѣйствій, требуетъ председательствующаго, который бы, воплиѣ постигая свое назначеніе, далъ судопроизводству удовлетворительное начало“. Въ этихъ видахъ князь и выбираетъ отца. Въ концѣ письма „вельможа“ съ большимъ вниманіемъ входитъ въ положеніе скромнаго чиновника, какъ человѣка семейнаго, для котораго переводъ сопряженъ съ неудобствами, но съ тѣмъ вмѣстѣ указываетъ, что новое назначеніе открываетъ ему широкіе виды на будущее, и проситъ пріѣхать какъ можно скорѣе... Последнія строки вписаны авторомъ письма собственноручно, и тонъ проникнутъ уваженіемъ. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но все же реформа, и блестящій вельможа, самодуръ и сатрапъ, какъ всѣ вельможи того времени, не лишенный, однако, нѣкоторыхъ „благихъ намѣреній и порывовъ“,—звалъ въ сотрудники скромнаго чиновника, въ которомъ признавалъ новаго человѣка для новаго дѣла...

Это было... въ 1849 году, и отцу предлагалась должнсть уѣзднаго судьи въ губернскомъ городѣ. Черезъ двадцать лѣтъ онъ умеръ въ той же должности въ глухомъ уѣздномъ городишкѣ...

Итакъ, онъ былъ по службѣ очевидный неудачникъ...

Для меня несомнѣнно, что это объясняется его донъ-кихотскою честностью.

Среда не очень цѣнитъ исключенія, которыхъ не понимаетъ, и потому беспокоится... Каждый разъ на говоки мѣстѣ отцовской службы неизмѣнно повторялись однѣ и тѣ же сцены: къ отцу являлись „по освященному вѣками обычаю“ представители разныхъ городскихъ сословій съ приношеніями. Отецъ отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутація являлись съ приношеніями въ усиленномъ размѣрѣ, но отецъ встрѣчалъ ихъ уже грубо, а на третій безцеремонно гналъ „представителей“ палкой, а тѣ толпились

въ дверяхъ, съ выраженіемъ изумленія и испуга... Впослѣдствіи, ознакомившись съ дѣятельностью отца, всѣ проникались къ нему глубокимъ уваженіемъ. Всѣ признавали, отъ мелкаго торговца до губернскаго начальства, что нѣтъ такой силы, которая бы заставила судью покривить душою противъ совѣсти и закона, но... и при этомъ находили, что если бы судья вдобавокъ принималъ умѣренные „благодарности“, то было бы понятнѣе, проще и вообще, „болѣе по-людски“...

Уже въ періодъ довольно сознательной моей жизни случился довольно яркій эпизодъ этого рода. Въ уѣздномъ судѣ шель процессъ богатаго помѣщика, графа Е-скаго съ бѣдной родственницей, кажется, вдовой его брата. Помѣщикъ былъ магнатъ съ большими связями, средствами и вліяніемъ, которыя онъ дѣятельно пустилъ въ ходъ. Вдова вела процессъ „по праву бѣдности“, не внося гербовыхъ пошлинъ, и всѣ предсказывали ей неудачу, такъ какъ дѣло всетаки было запутанное, а на судѣ было оказано давленіе. Передъ окончаніемъ дѣла появился у насъ самъ графъ; его карета съ гербами раза два-три останавливалась у наш го скромнаго домика, и долговязый гайдукъ въ ливреѣ торчать у нашего покосившагося крыльца. Первые два раза графъ держался величаво, по осторожно, и отецъ только холодно и формально отстранялъ его подходы. Но въ третій разъ онъ, вѣроятно, сдѣлалъ н якое предложеніе. Отецъ, внезапно всплывъ, обругалъ аристократа какимъ-то неприличнымъ словомъ и заступалъ палкой. Графъ, красный и взбѣшенный, вышелъ отъ отца съ угрозами и быстро сѣлъ въ свою карету...

Вдова тоже приходила къ отцу, хотя онъ не особенно любилъ эти посѣщенія. Бѣдная женщина, въ траурѣ и съ заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила къ матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бѣднягъ все казалось, что она еще что-то должна растолковать судѣ; вѣроятно, это все были ненужные пустяки, на которые отецъ только отмахивался и произносилъ обычную у него въ такихъ случаяхъ фразу:

— А! Толкуй больной съ подѣкаремъ!.. Все будетъ сдѣлано по закону...

Процессъ былъ рѣшенъ въ пользу вдовы, при чемъ всѣ знали, что этимъ она обязана исключительно твердости отца... Сенатъ какъ-то неожиданно скоро утвердилъ рѣшеніе, и скромная вдова стала сразу одной изъ богатѣйшихъ помѣщицъ не только въ уѣздѣ, но, пожалуй, въ губерніи.

Когда она опять явилась въ нашу квартиру, на этотъ разъ въ коляскѣ,—всѣ съ трудомъ узнавали въ ней прежнюю

скромную просительницу. Ея трауръ кончился, она какъ будто даже помолодѣла и сіяла радостью и счастьемъ. Отецъ принять ея очень радушно, съ тою благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуемъ къ людямъ, намъ много обязаннымъ. Но, когда она попросила „разговора наединѣ“, то вскорѣ тоже вышла изъ кабинета, съ покрасѣвшимъ лицомъ и слезами на глазахъ. Добрая женщина знала, что перемѣла ея положенія всецѣло зависѣла отъ твердости, пожалуй, даже нѣкотораго служебнаго героизма этого скромнаго хромого человѣка... Но сама она не въ силахъ ничѣмъ существеннымъ выразить ему свою благодарность...

Ее это огорчило, даже обидѣло. На слѣдующій день она пріѣхала къ намъ на квартиру, когда отецъ былъ на службѣ, а мать случайно отлучилась изъ дому, и навезла разныхъ матерій и товаровъ, которыми завалила въ гостиной всю мебель. Между прочимъ, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одѣтую, съ большими голубыми глазами, закрывъ вшмися, когда ее клали спать...

Мать была очень испугана, заставъ все эти подарки. Когда отецъ пришелъ изъ суда, то въ нашей квартиркѣ разразилась одна изъ самыхъ бурныхъ вспышекъ, какія я только запомню. Онъ ругалъ вдову, выирялъ материн на полъ, обвинялъ мать, и успокоился лишь тогда, когда передъ подъѣздомъ появилась телѣжка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тутъ вышло неожиданное затрудненіе. Когда очередь дошла до куклы, то сестра рѣшительно запротестовала, и протестъ ея принять такой драматическій характеръ, что отецъ, послѣ нѣсколькихъ попытокъ, всетаки уступилъ, хотя и съ большимъ неудовольствіемъ.

— Черезъ васъ я сталъ-таки взяточникомъ, — сказалъ онъ сердито, уходя въ свою комнату.

На это все смотрѣли тогда, какъ на безцѣльное чудачество.

— Ну, кому, скажи, пожалуйста, вредъ отъ благодарности, — говорилъ мнѣ одинъ добродѣтельный подсудокъ, „не бравшій взятку“: — подумай: вѣдь дѣло кончено, человѣкъ чувствуетъ, что всемъ тебѣ обязанъ, и идетъ съ благодарной душой... А ты его чуть не собаками... За что?

Я почти увѣренъ, что отецъ никогда и не обсуждалъ этого вопроса, съ точки зрѣнія непосредственнаго вреда или пользы. Я догадываюсь, что онъ вступалъ въ жизнь съ большими и, вѣроятно, не совсемъ обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его въ сѣрой и грязной средѣ. И онъ дорожилъ, какъ послѣдней святышей, этой чертой, кото-

рая выдѣляла его не только изъ толпы завѣдомыхъ „взяточниковъ“, но также и изъ среды добродѣтельныхъ людей тогдашней золотой середины... И чѣмъ труднѣе приходилось ему съ большой и все возрастающей семьей, тѣмъ съ большей чуткостью и исключительностью онъ отгораживалъ свою душевную независимость и гордость...

При этомъ одна черта являлась для меня въ послѣдствіи нѣкоторой психологической загадкой: кругомъ стояло (именно „стояло“, какъ загнившее болото) повальное взяточничество и неправда. „Чиновники“ того самаго суда, гдѣ служилъ отецъ, несомнѣнно брали направо и налево, и при томъ не только благодарности, но и завѣдомые „хабары“. Я помню, какъ одинъ „уважаемый“ господинъ, хорошій знакомый нашей семьи, человѣкъ живой и остроумный, на одномъ вечерѣ у насъ, въ довольно многочисленной компаніи, чрезвычайно картинно рассказывалъ, какъ однажды онъ помогъ еврею-контрабандисту увернуться отъ ствѣтственности и спасти огромную партію захваченнаго товара... Контрабандисты обѣщали обогатить начинавшаго карьеру мелкаго чиновника, но... онъ исполнилъ ихъ просьбу раньше, чѣмъ они свое обѣщаніе... Для расчета ему назначили свиданіе ночью въ какомъ-то уединенномъ мѣстѣ, гдѣ онъ и ждалъ до зари... Я очень живо помню картинное описаніе этой ночи; чиновникъ ждалъ еврея, какъ „влюбленный свою возлюбленную“. Онъ чутко вслушивался въ ночные звуки, онъ лихорадочно поднимался навстрѣчу каждому шороху... И все общество съ захватывающимъ вниманіемъ слѣдило за переходами отъ надежды къ разочарованію въ этой взяточнической драмѣ... Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрѣшилась общимъ смѣхомъ, подъ которымъ, однако, угадывалось и негодованіе противъ евреевъ, и нѣкоторое сочувствіе къ обманутому. Отецъ былъ тутъ же, и моя память ясно рисуетъ картину: карточный столъ, освѣщенный салными свѣчами, за нимъ четыре партнера. Среди нихъ—мой отецъ, а противъ него герой контрабанднаго анекдота, сопровождающій остротами каждую бросаемую карту. Отецъ весело смѣется...

Вообще, онъ относился къ средѣ съ большимъ благодушіемъ, ограждая отъ неправды только небольшой кругъ, на который имѣлъ непосредственное вліяніе. Помню нѣсколько случаевъ, когда онъ приходилъ изъ суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать, съ тревожнымъ участіемъ глядя въ его разстроенное лицо, подала ему тарелку супу, — онъ попробовалъ ѣсть, съѣлъ двѣ-три ложки и — отодвинулъ тарелку.

— Не могу,—сказалъ онъ...

— Дѣло кончилось?—спросила мать тихо.

— Да... каторга...

— Боже мой!—испуганно сказала мать.—А ты что же?

— А! Толкуй больной съ поддѣбаремъ,—отвѣтилъ отецъ съ раздраженіемъ:—я! я!.. что я могу сдѣлать!

Но затѣмъ онъ прибавилъ мягче:

— Сдѣлалъ, что могъ... Законъ ясепись.

Онъ не обѣдалъ въ этотъ день и не легъ по обыкновенію спать послѣ обѣда, а долго ходилъ по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа черезъ два мать послала меня въ кабинетъ посмотреть, не заснулъ ли онъ и, если не спитъ, позвать къ чаю, — то я засталъ его передъ кроватью на колѣняхъ. Онъ горячо молился на образъ и все нѣсколько тучное тѣло его вздрагивало... Онъ горько плакалъ.

Но я увѣренъ, что это были слезы сожалѣнія къ „жертвѣ закона“, а не развѣдающее сознаніе своей вины, какъ его орудія. Въ этомъ отношеніи совѣсть его всегда была непоколебимо спокойна, и, когда я теперь думаю объ этомъ, то мнѣ становится ясна основная разница въ настроеніи честныхъ людей того поколѣнія съ настроеніемъ нашихъ дней. Онъ признавала себя отвѣтственнымъ лишь за свою личную дѣятельность. Тѣдкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо. Богъ, царь и законъ стояли для него на высотѣ, недоступной для критики. Богъ всемогущъ и справедливъ, но на землѣ много торжествующихъ негодяевъ и страдающей добродѣтели. Это входитъ въ невѣдомые планы Высшей Справедливости—и только. Царь и законъ — также недоступны человѣческому суду, а если порой при нѣкоторыхъ примѣненіяхъ закона сердце поворачивается въ груди отъ жалости и состраданія, — это—стихійное несчастіе, не подлежащее никакимъ обобщеніямъ. Одинъ гибнетъ отъ тифа, другой — отъ закона. Несчастливая судьба! Дѣло судьи—смотреть, чтобы законъ, разъ пущенный въ ходъ, прилагался правильно. Но если и этого нѣтъ, если подкупная чиновничья среда извращаетъ законъ въ угоду сильному, онъ, судья, будетъ бороться съ этимъ въ предѣлахъ суда всѣми доступными ему средствами. Если за это придется пострадать, онъ пострадаетъ, но въ дѣлѣ номеръ такой-то всякая строка, внесенная его рукой, будетъ чиста отъ неправды. И въ такомъ видѣ дѣло выйдетъ за предѣлы уѣзднаго суда въ сенатъ, а можетъ быть, и выше. Если сенатъ согласится съ его соображеніями,—онъ будетъ искренно радъ за правую сторону. Если и сенаторовъ под-

купать сила и деньги,—это дѣло ихъ совѣсти, и когда-нибудь они отвѣтятъ за это, если не передъ царемъ, то передъ Богомъ... Что законы могутъ быть плохи, это олятъ лежить на отвѣтственности царя передъ Богомъ,—онъ, судья, такъ же не отвѣтственъ за это, какъ и за то, что иной разъ громъ съ высокаго неба убиваетъ неповиннаго ребенка...

Да, это было цѣльное настроеніе, родъ устойчиваго равновѣсія совѣсти. Внутренніе ихъ устои не колебались анализомъ, и честные люди того времени не знали глубокаго душевнаго разлада, вытекающаго изъ сознанія личной отвѣтственности за „весь порядокъ вещей“... Я не знаю, существуетъ ли теперь эта цѣльность хоть въ одной чиновничьей душѣ въ такой неприкосновенности и полнотѣ. Думаю, что нѣтъ. Время этого настроенія ушло безвозвратно, и уже сознательная юность моего поколѣнія была захвачена развѣдающимъ, тяжелымъ, но творческимъ сознаніемъ общей отвѣтственности... Отецъ умеръ рано. Если бы онъ жилъ дольше, то, несомнѣнно, мы, молодежь, охваченная критикой, не разъ услышали бы отъ него обычную формулу:

— Та-алкуй больной съ поддѣкаремъ!

При чемъ, конечно, величественнымъ поддѣкаремъ явилось бы то высокое и опредѣляющее, что, по его мнѣнію, должно было оставаться внѣ критики.

Но чѣмъ, въ концѣ концовъ, закончилось бы это столкновение, — теперь осталось тайной, о которой я думаю часто съ печальнымъ сожалѣніемъ...

III.

Отецъ и мать.

У отца были свои причины для глубокой печали и раскаянія, которымъ была окрашена вся, извѣстная мнѣ его жизнь...

Въ молодыхъ годахъ онъ былъ очень красивъ и пользовался огромнымъ успѣхомъ у женщинъ. Повидимому, весь избытокъ молодыхъ, можетъ быть, недюжинныхъ силъ онъ отдавалъ разнаго рода предпріятіямъ и приключеніямъ въ этой области, и это продолжалось за тридцать лѣтъ. Собственная практика внушила ему глубокое недовѣріе къ женской добродѣтели, и задумавъ жениться, онъ составилъ своеобразный планъ для огражденія своего домашняго спокойствія...

Въ Ровенскомъ уѣздѣ Волынской губерніи, гдѣ онъ въ то время служилъ исправникомъ, жилъ полякъ-шляхтичъ, средней руки арендаторъ чужихъ имѣній. Относительно этого человѣка было извѣстно, что онъ одно время былъ юридическимъ владѣльцемъ и фактическимъ распорядителемъ огромнаго имѣнія,

принадлежавшаго графамъ В. Старый графъ смертельно заболѣлъ, когда его сынъ, служившій въ гвардіи въ Царствѣ Польскомъ, былъ за что-то преданъ военному суду. Опасаясь лишенія правъ и перехода имѣнія въ другую линію, старикъ призвалъ извѣстнаго ему шляхтича и, взявъ съ него соотвѣтствующее обѣщаніе, — сдѣлалъ завѣщаніе въ его пользу. Постъ этого старикъ умеръ, сынъ былъ сосланъ въ Кавказъ рядовымъ, а шляхтичъ сталъ законнымъ владѣльцемъ огромныхъ имѣній... Когда, черезъ нѣсколько лѣтъ, молодой графъ, отличавшійся безумною храбростію въ сраженіяхъ съ горцами, былъ прощенъ и вернулся на родину, то шляхтичъ пригласилъ сосѣдей, при нихъ сдалъ, какъ простой управляющій, самый точный отчетъ по имѣніямъ и огромныя суммы, накопленныя за время управленія. Молодой аристократъ обнималъ его, называлъ своимъ благодѣтелемъ и клялся въ вѣчной дружбѣ. Но очень скоро забылъ всѣ клятвы и сдѣлалъ какія-то нечестныя и легкомысленныя посягательства въ семьѣ своего благодѣтеля. Дѣдъ оскорбилъ барчука и ушелъ отъ него нищимъ, такъ какъ во все время управленія имѣніями не позволялъ себѣ „самовольно“ опредѣлить цифру своего жалованія. А магнать обѣ этомъ послѣ ссоры и не подумалъ...

Таково семейное преданіе объ отцѣ моей матери.

Семья у него была многочисленная (четыре дочери и два сына). Одна изъ дочерей была еще подростокъ, тринадцати лѣтъ, сосѣдъ дѣвочка, ходившая въ короткихъ платьяхъ и игравшая въ куклы. На ней именно остановился выборъ отца. Съ безотчетнымъ эгоизмомъ онъ, повидимому, проводилъ такимъ образомъ планъ огражденія своего будущаго очага: въ семьѣ, въ которой могъ предполагать традиціи общепризнанной честности, онъ выбиралъ себѣ въ жены дѣвочку полу-ребенка, которую хотѣлъ воспитать, избѣгая періода дѣвичьяго кокетства... Дѣдъ былъ противъ этого ранняго брака, но уступилъ настояніемъ своей жены. Формальныя препятствія, вытекавшія изъ несовершеннолѣтія невесты, были устранены свидѣтельствомъ „пятнадцати обывателей“; изъ комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткія платьяца смѣнили подвѣчнымимъ, и бракъ состоялся.

Подвести жизненные итоги — дѣло очень трудное. Счастье и радость такъ перемѣшаны съ несчастьемъ и горемъ, что я теперь не знаю, былъ ли счастливъ или несчастенъ бракъ моихъ родителей...

Начинался онъ, во всякомъ случаѣ, очень тяжело для матери...

Ко времени своей свадьбы она была болѣзненная дѣвочка,

съ худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, съ тяжелой свѣтлорусой косой и прекрасными, лучистыми, сѣро-голубыми глазами. Черезъ два года послѣ свадьбы у нея родилась дѣвочка, которая черезъ недѣлю умерла, оставивъ глубокой рубецъ въ ея еще дѣтскомъ сердцѣ. Отецъ оказался страшно ревнивъ. Ре ность его сказывалась дико и грубо: каждый мужской взглядъ, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистымъ, а ея дѣтскій смѣхъ въ отвѣтъ на какую-нибудь шутку въ обществѣ представлялся непростительнымъ кокетствомъ. Дѣло доходило до того, что, уѣзжая, онъ запералъ жену на замокъ, и молодая женщина, почти ребенокъ, сидя взаперти, горько плакала отъ дѣтскаго огорченія и тяжелой женской обиды...

На третьемъ или четвертомъ году послѣ свадьбы отецъ уѣхалъ по службѣ въ уѣздъ и ночевалъ въ угарной избѣ. На утро его вынесли безъ памяти въ одномъ бѣльѣ и положили на сибѣ. Онъ очнулся, но половина его тѣла оказалась парали ованной. Къ матери его доставили почти безъ движенія и, не смотря на всѣ мѣры, онъ остался на всю жизнь калѣжкой...

Такимъ образомъ, жизнь моей матери въ самомъ началѣ оказалась связанной съ человѣкомъ старше ея, больше чѣмъ вдвое, котораго она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенкомъ, который ее мучилъ и оскорблялъ съ первыхъ же дней и, наконецъ, — сталъ калѣжкой...

И всетаки я не могу сказать — была ли она несчастна...

Уже на моей памяти, по чьему-то доносу, возникло дѣло о распорженіи этого брака, и отецъ былъ серьезно напуганъ этимъ дѣломъ. Въ нашемъ домѣ стали появляться какія-то дотолѣ невиданныя фигуры въ мундирахъ съ мѣдными пуговицами, которыхъ отецъ принималъ, угощалъ обѣдами, устраивалъ для нихъ карточные вечера. Особенно изъ этой коллекціи консисторскихъ чиновниковъ запомнился мнѣ секретарь, человѣкъ низенькаго роста, въ долгополомъ мундирѣ, фалды котораго чуть не волочились по полу, съ нечистымъ лицомъ, производившимъ впечатлѣніе красной пропускной бумаги съ чернильными кляксами. Глаза у него были маленькіе, блестящіе и быстрые. Прежде, чѣмъ сѣсть за обѣденный столъ, онъ обыкновенно обходилъ гостиную, разсматривая и трогая руками находившіеся въ ней предметы. И я замѣчалъ, что тѣ предметы, на которыхъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливались его остренькіе глазки, вскорѣ исчезали изъ нашей квартиры. Такъ исчезла, между прочимъ, семейная драгоценность — большой телескопъ, въ который отецъ показывалъ намъ

ду... Мы очень жалѣли эту трубу, но отецъ съ печальной шутовщицею говорилъ, что этотъ долгополый чиновникъ можетъ сдѣлать такъ, что онъ и мама не будутъ женаты и что ихъ сдѣлаютъ монахами. А такъ какъ у неженатыхъ и при томъ монаховъ не должно быть дѣтей, то значить,—прибавлялъ отецъ,—и васъ не будетъ. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятнымъ образомъ зависить отъ этого человѣка съ мегаллическими пуговицами и лицомъ, похожимъ на кляксу.

Однажды, въ это время, я вѣбжалъ въ спальную матери и увидѣлъ отца и мать съ заплаканными лицами. Отецъ нагнулся и цѣловалъ ея руку, а она ласково гладила его по головѣ и какъ будто утѣшала въ чемъ-то, какъ ребенка. Я никогда ранѣе не видѣлъ между отцомъ и матерью ничего подобнаго, и мое маленькое сердчишко сжалось отъ предчувствія.

Оказалось, однако, что кризисъ миновалъ благополучно, и вскорѣ пугавшія насъ консисторскія фигуры исчезли.

Но я и теперь помню ту минуту, когда я засталъ отца и мать такими растроганными и исполненными другъ къ другу любви и жалости. Значить, къ тому времени они уже сжились и любили другъ друга тихо, но прочно.

Этотъ именпо топъ взаимнаго уваженія и дружбы застааетъ моя память во весь тотъ періодъ, когда міръ казался мнѣ неизмѣннымъ и неподвижнымъ.

Отецъ былъ человѣкъ глубоко религіозный и, кажется, въ своемъ несчастіи видѣлъ праведное воздаяніе за грѣхи молодости. Ему казалось, кромѣ того, что за его грѣхи должны поплатиться также и дѣти, которыя будутъ непременно слабыми и которыхъ онъ не успѣетъ „вывести въ люди“. Поэтому одной изъ его главныхъ заботъ было лѣченіе себя и насъ. А такъ какъ онъ былъ человѣкъ съ фантазіями и вѣрилъ въ чудодѣйственныя универсальныя средства, то намъ пришлось испытать на себѣ благотѣльное дѣйствіе аппретуръ на рукахъ, фонтанелей за ушами, рыбьяго жира съ хлѣбомъ и солью, кровеочистительнаго сиропа Маттеи, пилюль Мориссона и даже накальвателя нѣкоего Вощайта, который долженъ былъ тысячею мелкихъ уколовъ усилить крѣвообращеніе. Потомъ появился въ нашей квартирѣ гомеопатъ, докторъ Червинскій, круглый человѣкъ, съ толстой палкой, въ видѣ кадуцея со змѣей. Въ этотъ періодъ мой старшій братъ, большой лакомка, добрался какъ-то въ отсутствіе родителей до гомеопатической аптечки и съѣлъ сразу весь запасъ мышьяку въ пилюляхъ. Отецъ сначала очень испугался,

но когда убѣдился, что братъ остался въ вождѣлѣнномъ здравіи, то... усомнился въ гомеопатіи...

Послѣ этого глубокомысленнаго сочиненія Ганнемана исчезли съ отцовскаго стола, а на ихъ мѣстѣ появилась новая книжка въ скромномъ черномъ переплетѣ. На первой же страницѣ была вишнетка со стихами (на польскомъ языкѣ):

Если хочешь стать крѣпкимъ, жить долгіе годы,
Купайся, обливайся, пей холодную воду...

Для вящей убѣдительности на вишнеткѣ были изображены три голыхъ человѣка, изряднаго тѣлосложенія, изъ коихъ одинъ стоялъ подъ душемъ, другой сидѣлъ въ ваннѣ, а третій съ видимымъ наслажденіемъ опрокидывалъ себѣ въ глотку огромную кружку воды...

Мы, дѣти, безнечно разсматривали эту вишнетку, но истинное значеніе ея поняли только на слѣдующее утро, когда отецъ велѣлъ поднять насъ съ постелей и привести въ его комнату. Въ этой комнатѣ стояла широкая бадья съ холодной водой, и отецъ, предварительно продѣлавъ всю процедуру надъ собой, заставилъ насъ по очереди входить въ бадью и, черная жестяной кружкой ледяную воду, сталъ поливать насъ съ головы до ногъ. Это было большое варварство, но вреда намъ не принесло, и вскорѣ мы „закалились“ до такой степени, что въ однѣхъ рубашкахъ и босые спасались по утрамъ съ младшимъ братомъ въ старую коляску, гдѣ, дрожа отъ холода (дѣло было осенью, въ перодъ утреннихъ заморозковъ), ждали, пока отецъ уѣдетъ на службу. Мать всякій разъ обѣщала отцу выполнить добросовѣстно по нашемъ возвращеніи актъ обливанія, но... Богъ ей, конечно, простить,—иной разъ въ этомъ отношеніи обманывала отца... А такъ какъ, при этомъ, мы весь день проводили, не взирая ни на какую погоду, на воздухѣ, почти безъ всякаго надзора,—то вскорѣ даже мнительность отца уступила передъ нашимъ неизмѣнно цвѣтущимъ видомъ и неуязвимостью...

Эта вѣра въ „книгу и науку“ была вообще замѣтной и трогательной чертой въ характерѣ отца, хотя иной разъ вела къ неожиданнымъ результатамъ. Та ѣ, однажды опъ купилъ гдѣ то брошюру, авторъ которой увѣрялъ, что при помощи бѣры, селитры и, кажется, сѣрнаго цвѣта можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромныхъ порціяхъ обычнаго лошадинаго корма. У насъ была тогда пара рослыхъ мериновъ, надъ которыми отецъ и сталъ производить опыты. Вѣдныя лошади худѣли и слабѣли, но отецъ до такой степени вѣрилъ въ дѣйствительность научнаго средства, что совер-

шенно не замѣчалъ этого, а на тревожныя замѣчанія матери: какъ бы лошади отъ этой науки не издохли, отвѣчалъ:

— Толкуй больной съ подлѣбкаремъ! Толстѣютъ, а ты говоришь глупости. Правда, Филиппъ, толстѣютъ?

— А таки потолстѣли,—отвѣчалъ хитрый кучеръ...

„Лошади судьбы“ прославились по всему городу необычайной худобой и жадностью, съ которой онѣ грызли коновязи и заборы, но отецъ замѣчалъ только „поправку“, пока одна изъ нихъ не издохла безъ всякой видимой причины... Я помню выраженіе горестнаго изумленія и раскаянія, съ которыми отецъ стоялъ надъ трупомъ бѣдной страдалицы. Другую лошадь онъ тотчасъ же велѣлъ накормить овсомъ и сѣномъ безъ научной приправы, и затѣмъ, кажется, продалъ... Впрочемъ, впоследствии оказалось, что въ этой неудачѣ виновна была не одна наука, но и кучеръ, который пропивалъ и то небольшое количество овса, какое полагалась, оставляя лошадей на одной только бурѣ съ селитрой... Какъ бы то ни было, опыты больше не возобновлялся...

Повидимому, у отца бродили еще долго какіе-то прежніе планы, и онъ стремился выбиться изъ крѣпкихъ тисковъ сѣрой чиновничьей рутинѣ. То онъ пріобрѣталъ телескопы и астрономическія сочиненія, то начиналъ изучать математику, то покупалъ итальянскія книги и обзаводился словарями... Вечерніе досуги, не занятые писаніемъ бумагъ и рѣшеній, онъ посвящалъ чтенію и порой ходилъ по комнатамъ, глубоко обдумывая прочитанное. Иной разъ онъ дѣлился своими мыслями съ матерью, а иногда даже, если матери не было по-близости, — съ трогательнымъ, почти дѣтскимъ простодушіемъ, обращался къ кому-нибудь изъ насъ, дѣтей...

Помню, однажды я былъ съ нимъ одинъ въ его кабинетѣ, когда онъ, отложивъ книгу, прошелся задумчиво по комнатѣ и, остановившись противъ меня, сказалъ:

— Философы доказываютъ, что человѣкъ не можетъ думать безъ словъ... Какъ только человѣкъ начнетъ думать, такъ непременно... понимаешь? въ головѣ есть слова... Гмъ... Что ты на это скажешь?..

И, не дожидаясь отвѣта, онъ началъ шагать изъ угла въ уголь, постукивая палкой, слегка волоча лѣвую ногу и видимо, весь отдаваясь провѣркѣ на сѣбѣ психологическаго вопроса. Потомъ опять остановился противъ меня и сказалъ:

— Если такъ, то, значить, собака не думаетъ, потому что не знаетъ словъ...

— Рябчикъ понимаетъ слова,—отвѣтилъ я съ убѣжденіемъ.

— Это что! Мало.

Я былъ тогда совсѣмъ маленькій мальчикъ, еще даже не учившійся въ пансіонѣ, но простота, съ которой отецъ предложилъ вопросъ, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И, пока онъ ходилъ, я тоже сидѣлъ и провѣрялъ свои мысли... Изъ этого ничего не вышло, но и впоследствии я старался не разъ уловить тѣ безформенныя движенія и смутныя образы словъ, которые проходятъ, какъ тѣни, на заднемъ фонѣ сознанія, не облекаясь окончательно въ опредѣленныя формы.

— А вотъ англичане,—сказалъ отецъ въ другой разъ за обѣдомъ, когда мы всѣ были въ сборѣ,—предлагаютъ большія деньги тому, кто выдумаетъ новое слово.

— Великая штука!—самонадѣянно сказалъ старшій братъ,—я сейчасъ выдумую.

И онъ, не задумываясь, брякнулъ какое-то, совершенно ни съ чѣмъ не сообразное слово. Мы засмѣялись.

— А! дуракъ!—сказалъ отецъ, видимо раздосадованный такимъ легкимъ отношеніемъ къ задачѣ ученыхъ англичанъ. Но мы всѣ приняли сторону брата.

— Почему же дуракъ,—когда онъ дѣйствительно выдумалъ?

— Выдумалъ, выдумалъ! А что же оно значитъ?

— Оно?.. — Братъ нѣсколько затруднился, но тотчасъ же отвѣтилъ:

— Ничего не значитъ, но новое...

— То-то вотъ и есть, что ты дуракъ! Нужно, чтобы знало и чтобы было съ толкомъ, и чтобы другого слова какъ разъ съ такимъ значеніемъ не было... А такъ — мало ли что ты выдумаешь!.. Ученые не глумѣе васъ и говорятъ не на смѣхъ...

— Но всегаки,—прибавилъ онъ затѣмъ,—выдумать, кажется, можно...

— Нѣкоторые философы думаютъ,—сказалъ онъ въ другой разъ опять за столомъ,—что Бога нѣтъ.

— А! глупости,—сказала мать:—для чего ты повторяешь глупыя слова...

— Толкуй больно съ подлѣкаремъ!—отвѣтилъ отецъ.— Это говорятъ не дураки, а ученые люди...

— Кто же тогда создалъ міръ и человѣка?

— Одинъ англичанинъ доказываетъ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны.

— А обезьяна откуда?

Всѣ мы, и отецъ въ томъ числѣ, засмѣялись.

— Это, конечно, заблужденіе разума,—сказалъ отецъ и прибавилъ убѣжденно и нѣсколько торжественно:

— Богъ, дѣти, есть, и Онъ все видитъ... все. И тяжело наказываетъ за грѣхи...

Не помню, въ этотъ или другой разъ онъ сказалъ съ особеннымъ выраженіемъ:

— Въ писаніи сказано, что родители наказываются въ дѣтяхъ до семьдесятъ седьмого колѣна... Это уже можетъ показаться несправедливымъ, но... можетъ быть, мы не понимаемъ... Все-таки Богъ милосердъ.

Только теперь я понимаю, какое значеніе имѣло для него это изреченіе... Онъ боялся, что мы будемъ нести наказаніе за его грѣхи. И его совѣсть возставала противъ несправедливой кары, а вѣра требовала покорности и давала надежду...

Въ послужномъ спискѣ отца значится, что онъ получилъ образованіе въ „непривилегированномъ пансіонѣ“ въ городѣ Кишиневѣ... Очевидно, это образованіе равнялось „домашнему“. Но почти до конца своей жизни онъ сохранилъ умственные запросы, и первыя понятія, выходящія за предѣлы извѣстнаго мнѣ тогда міра, понятія о томъ, что есть Богъ и есть какая-то наука, изслѣдующая природу души и начала міра,—мы, дѣти, получили отъ этого простодушнаго, полуобразованнаго человѣка. Эти понятія были наивны и несложны, но, можетъ быть, именно вслѣдствіе этой почти дѣтской наивности они глубоко западали въ душу и навсегда остались въ ней, какъ первыя сѣмена будущихъ мыслей...

IV.

Дворъ и улица.

Тотъ домъ, въ которомъ, казалось мнѣ, мы жили „всегда“,—былъ расположенъ въ узкомъ переулкѣ, выбѣгавшемъ на небольшую площадь. Къ ней сходились нѣсколько улицъ; двѣ изъ нихъ вели на кладбища.

Одна изъ этихъ послѣднихъ называлась „шоссе“. По ней пробѣгали почтовые пары съ подвязанными колокольчиками, и такъ какъ собственно наиболѣе оживленная часть города здѣсь кончалась, то иной разъ почтари остаивали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звономъ, который постепенно стихалъ, все удаляясь и замирая, пока повозка, тоже все уменьшаясь, не превращалась въ маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались съ заборами, пустырями, вросшими въ землю хибарками, и перспектива ея заканчивалась вдали купами зелени, свѣшивавшейся изъ-за заборовъ. Съ одной стороны это было „православное“ кладбище, съ другой — чей-то обывательскій садъ. Между этими пятнами зелени все, что удалялось по шоссе за городъ, — мелькало въ послѣдній разъ и скрывалось въ безвѣстную и безконеч-

ную даль... Мы съ братомъ часто смотрѣли отъ угла нашего переулка или съ высоты забора, какъ исчезали въ этой перспективѣ почтовые повозки, высокія еврейскія „балагулы“, неуклюжіе дилижансы, мужичьи телѣги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти съ угла до тѣхъ поръ, пока похоронный кортежъ не достигалъ этой предѣльной точки. Тогда безформенное пятно людской толпы какъ будто еще разъ раз-вертывалось яснѣе. Хоругви мелькали и наклонялись подъ воротами и вѣтвями деревъ, выравнивался перпендикулярно катафалкъ, и все это втягивалось въ кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что „все кончено“... Первые, наиболѣе яркія и глубокія впечатлѣнія дали связаны у меня съ этой длинной перспективой „шоссе“ и, быть можетъ, ихъ глубинѣ и нѣкоторой мечтательности, которая и вообще сродна представленьямъ о дали, содѣйствовала эта связь съ похоронами и смертью...

Улица эта немного подымалась, по мѣрѣ удаленія, и потому все, приближавшееся по ней къ центру города, какъ бы скатывалось внизъ... И я еще теперь помню чувство изумленія, охватившее меня въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, когда небольшое, квадратное пятно, выползшее въ ея перспективѣ изъ-за горизонта, стало расти, приближаться, и черезъ нѣкоторое время колонны солдатъ заняли всю улицу, наполнивъ ее топотомъ тысячей ногъ и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были въ круглыхъ шапочкахъ безъ козырьковъ и въ кургузыхъ, сильно поношенныхъ кафтанчикахъ, офицеры въ жесткихъ киверахъ съ султанами или металлическими шишками. Всѣ они шли мѣрно, въ ногу, и было что-то суровое въ этомъ размѣренномъ движеніи...

Всѣ кругомъ говорили, что они возвращаются съ войны „изъ-подъ Севастополя“...

По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами, а одинъ разъ провезли какого-то мрачнаго человѣка для „торговой казни“... Впереди шелъ взводъ солдатъ, и четыре барабанщика отбивали суровую, мѣрную дробь... На каждомъ шагу барабанщиковъ, барабаны приподнимались на ихъ лѣвой ногѣ, но дробь лилась безостановочно, такая же мѣрная и зловѣщая... За ними ѣхала телѣга, на которой была водвигнута высокая скамья, и къ ея спинкѣ были привязаны назадъ руки сидѣвшаго на ней человѣка. Голова его, ничѣмъ не покрытая, была низко опущена и моталась при встряскахъ на мостовой, а на груди наклонно висѣла доска съ надписью бѣлыми буквами... И вся эта мрачная фигура являла высоко надъ толпой, какъ бы господствуя надъ стре-

мительнымъ людскимъ потокомъ... За телѣгой шель взводъ солдатъ и бѣжали густыя толпы народа... На площадь, конечно, насъ не пустили, но лакей Гандыло, который убѣждалъ туда за толпой, рассказывалъ потомъ въ кухнѣ съ большимъ увлеченіемъ, какъ на эшафотѣ палачъ уложилъ „смертоубійцу“ на „кобыду“, какъ расправлялъ кнутъ и при этомъ будто бы приговаривалъ:

— Отецъ и мать тебя не учили, такъ я тебя научу.

Потомъ вскрикивалъ: „берегись, ожу“, и затѣмъ по всей площади разносился свистъ плети и нечеловѣческій крикъ наказываемаго... Женщины изъ нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились...

Это была, кажется, послѣдняя „торговая казнь“ въ нашемъ городѣ...

Вообще—по длинному прямому шоссе двигалось и въ городѣ, и изъ города много интереснаго, новаго, иногда страшнаго...

Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влѣво. Она вела на кладбища—католическое и лютеранское, была широка, мало заселена, не вымощена и покрыта глубокимъ пескомъ. Траурныя колесницы здѣсь двигались тихо, увязая по ступицы въ чистомъ желтомъ пескѣ, а въ другое время движенія по ней было очень мало.

На остромъ углу этой улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, гдѣ жилъ старый будочникъ (съ алебардой, вскорѣ упраздненной); а за будкой, среди зелени чьего-то сада высидась огромная „фигура“—старый польскій крестъ, съ крышкой, прикрывавшей распятую фигуру Христа. Какой-то набожный человекъ воздвигъ ее на этомъ узловомъ перекресткѣ, и она своими распростертыми руками какъ бы провожала на вѣчный покой и тѣхъ, что удалялись по шоссе, и тѣхъ, которыхъ траурные кони, утопая въ пескѣ, тихо увозили на „польское кладбище“. А напротивъ „фигуры“ стоялъ старый-престарый кабакъ, дряхлое темное зданіе, сильно покосившееся и подпертое съ улицы бревнами. Тамъ почти безпрестанно пилила скрипка и ухаль бубень. Иногда громкій пронзительный женскій плачь провожавшихъ гробы смѣшивался съ этимъ дикимъ ухащемъ и пьяными криками.

Времена были простыя.

Дворъ нашъ былъ уютный и тихій. Отъ большихъ улицъ онъ отдѣлялся двумя каменными домами, по мѣстному „каменицами“. Въ одной изъ этихъ каменницъ жили нани домохозяева, квартира и обстановка которыхъ казались мнѣ верхомъ роскоши и богатства. Ворота выходили въ переулокъ, и надъ ними низко свѣшивались густыя вѣтки стараго сере-

бристаго тополя. Кучеръ хозяйской коляски, казавшійся очень важнымъ, въ сѣрой ливреѣ, вѣвзкая въ ворота, всякій разъ долженъ былъ низко наклонять голову, чтобы вѣтки не сорвали его высокую шляпу съ позументной лентой и съ бантомъ...

Нашъ флигель стоялъ въ глубинѣ двора, примыкая съ одной стороны къ каменицѣ, съ другой—къ густому саду. За нимъ былъ еще флигелекъ, гдѣ жилъ тоже съ незапамятныхъ временъ военный докторъ Дударевъ.

Хозяинъ нашего дома былъ полякъ, котораго величали „панъ коморникъ“ (землемѣръ). Это былъ очень старый человекъ, высокій, статный (не смотря на нѣкоторую полноту), съ сѣдыми усами и сѣдыми же волосами, подстриженными въ кружокъ. Въ будни онъ съ самаго утра въ синемъ кафтанѣ ходилъ по двору, хлопоча по хозяйству, какъ усердный управляющій. По воскресеньямъ надѣвалъ роскошный цвѣтной кунтушъ, синяго или малиноваго цвѣта съ „вылѣтами“ (откидные рукава), какой-нибудь свѣтлый жупанъ, широкия бархатныя шаровары и рогатую „конфедератку“, перепоясывался роскошнымъ поясомъ, привѣшивалъ кривую саблю и шелъ съ молитвенникомъ въ костель. Жена (гораздо моложе его) и женщины изъ ея штата ѣздили въ коляскѣ, запряженной прекрасными лошадьми, но онъ всегда ходилъ пѣшкомъ. Когда онъ заболѣвалъ, то приказывалъ жарко истопить печь въ кухнѣ, постелить соломы и, раздѣвшись, лѣзъ туда. Затѣмъ онъ выходилъ изъ печи распаренный, пилъ липовый цвѣтъ и на слѣдующее утро опять хлопоталъ по двору и въ конюшнѣ.

Все это я узналъ уже по позднѣйшимъ рассказамъ, а самого Коляновскаго помню вполне ясно только уже въ послѣдніе дни его жизни. Однажды онъ почувствовалъ себя плохо, прибѣгъ къ обычному средству, но оно не помогло. Тогда онъ сказалъ женѣ:

— Теперь буду умирать...

Жена призвала докторовъ. На нашемъ дворѣ стали появляться то докторъ-гомеопатъ Червинскій съ своей змѣей, то необыкновенно толстый Войцѣховскій... Старый „коморникъ“ глядѣлъ очень сомнительно на все эти хлопоты и увѣренно твердилъ, что скоро умереть.

Въ это время я ясно припоминаю себя въ комнатѣ больного. Я сидѣлъ на полу, около кресла, игралъ какой-то кистью и не уходилъ по цѣлымъ часамъ. Не могу теперь отдать себѣ отчетъ, какая идея овладѣла въ то время моимъ умомъ, помню только, что на вопросъ одного изъ посѣтителей, замѣтившихъ

меня около стула: „А ты, малый, что тутъ дѣлаешь?“ — я отвѣтилъ очень серьезно:

— Старога Колянов каго караулю.

У болѣзненнаго зашевелился животъ, и онъ, болѣзненно улыбаясь, сказалъ:

— Не укараулишь (nie dopilnujesz).

И дѣйствительно, я его не укараулилъ: черезъ два-три дня послѣ этого старый Коляновскій лежалъ, важный и торжественный, на катафалкѣ. Его одѣли, какъ въ воскресенье, въ налевый жупанъ и синій кунтушъ, положили около криу саблю, а рядомъ на стулѣ лежала рогатая конфедератка съ перомъ. Его лицо, красное при жизни, было теперь такъ же бѣло, какъ усы.. На слѣдующій день нашъ дворъ наполнился множествомъ людей, прине ли хоругви, и огромный катафалкъ не могъ въѣхать съ переулка. Тогда кто-то изъ дворни влѣзъ на стволъ серебристаго тополя и сталъ рубить большую нижнюю вѣтку. Когда она лежала на землѣ, я смотрѣлъ и на нее, и на образовавшійся, такимъ образомъ, пролетъ надъ воротами съ такимъ же чувствомъ, какъ и на странную фигуру Коляновскаго. Я, можетъ быть, и зналъ, что это смерть, но она не была мнѣ тогда еще ни страшна, ни печальна... Просто вѣтка, страннымъ образомъ, склонилась листьями къ землѣ, чего съ ней прежде никогда не бывало. А Коляновскій одѣлся, чтобы идти въ костель, но вмѣсто этого лежитъ цѣлый день на столѣ.

Послѣ похоронъ нѣкоторое время во дворѣ толковали, что ночью видѣли старога коморника, какъ при жизни, хлопотавшимъ по хозяйству. Это опять была съ его стороны странность, потому что прежде онъ всегда хлопоталъ по хозяйству днемъ... Но въ то время, кажется, если бы я встрѣтилъ старика гдѣ-нибудь на дворѣ, въ саду или у кошошны, то, вѣроятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросилъ бы объясненія его страннаго и ни съ чѣмъ несообразнаго поведенія, послѣ того, какъ я его „не укараулилъ“...

Въ тѣ годы старопольскій костюмъ вышелъ уже изъ употребленія или даже былъ запрещенъ. Но богатый и своенравный „коморникъ“ не уступалъ новымъ обычаямъ, жилъ и сошелъ въ могилу, вѣрный себѣ и своему времени. И когда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всѣхъ другихъ людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатлѣнiе у меня такое, какъ будто это — само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крѣпкое, по своему красивое, уходитъ въ какую-то таинственную дверь мiра въ то самое время, когда я открываю для себя

другую дверь, провожая его яснымъ и зоркимъ дѣтскимъ взглядомъ...

Жизнь нашего двора шла тихо, разъ заведеннымъ порядкомъ. Мой старшій братъ былъ на 2¹/₂ года старше меня, съ младшимъ мы были погодки. Отъ этого у насъ съ младшимъ братомъ установилась естественно большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крѣпко спали. Только въ конюшнѣ к конюхи чистили лошадей и выводили ихъ къ колодезю. Иногда намъ давали вести ихъ въ поводу, и это довѣріе очень подымало насъ въ собственномъ мнѣніи.

За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами въ сараи.

Въ 8¹/₂ часовъ отцу подавали бричку, и онъ отправлялся въ должность. Это повторялось ежедневно и казалось намъ закономъ природы, какъ и то, что часовъ около 3-хъ м.т.ъ уже хлопочетъ около стола. Въ 3 часа опять раздавался грохотъ клещей, и отецъ входилъ въ домъ, а изъ кухни несли суповую миску...

Въ этотъ промежутокъ дня нашъ дворъ замиралъ. Конюхи отъ нечего дѣлать ложились спать, а мы съ братомъ слонялись по двору и саду, смотрѣли съ заборовъ въ переулочки или на длинную перспективу шоссе, узлавали и дѣлились новостями... А солнце, подымаясь все выше, раскаляло камни мощенаго двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовскимъ томленіемъ и скукой...

У меня осталось одно странное воспоминаніе, связанное съ часами этого знойнаго и томительнаго бездѣлья... Къ намъ во дворъ забрела кошка съ подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда, въ жаркій полдень, я разыскивалъ эту кошку, брать ее съ собой на задній дворъ, гдѣ у насъ лежали кузова старыхъ саней, и, улегшись въ одномъ изъ этихъ кузововъ, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мнѣ лицо, глядѣла въ глаза и, казалось, совершенно сознательно отвѣчала взаимностью на мое расположеніе и жалость. И это чувство дружбы съ животнымъ заполняло минуты, порой даже часы...

Но по мѣрѣ того, какъ нога у нея заживала и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнѣе, — ея благодарность исчезала. Прежде она шла на всякій мой зовъ, появляясь нивѣсть изъ какихъ угловъ и закоулковъ, теперь случалось, что она ускользала отъ меня, явпо „прикидываясь“, что не слышитъ.

Такъ она поступила и въ одинъ жаркій день, когда я, разсорившись съ братомъ, почувствовалъ особенную потреб-

ность въ ея дружбѣ. Она проходила мимо садоваго забора и, когда я ее позвалъ, попыталась лукаво проскользнуть въ щель. Но я всетаки успѣлъ захватить ее...

На этотъ разъ она очень холодно отвѣчала на мои ласки. Въ глазахъ ея не было прежней взаимности и, улучивъ удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватилъ гнѣвъ. Ея поведеніе казалось мнѣ верхомъ неблагодарности и, кромѣ того, мнѣ страстно хотѣлось вернуть наши прежнія дружескія отношенія. Вдругъ въ умѣ мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мнѣ ея жалко... Я схватилъ ее за хвостъ и перекинулъ себѣ черезъ плечо.

Кошка взвизгнула и больно вцѣпилась когтями въ мою спину. Я выпустилъ ее, и она умчалась, какъ стрѣла, а я остался съ сознаниемъ своей вины и жгучаго стыда... Послѣ этого мнѣ стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребилъ всѣ мѣры, чтобъ растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взялъ ее только для того, чтобы помириться... Дальнѣйшія наши отношенія были мирныя, хотя и довольно холодныя, но я до сихъ поръ помню эту странную вспышку искусственной жалости, подъ влияніемъ томительнаго бездѣлья на раскаленномъ и до скуки знакомомъ дворѣ...

Что дѣлать! Всякое чувство имѣетъ цѣну, лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и въ людскихъ отношеніяхъ кончаются по большей части царячинами..

V.

„Тотъ свѣтъ“.—Мистическій страхъ.

Мнѣ трудно вспомнить, когда я въ первый разъ услышалъ о „томъ свѣтѣ“. Вѣроятно, это потому, что слышалъ я это очень рано, и слова явились гораздо ранѣе, чѣмъ ихъ значеніе.

Я зналъ съ незапамятныхъ временъ, что у насъ была маленькая сестра Соня, которая умерла и теперь находится на томъ свѣтѣ, у Бога. Это было представленіе немного печальное (у матери иной разъ на глазахъ бывали слезы), но вмѣстѣ свѣтлое: она — ангель, значитъ, ей хорошо. А такъ какъ я ея совсѣмъ не зналъ, то и она, и ея пребываніе на „томъ свѣтѣ“ въ роли ангела представлялось мнѣ какимъ-то свѣтящимся туманнымъ пятнышкомъ, лишеннымъ всякаго мистицизма и не производившимъ особеннаго впечатлѣнія...

Истомъ на „тотъ свѣтъ“ отправился панъ Коляновскій, который, по рассказамъ, возвращался оттуда по ночамъ. Тутъ уже было что-то странное. Онъ мнѣ сказалъ: „не укараулишь“,

значить, какъ бы скрылся, а потомъ приходитъ тайкомъ отъ домашнихъ и отъ прислуги. Это было непонятно и отчасти коварно, а во всемъ непонятномъ, если оно вдобавокъ сознательно, есть уже элементъ страха...

Еще года черезъ два или три „тотъ свѣтъ“ глянулъ на насъ, какъ зарница изъ темной тучи, зловѣще ощутительно и ясно...

У насъ былъ знакомый мальчикъ и сверстникъ, Славекъ Лисовскій. Я не знаю, что это за имя, но его такъ звали, и намъ имя правилось, какъ и онъ самъ. Онъ ходилъ въ коротенькой курточкѣ и носилъ бѣлые воротнички, былъ тонокъ и высокъ не по лѣтамъ. Когда онъ пришелъ въ первый разъ, то сначала и онъ, и его походка, и его кургузая курточка, и бѣлые воротнички съ манжетами показались намъ необыкновенно смѣшными. Но уже черезъ полчаса послѣ перваго знакомства въ этомъ долговязомъ мальчикѣ вспыхнула такая масса непосредственнаго веселья и рѣзвости, что мы были совершенно очарованы. И каждый разъ, когда онъ приходилъ къ намъ, у насъ начинался живой веселый кавардакъ, часто переходившій далеко за обычныя границы нашихъ шалостей.

Однажды онъ былъ у насъ почти весь день, и намъ было особенно весело. Мы лазали по заборамъ и крышамъ, кидались камнями, забирались въ чужіе сады и ломали деревья. Онъ изорвалъ свою курточку на дикой грушѣ, и вообще мы напроказили столько, что еще дня два послѣ этого все боялись послѣдствій.

Совѣсть у всѣхъ была спокойна...

И вотъ, на третій день, часа въ три, вскорѣ послѣ того, какъ на дворѣ прогремѣли колеса отцовской брички, насъ позвали не къ обѣду, а въ кабинетъ отца.

Мы были увѣрены, что дѣло идетъ о наказаніи, и вошли въ угнетенномъ настроеніи. Въ кабинетѣ мы увидѣли мать съ встревоженнымъ лицомъ и слезами на глазахъ. Лицо отца было печально.

— Дѣти, — сказалъ онъ, увидѣвъ насъ, — я долженъ вамъ объявить печальную и страшную повость: Славекъ вчера вечеромъ умеръ.

Я помню, что никто изъ насъ не сказалъ на это ни одного слова, и, я думаю, старшимъ могло показаться, что извѣстіе не произвело на дѣтей никакого впечатлѣнія. Мы тихо вышли изъ комнаты и сѣли за столъ. Но никто изъ насъ не радовался, что отцовская гроза миновала. Мы чувствовали какую-то другую грозу, невѣдомую и мрачную...

На слѣдующій день насъ взяли на похороны Славека. Жили они на песчаной кладбищенской улицѣ, почти у самаго кладбища, и я въ первый разъ почувствовалъ, что такое смерть... Славекъ, такой же тонкій, еще какъ будто выше ростомъ, въ такой же темно-зеленой курточкѣ съ бѣлыми воротничками лежалъ на столѣ, какъ и панъ Коляновскій— совершенно бѣлый и неподвижный. Кругомъ горѣли желтымъ пламенемъ траурныя свѣчи, воздухъ былъ спертый, насыщенный чѣмъ-то особеннымъ, въ комнатѣ слышались тихіе разговоры и вздохи. А когда Славка, поднявъ вмѣстѣ съ гробомъ на плечи, понесли изъ комнаты на дворъ, то мать его громко кричала и билась на рукахъ у людей, прося, чтобы и ее зарыли въ землю вмѣстѣ съ сыномъ, и что она сама виновата въ его смерти.

Вечеромъ у насъ на кухнѣ прислуга непотомъ передавала, что Славка родители высѣкли за разорванную куртку и за шалости. Онъ цѣловаль у нихъ руки, обѣщаль, что никогда больше не будетъ, просилъ хоть на этотъ разъ простить его и лучше очень больно высѣчь когда-нибудь въ другой разъ, потому что теперь онъ непременно умретъ. „Значить, душа его знала“ — прибавляли при этомъ многозначительно. Но родители не повѣрили и всетаки высѣкли. Въ ту же ночь съ нимъ сдѣлался сильный жаръ, позвали доктора... а къ слѣдующему вечеру онъ умеръ, кажется, „отъ горла“...

Весь день у насъ только и было разговоровъ объ этой смерти. У матери видъ былъ испуганный: она боялась за насъ (хотя тогда не такъ еще вѣрили „въ заразу“) и плакала о чужомъ горѣ. Кажется, именно въ этотъ день вечеромъ пришелъ къ намъ панъ Скальскій, большой пріятель отца и мой крестный. У него годъ назадъ умеръ сынъ въ кievскомъ корпусѣ. Горе его еще не совсѣмъ улеглось, а теперь ожило, и онъ рассказываль о томъ, какъ онъ узналъ о смерти сына. По вызову начальника корпуса онъ пріѣхаль въ Кіевъ, но это было уже вечеромъ, и идти въ корпусъ было поздно. Онъ остановился недалеко, въ какой-то гостиницѣ, и долго сидѣлъ у открытаго окна. Ночь была теплая, ясная, тихая... его не покидали мысли о больномъ сынѣ. Наконецъ, онъ заперъ окно и потушилъ свѣчу...

— И вдругъ, — такъ приблизительно рассказываль Скальскій печально-спокойнымъ и убѣжденнымъ голосомъ, — слышу: кто-то стучится въ окно... вотъ такъ: разъ, два и три... Я всталъ съ постели, подошелъ къ окну... Никого, да и окно во второмъ этажѣ... Легъ опять и опять слышу: стукъ-стукъ, стукъ-стукъ... тихонько будто кто просится въ комнату... А

луна свѣтитъ ярко, такъ все и заливаешь... Всталъ я опять, подошелъ къ окну, гляжу: въ нижнее стекло бьется что-то... маленькій комочекъ такой, бьется и стучаетъ... Я опять отошелъ, и вдругъ сердце у меня такъ и упало... Бросился къ окну, открываю...

— И что же? — спросилъ отецъ.

— Жукъ... — отвѣтилъ Скальскій съ печальной серьезностью.

— Жукъ?

— Да, жукъ... большой, темный... Отлетѣлъ отъ окна и полетѣлъ... по направленію, гдѣ корпусъ. А мѣсяцъ! Все видно, какъ днемъ. Я смотрѣлъ вслѣдъ и нѣкоторое время слышалъ... ж-ж-ж... будто стонеть. И въ это время на колокольнѣ ударили часы. Считаю: одиннадцать.

— Что-жъ такое? — сказалъ опять отецъ спокойно. — Ну, прилетѣлъ жукъ, и больше ничего.

— Погоди, — отвѣтилъ Скальскій. — На слѣдующее утро иду въ корпусъ. Спрашиваю швейцара: какъ мнѣ увидѣть сына? — „Ступайте, говорить, ваше благородіе, въ мертвецкую“... Потомъ... рассказали: умеръ ровно въ одиннадцать ночи... — И значить — это его я не пустилъ въ комнату. Душа прилетала прощаться...

— А! Толкуй больной съ подлѣкаремъ! — сказалъ отецъ. — Забобоны и бабьи сказки. Мальчикъ умеръ отъ болѣзни, а жукъ не при чемъ. Мало ли летаетъ жуковъ?

— Нѣтъ, не говори... Такъ онъ стучался... особенно. И потомъ летѣлъ и стоналъ... А я глядѣлъ, и сердце у меня рвалось за нимъ...

Отецъ былъ человекъ глубоко религіозный, но совершенно не суевѣрный, и его трезвые, иногда юмористическія объясненія страшныхъ разсказовъ въ значительной степени разсѣивали наши кошмары и страхи. Но на этотъ разъ во время разсказа о сынѣ и жукѣ каждое слово Скальского, проникнутое глубокимъ убѣжденіемъ, — падало въ мое сознаніе. И мнѣ казалось, что кто-то бьется и стучитъ за стекломъ нашего окна...

Спать мы легли въ этотъ вечеръ нѣсколько позже обыкновеннаго, и среди ночи я проснулся въ слезахъ. Мнѣ привидѣлся страшный сонъ, подробностей котораго я не могъ вспомнить совсѣмъ ясно, но въ какомъ-то спутанномъ клубкѣ смутныхъ образовъ я всетаки видѣлъ Славка, слышалъ какія-то его просьбы, мольбы и слезы... Сердце мое сжималось отъ глубокой жалости, но вмѣстѣ и отъ страха. Въ другой комнатѣ, на полу горѣла свѣча, слышалось дыханіе спавшихъ братьевъ

и сестры, а за окномъ вздыхалъ вѣтеръ... Я зналъ, что тамъ, за окнами нашъ дворъ, дорожки сада, старая бесѣдка въ концѣ аллеи... Но отъ одной мысли, что по этимъ знакомымъ мѣстамъ, быть можетъ, ходитъ теперь старый Коляновскій и Славекъ, — страхъ и жалость охватывали меня до боли... Я заплакалъ.

Мать, которая часто клала меня съ собой, услышала мой тихій плачь, проснулась и стала ласкать меня. Я схватилъ ея руку, прижался къ ней и сталъ цѣловать. Ощущеніе ея теплаго живого тѣла и ея любящая ласка меня успокоили, и я вскорѣ заснулъ. Но, и засыпая, я чувствовалъ, что гдѣ-то тутъ близко, за запертыми ставнями, въ темномъ саду, въ затканыхъ темнотою углахъ комнатъ есть что-то особенное, печальное, жуткое, непонятное, насторожившееся, страшное и— живое, таинственной жизнью „того свѣта“... А жизнь „того свѣта“ почему-то враждебна нашей жизни...

Такимъ образомъ, мистическій ужасъ уже былъ готовъ въ нашихъ дѣтскихъ душахъ и, конечно, его только раздувала окружавшая насъ среда. У моей сестренки, которая была моложе меня на 2¹/₂ года, была старая нянька, которая должна была присматривать и за нами. Это было маленькое существо съ морщинистымъ лицомъ и большой „кичкой“ на головѣ, отчего голова казалась огромной. Она знала много страшныхъ разсказовъ, больше, впрочемъ, изъ разбойничьяго быта. Особенное впечатлѣніе производилъ на насъ разсказъ о матери и дочери. Разбойникъ ночью засталъ въ домѣ только мать съ дочерью и сталъ требовать денегъ. Мать сказала, что деньги въ погребѣ, и повела туда разбойника. Дочь шла впереди „съ каганцемъ“ (свѣтильня), разбойникъ за ней, а мать сзади. И вотъ, когда разбойникъ вошелъ въ погребъ, мать захлопнула дверь... Дочь осталась съ разбойникомъ.

Дальнѣйшее представляло короткую поэму мучительства и смерти. Дочь изъ погреба молитъ мать открыть дверь...—Ой мамо, мамо! Відчиніть, бо вілъ мене заріже...—Ой доню, доню, несчастна наша доля... Якъ відчиню, то заріже обоіхъ...—Ой мамо, мамо,—молитъ опять дочь... И шагъ за шагомъ въ этомъ діалогѣ у запертой двери развертывается картина звѣрскихъ мученій, которая кончается послѣднимъ восклицаніемъ:—„не відчиняйте, мамо, бо вже мени и кишки вѣсовтавъ“... И тогда въ темномъ погребѣ все стихаетъ...

Старуха сама оживала при этихъ разсказахъ. Весь день она сонно щипала перья, которыхъ нащипывала цѣлыя горы... Но тутъ, въ вечерній часъ, въ полутемной комнатѣ, она входила въ роли, говорила басомъ отъ лица разбойника и

плачущимъ речитативомъ отъ лица матери. Когда же дочь въ послѣдній разъ прощалась съ матерью, то голосъ старухи жалобно дрожалъ и замиралъ, точно въ самомъ дѣлѣ слышался изъ-за глухо запертой двери...

Этимъ она пыталась насъ усыпить, но, разумѣется, сонъ улеталъ, какъ вспугнутая птица, и, закрываясь съ головой отъ страшнаго впечатлѣнія, мы засыпали только глубокою ночью...

Однако настоящую поэзію мистическаго ужаса впитывали мы на кухнѣ въ длинные зимніе вечера, когда родители уѣзжали въ гости, а мы подолгу засиживались съ дворней. Нянька приходила на кухню ужинать, и если кто изъ насъ къ тому времени не успѣвалъ заснуть, то считалъ своимъ правомъ идти съ нею, потому что на той половинѣ однимъ дѣтямъ было страшно... На кухнѣ всегда было очень тепло, стоялъ какой-то особенный сытный запахъ, по стѣнамъ медленно ползали тараканы, звенѣли сверчки, жужжало веретено, и „нани Будзиньская“, наша кухарка, рассказывала разные случаи изъ своего дѣтства. Она была тоже стара (у нея былъ даже взрослый сынъ, „служившій въ канцеляріи“ и по воскресеньямъ навѣщавшій мать), но выглядѣла очень бодрой и респектабельной. Отецъ ея въ старые годы „чумаковалъ“, т. е. ходилъ съ обозами въ Крымъ за рыбой и солью, а такъ какъ мать ея умерла рано, то отецъ бралъ ее съ собою... Такимъ образомъ, ея дѣтство прошло въ чумацкихъ валкахъ, въ странствованіяхъ по стѣнямъ на скрипучихъ возахъ, съ ночлегами въ степи. И въ этихъ странствіяхъ она видѣла „своими очима“ много таинственнаго и чудеснаго.

Одинъ разъ отецъ отсталъ отъ валки... Ночь была ясная, какъ день (большинство ея страшныхъ рассказовъ происходили именно въ ясныя ночи). Мѣсяцъ свѣтилъ съ высокаго неба, и въ степи видна была каждая травинка. Она заснула на возу, но вдругъ проснулась. Отецъ шелъ рядомъ съ возомъ и бормоталъ что-то, подгоняя воловъ. Дѣвочка оглянулась по степи и увидѣла далеко, подъ небольшимъ лѣсочкомъ, надъ балкой, бѣлую фигуру.— „Тату,—сказала она отцу:— отъ тамъ кто-то бѣлый идетъ подъ лѣсомъ“.— „Молчи, доню,—отвѣтилъ ей шепотомъ отецъ,—говори скорѣе отче-нашу“.— Она стала молиться, какъ умѣла, а бѣлая фигура быстро неслась по кругу, сначала по самому краю стени, а потомъ все приближаясь и приближаясь къ возу. И по мѣрѣ того, какъ она приближалась, было видно, что это—женщина, и что глаза у нея закрыты, и что она все растетъ, растетъ выше лѣсу, до самаго неба.— „Молись, доню, крѣпче,—просилъ

отецъ,—твоя молитва сильнѣе“. И оба они кричали въ глухой стени всѣ молитвы, какія только знали, все громче и громче... И тогда фигура съ закрытыми глазами, будто ее кто отталкивалъ, стала удаляться опять по кругу, пока не сдѣлалась маленькимъ бѣлымъ пятномъ подъ лѣсомъ. А тутъ уже замигали и огни чумацкаго табора...

Въ другой разъ они опять отстали отъ табора и ночью должны были переѣзжать черезъ болота, по длинной греблѣ, въ концѣ которой стояла мельница. Ночь, конечно, опять была ясная, какъ день, а на мельницахъ и въ бучилахъ, какъ это всѣмъ извѣстно, водится нечистая сила... Дѣвочка опять не спала на возу и, взвѣхавъ на греблю, увидѣла, что стороной за возомъ бѣжитъ что-то маленькое, „якъ мыша“.— „Тату,—сказала она задремавшему отцу,—вотъ за возомъ мыша бѣжитъ“. Отецъ оглянулся и тотчасъ же сталъ креститься.—„Говори, доню, отче-нашу“... Оба опять стали молиться, а мыша выросла въ крысу, потомъ стала, какъ кошка, потомъ, какъ лисица, какъ волкъ и, наконецъ, какъ медвѣжонокъ. Медвѣжонокъ выросъ въ медвѣдя и все продолжалъ расти, такъ что, когда они подошли къ концу гребли и поровнялись съ мельницей, то онъ былъ уже выше мельничной крыши. Но тутъ оказалось опять, на счастье путниковъ, что чумацкая валка расположилась ночевать на дугу, за мельницей, такъ что оттуда слышался уже говоръ, пѣсни и крики. Нечистый, увидѣвъ огни и такую силу крещенаго народу,—вдругъ поднялся на дыбы, что-то „загуло“, какъ вѣтеръ, и медвѣдь кинулся въ омутъ...

Отецъ присоединился къ табору и попросилъ, чтобы его съ возомъ пустили въ середину. Чумаки, видя, что съ человѣкомъ случилось такое происшествіе, признали его требованіе справедливымъ, раздвинули возы и очистили ему мѣсто. Отецъ, кромѣ того, былъ человѣкъ „знающій“ и потому прежде, чѣмъ лечь спать, обвелъ кругъ кнутовищемъ около своей телѣги, закрестилъ его и заговорилъ заговорами. Ночью кто-то, очевидно, искалъ среди спящаго табора именно его и его дочку. На утро весь таборъ оказался въ полномъ беспорядкѣ, какъ будто невидимая сила перетрясла его и перешвыряла такъ, что возы оказались перемѣшаны, хозяева очутились на чужихъ возахъ, а иныхъ побросало даже совсѣмъ вонъ изъ табора въ степь...

Это были два самыхъ яркихъ разсказа пани Будзиньской, но было еще много другихъ—о русалкахъ, о вѣдьмахъ и о мертвецахъ, выходившихъ изъ могилъ. Все это больше относилось къ прошлому. Пани Будзиньская признавала, что въ

послѣднее время народъ сталъ хитрѣе, и поэтому нечисти меньше. Но все же бываетъ...

На одинъ изъ такихъ разсказовъ вошла въ кухню моя мать и, внимательно дослушавъ разсказъ до конца, сказала:

— Вотъ ты, Будзиньская, старая женщина, а рассказываешь такія глупости... Какъ тебѣ не стыдно? Перепились твои чумаки пьяные, вотъ и все...

Будзиньская очень обидѣлась:

— Я еще во вѣкъ не лгала,—отвѣтила она съ большимъ достоинствомъ,—а паны, дѣло извѣстное, ничему не вѣрятъ.

Я былъ въ большиомъ недоумѣніи. Страшные рассказы по-ложительно подавляли наши дѣтскія души, и, возвращаясь изъ кухни вечеромъ, мы съ великимъ страхомъ проходили мимо темнаго отверстія печки, находившагося въ серединѣ корридора и почему-то никогда не закрывавшагося заслонками. Намъ казалось, что оттуда вдругъ протянется чья-то рука, или мохнатая, черная, какъ у медвѣдя, или, наоборотъ, бѣлая, какъ у Коляновскаго или Славка... Иной разъ, поровнявшись съ этимъ отверстіемъ, мы кидались бѣжать, какъ сумасшедшіе, и прибѣгали въ спальню запыхавшіеся и блѣдные... Увѣренность матери, что все это пустяки, вносила успокоеніе. И когда я теперь вспоминаю мою молодую красавицу мать въ этой полутемной кухнѣ, освѣщенной чаднымъ сальнымъ каганъчикомъ, въ атмосферѣ, насыщенной подавляющими душу страхами, то она рисуется мнѣ какимъ-то свѣтлымъ ангеломъ, разгоняющимъ эти страхи уже одной своей улыбкой невѣрія и превосходства...

Но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось, что пани Будзиньская— не лгунья, и что въ ея разсказахъ нѣтъ намѣренной лжи.

Поэтому мы все больше и больше попадали во власть „того свѣта“, который казался намъ наполненнымъ враждебной и чуткой силой... Однажды старшій братъ страшно закричалъ ночью и разсказалъ, что къ нему изъ сосѣдней темной комнаты вышелъ чортъ и, подойдя къ его кровати, очень изящно и насмѣшливо поклонился.

Послѣ этого съ нами не рѣдко повторялись галлюцинаціи. Я, кажется, былъ самый нервный изъ моихъ братьевъ и потому испытывалъ наиболѣе мученій. Они засыпали раньше, а я долго ворочался въ постели, вздрагивая отъ каждаго шума... Особенно бывало странно, когда уѣзжали родители, а это случалось довольно часто. Отецъ, послѣ того, какъ миновали припадки его ревности, какъ будто старался вознаграждать мать, и потому вызволил ее на вечера, гдѣ она

танцовала, а онъ игралъ въ шахматы... Въ такіе вечера горничныя уходили на кухню или даже къ сосѣдямъ, а съ нами оставалась старая нянька, которая тоже засыпала. Я боялся оставаться одинъ, боялся пройти по темному корридору въ кухню, боялся лечь въ постель. Иной разъ я такъ и засыпалъ отъ напряженія, сидя гдѣ-нибудь въ углу, на сундукѣ, и глядя въ темную комнату. Въ темнотѣ роились образы, неясные, спутанные, и порой они выступали впередъ. Чаше всего это былъ высокій щеголеватый господинъ, въ которомъ, въ сущности, не было ничего страшнаго, кромѣ того, что онъ крадется въ темнотѣ. Повидимому, онъ вызывался усталостью глазъ, потому что всегда проносился по дуговой линіи, какъ это бываетъ съ тѣми сѣточками, какія иногда видишь въ глазу и которыя тотчасъ убѣгають, какъ бы закатываясь, когда хочешь разглядѣть. Тотъ же господинъ появлялся и въ кошмарахъ, но наибольшій ужасъ я испытывалъ при появлении въ кошмарѣ какого-то офицера. Онъ обыкновенно выходилъ изъ темноты и на нѣсколько мгновеній останавливался неподвижно. Лицо у него было обыкновенное, кажется, даже довольно красивое, но черты не запоминались, а оставалось только впечатлѣніе блѣдности... Послѣ остановки онъ наклонился и начиналъ подходить ко мнѣ, и это было самое страшное... Онъ все ускорялъ шаги, затѣмъ насъ обоихъ подхватывалъ какой-то вихрь, и мы, среди особеннаго шума, неслись съ нимъ опять по закатывающейся круговой линіи куда-то въ бездонную пропасть...

Я просыпался весь въ поту, съ бьющимся сердцемъ. Въ комнатѣ слышалось дыханіе, но привычные звуки какъ будто заслонялись чѣмъ-то, вдвинувшимся съ того свѣта, чужимъ и страннымъ. Въ сосѣдней спальнѣ стучитъ маятникъ, потрескиваетъ пагорѣвшая свѣча. Старая нянька вскрикиваетъ и бормочетъ во снѣ. Она тоже чужая и страшная... Вѣтеръ шевелитъ ставню, точно кто-то живой дергаетъ ее снаружи. Позвякиваетъ стекло... Кто-то дышитъ, и невидимо ходитъ, и глядитъ невидящими глазами... Кто-то слѣпо страдающій и грозящій жуткимъ слѣпымъ страданіемъ.

О Богѣ—мы слышали чуть не со дня рожденія, но, кажется, „вѣрили“ въ нечистую силу раньше, чѣмъ въ Бога... Въ эту мучительную полосу моей дѣтской жизни воспоминаніе о Богѣ было очень безформенно. При этомъ словѣ гдѣ-то въ глубинѣ сознанія рождалось представленіе о чемъ-то очень обширномъ и сплошь свѣтломъ, но безличномъ. Ближе всего будетъ сказать, что онъ представлялся мнѣ какъ бы отдаленнымъ и огромнымъ пятномъ солнечнаго свѣта. Но свѣтъ не

дѣйствовалъ ночью, и ночь была вся во власти враждебнаго иного міра, который вмѣстѣ съ темнотою вдвигался въ предѣлы обычной жизни.

Долженъ сказать при этомъ, что собственно чортъ игралъ въ нашихъ представленіяхъ наименьшую роль. Послѣ своего появленія старшему брату, онъ намъ уже почти не являлся, а если являлся, то не очень пугалъ. Можетъ быть, отчасти, это оттого, что въ представленіяхъ малорусскаго и польскаго народа онъ неизмѣнно является кургузымъ нѣмцемъ. Но еще болѣе дѣйствовала тутъ старинная большая книга въ кожаномъ переплетѣ („Печерскій патерикъ“), которую отецъ привезъ изъ Кіева.

Это произведеніе, исполненное глубочайшаго невѣжества и суевѣрія, но вмѣстѣ и глубокой искренности, на всѣхъ своихъ страницахъ испещрено чертами и чертенятами, которые являлись пещернымъ подвижникамъ. Аляповатые лубки изображали ихъ въ видѣ маленькихъ, смѣшныхъ подубезьянъ, съ хвостами крючкомъ и съ птичьими ножками, и всюду они представлялись только проказниками, то прячущимися въ рукомытники, гдѣ ихъ монахи закрепощиваютъ и запираютъ, то принимающими видъ дѣвицъ, то являющимися въ видѣ свиней, большихъ ящерицъ, змѣй или собакъ. Они устраиваютъ монахамъ всякія козни, но иногда и монахамъ удается изловить ихъ: тогда они ихъ наказываютъ, заставляютъ таскать бревна и, по странной снисходительности, опять отпускаютъ на волю. Мнѣ кажется, что эта почтенная книга, по которой внослѣдствіи я выучился славянскому чтенію, сильно уронила въ нашихъ глазахъ грозную репутацію чорта, и мы, допуская его существованіе, потеряли къ нему всякое уваженіе и страхъ.

Страшенъ былъ не онъ, съ его хвостомъ, рогами и даже огнемъ изо рта. Страшно было ощущеніе какого-то другого міра, съ его вмѣшательствомъ, непонятнымъ, таинственнымъ и грознымъ... Всякій разъ, когда кто-нибудь умиралъ по сослѣдству, особенно если умиралъ неожиданно, „наглою“ смертію „безъ покаянія“, — намъ становилась страшна тьма ночи, а въ этой тьмѣ—дыханіе ночного вѣтра за окномъ, стужь ставни, шумъ деревьевъ въ саду, безсознательныя вскрикиванія старой няньки и даже простой жукъ, съ смутнымъ гудѣніемъ ударяющійся въ стекла...

Страшна была тайна жизни и смерти, и передъ нею мы въ то время были, кажется, настоящими язычниками.

Молитва звѣздной ночью...

Изъ молитвъ насъ рано научили двумъ: „Отче нашъ“ и „Богородице“. Память у меня была хорошая, и я быстро усвоилъ механически два текста: польскій и славяно-малорусскій, но зналъ ихъ просто по слуху, какъ собраніе звуковъ. Отче нашъ первоначально звучало для меня такъ: „Отче нашъ иже сына небесы“... Впослѣдствіи я какъ-то сталъ провѣрять, какъ понимаютъ тѣ же слова нѣкоторые мои знакомые. Одинъ изъ нихъ, рослый парень, на нѣсколько лѣтъ старше меня, произносилъ такъ: „Отче нашъ, иже сына не дасы“. „Не дасы“—по малорусски значитъ: не дашь...

Однажды отецъ, выслушавъ нашу чисто попугайскую утреннюю молитву, собралъ насъ въ своемъ кабинетѣ и сталъ учить ея правильному произношенію и смыслу. Послѣ этого мы уже не коверкали словъ и понимали ихъ значеніе. Но молитва была холодна и не затрагивала воображенія.

Отецъ рѣшилъ какъ-то, что мнѣ и младшему брату пора исповѣдываться, и взялъ насъ съ собой въ церковь. Мы стояли вечерню. Въ церкви было почти пусто, и по ней ходилъ тотъ осторожный, робкій, благоговѣйный шорохъ, который бываетъ среди немногихъ молящихся. Изъ темной кучки исповѣдниковъ выдѣлялась какая-нибудь фигура, становилась на колѣни, священникъ накрывалъ голову исповѣдующагося и самъ внимательно наклонялся... Начинался тихій, важный проникновенный шопотъ.

Мнѣ стало страшно, и я инстинктивно посмотрѣлъ на отца... Какъ хромой, онъ не могъ долго стоять и молился, сидя на стулѣ. Что-то особенное отражалось въ его лицѣ. Оно было печально, сосредоточенно, умиленно. Печали было больше, чѣмъ умиленія, и еще было замѣтно какое-то внутреннее усиліе. Онъ какъ будто искалъ чего-то глазами въ вышинѣ, подъ куполомъ, гдѣ ютился сизый дымокъ ладона, еще иронизанный послѣдними лучами уходящаго дня. Губы его шептали все одно слово: — Отче... Отче... Отче...

Было похоже, какъ будто онъ не можетъ одолѣть это первое слово, чтобы продолжать молитву. Замѣтивъ, что я смотрю на него съ невольнымъ удивленіемъ, онъ отвернулся съ выраженіемъ легкой досады и, съ трудомъ опустившись на колѣни, молился нѣкоторое время, почти лежа на полу. Когда онъ опять поднялся, лицо его уже было спокойно, губы ровно шептали слова, а влажные глаза свѣтились и точно вглядывались во что-то въ озаренномъ сумракѣ подъ куполомъ.

Впослѣдствіи я часто сталъ замѣчать то же и дома во время его молитвы. Порой онъ подносилъ ко лбу руку, сложенную для креста, отнималъ ее, опять прикладывалъ ко лбу съ усиліемъ, какъ будто что-то вдавливая въ голову или какъ будто что-то мѣшаетъ ему докончить начатое. Затѣмъ, перекрестившись, онъ опять шепталъ много разъ: Отче, Отче, Отче... пока молитва не становилась ровной. Иной разъ это не удавалось... Тогда, усталый, онъ подымался и долго ходилъ по комнатамъ, взволнованный и печальный. Потомъ опять принимался молиться.

Однажды, не помню по какому поводу, отецъ произнесъ одну изъ своихъ сентенцій:

— Молитесь, дѣти, нужно такъ, чтобы обращаться прямо къ Богу... Какъ будто Онъ предъ вами. Какъ вы просите о чемъ-нибудь у меня или у матери.

А еще черезъ нѣкоторое время прибавилъ:

— Въ евангеліи говорится: о чемъ ни попросите у Отца небеснаго съ вѣрой, все дастся вамъ. И если скажете, чтобы гора сдвинулась съ мѣста, — гора сдвинется...

Онъ говорилъ съ печальнымъ раздуміемъ. Онъ много и горячо молился, а жизнь его была испорчена. Но обѣ эти сентенціи внезапно слились въ моемъ умѣ, какъ пламя спички съ пламенемъ зажигаемаго фитиля. Я понялъ молитвенное настроеніе отца: онъ, значить, хочетъ чувствовать передъ собой Бога и чувствовать, что говоритъ именно Ему, и что Богъ его слышитъ. И если такъ просить у Бога, то Богъ не можетъ отказать, хотя бы человѣкъ требовалъ сдвинуть гору...

Горъ у насъ не было, и сдвигать ихъ не было надобности. Скоро, однако, мнѣ представился случай испытать силу своей молитвы по поводу другого предпріятія...

Однажды старшій братъ задумалъ летѣть. Идея у него была очень простая: стоитъ взобраться, напримѣръ, на высокой заборъ, прыгнуть съ него и затѣмъ все подпрыгивать выше и выше. Онъ былъ увѣренъ, что, если только успѣтъ подпрыгнуть въ первый разъ, еще не достигнувъ земли, то дальше никакого уже труда не будетъ, и онъ такъ и понесется прыжками по воздуху...

Съ этой мыслью, вооружившись вдобавокъ двумя довольно безобразными лопастями изъ дранокъ и бумаги на подобіе крыльевъ, — онъ взобрался на заборъ, прыгнулъ, размахивая этими крыльями, и, разумѣется, растянулся на землѣ. Какъ многіе изобрѣтатели, онъ не отказался сразу отъ своей идеи: по его мнѣнію, заборъ — это еще не достаточно высоко. Бросившись съ него, онъ даже не успѣлъ еще согнуть ногъ для

прыжка, какъ уже лежалъ враспяжку. Вотъ, если бы, на-примѣръ, съ крыши... Но у него нѣсколько дней болѣла ушибленная нога, а потомъ не хватило рѣшимости... Идея осталась не осуществленной.

Однако она глубоко запала въ мое воображеніе, и вотъ однажды я довѣрился ей и... полетѣлъ. Въ присутствіи братьевъ и сестры я бросился съ крыши сарая, успѣлъ подрыгнуть, не долетѣвъ до земли, и затѣмъ уже понесся по воздуху, сначала рядомъ прыжковъ, какъ по ступенькамъ невидимой лѣстницы, а потомъ ровно и плавно, почти какъ птица. Я поворачивался, ложился въ воздухъ, повертывался и кружился. Сначала я носился надъ дворомъ, потомъ полетѣлъ дальше, надъ какими-то полями и надъ мельницей. Эта мельница была мнѣ незнакома, но, вѣроятно, осталась въ моей памяти отъ ранняго дѣтскаго путешествія... Колеса ея кружились, шумѣли, брызгали ослѣпительно бѣлою пѣной и сверкающими каплями, а я безстрашно леталъ надъ нею, среди свѣжихъ брызговъ и солнечнаго свѣта.

Проснувшись, я долго не хотѣлъ вѣрить, что это была не настоящая жизнь и что настоящая жизнь—вотъ эта комната съ кроватями и дыханіемъ спящихъ...

Полеты во снѣ повторялись, при чемъ каждый разъ мнѣ вспоминались прежніе полеты, и я говорилъ себѣ съ наслажденіемъ: тогда это было только во снѣ... А вѣдь вотъ теперь летаю же я и наяву... Ощущенія были живы, ярки, многосторонни, какъ сама дѣйствительность...

Наибольшій успѣхъ полета обозначался достиженіемъ мельницы, съ ея яркими брызгами и шумомъ колесъ... Но если даже я леталъ только надъ дворомъ или подъ потолкомъ какого-то огромнаго зала, наполненнаго людьми, и тогда проснуться значило испытать настоящее острое ощущенія горя... Опять только сонъ!.. Опять я тяжелый и несчастный...

И я думалъ, какъ достигнуть, чтобы это было уже не во снѣ.

Объясненіе отца относительно молитвы загорѣлось во мнѣ неожиданной надеждой. Если это вѣрно, то вѣдь дѣло устраивается просто: стоитъ только съ вѣрой, съ настоящей вѣрой попросить у Бога пару крыльевъ... Не такихъ жалкихъ, какія братъ состряпалъ изъ бумаги и дранокъ. А настоящихъ, съ перьями, какія бываютъ у птицъ и ангеловъ. И я полечу!

Своею мыслью я не подѣлился ни съ кѣмъ, даже съ младшимъ братомъ. Почему-то я рѣшилъ, что это будетъ тайна между мной и Богомъ. И я понималъ, что если это можетъ случиться, то, конечно, не среди суетливаго дня и даже не въ томительный и сонный полдень, когда всетаки наденіе съ

неба крыльевъ привлечеть праздное вниманіе. Это, очевидно, могло случиться только вечеромъ. Крылья появятся гдѣ-то въ вышинѣ, въ серебристомъ сумракѣ ночного неба и тихо упадутъ къ моимъ ногамъ... Послѣ, конечно, если они останутся, я буду давать ихъ брату и сестрѣ... Но останутся ли они навсегда, я этого не зналъ и даже мало думалъ объ этомъ...

Вечера стояли теплые, и, когда послѣ чаю я вышелъ на дворъ,—то отовсюду на меня глядѣли освѣщенные и раскрытыя настежь окна. Въ тѣни стѣнъ, у пороговъ сидѣли люди, но мнѣ все это не мѣшало. И открытыя окна, въ которыхъ никого не было видно, и таинственный шорохъ разговоровъ въ густой тѣни, и бѣлые камни мощенаго двора, и шопотъ листьевъ высокаго тополя у каменницы—все это создавало особенное настроеніе. Я намѣревался вступитъ въ сношенія съ другимъ міромъ, но страха не было. Можетъ быть, потому, что сношенія были отчасти дѣловыя.

Пройдя нѣсколько разъ по двору, я сталъ шептать молитвы: „Отче нашъ“ и „Богородицу“, чувствуя, однако, что это еще не то, и что въ нихъ ничего не говорится собственно о крыльяхъ. Я только старался, чтобы обращеніе „Отче нашъ“ направлялось къ кому-то живому и сознательному. Сначала это было трудно, и я просто говорилъ молитву за молитвой, какъ бы только подготавливаясь къ чему-то (я уже слышалъ, что въ важныхъ случаяхъ нужно сказать „десять отче нашъ и десять богородицъ“)... Наконецъ, чувствуя, что душа настроилась, я остановился въ углу двора и посмотрѣлъ на небо.

Въ первый разъ меня поразило величіе сіяющаго небеснаго свода... Луна стояла надъ крышей каменнаго дома, но ея свѣтъ не затмевалъ звѣздъ. Онѣ горѣли, мерцали, переливались разными цвѣтами торжественно и тихо, и вся синяя бездна, казалось, жила и дышала. Впослѣдствіи глаза у меня стали слабѣе, и эта необычайная красота теперь живетъ въ моей душѣ лишь яркимъ воспоминаніемъ этой ночи. Но тогда я отчетливо видѣлъ всѣ эти звѣзды, различалъ ихъ перемѣнные цвѣта и, главное, ощутилъ взволнованной дѣтской душой *глубину* этой бездны и безконечное число ея живыхъ огней, уходящихъ въ какую-то невѣдомую, таинственную синюю даль...

И когда я опять произнесъ „Отче нашъ“, то молитвенное настроеніе затопило душу приливомъ какого-то особеннаго чувства: передо мною какъ будто раскрылась трепетная жизнь этой огненной безконечности, и вся она съ бездонной синевой

и безчисленными огнями съ какой-то сознательной лаской смотрѣла съ высоты на глупаго мальчика, стоявшаго съ поднятыми глазами въ затѣненномъ углу двора и просившаго себя крыльевъ... Въ живомъ выраженіи трепетно-мерцающаго свода мнѣ чудилось безмолвное общаніе, ободреніе, ласка...

Отбросивъ заученныя молитвы, я изложилъ свое желаніе—имѣть два крыла, хорошихъ, настоящихъ, какъ у птицъ или ангеловъ. Совсѣмъ или только на время, чтобы хоть разъ наяву подняться въ эту чудесную, манящую высь... А потомъ я могу, пожалуй, положить крылья на то же мѣсто. О дальнѣйшемъ не думалось: всѣ мысли устремились къ одному:—взлетѣть надъ городомъ, видѣть внизу огоньки въ домахъ, гдѣ люди сидятъ за чайными столами и ведутъ обычные разговоры, не имѣя понятія о томъ, что я вошусь надъ ними въ озаренной таинственной синевѣ и гляжу оттуда на ихъ жалкія крыши.

Радостный я сталъ глядѣть въ небо, ожидая, что оттуда, сначала какъ двѣ легкія пушинки, появятся крылья. Небо попрежнему горѣло, дышало и ласково глядѣло на меня. Но синева была пуста.

Тогда я подумалъ, что глядѣть не надо: таинственное явленіе совершится проще,—крылья будутъ лежать на томъ мѣстѣ, гдѣ я молился. Поэтому я рѣшилъ ходить по двору и опять прочитать „десять отче нашъ и десять богородицъ“. Такъ какъ главное было сдѣлано, то молитвы я теперь опять читалъ механически, отсчитывая одну за другой и загибая пальцы. При этомъ я сбился въ счетъ и прибавилъ на всякій случай еще по двѣ молитвы... Но крыльевъ на условленномъ мѣстѣ не было...

Я опять ходилъ по двору и молился, назначая новыя мѣста, въ самыхъ затѣненныхъ уголкахъ: подъ топодемъ, у садовой калитки, около колодца... Я проходилъ во всѣ эти углы безъ малѣйшаго страха, хотя тамъ было темно и пусто.

Между тѣмъ, дворъ совсѣмъ опустѣлъ, люди, разговаривавшіе въ тѣни домовъ, ушли, а черезъ нѣкоторое время поужинавшіе конюхи прошли спать въ свои конюшни. Гости, сидѣвшіе у насъ въ тотъ вечеръ, тоже стали расходиться, при чемъ послѣдняя группа еще нѣкоторое время стояла на крыльцѣ, разговаривая и смѣясь. Потомъ и они прошли по двору и исчезли въ переулокъ. Въ нашихъ освѣщенныхъ окнахъ появилась фигура горничной, закрывавшей одно окно за другимъ. Потомъ вышелъ лакей Гандыло и сталъ запираеть ставни. Онъ просовывалъ снаружи желѣзные болты,

кричалъ: ну! — и сердился, что горничная изнутри не скоро задвигаетъ ихъ маленькими желѣзными чеками... Потомъ онъ потянулся и зѣвнулъ продолжительно, вкусно, широко разинувъ пасть.

Мое настроеніе падало. Я чувствовалъ, что мать меня сейчасъ хватится и пошлетъ разыскивать, такъ какъ братья и сестры, навѣрное, уже спятъ. Нужно бы еще повторить молитву, но... усталость быстро разливалась по всему тѣлу, ноги начали ныть отъ ходьбы, а главное,—я чувствовалъ, что уже сомнѣваюсь. Значить, ничего не выйдетъ.

На крыльцѣ появилась фигура горничной и дѣйствительно позвала меня спать.

— Сейчасъ, — отвѣтилъ я и опять лихорадочно обошелъ дворъ. Вотъ тамъ... Или нѣтъ,—вотъ гдѣ,—мелькало у меня въ мозгу, и я лихорадочно метался отъ одного угла къ другому.

Разочарованный, съ разбитыми членами я, наконецъ, прошелъ въ свою комнату и угрюмо раздѣлся. Но только дремота обвѣяла разгоряченную голову,—я вдругъ сѣлъ на кровати, точно меня толкнули подъ бокъ. Я ушелъ... именно тогда, когда весь дворъ опустѣлъ и раскрылся для всякой тайны. И уже спустились крылья. Я даже знаю, куда именно. Какъ это ни странно, я какъ будто видѣлъ ихъ въ довольно таки грязномъ углу между сараемъ и заборомъ. Я вскочилъ и въ одной рубашонкѣ пробрался въ корридоръ. Прислуга еще не снала. Горничныя убирали послѣ гостей. Гандыло на кухнѣ ужиналъ, громко чавкая и шлепая толстыми губами. Дверь была открыта, и я вышелъ на крыльцо.

Луна зашла за крышу каменнаго дома, и весь дворъ измѣнился. Онъ потемнѣлъ, похолодѣлъ, сталъ безцвѣтнѣе и какъ бы задремалъ. Выраженіе неба тоже было другое: звѣзды попрежнему мерцали и нереливались, но теперь уже не обращали вниманія на меня, стоявшаго въ одной рубашонкѣ на заднемъ крыльцѣ, а какъ будто говорили другъ съ другомъ о чемъ-то, совсѣмъ до меня не относящемся. Впечатлѣніе было такое, какъ будто огромное собраніе, на короткое время занявшееся моимъ дѣломъ, теперь перешло къ обсужденію другихъ дѣлъ, гораздо болѣе важныхъ, таинственныхъ и непонятныхъ... И теперь уже нѣтъ надежды вернуть его вниманіе. Звѣздная ночь стала холодна, важна, неприступна, сурова. И прохладный вѣтеръ недружелюбно обвѣялъ мои голыя ноги.

Усталый, съ холодомъ въ душѣ я вернулся въ комнату и сталъ па колѣни въ своей кровати, чтобы сказать обычные

молитвы. Говорилъ я ихъ неохотно, машинально и наскоро... Въ серединѣ одной изъ молитвъ въ усталомъ мозгу, отчетливо, ясно, точно кто шепнулъ въ ухо, встала совершенно посторонняя фраза: „Богъ...“ Кончалась она обычнымъ дѣтскимъ ругательствомъ, какимъ обыкновенно мы обмѣнивались съ братомъ, когда бывали чѣмъ-нибудь недовольны. Я вздрогнулъ отъ страха. Очевидно, я теперь пропащій мальчишка. Обругалъ Бога...

Среди этой душевной сумятицы я крѣпко заснулъ.

Не помню, какіе выводы я сдѣлалъ на слѣдующій день изъ этой неудачи. Очень вѣроятно, что не сдѣлалъ никакихъ, а просто, отдохнувъ за ночь, отдался новымъ впечатлѣніямъ новаго дня. Но съ этихъ поръ и я, какъ отецъ, часто начиналъ молитву, мучительно повторяя: „Отче... Отче... Отче...“— пока воображеніе не попадало въ горячую струю. Часто это бывало очень трудно: ощущеніе живого личнаго Бога не давалось, а иной разъ усилія бывали такъ мучительны, что на лбу у меня появлялся потъ, а на глазахъ—слезы. Я напрягалъ воображеніе, но передъ нимъ продолжала стоять безличная, безконечная пустота, не будившая никакихъ откликовъ въ сердцѣ. И опять въ неясную и мутную молитву отчетливо, выпукло, звонко врывалась кошунственная фраза... Мнѣ приходило въ голову, что это—продѣлка дьявола. Впрочемъ, эта мысль меня не пугала. Пожалуй, наоборотъ,—такъ какъ въ такомъ случаѣ вина снималась съ меня и переносилась на одного изъ проказниковъ-чертенятъ, знакомыхъ по патику. Внутреннее сознаніе, что это во мнѣ самомъ, было мучительнѣе. Чтобы отъ него избавиться, я то старался начать молитву внезапно и кончить ее поскорѣе, то переставалъ молиться совсѣмъ.

И каждый разъ эта томительная борьба въ пустомъ пространствѣ повторялась въ періоды религіозной экзальтаціи...

VII.

Уляницкій и „купленные мальчики“.

Каждое утро, въ „суторынахъ“ ^{*)}, то есть въ угловой комнатѣ подвального этажа хозяйской „каменицы“, въ опредѣленный часъ происходило неизмѣнно одно и то же явленіе. Сначала вздрагивалъ желѣзный засовъ ставни, и кто-то выдавливалъ изнутри болтъ, которымъ ставни запирались на ночь. Желѣзная полоса, какъ живая, отодвигалась, потомъ падала со звономъ, и тогда чья-то рука черезъ форточку

*) Souterrains—подвальный этажъ.

окончательно раздвигала ставни. Послѣ этого и самое окно, приходившееся вровень съ землей, раскрывалось, и въ немъ появлялась голова человѣка въ ночномъ колпакѣ.

Это былъ жилецъ, старый холостякъ, панъ Уляницкій. Онъ высовывалъ свой острый профиль, какъ бы передразнивавшій портретъ Наполеона III, съ испанской бородкой и горбатымъ носомъ, и кидаль тревожный взглядъ на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убѣдившись въ этомъ, панъ Уляницкій опять нырять въ свою комнату, и вскорѣ на подоконникѣ появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка въ ночномъ колпакѣ, въ пестромъ халатѣ, изъ-подъ котораго виднѣлось нижнее бѣлье и туфли на босую ногу. Кинувъ еще быстрый взглядъ кругомъ и прикрывая что-то полой халата, онъ шмыгалъ за уголъ, направляясь на задній дворъ, откуда вскорѣ возвращался тѣмъ же порядкомъ.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главнымъ образомъ къ нашему дому: онъ не хотѣлъ, чтобы его видѣла въ утреннемъ неглиже одна изъ моихъ тетокъ, которую онъ иной разъ провожалъ въ костель. Надъ теткой посмѣивались, поздравляя ее съ женихомъ. Надъ Уляницкимъ тоже смѣялись, называя его по-польски „мартовскимъ кавалеромъ“, и передавали, будто онъ поднесъ теткѣ десятокъ гнилокъ-грушъ въ бумажномъ тюричкѣ и двѣ грошовыхъ конфеты. Фигура Уляницкаго въ этотъ утренній часъ бывала, дѣйствительно, очень непрезентабельна: халатъ былъ замызганный и рванный, туфли стоптаны, бѣлье грязно, а усы растрепаны.

Нырнувъ опять въ свою комнату, панъ Уляницкій принимался приводить себя въ порядокъ. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процессъ бритья, положительно напоминавшій священнодѣйствіе. Мы пользовались правомъ, освященнымъ обычаемъ, стоять въ это время снаружи, у открытаго окна, при чемъ иной разъ изъ-за насъ заглядывало еще личико сестры. Панъ Уляницкій ничего не имѣлъ противъ этого и только, приступая къ бритью, предупредялъ насъ, чтобъ мы вели себя смирно, такъ какъ малѣйшее нарушеніе порядка въ эту важную минуту угрожаетъ опасностью его жизни.

Мы свято исполняли этотъ договоръ и въ критическій моментъ, когда панъ Уляницкій, взявъ себя за копчикъ носа и выпятивъ языкомъ щеку, осторожно обходилъ бритвой усы или подбривалъ бородку около горла,—мы старались даже затанъ дыханіе, пока онъ не вытиралъ въ послѣдній разъ бритву и не убиралъ приборъ. Послѣ этого онъ умывался,

неистово теръ нею и щеки полотенцемъ, пудрился, фикса-туариль и вытягиваль кончики усовъ и затѣмъ скрывался за ширму. Черезъ четверть часа онъ появлялся оттуда неузнаваемый, въ сиреневыхъ короткихъ брючкахъ, въ лакированныхъ ботинкахъ, въ свѣтломъ жилетѣ и синемъ сюртукѣ съ закругленными фалдочками. Лицо у него тоже было какъ будто одѣто: измятость и морщины исчезали. Его появленіе въ такомъ обновленномъ видѣ всегда производило на насъ сильнѣйшее впечатлѣніе, и ему это было пріятно. Иной разъ, застегивая на послѣднюю пуговицу свой аккуратный сюртучокъ, онъ взглядываль на насъ съ замѣтнымъ самодовольствомъ и говорилъ:

— А? Ну? Что? Какъ?

Наши отношенія съ паномъ Уляницкимъ въ это время были наилучшія. Мы знали, что онъ—„старый холостякъ“ и „мартовскій кавалеръ“, что это смѣшно, особенно послѣднее, потому что напоминаетъ котовъ, жалобно завывающихъ въ мартѣ на крышахъ. Панъ Уляницкій, будто бы, ухаживаль за каждой барышней, съ которой знакомился, и отовсюду получаль отказы. Самъ онъ тоже казался смѣшнымъ со своей козлиной бородкой и тонкими ножками, въ короткихъ узенькихъ брючкахъ. Но все это было безобидно, а процессъ ежедневнаго обновленія вызываль не только понятное любопытство, но и нѣкоторое почтительное удивленіе. Каждый разъ это казалось намъ маленькимъ чудомъ, и вполнѣдствіи, когда я впервые прочиталь о превращеніяхъ бога Озириса,—въ моемъ воображеніи внезапно ожило воспоминаніе объ утреннихъ перерожденіяхъ Уляницкаго.

Однако, со временемъ наши отношенія съ „мартовскимъ кавалеромъ“ радикально испортились...

Въ одинъ прекрасный день онъ нашель не совсѣмъ удобнымъ для своей жениховской репутаціи, что у него нѣтъ прислуги, вслѣдствіе чего онъ долженъ самъ подметать комнату и ежедневно путешествовать съ таинственнымъ предметомъ подъ полой халата.

Въ виду этого онъ наняль себѣ въ услуженіе мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, „лани Рымашевская“, по прозванію баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про нее говорили вообще, что это не баба, а Иродъ. А сынъ у нея былъ смиренный мальчикъ съ блѣднымъ лицомъ, изрытымъ оспой, страдавшій при томъ же изнурительной лихорадкой. Скупой, какъ кащей, Уляницкій дешево уговорился съ нею, и мальчикъ поступилъ въ „суторыны“.

Закончилось это большимъ скандаломъ: въ одинъ прекрасный день баба Люба, уперевъ руки въ бока, ругала Уляницкаго на весь дворъ и кричала, что она свою „дыгуну“ не дастъ въ обиду, что учить, конечно, можно, но не такъ... Вотъ посмотрите, добрые люди: исполосовалъ у мальчика всю спину. При этомъ баба Люба такъ яростно задрала у Петрика рубашку, что онъ завизжалъ отъ боли, какъ будто у нея въ рукахъ былъ не ея сынъ, а самъ Уляницкій.

Послѣдній сидѣлъ въ своей комнатѣ, не показываясь на крики сердитой бабы, а на слѣдующее утро опять появился на подоконникѣ съ таинственнымъ предметомъ подъ полой. Намъ онъ объяснилъ во время одѣванія, что Петрикъ — скверный, скверный, скверный мальчишка. И мать у него подлая баба... И что она дура, а онъ, Уляницкій, „достанетъ себѣ другого мальчика, еще лучше“. Онъ сердился, повторялъ слова, и его козлиная бородачка вздрагивала очень выразительно.

Вскорѣ онъ уѣхалъ на время въ деревню, гдѣ у него былъ живъ старикъ отецъ, а когда вернулся, то за нимъ пріѣхалъ цѣлый возъ разныхъ деревенскихъ продуктовъ, и на возу сидѣлъ мальчикъ лѣтъ 10—11, въ коротенькой курточкѣ, съ смуглымъ лицомъ и круглыми глазами, со страхомъ глядѣвшими на незнакомую обстановку... Съ этого дня мальчикъ поселился въ комнатѣ Уляницкаго, убиралъ, приносилъ воду и ходилъ въ ресторацію съ судками за обѣдомъ. Звали его Мамертомъ или, уменьшительно, Мамерикомъ, а скорѣ на дворъ стало извѣстно, что это сирота и при томъ крѣпостной, котораго не то подарилъ Уляницкому отецъ, не то онъ самъ купилъ себѣ у какого-то помѣщика.

Я рѣшительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности „купить мальчика“ вызвала во мнѣ какой-нибудь сознательный протестъ или негодованіе. Явленія жизни и воспринималъ тогда довольно безразлично. Я видѣлъ, что люди бываютъ старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищіе, и все это, какъ я уже говорилъ, казалось мнѣ „извѣчнымъ“. Это были просто первичные факты, готовые явленія природы. Такимъ же фактомъ явилось и то, что есть на свѣтѣ мальчики, которыхъ можно купить. Но, во всякомъ случаѣ, это обстоятельство дѣлало новаго пришельца предметомъ интереснымъ, такъ какъ мы видѣли разныхъ мальчиковъ, а купленныхъ мальчиковъ еще не видѣли на разу. И что-то неясное при этомъ всетаки шевелилось въ душѣ.

Знакомство съ купленнымъ мальчикомъ завязать было трудно. Даже въ то время, когда палъ Уляницкій уходилъ

въ свою должность, его мальчишкѣ сидѣть влаеть, выходя лишь за самыми необходимыми дѣлами вынести соръ, припести воды, сходить съ судками за обѣдомъ. Когда мы при случаѣ подходили къ нему и заговаривали, онъ глядѣлъ волчкомъ, пугливо потуплялъ свои черные круглые глаза и старался поскорѣе уйти, какъ будто разговоръ съ нами представлялъ для него опасность.

Мало-по-малу, однако, сближеніе начиналось. Мальчишкѣ пересталъ опускать глаза, останавливался, какъ будто соблазнившись заговорить, или улыбался, проходя мимо насъ. Наконецъ, однажды, встрѣтившись съ нами за угломъ дома, онъ поставилъ на землю грязное ведро, и мы вступили въ разговоръ. Началось, разумѣется, съ вопросовъ объ имени, „сколько тебѣ лѣтъ“, „откуда прѣѣхалъ“ и т. д. Мальчишкѣ спросилъ въ свою очередь, какъ насъ зовутъ, и... попросилъ кусокъ хлѣба.

Скоро мы стали пріятелями. Уляницкій возвращался всегда въ опредѣленное время, какъ заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить въ его комнату, не опасаясь, что онъ насъ застанетъ. Мы узнали при этомъ, что нашъ ежедневно обновляющійся сосѣдь въ сущности очень злой скаредъ и мучитель. Онъ не кормитъ Мамерика, а только отдаетъ ему выливать пустые судки и грызть корки хлѣба, и уже два раза усилъ его больно выдраги безъ всякой вины. Чтобы мальчишкѣ не сидѣть даромъ и не баловался съ разными вистельниками („урвисами“, — мы догадались, что подъ этимъ лестнымъ названіемъ Уляницкій разумѣлъ насъ), онъ задаетъ ему урокъ: щипать перья для подушекъ, и нащипанные перья продаетъ еврейкамъ. Мы приносили Мамерику хлѣбъ, который онъ съѣдалъ съ большою жадностью.

И пугливые взгляды печальныхъ, черныхъ глазъ, и грустное выраженіе его смуглаго лица, и рассказы, и жадность, съ какою онъ накидывался на приносимую нами пищу, — все это внушало намъ какое-то захватывающее, острое сочувствіе къ купленному мальчику и злобу противъ его владыки, которая въ одно утро и прорвалась наружу.

Бѣдняга Мамерикъ чѣмъ-то провинился, и уже наканунѣ его томило предчувствіе, что панъ его непременно побьетъ. На утро Уляницкій вышелъ изъ-за ширмы не съ обычнымъ самодовольнымъ блескомъ, а съ какимъ-то загадочнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Онъ былъ безъ сюртука, а руки держалъ назадъ. Остановившись у ширмы, онъ позвалъ Мамерика, приказалъ ему подать что-то. Но какъ только мальчишкѣ робко приблизился, Уляницкій съ быстротою кошки схватилъ его,

нагнулъ, зажалъ голову въ свои колѣни, спустилъ штанишки, и въ воздухъ засвистѣлъ пучокъ розогъ. Мамерикъ отчаянно завизжалъ и забился.

Въ нашей семьѣ нравы вообще были мягкіе, и мы никогда еще не видѣли такой жестокой расправы. Я думаю, что, по силѣ впечатлѣнія, теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству развѣ внезапное на моихъ глазахъ убійство человѣка. Мы за окномъ тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уляницкаго, требуя, чтобы онъ пересталъ бить Мамерика. Но Уляницкій только больше входилъ въ азартъ; лицо у него стало свѣршное, глаза были вынучены, усы свирѣпо торчали, и розга то и дѣло свистѣла въ воздухѣ.

Очень вѣроятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тутъ случилось неожиданное для насъ обстоятельство: у Уляницкаго на окнѣ были цвѣточные горшки, за которыми онъ ухаживалъ очень старательно. Ближе всѣхъ стояла любимая его резеда. Но внезапному вдохновенію, наша маленькая сестренка схватила резеду и кинула ее вмѣстѣ съ горшкомъ на полъ. Горшокъ разбился, земля съ цвѣткомъ выпала. Панъ Уляницкій на мгновеніе остолбенѣлъ, потомъ оставилъ Мамерика, и не успѣли мы опомниться, какъ его бѣшеное лицо появилось на подоконникѣ. Мы подхватили сестренку подъ руки и пустились бѣжать къ своему крыльцу, гдѣ и успѣли, чувствуя себя безопасными въ своихъ предѣлахъ. Панъ Уляницкій дѣйствительно остановился недалеко отъ своего окна и, спрятавъ розгу за спину,—сталъ насъ подзывать сладкимъ голосомъ, обѣщая дать намъ на мировую по конфеткѣ... Но хитрость была слишкомъ прозрачна, и мы оставались на мѣстѣ, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы...

Въ этотъ самый день, или вообще въ ближайшее время послѣ происшествія, мы съ матерью и съ теткой шли по улицѣ въ праздничный день, и къ намъ подошелъ панъ Уляницкій. Онъ былъ одѣтъ по всегдашнему шеголеватому, ботинки его сверкали ослѣпительнымъ блескомъ, концы усовъ торчали, какъ двѣ проволоки, и съ пеглицѣ сюртучка былъ цвѣтокъ. У меня при его появленіи немного дрогнуло сердце, такъ какъ я былъ увѣренъ, что онъ пожалуется матери на нашъ дебошъ. Къ нашему величайшему удивленію, онъ не только не пожаловался, но еще, взявъ кого-то изъ насъ за подбородокъ, сталъ фальшиво сладкимъ голосомъ расхваливать передъ матерью „милыхъ дѣтокъ“, съ которыми онъ живетъ въ большой дружбѣ.

Этотъ неудачный маневръ, во-первыхъ, внушилъ намъ

большое презрѣніе, а во-вторыхъ, вселилъ увѣренность, что по какимъ-то причинамъ Уляницкій скрываетъ отъ матери происшедшее между нами столкновеніе. А скрываетъ—значитъ признаетъ себя виновнымъ. Съ этой стороны мы почувствовали себя вполне обезпеченными, и у насъ началась съ Уляницкимъ формальная война.

Дѣти проявляютъ иной разъ удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются. У пана Уляницкаго было много странностей: онъ былъ феноменально скупъ, не выносилъ всякой перестановки предметовъ въ комнатѣ и на столѣ и боялся рѣжущихъ орудій.

Однажды, когда онъ весь погрузился въ процессъ бритья и, взявъ себя за кончикъ носа, выпятилъ языкомъ подбриваемую щеку, — старшій братъ отодвинулъ черезъ форточку задвижку окна, осторожно спустился въ комнату и открылъ выходную дверь. Обезпечивъ себя такимъ образомъ отступленіе, онъ сталъ исполнять среди комнаты какой-то дикій танецъ: прыгалъ, кривлялся, вскидывалъ ноги выше головы и кричалъ дикимъ голосомъ: „Гопъ, шленъ, тана-на“...

Стоя за окномъ, мы съ ужасомъ ожидали, что будетъ. Къ нашему величайшему изумленію, злополучный кавалеръ оставался на мѣстѣ. На его лицѣ не дрогнулъ ни одинъ мускулъ, онъ такъ же тщательно держалъ себя за кончикъ носа, подбривая усы, и такъ же выпячивалъ языкомъ щеки. Тогда, видя, что процедура бритья находится только въ началѣ, и прервать ее Уляницкій не намѣренъ, мы съ младшимъ братомъ тоже спустились въ комнату и присоединились къ неистовой пляскѣ. Это было какое-то дѣтское бѣшенство: лѣзли на полъ стулья, платье съ вѣшалокъ, щетки и щеточки. Испуганный Мамертъ смотрѣлъ на это свѣтопреставленіе бессмысленно выпученными круглыми глазами... Одинъ панъ Уляницкій сохранялъ полнѣйшую невозмутимость, задернутый по шею салфеткой, съ бритвой въ рукѣ и съ глазами, скопченными на маленькое зеркальце... И только со всегдашнею тщательностью докончивъ бритье и осторожно положивъ бритву въ футляръ, онъ внезапно сорвался съ мѣста и ринулся къ розгѣ. Старшій братъ шмыгнуть въ открытую дверь, а мы двое кинулись, какъ испуганныя кошки, къ окну. Я былъ уже на подоконникѣ, когда розга просвистѣла надъ самымъ моимъ ухомъ и небольшою скользнула вдоль спины...

Съ этихъ поръ панъ Уляницкій, садясь бриться, тщательно закрывалъ окно. Но рамы были старыя, а задвижки прилажены плохо. Увидѣвъ, что Уляницкій уже приступилъ къ бритью, мы смѣло подходили къ окну, дергали форточку и

тонкими дранками, просунутыми въ щель, сбрасывали крючки. Чѣмъ это объяснить,—я не знаю,—вѣроятно, боязнью рѣзущихъ орудій: разъ привившись за бритву, Уляницкій уже не могъ прервать труднаго дѣла до конца. При нашихъ разбойничьихъ попыткахъ проникнуть въ его святилище,—онъ только косить одинъ глазъ, и на его застывшемъ лицѣ проступало выраженіе тревожной тоски. Когда намъ удавалось открыть задвижку, окно съ шумомъ распахивалось, и въ комнатѣ стараго кавалера начиналась пляска дикарей.

Въ одно утро панъ Уляницкій опять появился на подоконникѣ съ таинственнымъ предметомъ подъ иолой халата, а залѣмъ, подойдя къ нашему крыльцу и какъ-то особенно всматриваясь въ наши лица, онъ сталъ увѣрять, что въ сущности онъ очень, очень любитъ и насъ, и своего милаго Мамерика, которому даже хочетъ сшить новую синюю куртку съ мѣдными пуговицами, и просить, чтобы мы обрадовали его этимъ извѣстемъ, если гдѣ-нибудь случайно встрѣтимъ.

Оказалось, что куленый мальчикъ исчезъ.

Въ тотъ же день вечеромъ младшій братъ таинственно вызвалъ меня изъ комнаты и повелъ въ сарай. Въ сараѣ было темно, но братъ смѣло пошелъ впередъ и, остановившись на серединѣ, свистнулъ. Сначала все было тихо, потомъ что-то зашевелилось въ углу, среди дровъ, и къ намъ вышелъ Мамерикъ. Оказалось, что онъ устроилъ себѣ между кладью дровъ и стѣнкой что-то вродѣ норы и живетъ здѣсь уже двое сутокъ. Онъ говорилъ, что жить „яичего, можно“, только хочется ѣсть, и по ночамъ сначала было страшно. Теперь привыкъ. На наше сообщеніе о любви Уляницкаго и курточкѣ,—онъ отвѣтилъ рѣшительно:

— Не пойду. Лучше утоплюся у крыницъ.

Съ этихъ поръ у насъ явилась своя тайна. По вечерамъ мы приносили Мамерика ѣсть и вмѣстѣ выходили гулять въ укромныхъ уголкахъ двора... У насъ установилсь условные сигналы и цѣлая система конспираціи. Это продолжалось еще нѣсколько дней, пока мать не замѣтила нашихъ многозначительныхъ перешептываній. Она разспросила насъ обо всемъ и рассказала отцу. Въ мальчикѣ приняли участіе старшіе, и панъ Уляницкій вызывался для какихъ-то объясненій даже „наверхъ“, къ хозяйкѣ, пани Коляновской. Нравы на нашемъ дворѣ были довольно патриархальные, и всѣмъ казалось естественнымъ, что хозяйка-домовладѣлица вызываетъ жильца для объясненій, а можетъ быть, и для внушенія. Мы тщательно хранили тайну убѣжища, такъ какъ крѣпко забожились, что не выдадимъ ея „никому на свѣтъ“. Поэтому, когда „на-

верху“ были выработаны съ Уляницкимъ условія капитуляціи, то переговоры велись черезъ насъ. Мамерикъ, наконецъ, по-рѣшилъ сдаться, а власть Уляницкаго была общественнымъ мнѣніемъ ограничена. Всему двору было извѣстно, что царица Коляновская угрозила Уляницкому „выгнать его изъ суртаны“.

Черезъ нѣкоторое время, однако, онъ и самъ куда-то внезапно уѣхалъ. Купленный мальчикъ исчезъ навсегда гдѣ-то въ широкомъ невѣдомомъ мірѣ, и дальнѣйшая судьба его намъ осталась неизвѣстна.

Разъ только намъ показалось, что мы встрѣтили, если не его, то его двойника.

Какъ-то дѣломъ появилась въ узкомъ переулокѣ новая личность. Это былъ мальчикъ, въ возрастѣ Мамерика, съ такимъ же смуглымъ лицомъ и круглыми черными глазами. Но при внимательномъ разсмотрѣніи оказалось, что ни походка его, ни все поведеніе имало не наминають нашего скромнаго и робкаго прителя. Одѣтъ онъ былъ въ новую короткую синюю курточку, съ двумя рядами круглыхъ металлическихъ шариковъ, въ узкія синія брюки со штрипками внизу и въ большіе, хорошо начищенные сапоги. На головѣ у него была круглая шапочка безъ козырька, надѣтая совершенно на бекрень, по казацки.

Замѣтивъ, что мы съ величайшимъ любопытствомъ смотримъ на него, уткнувшись лицами между балсами палисадника, незнакомецъ внезапно сталъ на ходу продѣлывать какія-то удивительныя штуки. Поги онъ ставилъ такъ, какъ будто онѣ у него вовсе не сгибались въ колѣняхъ, руки скруглялъ, такъ что онѣ казались двумя калачами, голову вздернулъ вверхъ и глядѣлъ на насъ съ величайшимъ презрѣніемъ черезъ плечо, очевидно, гордись недавно надѣтымъ новымъ костюмомъ и, можетъ быть, подражая манерамъ кого-нибудь изъ старшей дворянской дворни. Онъ весь сверкалъ и наслаждался я, кромѣ того, былъ увѣренъ, что мы совершенно подавлены его великолѣпиемъ и сгораемъ отъ зависти. Поэтому, исполнивъ какое-то порученіе въ конюшнѣ, онъ опять прошелъ мимо насъ, вывертывая ноги и играя поясницей, потомъ вернулся, какъ будто что забылъ, и прошелъ еще разъ. Все это показалось намъ обидно, и одинъ изъ насъ сказалъ:

— Дуракъ!

Мальчикъ плюнулъ и отвѣтилъ:

— Свинья!

Мой братъ поднялъ тонъ діалога на цоту выше:

— Сволочь!

Но мальчикъ видимо зналъ всѣ формы пыскашаго обращенія и тотчасъ же возразилъ:

— Я сволочь, царю помочь, а ты самъ каторжанъ.

Мы почувствовали, что незнакомецъ остается побѣдителемъ. Но въ это время къ мальчику подошелъ быстрыми шагами взрослый человекъ въ дикрейномъ фракѣ съ широкими длинными фалдами. Походка его тоже была нѣсколько развильная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчикъ подражалъ именно его движеніямъ: ноги его тоже плохо сгибались, а руки скруглялись въ локтяхъ. Онъ окликнулъ мальчика и, едва тотъ повернулся, какъ подошедшій ожогъ его рѣзкой, сильной и внезапной пощечиной. Мальчикъ завылъ отъ боли и схватился рукой за щеку, а тотъ ударилъ по другой щекѣ и сказалъ:

— Пошелъ! Тебя зачѣмъ послали?..—И толкнулъ его сильно въ шею.

Всякое непріятное чувство къ незнакомому мальчишкѣ въ насъ мгновенно испарилось, смѣнившись острой жалостью. Мы рассказали объ этомъ происшествіи матери и отцу, думая, что и на этотъ разъ опять послѣдуетъ внимательство, какъ и въ дѣлѣ Мамерта. Но отецъ объяснилъ намъ, что мальчикъ-казачекъ принадлежитъ незнакомымъ людямъ, пріѣхавшимъ погостить къ нашимъ сосѣдямъ, и что тутъ ничего сдѣлать невозможно...

Мы поджидали послѣ этого новаго появленія мальчика, готовые встрѣтить его, какъ пріятели. Но онъ не выходилъ, и вскорѣ мы увидѣли его въ послѣдній разъ на высокихъ колесахъ коляски, въ которую усаживалась семья какихъ-то вахпыхъ господъ... Тутъ были и дѣти, очень чистенькія и нарядныя, но насъ болыпе всего интересовалъ нашъ знакомецъ. Онъ былъ въ той же курточкѣ и въ той же шапочкѣ на бекрень, но уже не было въ немъ замѣтно прежняго великолѣпія. Онъ какъ будто избѣгалъ смотрѣть на насъ, но, когда огромный рыдванъ тронулся, онъ повернулъ къ намъ свои черные глаза, опять удивительно напомнившіе намъ Мамерика, и, какъ бы украдкой дружжелюбно кивнулъ головой.

Мы долго провожали взглядами уѣзжавшую карету, пока она не мелькнула послѣдній разъ на гребнѣ шоссе. Вхавшія въ каретѣ нарядныя дѣти казались мнѣ какими-то непріятными и холодными, а за незнакомымъ казачкомъ, съ которымъ мы только и успѣли обмѣняться ругательствами, — пошло въ невѣдомую даль ощущеніе жгучаго сочувствія и близости.

Еще одно воспоминаніе изъ крѣпостного строя.

Одно время служилъ у отца кучерь Іохимъ, человекъ небольшого роста, съ смуглымъ лицомъ и очень свѣтлыми усами и бородкой. У него были глубокіе и добрые синіе глаза, и онъ прекрасно игралъ на дудкѣ. Онъ былъ какой-то удачливый, и всѣ во дворѣ его любили, а мы, дѣти, такъ и липли къ нему, особенно въ сумерки, когда онъ садился въ конюшнѣ на свою незатѣйливую постель и бралъ свою дудку.

У Коляновской была любимая горничная, дворовая дѣвушка Марья. Я тогда былъ плохой цѣнитель женской красоты, помню только, что у Марьи были густыя черныя брови, точно нарисованныя, и черныя же, жгучіе глаза. Іохимъ полюбилъ эту дѣвушку, и она полюбила его, но, когда моя мать по просьбѣ Іохима пошла къ Коляновской просить отдать ему Марью, то властная барыня очень разсердилась, чуть ли не заплакала сама, такъ какъ и она, и ея двѣ дочери „очень любили Марью“, взяли ее изъ деревни, осыпали всякими благодареніями и теперь считали, что она неблагодарная... Исторія эта тянулась что-то около двухъ-трехъ мѣсяцевъ. Разказывали у насъ на кухнѣ, что Іохимъ хотѣлъ самъ „идти въ крѣпаки“, лишь бы ему позволили жениться на любимой дѣвушкѣ, а про Марью говорили, что она съ каждымъ днемъ „марніе и сохве“, и, пожалуй, наложить на себя руки.

Однажды я забрался на высокую густую грушу. Подъ грушей, въ затѣненной части сада стояла скамья, и на эту скамью пришла Марья. Я съ удивленіемъ услышалъ, что она плачетъ, и не то бормочетъ что-то, не то поетъ. Потомъ подошелъ Іохимъ и какъ-то робко и вмѣстѣ ласково хотѣлъ обнять дѣвушку за талію. Она рѣзко оттолкнула его и заплакала сильнѣе. Онъ сталъ утѣшать ее, увѣряя, что его „пани“ (моя мать) уприситъ таки Коляновскую, и все будетъ хорошо. Но Марья продолжала плакать и то сама порывисто обнимала Іохима, то принималась упрекать и гнать его, увѣряя, что она умретъ, повѣсится, зарѣжется, утопится въ криницѣ и вообще—покончитъ жизньъ всевозможными способами. Я съ простодушнымъ дѣтскимъ любопытствомъ слушалъ, притаившись въ густыхъ вѣтвяхъ, проявленія этихъ незнакомыхъ мнѣ еще бурныхъ чувствъ.

Кончилось все это совершенно благополучно. Коляновская, въ сущности, была женщина властная, но очень добрая и, согласившись, наконецъ, уступить свою любимицу,—дала ей приданое и устроила на свой счетъ свадьбу. Осенью пришли во дворъ молодые съ „музыками“, а на посыпанной пескомъ площадкѣ двора Іохимъ со „свахами и дружинами“ отплясывалъ такого казачья, какого я уже никогда не видывалъ впо-

слѣдствіи. Послѣ этого молодые поселились въ собственной хаткѣ надъ Тетеревомъ, и мы часто заходили къ нимъ, отправляясь кунаться. Хатка стояла на склонѣ, вся въ зелени, усыпанной яркими цвѣтами высокой мальвы, и воспоминаніе объ этомъ уголкѣ и объ этой счастливой царѣ осталось въ моей душѣ свѣтлымъ пятнышкомъ, обвѣяннымъ своеобразной поэзіей.

И только впоследствіи раскрылся передо мной внутренній смыслъ и жестокая неправда, служившіе фономъ и началомъ для этой крѣпостной идилліи, которая могла кончиться со-всѣмъ иначе.

VIII.

„Щось буде“.

Я пишу не исторію своего времени. Я просто всматриваюсь въ туманное прошлое и заново вереницы образовъ и картинъ, которые сами выступаютъ на свѣтъ, задѣваютъ, освѣщаютъ и тинуть за собой близкія и родственныя воспоминанія. Я стараюсь лишь объ одномъ: чтобы ясно и отчетливо облечь въ слово этотъ непосредственный матеріалъ памяти, строго ограничивая лукавую работу воображенія...

Въ октябрѣ 1858 года, т. е. когда мнѣ было 5 лѣтъ, въ Житомиръ пріѣзжалъ молодой царь Александръ II.

Городъ дѣлалъ къ этому пріѣзду торжественныя приготовления, и на площади, около костела отцовъ бернардиновъ была выстроена огромная триумфальная арка. Мы смотрѣли се наканунѣ, при чемъ это дочатое сооруженіе поразило меня своей громадностью и странностью, какъ будто ненужностью среди площади. Затѣмъ мнѣ смутно вспоминаются толпы народа, страшный гулъ человѣческихъ голосовъ и что-то невидимое, промчавшееся гдѣ-то въ глубинахъ этого человѣческаго моря, послѣ чего народъ, точно вдругъ обезпамятѣвшій, ринулся къ центру города. Всѣ говорили, что это проѣхалъ царь.

Гораздо отчетливѣе сохранилось впечатлѣніе вечерней иллюминаціи. Я помню длинныя вереницы огней, протинувшіяся къ площади, гдѣ надъ всѣмъ высилась огромная арка, пылавшая, какъ костеръ. Толпы людей передвигались внизу, какъ черные потоки, а вверху было еще болѣе черное небо. По временамъ гдѣ-то поднимались крики „ура“, которые подхватывались, крѣпли, проносились по улицамъ вдаль, перекатываясь огромнымъ сплошнымъ гуломъ. Я крѣпко ухватился за чью-то юбку, меня толкали, и прислуга съ трудомъ выводила насъ изъ толпы. Мать встрѣтила насъ перенуганная и сердилась на прислугу. Потомъ отецъ въ мундирѣ и при шпагѣ, а мать въ нарядномъ платьѣ куда-то уѣхали...

Намъ приказано было ложиться, но спать мы не могли. Жили мы въ тихомъ, туномъ переулкѣ, но, не смотря на это, изъ города къ намъ проникалъ какой-то заглушенный гулъ, и возбужденіе просачивалось въ нашу спальню. Когда старая нянька убрала у насъ свѣчку и поставила ее за стѣной въ сосѣдней комнатѣ, то тамъ показалось, что въ щели ставней видно зарево. Мы перебрались на одну кровать, у самаго окна, и дѣлились у стекло, заглядывая въ эти щели. прислушиваясь къ шуму и дѣлаясь своими впечатлѣніями, надъ которыми, какъ огненная арка надъ городомъ, властно стояло одно значительное слово: царь!

Старшій братъ былъ, конечно, наиболѣе изъ насъ сѣдущій. Онъ знаетъ, во-первыхъ, относившюся къ случаю пѣсню:

Бѣдилъ бѣлый русскій царь,
Православный государь,
Отъ земли своей далеко
Славы добывать...

Пѣсня намъ правилась, но объяснила мало. Братъ прибавилъ еще, что царь ходитъ весь въ золотѣ, бѣтъ золотыми ложками съ золотыхъ тарелокъ и, главное, „все можетъ“. Можетъ придти къ намъ въ комнату, взять, что захочетъ, и никто ему ничего не скажетъ. И этого мало: онъ можетъ любого человѣка едѣлать генераломъ и любому человѣку отрубить саблей голову или приказать, чтобы отрубили, и сейчасъ отрубятъ... Потому что царь „имѣетъ право“...

Царь уѣхалъ, но отголоски его посѣщенія долго еще составляли значительное содержаніе нашей жизни.

У насъ былъ далекій родственникъ дядя Петръ, человѣкъ уже пожилой, высокій, довольно полный, съ необыкновенно живыми глазами, гладко выбритымъ лицомъ и острыми усами. Когда онъ поводилъ кончиками усовъ, мы хохотали до слезъ, а когда онъ говорилъ, то хохотали часто и вслухъ; вообще это былъ человѣкъ съ установившеюся репутаціей остряка. Послѣ царскаго проѣзда онъ разсказалъ нѣсколько анекдотовъ. Мнѣ особенно запомнился одинъ: передъ самымъ царскимъ проѣздомъ полиція замѣтила въ боковой улицѣ корову. Когда будочники кинулись на нее, она смертельно испугалась, когда же раздались крики „ура!“, то корова пришла въ совершенное изступленіе и бросилась въ толпу, раскидывая людей рогами. Такимъ образомъ она, будто бы, пробила себѣ путь до пустого пространства, оставленнаго для проѣзда царя, и попала туда какъ разъ въ то мгновеніе, когда промчалась царская карета. Корова ринулась прямо за каретой и торжественно прибыла къ губер-

наторскому дому, а за нею два запыхавшіяся, на смерть запуганные подчаска.

На меня рассказъ произвелъ странное впечатлѣніе... Царь и вдругъ—корова... Вечеромъ мы разговаривали объ этомъ происшествіи въ дѣтской и гадали о судьбѣ бѣдныхъ подчасковъ и владѣльца коровы. Предположеніе, что имъ всѣмъ отрубили головы, казалось намъ довольно правдоподобнымъ. Хорошо ли это, не жестоко ли, справедливо ли,—эти вопросы не приходили въ голову. Было что-то огромное, промчавшееся, какъ буря, и въ серединѣ этого царь, который „все можетъ“... Что значитъ передъ этимъ судьба двухъ подчасковъ? Хотя, конечно, жалко...

Должно быть, въ это время уже шли толки объ освобожденіи крестьянъ. Дядя Петръ и еще одинъ знакомый высказывали однажды сомнѣніе, можетъ ли „самъ царь“ сдѣлать все, что захочетъ, или не можетъ.

— Николай—на что ужъ царь быть... все передъ нимъ дрожало... А чѣмъ кончилось?

Отецъ отвѣчалъ обыкновенной своей поговоркой:

— Толкуй большою съ подѣбаремъ... Захочетъ и сдѣлаетъ...

Прошелъ годъ, другой. Толки шли все шире. Въ тихую жизнь какъ бы воцѣлилась какая-то заноза, порождавшая смутную тревогу и окрашивавшая особеннымъ оттѣнкомъ всѣ событія. А тутъ случилось знаменіе: громъ ударилъ въ „старую фигуру“.

Я уже говорилъ о ней. Это былъ большой крестъ съ распятіемъ, стоявшій въ саду нашего сосѣда пана Добровольскаго, на перекресткѣ нашего переулка и двухъ другихъ улицъ, среди кустовъ акаціи, бузины и калины, буйно разросшихся у его подножія. Говорили, будто владѣльцу этой усадьбы не давали спать покойники, чуть не ежедневно провозимые на польское и лютеранское кладбища, въ защиту отъ нихъ онъ и воздвигъ „фигуру“. Было это давно; съ тѣхъ поръ и самого владѣльца провезли по той же песчаной дорогѣ; „фигура“ обвѣтрѣла, почернѣла, потрескалась, покрылась все разноцвѣтными лишаями и вообще приобрѣла видъ почтенной дремлющей старости... Кому случилось хоть разъ хоронить близкаго или знакомаго человѣка, тотъ навсегда запоминалъ темное, старое распятіе, торжественно высившееся у самаго поворота на кладбище, и вся окружающая мѣстность получила отъ него свое названіе. о насъ какъ и говорили, что мы живемъ въ домѣ Коляновскихъ, „около старой фигуры“.

Одной ночью разразилась сильная гроза. Еще съ вечера надвинулись со всѣхъ сторонъ тучи, которыя зловѣще толклись на мѣстѣ, кружились и сверкали молніями. Когда стемнѣло, молніи, не переставая, слѣдовали одна за другой, освѣщая, какъ днемъ, и дома, и поблѣднѣвшую зелень сада, и старую фигуру. Обманутые этимъ свѣтомъ, воробьи проснулись и своимъ недоумѣлымъ чириканьемъ усиливали нависшую въ воздухѣ тревогу, а стѣны нашего дома то и дѣло вздрагивали отъ раскатовъ, при чемъ оконныя стекла послѣ ударовъ тихо и жалобно звенѣли...

Насъ уложили, но мы не спали, робко прислушиваясь къ шумнымъ крикамъ грозы и испуганному чириканью воробьевъ, и глядя въ щели ставень, вспыхивавшія синими отсвѣтами огня. Уже глубокой ночью гроза какъ будто начала смиряться, раскаты уносились въ даль, и только ровный ливень одинъ шумѣлъ по крышамъ... Какъ вдругъ, гдѣ-то совсѣмъ близко, грянулъ одинокій ударъ, отъ котораго заколыхалась земля... Въ домѣ началась тревога, мать поднялась съ постели, сняли изъ-за иконы и зажгли большую восковую свѣчу „громницу“. И долго въ домѣ не ложились, съ жуткимъ чувствомъ ожидая какого-то особеннаго Божьяго гнѣва... На утро мы встали поздно, и первое извѣстіе, которое намъ сообщили, состояло въ томъ, что этотъ послѣдній ночной громъ разбилъ „старую фигуру“...

Весь нашъ дворъ и кухни были, конечно, полны разказами объ этомъ замѣчательномъ событіи. Свидѣтелемъ и очевидцемъ его былъ одинъ только будочникъ, жившій у самой фигуры. Онъ видѣлъ, какъ съ неба слетѣла огненная змѣя и съѣла прямо на фигуру, которая вспыхнула вся до послѣдней дощечки. Потомъ раздался страшный трескъ, змѣя перепорхнула на старый пенъ, а фигура медленно склонилась въ зелень кустовъ...

Когда мы съ братьями поѣжали въ конецъ переулка, — тамъ уже была цѣлая толпа народа. Фигура была сломана. Расщепленное основаніе все еще довольно высоко торчало въ воздухѣ, а изъ густой примятой зелени кустовъ и деревьевъ виднѣлись опаленныя плечи съ распятіемъ. Картина была полна какого-то особеннаго значенія. Повременамъ придавленная тяжестью зелень подавалась, трещала какая-нибудь вѣтка, и верхушка „фигуры“, какъ живая, вздрагивала и опускалась книзу. Тогда не только мы, дѣти, но, кажется, и вся толпа смолкала въ суетврномъ страхѣ...

Въ тотъ годъ у насъ служилъ кучеръ Петру, человѣкъ уже старій, ходившій въ бараньемъ кожухѣ лѣто и зиму.

Лицо у него было морщинистое, а тонкія губы подь небольшими усами сохраняли выраженіе какой-то необъяснимой горечи. Онъ былъ необыкновенно молчаливъ, никогда не принималъ участія въ толкахъ и пересудахъ дворян и не выпускалъ изо рта глиняной „люльки“, въ которой помѣшивалъ иногда горящій табакъ прямо заскорузымъ мизинцемъ. Мнѣ кажется, что именно онъ первый сказалъ, глядя на сломанную фигуру:

— Гмъ... Щось воно буде...

Съ этихъ поръ эта фраза на нѣкоторое время становится фономъ моихъ тогдашнихъ впечатлѣній, отчасти, можетъ быть, потому, что за гибелью „фигуры“ послѣдовало и другое однородное происшествіе.

Въ одной деревнѣ стала являться мара... Верстахъ въ сорока отъ нашего города, за густымъ, почти непрерывнымъ лѣсомъ, отъ котораго, впрочемъ, теперь, быть можетъ, остались жалкіе слѣды,—лежитъ мѣстечко Чудновъ. Въ лѣсу были разсыяны сторожки и хаты лѣсниковъ, а кое-гдѣ надъ лѣсной рѣчущкой были и цѣлыя поселки.

Не помню, у кого именно изъ нашей прислуги, чуть ли не у Петра, были въ этихъ мѣстахъ родные, прїѣзжавшіе порой въ нашъ городъ. Должно быть, они-то и привезли извѣстіе о томъ, что въ одномъ изъ лѣсныхъ поселковъ около Чуднова стало съ нѣкотораго времени появляться привидѣніе... Появлялось оно, разумѣется, ночью, за рѣчкой, противъ слободки—высокое, бѣлое. Въ огромной головѣ свѣтились два огненныхъ глаза, изо рта пыхало пламя. Выступивъ внезапно на кручѣ, мара стояла противъ слободки, наводя на всѣхъ ужасъ, и кричала замогильнымъ голосомъ:

— Ой, щось буде, о-о-о-ой...

Послѣ этого глаза потухали, и мара исчезала.

Впослѣдствіи отецъ, въ то время, кажется, бывший судебнымъ слѣдователемъ и разѣзжавшій по уѣзду, вернувшись изъ одной поѣздки, рассказалъ конецъ этой исторіи. По его словамъ, черезъ слободку проходилъ билетный или отставной солдатъ, который рѣшился избавить народъ отъ мараы. Для этого за сравнительно дешевое вознагражденіе водкой,—онъ переправился въ сумеркахъ за рѣчку и притаился подь кручей. Когда, въ обычный часъ, высокая фигура съ огненными глазами стала на обычномъ мѣстѣ, то всѣ, конечно, считали отчаяннаго солдата погибшимъ. Но вотъ, при первыхъ же звукахъ злобщаго воя,—вдругъ произошла какая-то возня, изъ головы мараы посыпался снопъ искръ, и сама она исчезла, а солдатъ, какъ ни въ чемъ не бывало, черезъ нѣкоторое

время закричать лодку... Впрочем, онъ ничего не рассказывал испуганнымъ жителямъ, а только увѣрилъ, что „большаго ничего не буде“...

Отецъ далъ намъ свое объясненіе таинственнаго событія. По его словамъ, глухихъ людей пугалъ какой-то мѣстный „гультай“,—поповскій племянникъ, который становился на ходули, драпировался простынями, а на голову надѣвалъ горшокъ съ углями, въ которомъ были продѣланы отверстія въ видѣ глазъ и рта. Солдатъ будто бы схватилъ его снизу за ходули, отчего горшокъ упалъ, и изъ него посыпались угли. Шалунъ заплатилъ солдату за молчаніе...

Намъ очень нравилось это юмористическое объясненіе, побѣждавшее ужасное представленіе о воюющемъ привидѣніи, и мы впоследствии часто просили отца вновь рассказывать намъ это происшествіе. Рассказъ кончался веселымъ смѣхомъ... Но это трезвое объясненіе на кухнѣ не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія. Кухарка Будзинская, а за ней и другіе объяснили дѣло еще проще: солдатъ и самъ знался съ нечистою силой, онъ по-пріятельски столковался съ „марой“, и нечистый ушелъ въ другое мѣсто.

И потому мораль всего эпизода оставалась въ прежней силѣ:
— Такой шокъ буде...

Потомъ стали толковать о какихъ-то „золотыхъ грамотахъ“, которыя появлялись нивѣсть откуда, на дорогахъ, въ поляхъ, на заборахъ, будто „отъ самого царя“, и которымъ вѣрили мужики, а паны не вѣрили, мужики осмѣливались, а паны боялись... Затѣмъ грянула поразительная исторія о „рогатомъ попѣ“...

Исторія эта состояла въ слѣдующемъ: мужикъ пахалъ поле и выпахалъ желѣзный казанокъ (котелъ) съ червонцами. Онъ тихошко принесъ деньги домой и зарылъ въ саду, не говоря никому ни слова. Но потомъ же утергѣлъ и довѣрилъ тайну своей бабѣ, взявъ съ нея клятву, что она никому не расскажетъ. Баба, конечно, забожилась всѣми внутренностями, но вынести тяжесть нераздѣленной тайны была не въ силахъ. Поэтому она отравилилась къ попу и, когда тотъ разрѣшилъ ее отъ клятвы,—выболтала все на духу.

Попъ оказался жадный и хитрый. Онъ убилъ и ободралъ молодого бычка, надѣлъ на себя его шкуру съ рогами, при чемъ попадня кое-гдѣ зашила его витками, пошелъ въ полночь къ хатѣ мужика и постучалъ рогами въ оконце. Мужикъ выглянулъ и обомлѣлъ. На другую ночь случилось то же, только на этотъ разъ чортъ высказалъ категорическое требованіе: „віддай мои гроши“...

Мужикъ очень испугался и передъ третьей ночью выкопалъ котелокъ и принесъ въ хату. Когда чертъ опять явился во своимъ требованіемъ, мужикъ, по его приказу, открылъ оконце и повѣсилъ котелокъ на жальзіное ухо на рога своего страннаго гостя...

Цопъ радостно прибѣжалъ къ своей попадѣ и, наклонивъ рога, сказалъ: „снимай гроши“. Но когда попадья захотѣла снять котелокъ, то оказалось, что онъ точно приросъ къ рогамъ и не поддавался. „Ну, такъ разрѣжь повъ и сними съ козачи“. Но в тутъ, какъ только попадья стала возницамъ рѣзать шовъ,—цопъ закричалъ не своимъ голосомъ, что она рѣжетъ ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипѣли къ котлу, котелъ приросъ къ рогамъ, а бычья кожа—къ поцу...

Разумѣется, какъ все необычайное, дѣло „дошло до царя“, онъ посовѣтовался съ стариками, и рѣшили, что пона надо водить по всей землѣ, по городамъ и селамъ, и ставить на площадяхъ. И чтобы все люди подходили и пробовали снять,—потому что кладъ, должно быть, разбойничій или заклятый. Разбойники, вѣрно, убили челоуѣка и зарыли деньги въ землю, или кто-нибудь „знающій“ закопалъ съ заговоромъ. И если, можетъ, найдутся наслѣдники того, чьи это деньги по правдѣ,—то котелокъ такому челоуѣку отдастся и снимется съ рога, а съ пона сойдетъ бычья шкура.

Отецъ самъ разсказалъ намъ, смѣясь, эту исторію и прибавилъ, что вѣрить этому только дураки, такъ какъ это просто старая сказка, но простой, темный народъ вѣрилъ, и кое-гдѣ уже полиція разгоняла толпы, собиравшіяся по слухамъ, что къ нимъ ведутъ „рогатаго попа“. На кухнѣ у насъ слѣдили за цоповскимъ маршрутомъ: передавали совершенно точно, что цопъ побывалъ уже въ Петербургѣ, въ Москвѣ, въ Кіевѣ, даже въ Бердичевѣ и что теперь его ведутъ къ намъ...

Мы съ младшимъ братомъ колебались между вѣрой и сомнѣніемъ, однако, у насъ теперь явилось новое занятіе. Мы взбирались на высокіе столбы забора на углу переулка и глядѣли впередъ въ перспективу шоссе. Такъ мы просиживали цѣлые часы, неподвижно, иногда запасшись домями хлѣба, и глядѣли въ пыльную даль, слѣдя за каждымъ появившимся пятнышкомъ. Какая-то неотвязная инерція ожидания держала насъ въ этомъ неудобномъ положеніи на солнопекѣ—до головной боли. Иной разъ и хотѣлось уйти, но изъ-за горизонта въ узкомъ просвѣтѣ шоссе, у кладбища, то и дѣло появлялись какія-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами, но на смѣну

выкатывались другія, и опять казалось: а вдругъ это и есть то, чего всѣ ждутъ.

Разъ кто-то крикнулъ во дворѣ: „ведуть!“ Поднялась кутерьма, прислуга выбѣгала изъ кухни, бѣжали горничныя, конюха, бѣжали сосѣди изъ переулка, а на перекресткѣ гремѣли барабаны и слышался гулъ. Мы съ братомъ тоже побѣжали.... Но оказалось, что это везли для казни на высокой гелѣгѣ арестанта...

Эта глупая сказка смѣшалась съ паденіемъ фигуры, съ марой и вообще попала въ настроеніе ожиданія: „Щось буде!“ Что именно будетъ,—неизвѣстно... Золотыя грамоты, бунты мужиковъ, убійства, рогатый носъ... вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое,—безформенное... Одни вѣрили въ одно, другіе—въ другое, но всѣ чувствовали, что идетъ на застоявшуюся жизнь что-то новое, и всякая мелочь встрѣчалась тревожно, боязливо, чутко... Отъ дѣтскаго впечатлѣнія неподвижности всего существующаго міра не осталось къ этому времени и слѣда. Наоборотъ, я чувствовалъ, что не только мой маленькій мірокъ, но и вся даль, за предѣлами двора, города, даже гдѣ-то въ „Москвѣ и Петербургѣ“— и ждетъ чего-то, и тревожится этимъ ожиданіемъ...

Газета тогда въ глухой провинціи была рѣдкость, гласность замѣнялась слухами, толками, догадками, вообще— „превратными толкованіями“. Гдѣ-то въ верхахъ готовилась реформа, грядущее кидало свою тѣнь, проникавшую глубоко въ толпу общества и народа; въ этой тѣни вставали и двигались призраки, фономъ жизни становилась неувѣренность. Крупныя черты будущаго были невѣдомы, мелочи выросли въ крупныя событія.

Тогда же черезъ нашъ городъ повели телеграфную линію. Сначала привезли ровные свѣжіе столбы и уложили штабелями на извѣстныхъ разстояніяхъ по улицамъ. Потомъ нарыли ямы, и одна изъ нихъ пришлась какъ разъ на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы.. Потомъ столбы уставили въ ямы и затѣмъ на телѣжкахъ привезли большіе мотки проволоки. Чиновникъ въ свѣженькомъ телеграфномъ мундирѣ распоряжался работами, а рабочіе влѣзали по лѣсенкамъ на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитыхъ въ столбы крючьяхъ, натягивали проволоки. Натянувъ ихъ въ одномъ мѣстѣ, они перекатывали телѣжку и сами переходили дальше къ слѣдующему промежутку, и къ вечеру въ воздухѣ параллельными линіями протянулись уже три или четыре проволоки, и столбы уносили ихъ вдаль по длинной перспективѣ шоссе. Работники очень торопились, не

останавливая работы и почью. На слѣдующее утро они были уже далеко за заставой, а черезъ нѣсколько дней говорили, что проволока доведена до Бродовъ и соединена съ заграничной... Въ городѣ же остался трупъ: съ столба сорвался рабочій, попалъ подбородкомъ на крюкъ, и ему разрѣзало голову...

Я не помню, чтобы когда-нибудь въ послѣдствіи мнѣ доводилось слышать такой сильный звонъ телеграфа, какъ въ эти первые дни. Въ особенности вспоминается одинъ ясный вечеръ. Въ нашемъ переулкѣ было какъ-то особенно тихо, рокотъ экипажей по мощенымъ улицамъ города тоже стихалъ, и оттого яснѣе выступалъ непривычный звонъ... Становилось какъ-то жутко слушать этотъ несмолкающій, ровный, непонятный крикъ мертваго желѣза, протянувагося въ воздухѣ откуда-то изъ невѣдомой столицы, гдѣ „живетъ царь“... Солнце совсѣмъ зашло, только промежъ дальнихъ крышъ, въ сторонѣ польскаго кладбища, еще тлѣла на небѣ огненно-багровая полоска. А проволока, холодѣя, кричала все громче, наполняя воздухъ своими стонущими воплями.

Потомъ, вѣроятно, проволоку подтянули, и гулъ сталъ не такъ громокъ: въ обыкновенные невѣтренные дни телеграфъ только тихо позванивалъ, какъ будто крики смѣнились смутнымъ говоромъ.

Въ эти первые дни можно было часто видѣть любопытныхъ, приставлявшихъ уши къ столбамъ и сосредоточенно слушающихъ. Тогдашняя молва опередила задолго открытіе телефоновъ: говорили, что по проволокѣ разговариваютъ, а такъ какъ ее вели до границы, то и явилось естественное предположеніе, что это нашъ царь будетъ разговаривать о дѣлахъ съ иностранными царями.

Мы съ братомъ тоже подолгу простаивали подъ столбами. Когда я въ первый разъ прислонилъ ухо къ дереву,—меня поразило разнообразіе этихъ текучихъ звуковъ. Это былъ уже не одинъ ровный и неглубокій металлическій звонъ; казалось,—цѣлая звуковая рѣка переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной разъ воображеніе ловило что-то вродѣ отдаленнаго говора.

Въ одинъ прекрасный день этотъ говоръ, наконецъ, былъ переведенъ на обыкновенную рѣчь. Кто-то принесъ на нашу кухню извѣстіе, что отставной чиновникъ Попковъ уже разобралъ „разговоръ по телеграфу“. Чиновникъ Попковъ представлялся необыкновенно свѣдущимъ человѣкомъ; онъ былъ выгнанъ со службы неизвѣстно за что, но въ знакъ своего прежняго званія носилъ старый мундиръ съ форменными

пуговицами, а въ ознаменованіе теперешнихъ бѣдствій—ноги его были иной разъ въ дилтихъ. Онъ былъ очень низокъ ростомъ, съ уродливо большой головой и необыкновеннымъ лбомъ. Проявлялся онъ писаніемъ просьбъ и жалобъ. Въ качествѣ „завѣдомаго ибедника“ ему это было воспрещено, но тѣмъ большимъ довѣріемъ его „бумаги“ пользовались среди простаго народа: думали, что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, съ которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь онъ, однако, влачилъ бѣдственную, и въ трудныя минуты, когда другіе источники изсякали, онъ бралъ шутовствомъ и фокусами. Одинъ изъ этихъ фокусовъ состоялъ въ томъ, что онъ разбивалъ лбомъ волоскіе орѣхи.

И вотъ, говорили, что именно этотъ человѣкъ, котораго и со службы-то прогнали потому, что онъ слишкомъ много знаетъ,—сумѣлъ подслушать секретные разговоры нашего царя съ иностранными, преимущественно съ французскимъ Наполеономъ. Иностранцы требовали отъ нашего, чтобы онъ... отпустилъ всѣхъ людей на волю. При этомъ Наполеонъ говорилъ громко и гордо, а нашъ отвѣчалъ ему ласково и тихо *).

Кажется, это была первая вполнѣ уже ясная форма, въ которой я слышалъ о предстоящемъ освобожденіи крестьянъ. Тревожное, неуловимое предсказаніе чудновской мари— „щось буде“—облевалось въ опредѣленную идею: царь хочетъ отнять у помещиковъ крестьянъ и отпустить на волю...

Хорошо это или плохо?

Если бы я писалъ беллетристическій разсказъ, то мнѣ было бы очень соблазнительно связать этотъ вопросъ съ судьбой описанныхъ выше двухъ „купленныхъ мальчиковъ“... Выходило бы такъ, что я, еще ребенокъ, изъ сочувствія къ моему пріятелю, находящемуся въ рабствѣ у пана Уляницкаго, всей душою призываю реформу и молюсь за добраго царя, который хочетъ избавить всѣхъ купленныхъ мальчиковъ отъ злыхъ Уляницкихъ... Это бы очень хорошо рекомендовало мое юное сердце и давало бы естественный поводъ для эффектныхъ картинъ: въ глухомъ городѣ неисторченное дѣтское чувство несетъ навстрѣчу доброму царю и народной свободѣ...

*) Легенду о вмѣшательствѣ иностранныхъ державъ въ дѣло освобожденія я слышалъ еще, много лѣтъ спустя, въ Арзамасскомъ уѣздѣ Нижегород. губ.

Но, увы! — вглядываясь въ живыя картины, выступающія для меня теперь изъ тумана прошлаго, я рѣшительно вижу себя вынужденнымъ отказаться отъ этого аффектнаго мотива. Не знаю, право, какъ это случилось... Можетъ быть, просто потому, что дѣти слишкомъ сильно живутъ непосредственными впечатлѣніями, чтобы устанавливать между ними тѣ или другія широкія связи,—но только я какъ-то совсѣмъ не помню связи между намѣреніями царя относительно всѣхъ крестьянъ и всѣхъ помѣщиковъ—и ближайшей судьбой, на примѣръ, Маме-рика и другого безъимяннаго нашего знакома. И потому я не могъ тогда чувствовать, что надвигающееся освобожденіе хорошо...

Да и впечатлѣнія были сбивчивы и смутны. На кухнѣ у насъ, сколько могу припомнить, ничего хорошаго не ждали,—можетъ быть, потому, что составъ ея былъ до извѣстной степени аристократическій. Кухарка была „пани“ Будзинская, комнатная горничная „пани Хумбва“, женщина съ тонкими изящными чертами лица, всегда говорившая по-польски. лакей Гандыло, конечно, очень бы обидѣлся, если бы его назвали мужикомъ. Изъ всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзинская сохраняли деревенскую одежду и головы появлялись кичками, но и у нихъ видъ уже былъ не деревенскій. Только кучеръ Петро, въ своемъ вѣчномъ кожухѣ и тяжелыхъ чоботахъ съ отвернутымъ внизу голенищами, имѣлъ обликъ настоящаго мужика. Но онъ былъ человекъ очень молчаливый, все только курилъ и сплевывалъ, не высказывая никакихъ общихъ сужденій. Лицо его оставалось постоянно суровымъ, загадочнымъ и мрачнымъ...

Человѣкъ, вообще, мѣряетъ свое положеніе сравненіемъ. Всему этому кругу жилось недурно подъ мягкимъ режимомъ матери, и по вечерамъ въ нашей кухнѣ, жарко нагрѣтой и густо насыщенной запахомъ жирнаго борща и теплаго хлѣба,—собиралась компанія людей, въ общемъ довольныхъ судьбой... Трещалъ сверчокъ, тускло горѣлъ салныи каганчикъ „на прыпичку“, жужжало веретено, дились любопытные разговоры, пока кто-нибудь, сытый и разомлввшій, не подымался съ дивана и не говорилъ:

— А такъ поздно... пора и спать...

Среди вечернихъ разсказовъ попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщеній не дѣлалось. Есть на свѣтѣ паны добрые и паны не милостивые. Богъ такихъ наказываетъ и иногда очень жестоко. Но и мужикъ обязанъ знать свое мѣсто, такъ какъ все это установлено Богомъ. На долю этихъ людей Богъ выдѣлилъ сравнительно легкую работу, полную сытость

и не мало досуга въ теплой кухнѣ... То неизвѣстное, что надвигалось на жизнь, представлялось имъ потому отчасти тревожнымъ. „Щось буде“, — но хорошо это или плохо—неизвѣстно. Вообще же—безпокойно...

Это, впрочемъ, было настроеніе и не одной нашей кухни.

Въ одно раннее утро, на нашемъ дворѣ оказалась большая толпа мужиковъ, въ свиткахъ и бараньихъ шапкахъ. Они только что привалили изъ деревни, за плечами у многихъ были берестяныя кошелки или черезъ плечо—холщевыя торбы. Толпа тихо гудѣла, сгрудившись около широкой лѣстницы большого дома, и даже на нѣкоторомъ разстояніи чувствовался тяжеловатый мужицкій запахъ—пота, дегтя и овчины. Вскорѣ сверху, изъ хозяйскаго дома, спустились два старика безъ шапокъ и сказали что-то тревожно двинувшейся къ нимъ толпѣ. Среди мужиковъ раздался общій негромкій какъ будто довольный говоръ, а затѣмъ вся толпа опустила на колѣни: наверху лѣстницы показалась, поддерживаемая паннами-камеристками,—г-жа Коляновская. Это была полная, величавая дама, съ очень живыми, черными глазами, орлинымъ носомъ и весьма замѣтными черными усиками. На верху лѣстницы, высоко надъ колѣнопреклоненной толпой, окруженная своимъ штатомъ, она казалась королевой среди своихъ подданныхъ. Она сказала имъ нѣсколько милостивыхъ словъ, на которыя толпа отвѣтила какимъ-то особенно преданно-радостнымъ гуломъ.

Въ полдень на дворѣ составили нѣсколько столовъ и угощали мужиковъ передъ обратной дорогой...

Изъ разговоровъ старшихъ я узналъ, что это приходили крѣпостные Коляновской изъ отдаленной деревни Сколубова просить, чтобы ихъ оставили по старому— „мы ваши, а вы наши“. Коляновская была барыня добрая. У мужиковъ земли было довольно, а по зимамъ почти все работники расходились на разныя работы. Жилось имъ, очевидно, тоже лучше сосѣдей, и „щось буде“ рождало въ нихъ тревогу,—какъ бы это грядущее неизвѣстное ихъ „не поровняло“.

Въ это же лѣто Коляновскіе взяли меня къ себѣ въ имѣніе. Поѣздка эта осталась у меня въ памяти, точно картинка изъ волшебнаго сна: большой барскій домъ, и не вдалекѣ рядъ крестьянскихъ хатокъ, выглядывавшихъ изъ-за косогора соломенными крышами и бѣлыми мазанными стѣнами. По вечерамъ барскій домъ свѣтился большими окнами, а хатки мерцали какъ-то ласково и смиренно разбросанными въ темнотѣ огоньками. И это казалось такимъ мирнымъ, дружелюбнымъ и согласнымъ... Въ хатахъ жили мужики, тѣ самые,

которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое, — умные и сильные. Въ домѣ—господа, добрые и ласковые. За столомъ у Колиновской собирались дальніе родственники и служащіе, народъ смиренный, услужливый и мягкій. На всемъ лежалъ какой-то особенный отпечатокъ прочно сладившагося быта, безъ противорѣчій и диссонансовъ. Помню, однажды за вечернимъ столомъ появился какой-то заѣзжій господинъ, въ щегольскомъ сюртукѣ, крахмальной сорочкѣ и золотыхъ очкахъ,—фигура, рѣзавшая глазъ своей отчужденностью отъ этого деревенскаго общаго тона. Между прочимъ, онъ сталъ доказывать, что мужики—„быдло“, лѣнтяи, пьяницы и ничего не умѣютъ. Колиновская спокойно возражала: вотъ этотъ домъ, въ которомъ мы сидимъ, и все въ этомъ домѣ до послѣдняго стула сдѣлано ея мужиками. Домъ въ городѣ строили они же, и всемъ распоряжался умный старый мужикъ... Спрашивается: какой заграничный архитекторъ построить прочнѣе и лучше? И бѣдные родственники и официалисты убѣжденно поддакивали, а мнѣнію чужого господина какъ будто некуда было втиснуться въ это законченное и безповоротное убѣжденіе.

Я тоже чувствовалъ, что права Колиновская. Незнакомый деревенскій міръ, міръ сильныхъ, умѣлыхъ и смиренныхъ, — казался мнѣ добрымъ и прекраснымъ въ своемъ смиреніи. По вечерамъ мимо барскаго сада возвращались съ работы парубки и дивчата, въ вѣнкахъ изъ васильковъ, съ граблями и косами на плечахъ и съ веселыми пѣснями... Когда сняли первый снощъ въ полѣ, то принесли его торжественно въ барскій дворъ. Снопъ качался надъ головами парубковъ въ бараньихъ шапкахъ и дѣвушекъ въ вѣнкахъ изъ васильковъ. И казалось, что онъ сознательно принимаетъ молчаливое участіе въ этой радости труда. Это называлось „заявки“. Съ еще большей торжественностью принесли на „дожинки“ послѣдній снощъ, и тогда во дворѣ стояли столы съ угощеніемъ, и парубки съ дивчатами плясали до поздней ночи передъ крыльцомъ, на которомъ сидѣла вся барская семья, радостная, благожелательная, добрая. Потомъ толпа съ пѣснями удалилась отъ освѣщеннаго барскаго дома къ смиреннымъ огонькамъ за косогоромъ, и по мѣрѣ того, какъ пѣвцы расходились по хатамъ,—пѣсня замирала и таяла, пока не угасла совсѣмъ, гдѣ-то въ неидномъ дальнемъ концѣ деревни. И все казалось такъ мирно, прекрасно, цѣльно и ненаруσιμο... И все вспоминается мнѣ, какъ уголокъ крѣпостной идилліи, освѣщенный мягкими лучами заката.

А между тѣмъ, гдѣ-то далеко въ столицахъ судьбы крѣпостного строя уже взвѣшивались, и въ городѣ носилось тре-

возное ожиданіе. „Щось буде“ — кричала чудновская мара. Старая фигура, стоявшая съ незапамятныхъ временъ, вдругъ взяла да упала... Рогатый пошъ ходитъ по городамъ — должно быть передъ концомъ міра... „Щось буде“ — испуганно воевъ телеграфная проволока. На кухнѣ, въѣсто сказокъ о привидѣніяхъ, по вечерамъ повторяются рассказы о „золотыхъ грамотахъ“, о томъ, что мужики не хотить больше быть панскими, что Кармелювъ вернулся изъ Сибири, вырѣжетъ всѣхъ пановъ по селамъ и пойдетъ съ мужиками на городъ. Незвѣдомая страна за предѣлами города представлялась послѣ этихъ рассказовъ темной, угрожающей, освѣщенной краснымъ заревомъ пожаровъ. Въ дѣтскую душу, какъ злобѣщая зарница пѣ-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочемъ, быстро исчезала съ впечатлѣніями ближайшаго яркаго дня...

IX.

„Томка изъ Сандоміра“ и „помѣщикъ Дешертъ“.

Около этого времени я прочиталъ первую толстую книгу и познакомился съ однимъ яркимъ представителемъ крѣпостного строя.

Читатъ всѣ мы выучивались какъ-то незамѣтно. Намъ купили вырѣзную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли къ чтенію неизбѣжнаго „Степкирастрепки“, а затѣмъ мнѣ случайно попалась большая повѣсть польскаго писателя, кажется, Коржеповскаго „Томка изъ Сандоміра“ („Tomek Sandomierzak“). Я началъ разбиратъ ее почти еще по складамъ и постепенно такъ заинтересовался, что къ концу книги читатъ уже довольно бѣгло. Результатомъ этого, можетъ быть, слишкомъ ранняго чтенія, какъ мнѣ кажется, явилось нѣкоторое ослабленіе зрѣнія и значительное расширеніе представленій объ обществѣ и деревнѣ.

Книга мнѣ попалась на первый разъ очень хорошая: въ ней рассказывалось о маленькомъ крестьянскомъ мальчикѣ, сиротѣ, который сначала пасъ стадо. Случайно онъ встрѣтился съ племянницей приходскаго ксендза (proboszcza), своей сверстницей, которая начала учить его грамотѣ и пробудила умственные стремленія. Добрый ксендзъ упросилъ пана отпустить подростка, и тотъ пошелъ въ свѣтъ искать знанія. Въ повѣсти не было ни таинственныхъ приключеній, ни сложной интриги. Просто, реально и тепло авторъ рассказывалъ, какъ Томка изъ Сандоміра пробивалъ себѣ трудную дорогу въ жизни, какъ онъ нанялся въ услуженіе къ учителю въ монастырской школѣ, какъ потомъ получилъ позво-

деніе учиться съ другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, какъ сначала надъ нимъ смѣялись гордые панчи и какъ онъ шагъ за шагомъ обогнѣлъ ихъ и первымъ кончилъ школу. Ему предстоитъ блестящая карьера, но ученый мужикъ возвращается въ деревню, чтобы стать деревенскимъ учителемъ. Здѣсь онъ опять встрѣчаетъ подругу своего дѣтства. Конецъ повѣсти, вѣроятно нѣсколько сентиментальный — вспоминается мнѣ озареннымъ радостью честнаго, хорошаго счастья.

Я и теперь храню благодарное воспоминаніе и объ этой книгѣ, и о польской литературѣ того времени. Въ ней уже билась тогда струя ранняго, пожалуй, слишкомъ наивнаго народничества, которое, еще не затрагивая прямо острыхъ вопросовъ тогдашняго строя, настойчиво проводило идею равенства людей...

За этой повѣстью я просиживалъ цѣлые дни, а иной разъ и вечера, разбирая при сальной свѣчѣ (стеариновыя тогда считались роскошью) страницу за страницей. Помню также, что старшіе не разъ съ ласковымъ пренебреженіемъ увѣряли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тутъ понимать? Я просто *считалъ* все, что описывалъ авторъ: и маленькаго пастуха въ полѣ, и домикъ ксендза среди кустовъ спиреи, и длинные коридоры въ школьномъ зданіи, гдѣ Томка изъ Сандомира торопливо несетъ вычищенные сапоги учителя, чтобы затѣмъ бѣжать въ классъ, и взрослою уже дѣвушку, застѣнчиво встрѣчающую тоже взрослога и „ученаго“ Тому, бывшаго своего ученика.

Знакомство съ деревней, которое я вынесъ изъ этого чтенія, было конечно наивное и книжное. Даже воспоминаніе о деревнѣ Коляновскихъ не дѣлало его болѣе реальнымъ. Но, кто знаетъ—было ли бы оно вѣрнѣе, если бы я въ то время только жилъ среди сутолоки крѣпостныхъ отношеній... Оно было бы только конкретнѣе, но едва ли разумнѣе и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнаетъ себя, пока не посмотрится въ свои болѣе или менѣе идеалистическія (не всегда „идеальныя“) отраженія.

Какъ бы то ни было, наряду съ деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то невѣдомой грозы,—въ моемъ воображеніи существовала уже и другая. А фигура вымышленнаго Томки стала мнѣ прямо дорогой и близкой. Однажды, когда отецъ былъ на службѣ, а мать съ тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворѣ послышалось гарахтѣніе колесъ. Одна изъ тетокъ выглянула въ окно и сказала упавшимъ голосомъ:

— Дешертъ!..

Мать поднялась со своего мѣста и, торопливо убирая зачѣмъ-то работу со стола, говорила растерянно:

— Исусъ, Марія, Святой Іосифъ... Вотъ бѣда... и мужа нѣтъ дома.

Дешертъ былъ помѣщикъ и намъ приходился какъ-то отдаленно сродни. Въ нашей семьѣ о немъ ходили цѣлая легенда, окружавшія это имя грозой и мракомъ. Говорили о страшныхъ истязаніяхъ, которымъ онъ подвергалъ крестьянъ. Дѣтей у него было много, и они раздѣлялись на любимыхъ и нелюбимыхъ. Послѣдніе жили въ людской и, если попадались ему на глаза, — онъ швырялъ ихъ, какъ собаченокъ. Жена его, существо безповоротно забытое, могла только плакать тайкомъ. Одна дочь, красивая дѣвушка съ печальными глазами, — сбѣжала изъ дому. Сынъ застрѣлился...

Все это, повидимому, ни мало не дѣйствовало на Дешерта. Это была цѣльная крѣпостническая натура, не признававшая ничего, кромѣ себя и своей воли... Города онъ не любилъ: здѣсь онъ чувствовалъ какія-то границы, которыя вызывали въ немъ постоянное глухое кипѣніе, готовое ежеминутно прорваться... И это-то было особенно неприятно и даже страшно козневамъ.

На этотъ разъ, сойдя съ брички, онъ категорически объявилъ матери съ первыхъ словъ, что умираетъ. Онъ былъ страшно мнителенъ и при малѣйшемъ недомоганіи ставилъ всѣхъ на ноги. Безъ всякой церемоніи онъ занялъ отцовскій кабинетъ, и оттуда понеслись на весь домъ его стоны, окрики, распоряженія, ругательства. Вернувшись со службы, отецъ засталъ свою комнату заваленною тазами, компрессами, примочками, пузырьками съ лѣкарствомъ. На его постели лежалъ „умирающій“ и то глухо стоналъ, то ругался такъ громко, точно командиръ передъ полкомъ во время ученія... Отецъ пожалъ плечами и подчинился..

Нѣсколько дней, которые у насъ провелъ этотъ оригинальный больной, вспоминаются мнѣ какимъ-то кошмаромъ. Никто въ домѣ ни на минуту не могъ забыть о томъ, что въ отцовскомъ кабинетѣ лежитъ Дешертъ, огромный, страшный и „умирающій“. При его грубыхъ окрикахъ мать вздрагивала и бѣжала, сломя голову. Порой, когда крики и стоны смолкали, становилось еще страшнѣе: изъ-за запертой двери доносился богатырскій хрипъ. Всѣ ходили на цыпочкахъ, мать выслушала насъ во дворъ...

Кончилась эта болѣзнь довольно неожиданно. Однажды отецъ, вернувшись со службы, привезъ съ собой остряка дядю

Петра. Глаза у Петра, когда онъ здоровался съ матерью, смѣялись, усики шевелились.

Свободнымъ голосомъ, какого уже нѣсколько дней не слышно было въ нашей квартирѣ, онъ спросилъ:

— Ну, гдѣ же вашъ больной?

Мать испуганно посмотрѣла на Петра и сказала умоляющимъ голосомъ:

— Радъ Бога... Что вы хотите дѣлать?.. Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, не ходите туда.

Но отецъ, которому все это и надвло, и мѣшало, открылъ свою дверь, и оба вошли въ кабинетъ. Петръ безъ всякихъ предосторожностей подошелъ къ постели и громко сказалъ по-польски:

— Слышалъ, что умираешь! Пришелъ съ тобой проститься...

Больной застоналъ и сталъ жаловаться, что у него колетъ въ боку, что онъ „не имѣетъ желудка“, и вообще чувствуетъ себя совсѣмъ плохо.

— Ну, что дѣлать,—сказалъ Петръ,—я и самъ вижу: умираешь... Всѣ когда-нибудь умремъ. Ты сегодня, а я завтра... Позовите священника, пусть приготовится, какъ слѣдуетъ доброму христіанину.

Дешертъ застоналъ. Петръ отступилъ шага на два и сталъ мѣрять больного глазами отъ головы до ногъ...

— Что ты такъ на меня смотришь? — спросилъ Дешертъ жалобно и ворчливо.

— Ничего, ничего...—успокоилъ его Петръ и, не обращая на него вниманія, дѣловито сказалъ отцу:

— Гробъ, я тебѣ скажу, понадобится. Ой-ой-ой!..

Отъ этихъ словъ Дешерта подкинуло на постели.

— Лошадей!—крикнулъ онъ такъ громко, что его кучеръ тотчасъ же кинулся изъ кухни исполнять приказаніе.

Дешертъ сталъ одѣваться, крича, что онъ умретъ въ дорогѣ, но не останется ни минуты въ домѣ, гдѣ смѣются надъ умирающимъ родственникомъ. Вскорѣ лошади Дешерта были поданы къ крыльцу, и онъ, обвязанный и закутанный, ни съ кѣмъ не прощаясь, усѣлся въ бричку и уѣхалъ. Весь домъ точно посвѣтлѣлъ. На кухнѣ говорили вечеромъ, каково-то у такого пана „людямъ“, и приводили примѣры панскаго безчеловѣчья...

Дешертъ долго не появлялся въ нашемъ домѣ, и только отъ времени до времени доносились слухи о новыхъ его жестокостяхъ въ семьѣ и на деревнѣ.

Прошло, вѣроятно, около года. „Щось буде“ нарастало,

развертывалось, определялось. Отецъ уже работалъ въ какихъ-то „новыхъ комитетахъ“, но о сущности этихъ работъ всетаки говорилось мало и осторожно.

Однажды я сидѣлъ въ гостиной въ какой-то квижкѣ, а отецъ, въ мягкомъ креслѣ, читалъ „Сынъ отечества“. Дѣло, вѣроятно, было послѣ обѣда, потому что отецъ былъ въ халатѣ и въ туфляхъ. Онъ прочелъ въ какой-то новой книжкѣ, что послѣ обѣда спать вредно, и паспловалъ себя, стараясь отвыкнуть; но порой преступный сонъ всетаки захватывалъ его внезапно въ креслѣ. Такъ было и теперь. въ нашей гостиной было тихо, и только по временамъ слышался то шелестъ газеты, то тихое всхрапываніе отца.

Вдругъ въ соседней комнатѣ послышались тяжелые, торопливые шаги, кто-то не просто открылъ, а рванулъ дверь, и на порогѣ появилась худая, высокая фигура Дешерта.

Явился онъ, какъ привидѣніе. Лицо было блѣдное, усы растрепаны, волосы ежомъ, глаза мрачно горѣли. Шагнулъ въ комнату, онъ остановился, потомъ сталъ ходить изъ угла въ уголъ, какъ будто стараясь подавить влохотавшее въ его груди бѣшенство.

Я прижался въ своемъ уголкѣ, стараясь, чтобы онъ меня не замѣтилъ, но вмѣстѣ что-то мѣшало мнѣ выскользнуть изъ комнаты. Это былъ страхъ за отца. Дешертъ былъ огромный и злой, а хромой отецъ казался слабымъ и беззащитнымъ...

Сдѣлавъ нѣсколько быстрыхъ оборотовъ, Дешертъ вдругъ остановился посреди комнаты и сказалъ:

— Слушай! Это, значитъ, всетаки, правда?

— Что?—спросилъ отецъ. Глаза его наблюдали и смѣялись.

Дешертъ нетерпѣливо рванулся и отиѣтилъ:

— А, пусть васъ возьмутъ всѣ черти! Ну, понимаешь, то, о чемъ теперь трубятъ во всѣ трубы. Даже тамъ уже громко разговариваютъ объ этомъ...

Отецъ, все такъ же съ любопытствомъ взглядываясь въ него своими повеселѣвшими глазами, молча кивнулъ головой.

Дешертъ не то застоналъ, не то зарычалъ, опять метнулся по комнатѣ и потомъ, круто остановившись, сказалъ:

— А... вотъ какъ!.. Ну, такъ вотъ я вамъ говорю... Пока они еще мол... Пока вы тамъ сочиняете свои подлые проекты... Я... я...

Онъ остановился, какъ будто злоба мѣшала ему говорить. Въ комнатѣ стало жутко и тихо. Потомъ онъ повернулся къ дверямъ, но въ это время отъ кресла отца раздался сухой стукъ палки о крашеный полъ. Дешертъ оглянулся; я тоже

невольно посмотрѣлъ на отца. Лицо его было какъ будто спокойно, но я зналъ этотъ блескъ его большихъ выразительныхъ глазъ. Онъ сдѣлалъ было усиліе, чтобы подняться, потомъ опустился въ кресло и, глядя прямо въ лицо Дешерту, сказалъ по польски, видимо сдерживая порывъ вспыльчивости:

— Слушай ты... какъ тебя?.. Если ты... теперь... тронешь хоть одного человѣка въ твоей деревнѣ, то, Богомъ клянусь: тебя подъ конвоемъ привезутъ въ городъ.

Глаза у Дешерта стали круглы, какъ у раненой хищной птицы. Въ нихъ видѣлось глубокое изумленіе.

— Кто?.. Кто посмѣеть?—прохрипѣлъ онъ, почти задыхаясь.

— А вотъ увидишь,—сказалъ отецъ, уже спокойно вынимая табакерку. Дешертъ еще немного посмотрѣлъ на него остолбенѣлымъ взглядомъ, потомъ повернулся и пошелъ черезъ комнату. Платье на его худощавомъ тѣлѣ какъ будто обвисло. Онъ даже не стукнулъ выходной дверью и какъ-то необычно тихо исчезъ...

А отецъ остался въ своемъ креслѣ. Подъ разстегнутымъ халатомъ засыпанная табакомъ рубашка слегка колобалась. Отецъ смѣялся своимъ обычнымъ внутреннимъ смѣхомъ нѣсколько тучнаго человѣка, а я смотрѣлъ на него восхищенными глазами, и чувство особенной радостной гордости трепетало въ моемъ юномъ сердцѣ...

Въ комнату вбѣжала мать и спросила съ тревогой:

— Что онъ? Ушелъ? Радъ Бога: что у васъ вышло?

Когда отецъ въ короткихъ словахъ передалъ, что именно вышло, она всплеснула руками:

— Езусъ, Марія!.. Что теперь будетъ!.. Бѣдные люди!..

— Не посмѣеть,—сказалъ отецъ увѣренно.—Не тѣ времена...

Въ связи съ описанной сценой мнѣ вспоминается вечеръ, когда я сидѣлъ на нашемъ крыльцѣ, глядѣлъ на небо и „думалъ безъ словъ“ обо всемъ происходящемъ... Мыслей, словъ, обобщеній, ясныхъ выводовъ не было... „Щось буде“ развѣртывалось въ душѣ вереницей образовъ... Разбитая фигура... мужики Коляновской, мужики Дешерта... его безсильное бѣшенство... спокойная увѣренность отца. Все это, въ концѣ концовъ, по странной логикѣ образовъ, слилось въ одно сильное ощущеніе, до того опредѣленное и ясное, что и до сихъ поръ еще оно стоитъ въ моей памяти.

Незадолго передъ этимъ Коляновской привезли въ ящикѣ огромное фортепiano. Человѣкъ шесть рабочихъ снимали его съ тележки и, когда снимали, то внутри ящика что-то глухо

погромыхивало и звенѣло. Одну минуту, когда его поставили на край и взваливали на плечи, случилась какая-то заминка. Тяжесть, нависшая надъ людьми, дрогнула и, казалось, готова была обрушиться на ихъ головы... Мгновеніе... Спидныя руки сдѣлали еще поворотъ, и мертвый грузъ покорно и пассивно сталъ подыматься на лѣстницу...

И вотъ, въ этотъ тихій вечеръ мнѣ вдругъ почувалось, что гдѣ-то высоко, въ ночномъ сумракѣ, надъ нашимъ дворомъ, надъ городомъ и дальше, надъ деревнями и надъ всѣмъ доступнымъ воображенію міромъ—нависла невидимо какая-то огромная ноша и глухо гремитъ, и вздрагиваетъ, и поворачивается, грозя обрушиться... Кто-то сильный держитъ ее и управляетъ ею, и хочетъ поставить на мѣсто. Удастся ли? Сдержитъ ли? Подыметъ ли, поставитъ?.. Или невѣдомое „чтось буде“ съ громомъ обрушится на весь этотъ извѣстный мнѣ міръ?..

Такъ или иначе—то время справилось со своей задачей. Ноша поставлена на мѣсто, и жизнь твердою волею людей двинута въ новомъ направленіи... Прошло почти полвѣка... И теперь, когда я пишу эти воспоминанія, падъ нашей страной вновь висятъ тяжкія задачи новаго времени, и опять что-то гремитъ и вздрагиваетъ, поднятое, но еще не поставленное на мѣсто. И въ душѣ встаютъ невольныя тревожныя вопросы: хватить ли силы?.. Поднимутъ ли?.. Повернутъ ли?.. Поставятъ ли?.. Гдѣ добрая воля? Гдѣ ясное сознаніе? Гдѣ дружныя усилія и сильныя руки?

Обыкновенно беллетристы, пишущіе о томъ времени, заканчиваютъ апофеозомъ освобожденія. Толпы радостно умиленнаго народа, кадилыный дымъ, благодарная молитва, надежды... Я лично ничего подобнаго не видѣлъ, можетъ быть, потому, что жилъ въ городѣ... Мнѣ, положимъ, вспоминается какое-то официальное торжество—не то по поводу освобожденія, не то объявленіе о завоеваніи Кавказа. Для выслушанія „манифеста“ въ городъ были „согнаны“ представители отъ крестьянъ, и уже наканунѣ улицы переполнились сермяжными свитами. Было много мужиковъ съ медалями, а также много бабъ и дѣтей.

Это послѣднее обстоятельство объяснялось тѣмъ, что въ народѣ прошелъ зловѣщій слухъ: паны взяли верхъ у царя, и никакой опять свободы не будетъ. Мужиковъ согнаютъ въ городъ и будутъ разстрѣливать изъ пушекъ... Въ панскихъ кругахъ, наоборотъ, говорили, что неосторожно въ такое время собирать въ городъ такую массу народа. Толковали объ этомъ

наканунѣ торжества и у насъ. Одеть, по обыкновенію, махаль рукой: „Толкуй больной съ подѣкаремъ!“

Въ день торжества въ центрѣ города на площади квадратомъ были разставлены войска. Въ одной сторонѣ блестяль рядъ мѣдныхъ пушекъ, а напротивъ—выстроились „свободные“ мужики. Они производили впечатлѣніе угрюмой покорности судьбѣ, а бабы, которыхъ полиція оттирала за шпалеры солдатъ, повременамъ то тяжело вздыхали, то принимались голосить. Когда, послѣ чтенія какой-то бумаги, грянули холостые выстрѣлы изъ пушекъ, въ толпѣ послышались истерическіе крики и произошло большое замѣшательство... Бабы подумали, что это начинаютъ разстрѣливать мужиковъ...

Старое время завѣщало новому часть своего печальнаго наслѣдства...

НАЧАЛО УЧЕНІЯ.—ВОЗСТАНІЕ.

Х.

Пансіонъ.

Мнѣ было, кажется, лѣтъ шесть, когда меня отдали въ маленькій польскій пансіонъ пани Окрашевской

Это была добрая женщина, которая выпущена была заниматься педагогіей собственно потому, что ее бросилъ мужъ, оставивъ съ двумя дочерьми на произволъ судьбы. Она дѣлала, что могла: у нея я выучился французскому чтенію и „вокабуламъ“, а затѣмъ она заставила меня вытверживать на польскомъ языкѣ „историческія пѣсни Нѣмцевича“. Мнѣ онѣ нравились, и мой умъ обогатился стихотворными свѣдѣніями изъ польскаго гербовника. Но когда добрая женщина, желая сразу убить двухъ зайцевъ, заставила меня изучать географію по французскому учебнику, то мой дѣтскій мозгъ рѣшительно запротестовалъ. Напрасно она стала уменьшать порціи этихъ полезныхъ знаній, — до полу-страницы, одной четверти, пяти строкъ, одной строки... Я сидѣлъ надъ книгой, на глазахъ моихъ стояли слезы, и опытъ кончился тѣмъ, что я не могъ уже заучить даже двухъ рядомъ стоящихъ словъ...

Вскорѣ послѣ этого я заболѣлъ перемежающеюся лихорадкой, а послѣ болѣзни меня отдали въ большой пансіонъ „пана Рыхлинскаго“, гдѣ уже учился мой старшій братъ.

Это былъ одинъ изъ значительныхъ переломовъ въ моей жизни...

Въ пансіонѣ Окрашевской учились одни дѣти, и я чувствовалъ себя тамъ ребенкомъ. Меня привозили туда по утрамъ, и по окончаніи урока я сидѣлъ и ѣдалъ, пока за мной заѣдетъ кучеръ, или зайдетъ горничная. У Рыхлинскаго учились не только маленькіе мальчики, но и великовозрастные молодые люди, умѣвшіе уже иной разъ закрутить порадочные усики. Часть изъ нихъ училась въ самомъ пансіонѣ, другіе ходили въ гимназію. Такимъ образомъ, я съ гордостью сознавалъ, что впервые становлюсь членомъ нѣкоторой корпораціи.

Послѣ двухъ-трехъ разъ, когда я хорошо узналъ дорогу,—мать позволила мнѣ идти въ пансіонъ одному...

Я отлично помню это первое самостоятельное путешествіе. Въ лѣвой рукѣ у меня была связка книгъ и тетрадей, въ правой—небольшой хлыстъ для защиты отъ собакъ. Въ это время мы перѣхали уже изъ центра города на окраину, и домъ нашъ окнами глядѣлъ на пустырь, по которому бѣгали стаями полу-одичавшія собаки... И шелъ, чувствуя себя такъ, какъ, вѣроятно, чувствуютъ себя въ дѣвственныхъ лѣсахъ охотники. Сжимая хлыстъ, я зорко смотрѣлъ по сторонамъ, ожидая опасности. Еврейскій мальчикъ, бѣжавшій въ ремесленное училище; сапожный ученикъ, съ выпачканнымъ лицомъ и босой, но съ большимъ сапогомъ въ рукѣ; длинный верзила, шедшій съ кнутомъ около воза съ глиной; наконецъ, бродячая собака, пробѣжавшая мимо меня съ опущенной головой,—всѣ они, казалось мнѣ, знаютъ, что я—маленькій мальчикъ, въ первый разъ отпущенный матерью безъ провожатыхъ, у котораго вдобавокъ въ карманѣ лежитъ огромная сумма въ 3 гроша (1½ копѣйки). И я былъ готовъ отразить нападеніе и еврейскаго мальчика, и мальчика съ сапогомъ. Только верзила,—я сознавалъ это.—можетъ меня легко ограбить, а собака могла быть бѣшеная... Но и тотъ, и другая не обратили на меня вниманія.

Наконецъ, я подошелъ къ воротамъ пансіона и остано­вился... Остановился лишь затѣмъ, чтобы продлить ощущеніе особаго наслажденія и гордости, переполнявшей все мое существо. Подобно Фаусту, я могъ сказать этой минутѣ: „Остановись, ты прекрасна!“ Я оглядывался на свою короткую еще жизнь и чувствовалъ, что вотъ я уже какъ выросъ и какое, можно сказать, занимаю въ этомъ свѣтѣ положеніе: прошелъ одинъ черезъ двѣ улицы и площадь, и весь міръ признаетъ мое право на эту самостоятельность...

Должно быть, было что-то особенное въ этой минутѣ, потому что она запечатлѣлась навѣки въ моей памяти и съ

внутреннимъ опущеніемъ, въ съ вѣдѣніими подробностями. Кто-то во мнѣ какъ бы смотрѣлъ со стороны на стоявшаго у порога мальчика. и, если перевести словами результаты этого осмотра. то вышло бы приблизительно такъ:

— Вотъ—я! Я тотъ, который когда-то смотрѣлъ на ночной пожаръ, сидя на рукахъ у кормилицы, тотъ, который коло-тилъ палкой въ дунный вечеръ воображаемаго вора, тотъ, который обжегъ палецъ и плакалъ отъ одного воспоминанія объ этомъ, тотъ, который замеръ въ лѣсу отъ перваго впечатлѣнія лѣсного шума, тотъ, котораго еще недавно водили за руку къ Окрашевской.. И вотъ теперь я тотъ, что без-страшно прошелъ мимо столькихъ опасностей, подошелъ къ самымъ воротамъ пансіона. ~~сдѣ~~ я уже имѣю высокое званіе „учил“; и я смотрю кругомъ и сверху. Кругомъ — улица и дома. сверху—старая перекладина воротъ, и на ней два голу-бя. Одинъ сидитъ смиренно, другой ходитъ взадъ и впередъ по перекладинѣ и воркуетъ какъ-то особенно пріятно и чисто. И все кругомъ чисто и пріятно: дома, улица, ворота и осо-бенно высокое синее небо, по которому тихо, какъ будто легкими толчками, передвигается бѣлое облако.

И все это—мое, все это какъ-то особенно проникаетъ въ меня и становится моимъ достоинствомъ.

Отъ восторга я чуть не вскрикнулъ и, сильно взмахнувъ книгами, зашагалъ черезъ дворъ огромными для моего воз-раста шагами.. И мнѣ казалось, что со мною въ пансіонѣ Рыхлинскаго вступилъ кто-то необыкновенно значительный и важный... Это, впрочемъ, не мѣшало мнѣ относиться съ ве-личайшимъ благоговѣніемъ ко всеѣмъ пансіонерамъ, поступи-вшимъ ранѣе меня, не говоря, конечно, объ учителяхъ...

Нельзя сказать, чтобы въ этомъ пансіонѣ господствовало послѣднее слово педагогической науки. Самъ Рыхлинскій былъ человекъ уже пожилой, на костыляхъ. У него была коротко остриженная квадратная голова, съ мясистыми чер-тамя широкаго лица; плечи, отъ постоянного упора на ко-стыли, были необыкновенно широки и приподняты, отчего всею онъ казался квадратнымъ и грузнымъ. Когда же, иной разъ, сидя въ креслѣ, онъ протигивалъ впередъ свои жилистые руки и, вытаращивъ глаза, вскрикивалъ сильнымъ голосомъ:

— Кос-ти пере-ломаю!.. все кости...—то наши дѣтскія души уходили въ пятки... Но это бывало не часто. Старый добрый экономиръ этотъ эффектъ и прибѣгалъ къ нему лишь въ крайнихъ случаяхъ.

Языкамъ обучали очень оригинальнымъ способомъ: съ пер-ваго же дня поступленія я узналъ, что я долженъ говорить

одинъ день по-французски, другой—по-нѣмецки. Я не зналъ ни того, ни другого языка, и какъ только заговорилъ по польски,—на моей шеѣ очутилась веревочка съ привѣшенной къ ней изрядной толщины дубовой линейкой. Линейка имѣла форму узкой лопатки, на которой было написано по французски „la règle“, а на другой сторонѣ по польски „dla bicia“ (для битья). Къ завтраку, когда всѣ воспитанники усѣлись за пять или шесть столовъ, при чемъ за среднимъ сидѣлъ самъ Рыхлинскій, а за другими—его жена, дочь и воспитатели, Рыхлинскій спросилъ по французски:

— У кого линейка?

— Иди! Иди!—стали толкать меня товарищи.

Я робко подошелъ къ среднему столу и подаль линейку.

Рыхлинскій былъ дальній родственникъ моей матери, бывалъ у насъ, игралъ съ отцомъ въ шахматы и всегда очень ласково обходился со мною. Но тутъ онъ молчаливо взялъ линейку, велѣлъ мнѣ протянуть руку ладонью вверхъ и... черезъ секунду на моей ладони остался красный слѣдъ отъ удара... Въ дѣтствѣ я былъ нервенъ и слезливъ, но отъ физической боли плакалъ рѣдко; не заплакалъ и этотъ разъ и даже не безъ гордости подумалъ: вотъ уже меня, какъ настоящихъ пансіонеровъ, ударили и „въ лапу“...

— Хорошо,—сказалъ Рыхлинскій.—Линейку возьми опять и отдай кому-нибудь другому. А вы, гультаи, научите малаго, что надо дѣлать съ линейкой. А то онъ носится съ нею, какъ дурень съ писаной торбой.

Дѣйствительно, я носилъ линейку на виду, тогда какъ надо было спрятать ее и накинуть на шею тому, кто проговаривался польскимъ или русскимъ словомъ... Это походило немного на поощреніе шпионства, но, при общемъ тонѣ пансіона, превратилось въ своего рода шуточный спортъ. Ученики весело перекидывались линейкой, и тотъ, кто приходилъ съ нею къ столу,—мужественно принималъ крѣпкій ударъ.

За то во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ всякое шпионство и взаимныя жалобы совершенно не терпѣлись. Въ тѣхъ случаяхъ, когда какой-нибудь новичекъ приходилъ съ жалобой или доносомъ, Рыхлинскій немедленно вызывалъ виновнаго и производилъ строгое разслѣдованіе. Если доносъ оказывался вѣрнымъ,—слѣдовало наказаніе: шла въ ходъ та же линейка или виновный ставился на колѣни. Но при наказаніи непременно долженъ былъ присутствовать и доносчикъ. Иной разъ Рыхлинскій спрашивалъ его:

— Ну, что? Тебѣ теперь пріятно?

Всѣ чувствовали, что жалоба на товарища осуждается болѣе,

чѣмъ самый проступокъ. Вся масса учениковъ смотрѣла сочувственно на наказываемаго и съ презрѣніемъ на доносчика. Нѣкоторое время послѣ этого его дразнили звуками, похожими на бляніе козы, и звали „козю“...

Вообще въ пансіонѣ былъ свой особенный тонъ, и все въ немъ мнѣ очень нравилось, кромѣ учителя математики, пана Пашковскаго.

Это былъ человѣкъ лѣтъ за тридцать, большого роста, худощавый, но сильный и довольно красивый. Я, впрочемъ, тогда плохо цѣнилъ его всеми признаваемую красоту. Мнѣ казались крайне непріятными его большіе, круглые, какъ у птицы, глаза и острый носъ съ сильной горбинкой, напоминавшій клювъ ястреба. Усы у него были длинные, нафабреныя, съ концами, вытянутыми въ ниточку, а ногти на рукахъ онъ отпускалъ и кодилъ... Они у него были очень длинные и заостренные на концахъ... Вообще весь онъ былъ какой-то выхоленный, щеголеватый и чистый, носилъ цвѣтныя жилетки, кольца на рукахъ и цѣпочки съ брелоками и распространялъ вокругъ себя запахъ помады, крѣпкаго табаку и крахмала. Во время уроковъ онъ или подчищалъ ногти какой-то костяной, или старательно поправлялъ усы концами длинныхъ, костлявыхъ и закуренныхъ до желтизны пальцевъ... Говорили, что онъ ищетъ себѣ богатую невѣсту и уже потерпѣлъ нѣсколько неудачъ, а пока что мнѣ суждено было воспріять отъ этого „красавца“ первыя основы математическихъ познаній...

Дѣло это сразу пошло не настоящей дорогой. Мнѣ казалось, что этотъ рослый человѣкъ питаетъ неодолимое презрѣніе къ очень маленькимъ мальчикамъ, а я и еще одинъ товарищъ, Суринъ, были самые малые ростомъ во всемъ пансіонѣ. И оба не могли почему-то воспринять отъ Пашковскаго ни одного „правила“ и особенно ни одной „повѣрки“...

Педагогическіе приемы у пана Пашковскаго были особенныя: онъ бралъ малыша за талью, ставилъ его рядомъ съ собою и ласково клалъ на голову лѣвую руку. Малышъ сразу чувствовалъ, что къ поверхности коротко остриженной головы прикоснулись пять заостренныхъ, какъ иголки, ногтей, черезъ которые, очевидно, математическая мудрость должна проникнуть въ голову.

— Ну, милый мальчикъ, понялъ?

Въ большихъ, па выкатъ, глазахъ (я кто только могъ находить ихъ красивыми!) начинала бѣгать какая-то зеленоватая искорка. Все мое вниманіе отливало къ пяти уколамъ на верхушкѣ головы, и я отвѣчалъ тихо:

— Понялъ.

— Объясний.

Я начиналъ что-то путать. Острія погтей все съ большимъ нажимомъ входили въ мою кожу, и послѣдніе проблески пониманія исчезали... Была только зеленая искорка въ противныхъ глазахъ и пять горячихъ точекъ на головѣ. Ничего больше не было...

— Суринъ, объясни ему! — Та же исторія начиналась съ Суринымъ.

Къ доскѣ онъ тоже вызывалъ насъ вмѣстѣ. Мы выходили, покорные судьбѣ, что-то писали, подымаясь на цыпочки, и что-то объясняли другъ другу. Круглое лицо Сурина съ добрыми глазами глядѣло прямо на меня съ неосновательной надеждой, что я что-то пойму, а я съ такой же надеждой глядѣлъ на него. Товарищи угрюмо молчали, Пашковскій наслаждался, но искорки въ его глазахъ становились все злѣе. Внезапно онъ взывался во весь свой ростъ, и тогда надъ нами разражалась какая-нибудь неожиданность. Чаше всего онъ схватывалъ съ чьей-нибудь постели большую подушку и мѣткимъ ударомъ сбивалъ насъ обѣихъ съ ногъ. Потомъ онъ обходилъ весь дортуаръ, и гора подушекъ выростала у доски надъ нашими злополучными тѣлами.

— Ты дышишь?—спрашивалъ меня добрякъ Суринъ.

— Дышу. А ты?

— Ничего, можно...

Окрики Пашковского долетали до насъ все глуше, и мы не прочь были бы пролежать такъ до конца урока. Скоро, однако, подушки одна за другой летѣли опять по кроватямъ, наше благополучное погребеніе кончалось, и мы воскресали для новыхъ бѣдствій.

Однажды мучитель подошелъ ко мнѣ и, схвативъ за шиворотъ, поднялъ сильной рукой на воздухъ.

— Гдѣ?.. гдѣ тутъ гвоздь?—говорилъ онъ сдавленнымъ голосомъ, и его выпуклые глаза бѣгали по стѣнамъ.

— Повѣшу негодяя!

Гвоздя не оказалось. Тогда онъ крикнулъ:

— Открыть окно!

Окно распахнулось. Пашковскій сталъ напротивъ и принялся раскачивать меня, точно маятникъ, скандируя въ тактъ этимъ движеніямъ:

— Вотъ бро-шу
Гуль-та-а
Въ Те-те-рѣвъ...

Это была одна изъ яркихъ минутъ моей жизни. Рѣки, которую грозилъ мнѣ Пашковскій, въ окно не было видно, но за обрѣзомъ горы чувствовался слухъ, а дальше — крутой

подъемъ противоположнаго берега... Окно съ этимъ пейзажемъ мелькало, качаясь, передъ моимъ печальнымъ взглядомъ, а въ это время Пашковскій, съ какимъ-то особеннымъ мучительскимъ сладострастіемъ, развивала дальнѣйшія перспективы: мать ожидаетъ сына... Сынокъ не идетъ. Посылаетъ кучера Филиппа. Филиппъ приходитъ за паничемъ. Паничъ лежитъ въ рѣкѣ, ногами къ берегу. Голова въ водѣ, и въ обѣихъ ноздряхъ... по раку!.. Я слушала, качаясь въ воздухѣ, и мнѣ было жаль какого-то бѣднаго мальчика... Особенный ужасъ вызывала реалистическая подробность о ракахъ...

Эти сильныя и довольно разнообразныя ощущенія стали между мной и арифметикой неодолимой преградой. Даже когда Пашковскому черезъ нѣкоторое время отказали (или онъ нашелъ невѣсту), я всетаки остался при убѣжденіи, что повѣрку дѣленія можно понять лишь по особой милости Господа, въ которой мнѣ отказано съ рожденія...

По остальнымъ предметамъ я шель прекрасно, все мнѣ давалось безъ особенныхъ усилій, и основной фонъ моихъ воспоминаній этого періода—радость развертывающейся жизни, шумное хорошее товарищество, не трудная, хотя и строгая дисциплина, бѣготня на свѣжемъ воздухѣ и мячи, летающіе въ вышинѣ.

Самое лучшее, что было въ пріемахъ этого воспитательнаго режима,—это чувство какой-то особенной близости, почти товарищества съ воспитателями. На урокахъ всегда бывало такъ тихо, что одни голоса учителей, занимавшихся въ разныхъ комнатахъ, раздавались по всему пансіону. За то тѣ же молодые учителя принимали участіе въ игрѣ въ мячъ на обширномъ пустырьѣ, или зимою въ городки и снѣжки. И тогда не полагалось для нихъ никакихъ уступокъ или поблажекъ. Ихъ такъ же крѣпко били мячами, и распахнуть мокрую снѣжку объ лицо мосье Гюгенета, воспитателя и учителя французскаго языка, — считалось совершенно дозволеннымъ удовольствіемъ...

Гюгенеть былъ молодой французъ, живой, полнокровный, подвижной, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его безпрекословно тамъ, гдѣ ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которыя проходили необыкновенно весело и живо. Ему наше общество тоже доставляло удовольствіе, а купаться онъ ходилъ съ нами даже не въ очередь...

Для купанья намъ приходилось пройти большіе пустыри Дѣвичьей площади (Plac panienski), которая приводила къ старому дѣвичьему монастырю (вляшторь). Въ этомъ мона-

стырѣ былъ пріютъ для дѣвочекъ. И каждый разъ, въ тѣ часы, когда мы веселой ватагой проходили къ Тетереву и обратно, пріютянки въ длинныхъ, бѣлыхъ накрахмаленныхъ капорахъ, совершенно скрывавшихъ ихъ лица, чинно и тихо кружились вереницами по площадкѣ.. Впереди и позади шли монахини надзирательницы, а одна старуха, кажется, игуменья, сидѣла на скамьѣ, вязала чулокъ или перебирала четки, то и дѣло поглядывая на гуляющихъ, точно старалъ насѣдка на стаю своихъ цыплятъ.

Пройдя черезъ эту площадку, мы весело сбѣгали по откосу, густо поросшему молодымъ грабникомъ, и затѣмъ берегъ Тетерева оглашался нашими криками и плескомъ, а рѣка кишѣла барахтающимися дѣтскими тѣлами.

При этомъ мосье Гюгенеть, раздѣтый, садился на откосѣ песчаного берега и зорко слѣдилъ за всѣми, поощряя малышей, учившихся плавать, и сдерживая излишнія проказы старшихъ. Затѣмъ онъ командовалъ всѣмъ выходить и лишь тогда кидался самъ въ воду. При этомъ онъ дѣлалъ съ берега изумительныя сальтомортале, фыркалъ, плескался и уплывалъ далеко вдоль рѣки.

Однажды, сидя еще на берегу, онъ сталъ дразнить моего старшаго брата и младшаго Рыхлинскаго, выходившихъ послѣдними изъ воды. Скамеекъ на берегу не было, и, чтобы надѣть сапоги, приходилось скакать на одной ногѣ, обмывъ другую въ рѣкѣ. Мосье Гюгенеть въ этотъ день расшалился, и, едва они выходили изъ воды, онъ кидалъ въ нихъ пескомъ. Мальчикамъ приходилось опять лѣзть въ воду и обмываться. Онъ повторилъ это много разъ, хохоча и дурачась, пока они не догадались разойтись далеко въ стороны, захвативъ сапоги и бѣлье.

Когда это кончилось, мосье Гюгенеть самъ безопасно бросился въ воду и принялся нырять и плавать, какъ утка. Затѣмъ, порядочно задыхавшійся и усталый, онъ вышелъ на берегъ и только было сталъ залѣзать въ рубашку, какъ оба мальчика обсыпали его, въ свою очередь, пескомъ.

Гюгенеть захохоталъ и полѣзъ опять въ воду, но, едва подошелъ къ одеждѣ, какъ повторилось то же.

Онъ сдѣлалъ *la bonne mine*, но лицо его покраснѣло. Онъ остановился и сказалъ коротко:

— *Assez!*.

Послѣ этого онъ сталъ вновь втягивать рубашку, но одинъ изъ мадуновъ не удержался и опять сыпнулъ пескомъ.

Французъ внезапно разсвирѣпѣлъ. Крахмальная рубашка полетѣла на песокъ; лицо Гюгенета стало багровымъ, глаза—

совершенно дикими. Оба шалуна поняли, что зашли слишком далеко, и испуганно бросились по горной тропинкѣ наверхъ; Гюгенеть, голый, пустился въ догонку, и вскорѣ всѣ трое исчезли изъ предѣловъ нашего рѣвня.

То, что произошло затѣмъ навѣрное, долго обсуждалось въ угрюмыхъ стѣнахъ монастыря, какъ случай бѣсовскаго навожденія. Прежде всего надъ обрѣзомъ горы мелькнули фигуры двухъ испуганныхъ школьничковъ и, пробившись черезъ ряды гуляющихъ пріютянокъ, помчались вдоль по широкой дорогѣ между монастырскими огородами. Едва стихло замѣшательство, произведенное этимъ бѣгствомъ, какъ на гору взлетѣлъ запыхавшійся и совершенно голый Гюгенеть. Впереди были еще видны фигуры убѣжавшихъ, и бѣшенный французъ въ свою очередь ринулся черезъ площадку... Испуганныя монахини, крестясь и читая молитвы, быстро согнали въ кучу свою паству и погнали ее, какъ стаю шпылять, въ стѣны монастыря, а Гюгенеть мчался далѣе...

Мальчишки скрылись въ большомъ монастырскомъ огородѣ, между густыми порослями гороха и фасоли. Гюгенеть подбѣжалъ къ городкѣ и только тутъ убѣдился, что дальнѣйшее преслѣдованіе бесполезно. Выбѣствъ съ тѣмъ, какъ Адамъ послѣ грѣхопаденія, онъ созналъ, что нагъ, и устыдился. Какъ разъ на серединѣ широкой полосы между огородами, по которой шла дорога къ огороду, стояла живописная кучка деревьевъ, густо обросшая у пней молодой порослью. Бѣдный французъ забился туда и, выставивъ голову, сталъ ожидать, что его питомцы догадаются принести ему платье.

Но мы не догадались. Внезапное исчезновеніе голаго воспитателя насъ озадачило. Мы не думали, что онъ убѣжитъ такъ далеко и, поджидая его, стали кидать камнями по рѣкѣ и бѣгать по берегу...

На монастырской площадкѣ тоже все успокоилось, и жизнь стала входить въ обычную колею. На широкое крыльцо кляштора выглянули старыя монахини и, видя, что всѣ слѣды навожденія исчезли, рѣшили докончить прогулку. Черезъ нѣсколько минутъ опять степенно закружились вереницы пріютянокъ въ бѣлыхъ калорахъ, сопровождаемыя степенными сестрами-бригитками. Старуха съ четками водворилась на своей скамьѣ.

Между тѣмъ солнце склонялось. Бѣдный французъ, соскучившись напраснымъ ожиданіемъ въ своихъ заросляхъ и видя, что никто не идетъ ему на выручку, рѣшился вдругъ на отчаянное предпріятіе и, выскочивъ изъ своего убѣжища, опять ринулся на проломъ къ рѣкѣ... Мы подымались какъ

разъ на гору на развѣды, когда, среди истерическихъ женскихъ воплей и общаго смятенія, французъ промелькнулъ мимо насъ, какъ буря, и, не разбирая тропинокъ, помчался черезъ рощу внизъ

Когда мы вернулись въ пансіонъ, оба провинившіеся были уже тутъ и съ тревогой спрашивали, гдѣ Гюгенеть и въ какомъ мы его оставили настроеніи? Французъ вернулся къ вечернему чаю; глаза у него были веселые, но лицо серьезно. Вечеромъ мы по обыкновенію сидѣли въ рядъ за длинными столами и, закрывъ уши, громко заучивали уроки. Шумъ при этомъ стоялъ невообразимый, а мосье Гюгенеть, строгій и дѣловитый, ходилъ между столами и наблюдалъ, чтобы не было шалостей.

Только уже совсѣмъ вечеромъ, когда всѣ улеглись, и въ лампѣ притушили огонь,—съ „дежурной кровати“, гдѣ спалъ Гюгенеть, внезапно раздался хохотъ. Онъ сидѣлъ на кровати и хохоталъ, держась за животъ и чуть не катаясь по постели...

Подъ конецъ моего пребыванія въ пансіонѣ добродушный французъ какъ-то исчезъ съ нашего горизонта. Говорили, что онъ уѣзжалъ куда-то держать экзамень. Я былъ въ третьемъ классѣ гимназій, когда однажды, въ началѣ учебнаго года, въ узкомъ корридорѣ я наткнулся вдругъ на фигуру, изумительно похожую на Гюгенета, только уже въ синемъ учительскомъ мундирѣ. Я шелъ съ другимъ мальчикомъ, поступившимъ въ гимназію тоже отъ Рыхлинскаго, и оба мы радостно кинулись къ старому знакомому.

— Мосье Гюгенеть!.. Мосье Гюгенеть!..

Фигура остановилась и смѣрпла насъ официальнымъ взглядомъ. Оба мы сконфузились и оробѣли.

— Наин?.. Что такой-е? Что надо?—спросилъ онъ и, опять окативъ насъ холоднымъ взглядомъ, новый учитель прослѣдовалъ дальше по корридору, не оборачиваясь и размахивая класснымъ журналомъ.

— Не онъ?—спросилъ мой товарищъ. Оказалось, однако, что фамилія новаго учителя была всетаки Гюгенеть, но это была уже гимназія, казенное учрежденіе, въ которомъ веселый Гюгенеть тоже сталъ казеннымъ.

Въ другой разъ мы встрѣтились на улицѣ. Мое сердце сильно забилось. Я подумалъ, что Гюгенеть строгъ и чопоренъ только въ гимназій, а здѣсь, на улицѣ, онъ заговоритъ опять по прежнему, со смѣхомъ и прибаутками, какъ веселый старшій товарищъ. Поровнявшись съ нимъ, я снялъ свою форменную фуражку и взглянулъ на него съ ожиданіемъ и надеждой. Я былъ увѣренъ, что онъ узналъ меня. Но его

взглядъ скользнулъ по моему лицу, онъ сощурился и отвернулся, холодно кивнувъ на поклонъ. Сердце мое сжалось такъ сильно, какъ будто я потерялъ дорогого и близкаго человѣка...

Одинъ годъ пребыванія въ пансіонѣ Рыхлинскаго очень измѣнилъ и развилъ меня. Мнѣ уже странно было вспоминать себя во время перваго самостоятельнаго путешествія. Теперь я отлично изучилъ весь пустырь, всѣ бурьяны, ближайшіе улицы и переулки, дорогу къ рѣкѣ...

Въ одинъ вечеръ мать захолопоталась и забыла прислать за мною. Остаться ночевать въ пансіонѣ мнѣ не хотѣлось. Было страшно уходить одному, но вмѣстѣ что-то манило. Я рѣшился и, связавъ книги, пошелъ изъ дортуара, гдѣ ученики уже ложились.

— За тобой пришли? — спросилъ меня воспитатель.

— Пришли, — отвѣтилъ я и торопливо, точно отъ искушенія, выбѣжалъ на крыльцо, а оттуда на дворъ.

Дѣло было осенью, выпать снѣгъ и почти весь днемъ растаялъ; остались только пятна, кое-гдѣ неясно бѣлѣвшія въ темнотѣ. По небу ползли тучи, и на дворѣ не было видно ни зги.

Я вывелъ за ворота и съ бьющимся сердцемъ пустился въ темный пустырь, точно въ море. Отходя, я оглядывался на освѣщенные окна пансіона, которыя все удалялись и становились меньше. Мнѣ казалось, что, пока они видны ясно, я еще въ безопасности... Но вотъ я дошелъ до середины, гдѣ пролегалла глубокая борозда, — не то канава, указывавшая старую городскую границу, не то оврагъ.

Я чувствовалъ, что здѣсь я буду одинаково далеко отъ пансіона и отъ дома, огоньки котораго уже мелькали гдѣ-то впереди въ сырой темнотѣ.

И вдругъ, сзади меня, немного вправо, раздался рѣзкій пронзительный свистъ, отъ котораго я инстинктивно присѣлъ къ землѣ. Впереди и влѣво раздался отвѣтный свистъ, и я сразу сообразилъ, что это два человѣка идутъ на-встрѣчу другъ другу, приблизительно къ тому мѣсту, гдѣ долженъ былъ проходить и я. Въ темнотѣ уже какъ будто мелькала неясная фигура и слышались тяжелые шаги. Я быстро наклонился къ землѣ и заползъ въ овражекъ...

Между тѣмъ, раздался третій свистокъ, и вскорѣ три человѣка сошлись на пустырь, въ нѣсколькихъ сажняхъ отъ того мѣста, гдѣ я притаился. Сердце у меня стучало, и я боялся, какъ бы незнакомцы не открыли по этому стуку моего присутствія... Они были такъ близко, что, глядя изъ своего овражка, я видѣлъ ихъ неясные силуэты на мгlistомъ небѣ. Они разговаривали о чемъ-то подозрительно тихо... За-

тѣмъ они двинулись вглубь пустыря, а я, почти не переводя дыханія, побѣжалъ къ своему дому... И опять моя дѣтская душонка была переполнена радостнымъ созвѣемъ, что это, уже „почти вѣтряное“, были настоящіе вора, и что я, значитъ, пережилъ, и при томъ довольно храбро, настоящую опасность.

Пожалуй, это была правда: почти не проходило ночи, чтобы въ нашихъ пустынныхъ мѣстахъ не случилось грабежей или кражъ. Наши ставни всегда накрѣпко запирались съ вечера. По ночамъ, особенно когда отецъ уѣзжалъ по службѣ, у насъ бывали тревоги. Всѣ подымались на ноги, женщины вооружались кочергами и рогаками и становились у оконъ. И когда водворялась тишина, то ясно слышно было, какъ кто-то снаружи осторожно пробуетъ, не забыли ли вставить задвижки въ засовахъ и нельзя ли гдѣ-нибудь открыть ставню. Женщины принимались стучать въ рамы и кричать. Въ голосахъ ихъ слышался смертельный искутъ.

XI.

Первый спектакль.

Первая театральная пьеса, которую я увидѣлъ въ своей жизни, была польская и при томъ насквозь проникнутая національно-историческимъ романтизмомъ.

Читатель уже замѣтилъ изъ предыдущихъ очерковъ, что нашу семью нельзя было назвать чисто русской. Жили мы на Волыни, т. е. въ той части правобережной Малороссіи, которая дольше, чѣмъ другія, останалась во владѣніи Польши. Къ ней всего ближе была желѣзная рука кн. Еремы Вишневецкаго... Вишневецъ, Полонное, Корець, Острогъ, Дубно, вообще волынскіе городки и даже инныя мѣстечки усѣяны и теперь развалинами польскихъ магнатскихъ замковъ или монастырей... Стѣны ихъ обрушились, на проломахъ густо поросли пльщи, продолжающіе раздѣлать старые камни... Въ селахъ помѣщики, въ городахъ—среднее сословіе были поляки или, во всякомъ случаѣ, люди, говорившіе по-польски. Въ деревняхъ звучалъ своеобразный малорусскій говоръ, подвергшійся вліянію и русскаго, и польскаго. Чиновники (меньшинство) и военные говорили по-русски...

На ряду съ этимъ были также и три вѣры (не считая евреевъ): католическая, православная и между ними—униатская, наиболѣе бѣдная и утѣшенная. Поляки въ свое время считали ее вѣрой низшей; рѣзали униатовъ набѣгавшіе изъ Украйны казаки и гайдамаки, потомъ ихъ стали гнѣснить и преслѣдовать русскіе... Такимъ образомъ, религія, явившаяся

результатомъ малодушнаго компромисса, пустивъ корни въ сердцахъ нѣсколькихъ поколѣній, стала гонимой и потребова-ла отъ своихъ послѣдователей преданности и самоотверженія. Я вспоминаю одного изъ этихъ уніатскихъ священниковъ, высокаго старика, съ огромною сѣдой бородой, съ дрожащею головою и большимъ священническимъ жезломъ въ рукахъ. Онъ очень низко кланялся отцу, прикасаясь рукой къ поду, и жаловался на что-то, при чемъ длинная сѣдая борода тряслась, а по старческому лицу бѣжали крупныя слезы. Онъ говорилъ что-то, мнѣ непонятное, о Богѣ, котораго не хочетъ продать, и о вѣрѣ предковъ. Мой отецъ съ видимымъ уваженіемъ подымалъ старика, когда онъ цытался земно поклониться, и обѣщалъ сдѣлать все, что возможно. По уходѣ старика отецъ долго задумчиво ходилъ по комнатамъ, а затѣмъ, остановившись, произнесъ сентенцію:

— Есть одна правая вѣра... Но никто не можетъ знать, которая именно... Надо держаться вѣры отцовъ, котя бы пришлось герить за это...

А что по этому поводу говорили „царь и законъ“,—онъ на этотъ разъ не прибавилъ, да, вѣроятно, и не считалъ этого относящимся къ данному вопросу.

Мать моя была католичка. Въ первые годы моего дѣтства въ нашей семьѣ польскій языкъ господствовалъ, но на ряду съ нимъ я слышалъ еще два: русскій и малорусскій. Первую молитву я зналъ по польски и по славянски, съ сильными искаженіями на малорусскій ладъ. Чистый русскій языкъ я слышалъ отъ сестеръ отца, но онѣ прѣзжали къ намъ рѣдко.

Мнѣ было вѣроятно лѣтъ семь, когда однажды родители взяли ложу въ театрѣ, и мать велѣла одѣть меня получше. Я не зналъ, въ чемъ дѣло, и видѣлъ только, что старшій братъ очень сердитъ за то, что берутъ не его, а меня.

— Да онъ заснетъ тамъ!.. Что онъ понимаетъ? Дуракъ!—говорилъ онъ матери.

— Пожалуй, это правда,—подтвердилъ кто-то изъ старшихъ, но я обѣщалъ, что не засну, и былъ очень счастливъ, когда, наконецъ, всѣ усѣлись въ коляску, и она тронулась.

И я, дѣйствительно, не заснулъ. Въ городѣ былъ каменный театръ, и на этотъ разъ его снимала польская труппа. Давали историческую пьесу неизвѣстнаго мнѣ автора, озаглавленную „Урсула или Сигизмундъ III“...

Когда мы вошли въ ложу, уже началось первое дѣйствіе, и я сразу жадно впился глазами въ сцену...

Содержаніе пьесы я повялъ плохо. Рѣчь шла о какихъ-то

придворныхъ интригахъ во время Сигизмунда третьяго, въ центрѣ которыхъ стояла куртизанка Урсула. Помню, что она была не особенно красива, подъ ея глазами я ясно различалъ нарисованные синіе круги, лицо было неприятно присыпано пудрой, шея у нея была сухая и жилистая. Но все это не представлялось мнѣ нисколько несообразнымъ! Урсула была скверная женщина, отъ которой страдала хорошенькая молодая дѣвушка и прекрасный молодой человекъ. То обстоятельство, что она была противна лицомъ, только усиливало мое нерасположеніе къ низкой интриганкѣ...

Вся обстановка, полная блеска, бряцанія шпоръ, лязганья сабель, дуэлей, криковъ вивать, бурныхъ столкновеній, опасностей, произвела на меня сильное впечатлѣніе. Хороша ли, или плоха была эта пьеса,—я теперь судить не могу. Знаю только, что вся она была проникнута особымъ колоритомъ, и на меня сразу пахнуло исторіей, тѣмъ-то романтическимъ, когда-то живымъ, блестящимъ, но отошедшимъ уже туда, куда на моихъ глазахъ ушелъ и послѣдній „старополякъ“, нашъ коморникъ Коляновскій. Одинъ старый шляхтичъ на сценѣ—высокій, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, усами,—напоминалъ Коляновскаго до такой степени, что казался мнѣ почти близкимъ и знакомымъ. И роль у него была подходящая: онъ говорилъ объ ушедшихъ въ вѣчность временахъ старинной доблести... Въ его голосѣ звучала глубокая печаль, и я проникся къ нему живѣйшей симпатіей...

Особенно ярко запомнились мнѣ два-три отдѣльныхъ эпизода. Высокій, мрачный злодѣй, орудіе Урсулы, чуть не убиваетъ прекраснаго молодого человека, но старикъ, похожій на Коляновскаго (или другой, точно не помню), ударомъ кулака выпябаетъ изъ рукъ его саблю... Сабля, сверкая и звеня, падаетъ на полъ. А тяжело перевозоку дыханіе, а мать наклоняется ко мнѣ и говоритъ:

— Не бойся... Это не въ самомъ дѣлѣ... Это они только представляютъ.

Въ другомъ дѣйствіи два брата Зборовскіе, предводители казаковъ, воевавшіе во славу короля и Польши въ татарскихъ степяхъ, оскорбленные какимъ-то недостойнымъ дѣйствіемъ безхарактернаго Сигизмунда,—произносятъ передъ его трономъ пылкія рѣчи, а въ заключеніе каждый изъ нихъ снимаетъ кривую саблю, прощается съ нею и гордо кидаетъ ее къ ногамъ короля... И опять гремитъ желѣзо, среди придворной толпы движеніе ужаса и негодованія, а въ центрѣ—гордая фигуры суровыхъ казацкихъ вождей. И мое дѣтское сердце горитъ непонятнымъ еще, но заразительнымъ чувствомъ рыцарской доблести и безстрашія...

Кончается пьеса смертью короля. У его роскошной постели собираются послы отъ войска, чтобы добиться назначенія короннаго гетмана... Загорьлые, суровые, они пробиваются къ королю и во имя отчизны требуютъ рѣшенія. Грудь умирающаго вздымается и, судорожно задыхавшись, онъ произноситъ:

— Дать имъ... Конецпольскаго...

Придворные говорятъ: „король умеръ“, а залъ оглашается бурными криками: „вивать Конецпольскій!..“

Не знаю, имѣлъ ли авторъ въ виду каламбуръ, которымъ звучало послѣднее восклицаніе, но только оно накинulo на всю пьесу дымку какой-то особой печали, сквозь которую я вижу ее и теперь... Прошлое родины моей матери, когда-то блестящее, шумное, обалтательное, уходитъ навсегда, греми и сверкая послѣдними отблесками славы.

Эта драма ударила въ мою голову, какъ крѣпкое вино, опьяненіемъ романтизма. Я рассказалъ о ней братьямъ и сестрѣ и заразилъ ихъ своимъ увлеченіемъ. Мы сдѣлали себѣ деревянныя сабли, а изъ простынь сострипали фантастическія мантіи. Старшій братъ, въ видѣ короля, возсѣдалъ на высокомъ стулѣ, задрапированный пестрымъ одѣиломъ, или лежалъ на одрѣ смерти; сестренку, которая во всемъ этомъ рѣшительно ничего не понимала, мы сажали у его ногъ, въ видѣ злодѣйки Урсуды, — а сами, потрясая деревянными саблями, кидали ихъ съ презрѣніемъ на полъ или кричали дикими голосами:

— Вивать Конецпольскій!..

Если бы въ это время кто-нибудь вскрылъ мою дѣтскую душу, чтобы опредѣлить по ней признаки національности, то, вѣроятно, онъ рѣшилъ бы, что я—зародышъ польскаго шляхтича восемнадцатаго вѣка, гражданинъ романтической старой Польши, съ ея беззавѣтнымъ своеволіемъ, храбростью, приключеніями, блескомъ, звономъ чашъ и сабель

И, пожалуй, онъ бытъ бы правъ...

Вскорѣ послѣ этого пьесы, требовавшія польскихъ костюмовъ, были воспрещены, а еще черезъ нѣкоторое время польскій театръ вообще надолго смолкъ въ нашемъ краѣ. Но романтическое чувство проплаго уже загнивалось въ моей душѣ, нарядившись въ костюмы старой Польши.

XII.

Время польскаго возстанія.

Вспыхнуло оно, какъ извѣстно, въ началѣ 1863 года. Но глухое волненіе и демонстраціи происходили уже ранѣе.

Приблизительно въ 1860 году отецъ однажды вернулся со

службы серьезный и озабоченный. Переговоривъ о чемъ-то съ матерью, онъ затѣмъ собралъ насъ и сказалъ:

— Слушайте, дѣти. Вы — русскіе и съ этого дня должны говорить по-русски.

Послѣ этого впервые въ нашей „ополченной“ семьѣ зазвучала обиходная русская рѣчь. Мы приняли эту реформу довольно беззаботно, пожалуй, даже съ удовольствіемъ,—это вводило къ намъ нѣчто новое, — но причины, вызвавшія ее, оставались намъ чужды. Доносились уже слухи о какихъ-то событіяхъ въ Варшавѣ, потомъ въ Вильнѣ (гдѣ уже въ 1861 году происходили довольно серьезныя демонстраціи). Но все это было гдѣ-то далеко, въ невѣдомомъ, почти отвлеченномъ мірѣ, и насъ не интересовало. Въ нашемъ міркѣ царило еще безмятежное спокойствіе...

Господствующимъ языкомъ въ пансіонѣ Рыхлинскаго былъ польскій, но ни малѣйшей національной розни между нами собственно въ пансіонѣ не было. Рыхлинскому удалось долго поддерживать тонъ взаимной терпимости. Было у насъ нѣсколько чистыхъ великороссовъ, въ томъ числѣ два брата Сухановы, изъ которыхъ старшій шелъ всегда первымъ... Однажды съ нимъ или съ другимъ русскимъ воспитанникомъ вышелъ слѣдующій эпизодъ: какой-то юный полякъ, узнавъ, что русскій товарищъ вчера причащался, сталъ смѣяться надъ православнымъ обрядомъ. Для этого онъ сдѣлалъ изъ бумаги подобіе чаши и кривлялся надъ нею, а подъ конецъ плюнулъ въ нее. Русскій нѣкоторое время сдерживался, но затѣмъ размахнулся и ударилъ обидчика по щекѣ гакъ звонко, что звукъ разнесся по всей залѣ, и его услышалъ Рыхлинскій. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ призвалъ обоихъ и при всѣхъ ученикахъ спросилъ у поляка:

— Что бы ты сдѣлалъ, если бы онъ сталъ такъ же смѣяться надъ „гостіей“ (католическое причастіе)?

Полякъ замаялся, но затѣмъ сказалъ, потупясь:

— Я бы его ударилъ.

— Ну, вотъ и онъ тебя ударилъ. Поди въдобавокъ стань на колѣни.

Мальчикъ всталъ, весь красный, на колѣни въ углу и стоялъ очень долго. Мы догадались, чего ждетъ отъ насъ старикъ Рыхлинскій. Посоветовавшись, мы выбрали депутацію, во главѣ которой сталъ Сухановъ, и пошли просить прощенія наказанному. Рыхлинскій принялъ депутацію съ серьезнымъ видомъ и вышелъ на своихъ костыляхъ въ залъ. Усѣвшись на своемъ обычномъ мѣстѣ, онъ приказалъ наказанному встать и предложилъ обоимъ противникамъ протянуть другъ другу руки.

— Ну, теперь кончено,—сказалъ онъ,—и забыто. А если,—прибавилъ онъ, вдругъ свирѣло вытаращивъ глаза и протягивая впередъ свои жилистыя руки съ короткими, растопыренными пальцами,—если я еще услышу, что кто-нибудь позглотитъ себѣ смѣяться ядъ чужой вѣрой... к-к-к-сти перреломая... всѣ кости...

И мы опять жили дружно, не придавая никакого значенія различію національностей...

Между тѣмъ, далекія событія разгорались, и къ намъ, точно порывами вѣтра, стало заносить ихъ знойное дыханіе. Чаше и чаще приходилось слышать о происшествіяхъ въ Варшавѣ и Вильнѣ, о какихъ-то „жертвахъ“, но старшіе все еще старались „не говорить объ этомъ при дѣтяхъ“...

Однажды отецъ съ матерью долго ночью засидѣлись у Рылинскихъ. Наконецъ, сквозь дремоту я услышалъ грохотъ нашей брички во дворѣ, а черезъ нѣкоторое время совѣмъ проснулся отъ необычайнаго ощущенія: отецъ и мать, оба одѣтые, стояли въ спальнѣ и о чемъ-то горячо спорили, забывъ, очевидно, и о позднемъ часѣ, и о спящихъ дѣтяхъ. Разговоръ шелъ приблизительно такой:

— Всетаки...—говорила мать,—ты долженъ согласиться: вѣдь было прежде, даже еще при Николаѣ... Еще живы люди, которые помнятъ...

— Ну, такъ что же,—возражалъ отецъ,—было, да нѣтъ. При Александрѣ было, Николай отнялъ... Не нужно было бунтоваться...

— Но... Согласись самъ... развѣ это справедливо?

— Толкуй больной съ подлѣкаремъ! Что справедливо, что несправедливо... Тебя не спросили. Вы присягали и баста!

— Нѣтъ, стой...

— Нѣтъ, ты стой.

— Да дай мнѣ сказать...

Я никогда не слышалъ между ними такихъ горячихъ споровъ, да еще въ такой часъ, и, удивленный, я сѣлъ въ своей постели. Замѣтивъ неожиданнаго слушателя, они оба обратились ко мнѣ.

— Ну, вотъ. Пусть ребенокъ скажетъ,—говорила мать.

— Хорошо, пусть скажетъ. Вотъ послушай, малый: вотъ ты, положимъ, обѣщавъ мамѣ всегда ее слушаться... Долженъ исполнить обѣщаніе?..

— Долженъ,—отвѣтилъ я довольно увѣренно.

— Стой,—перебила мать,—теперь послушай меня. Вотъ около тебя новое платье (около меня дѣйствительно лежало новое платье, которое я съ вечера бержно разложилъ на

стуль). Если придетъ кто-нибудь чужой со двора и захватить... Ты захочешь отнять?..

— Отниму,—отвѣтилъ я еще увѣреннѣе.

— Толкуй больно съ поддѣкаремъ! — сказать отецъ съ раздраженіемъ, чувствуя, что судья склоняется къ противной сторонѣ,—такъ онъ тебѣ и отдасть! Если онъ сильнѣе...

— Ну, вотъ, вотъ...—горячо подхватила мать...—Сильнѣе, такъ и отнимать. Вотъ ты слышишь! Слышишь?

— А, пустяки!—разсердился отецъ, вида, что его шансы становятся еще слабѣе.—Ну, а если ты самъ отдашь?.. И обещаль никогда не требовать назадъ? А потомъ кричишь: отдавай?..

— Отдашь, отдашь! — перебила мать съ горечью... — Ну, скажи: развѣ ты самъ отдашь?.. А вотъ, если приставятъ ножъ къ горлу...

Въ это время заплакала во снѣ сестренка. Они спохватились и прекратили споръ, недовольные другъ другомъ. Отецъ, опираясь на палку, красный и возбужденный, пошелъ на свою половину, а мать взяла сестру на колѣни и стала успокаивать. По лицу ея текли слезы...

Я долго не спалъ, удивленный этой небывалой сценой... Я сознавалъ, что ссора не имѣла личнаго характера. Они спорили, и мать плакала не отъ личной обиды, а о томъ, что было прежде и чего теперь нѣтъ: о своей отчизнѣ, гдѣ были короли въ коронахъ, гетманы, красивая одежда, какая-то непонятная, но обаятельная „воля“, о которой говорили Зборовскіе, школы, въ которыхъ учился Тома изъ Сандомира... Теперь ничего этого нѣтъ. Отняли родичи отца... Они сильнѣе... Мать плачетъ, потому что это несправедливо... ихъ обидѣли...

На утро первая моя мысль была о чемъ-то важномъ. О новой одеждѣ?.. Она лежала на своемъ мѣстѣ, какъ вчера. Но многое другое было не на своемъ мѣстѣ. Въ душѣ, какъ заноза, лежали зародыши новыхъ вопросовъ и настроеній.

„Щось буде“ принимало новыя формы... Атмосфера продолжала накаляться. Знакомыя дамы и барышни появлялись теперь въ черныхъ траурныхъ одеждахъ. Полиція стала за это преслѣдовать демонстрантокъ въ черныхъ платьяхъ и особенно съ эмблемами (сердце, якорь и крестъ), хвагали въ участки, составляли протоколы. Съ другой стороны—свѣтлыя платья обливались кислотой, ихъ въ костелахъ рѣзали ножиками... Ксендзы говорили страстные проповѣди.

Въ сентябрѣ 1861 года городъ былъ пораженъ неожиданнымъ событіемъ. Утромъ на главной городской площади у

костела Бернардиновъ, въ пространствѣ, огражденномъ небольшимъ палисадникомъ,—публика, собравшаяся на базаръ, съ удивленіемъ увидѣла огромный черный крестъ, съ граурно-бѣлой каймой по угламъ, съ гирляндой живыхъ цвѣтовъ и надписью: „въ память поляковъ, замученныхъ въ Варшавѣ“. Крестъ былъ высокою около пяти аршинъ и стоялъ у самой полицейской будки.

Извѣстіе съ быстротою молніи облетѣло весь городъ. Къ мѣсту появленія креста стали стекаться народъ. Начальство не нашло ничего лучше, какъ вырыть крестъ и отвезти его въ поляцію.

По городу грянула вѣсть, что крестъ посадили въ кутузку. У полиціи весь день собирались толпы народа. Въ костелѣ женщины составили совѣтъ, не допустили туда полицеймейстера, и послѣ полудня женская толпа, все въ глубокомъ траурѣ, двинулась къ губернатору. Небольшой одноэтажный губернаторскій домъ на Кіевской улицѣ оказался въ осадѣ. Отецъ, проѣзжая мимо, видѣлъ эту толпу и съдого стараго полицеймейстера, стоявшаго на ступенихъ крыльца и уговаривавшаго дамъ разойтись.

Были вызваны войска. Къ вечеру толпа все еще не расходилась, и въ сумеркахъ ее разогнали... Въ городѣ это произвело впечатлѣніе взрыва. Разсказывалъ, какъ грубо преслѣдуемая женщины кидались во дворы и подъѣзды, спасались въ магазинахъ. А „арестъ креста при полиціи“ вызывалъ смущеніе даже въ православномъ населеніи, привышемъ къ общимъ съ католиками святынямъ...

Съ этихъ поръ патріотическое возбужденіе и демонстраціи разлились широкимъ потокомъ. Въ городѣ, съ барабаннымъ боемъ, было объявлено военное положеніе. Въ одинъ день нашъ переулочъ былъ занятъ отрядомъ солдатъ. Ходили изъ дома въ домъ и отбирали оружіе. Не обошли и нашу квартиру: у отца надъ кроватью, на коврѣ, висѣлъ старый турецкій пистолеть и кривая сабля. Ихъ тоже отобрали... Это былъ первый обыскъ, при которомъ я присутствовалъ. Процедура показалась мнѣ тяжелой и страшной.

Все это усиливало общее возбужденіе и, конечно, отражалось даже на дѣтскихъ душахъ... А такъ какъ я тогда не былъ ни русскимъ, ни полякомъ или, вѣрнѣе, былъ и тѣмъ, и другимъ, то отраженія этихъ волненій неслись надъ моей душой, какъ тѣни безформенныхъ облаковъ, гонимыхъ бурнымъ вѣтромъ.

Однажды мать взяла меня съ собою въ костелъ. Мы были въ церкви съ отцомъ и иногда въ костелѣ съ матерью.

На этотъ разъ я стоялъ съ нею въ боковомъ придѣлѣ, около „сакристїи“. Было очень тихо, всё будто чего-то ждали... Священникъ, молодой, блѣдный, съ горящими глазами, громко и возбужденно произносилъ латинскіе возгласы... Потомъ жуткая, глубокая тишина охватила готическіе своды костела бернардиновъ и среди молчанія раздались звуки патриотическаго гимна: *Boże, coś Polskę przez tak długie wieki...*

Тихо, разрозненно, въ разныхъ мѣстахъ набитаго народомъ храма зародилось сначала нѣсколько отдѣльныхъ голосовъ, сливавшихся постепенно, какъ ручьи... Ближе, крѣпче, громче, стройнѣе, и наконецъ подъ сводами костела загремѣлъ и покатился волнами согласный тысячеголосый хоръ, а гдѣ-то въ вышинѣ надъ нимъ гудѣлъ глубокій ревъ органа... Мать стояла на колѣняхъ и плакала, закрывъ лицо платкомъ.

На меня этотъ вопль, соединившій всю толпу въ одномъ порывѣ, широко, какъ море, — произвелъ прямо потрясающее впечатлѣніе. Мнѣ казалось, что меня подхватило что-то и несетъ въ вышинѣ, баюкая и нахлывая странныя видѣнія...

— Казаки, — сказалъ кто-то по-близости. Слово яснымъ шепотомъ понеслось дальше, толкнулось во что-то и утонуло въ морѣ звуковъ. Но оно дало опредѣленное содержаніе неяснымъ грезамъ, овладѣвшимъ моимъ разгорѣвшимся воображеніемъ.

...Казаки! Они врываются въ костелъ. У алтаря на возвышеніи стоитъ священникъ, у его ногъ женщины, и среди нихъ моя мать. Казаки выстраиваются въ рядъ и цѣлятся... Но въ это время маленькій мальчикъ вскакиваетъ на ступеньки и, разстегивая на груди свой казакинъ, говоритъ громкимъ голосомъ:

— Стрѣляйте въ меня... Я — православный, но я не хочу, чтобы оскорбляли вѣру моей матери...

Казаки стрѣляютъ... Дымъ, огонь, грохотъ... Я падаю... Я убитъ, но... какъ-то такъ счастливо, что потомъ всё жмутъ мнѣ руку, поляки и польки говорятъ: „Это сынъ судьи, и его мать полька. Благородный молодой человекъ“...

— Этотъ мальчикъ правъ... — говорятъ также и русскіе господа: — нельзя стрѣлять въ костелахъ и оскорблять чужую вѣру.

Очевидно, раннее чтеніе, польскій спектакль, событія, пронесившіяся одно за другимъ въ раскаленной атмосферѣ патриотическаго возбужденія — все это сдѣлало изъ меня маленькаго романтика. И очень вѣроятно, что, если бы все разыгралось такъ, какъ въ театрѣ, т. е. казаки выстроились бы предварительно въ рядъ противъ священника, величаво стоящаго съ чапай въ рукахъ и съ группой женщинъ у ногъ, — и

стали бы дожидаться, что я сдѣлаю,—то я могъ бы выполнить свою программу. Но жизнь груба и нестройна, и еще болѣе вѣроятно, что въ прозаически беспорядочной свалкѣ я бы струсилъ, какъ самый трусливый изъ городскихъ мальчишекъ...

Узнавъ о „демонстраціи“, отецъ былъ очень недоволенъ. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ матери:

— Полицеймейстеръ мнѣ говорилъ, что тебя тоже уже записали...

— Что же мнѣ дѣлать?—сказала мать,—я не пѣла сама и не знала, что будетъ это пѣніе...

— А если бы знала?—спросилъ отецъ.

— То... не взяла бы ребенка,—отвѣтила она.—Не могу же я не ходить въ костель.

Впослѣдствіи она все время и держалась такимъ образомъ: она не примкнула къ суетнѣ экзальтированныхъ патріотокъ и „девотокъ“, но въ костель ходила, какъ прежде, не считаясь съ тѣмъ, попадетъ ли она на замѣчаніе или нѣтъ. Отецъ первичалъ и тревожился и за нее, и за свое положеніе, но какъ истинно религіозный человекъ, признавалъ право чужой вѣры...

Черезъ городъ проходили войска. Однажды разнесся слухъ, что къ намъ идутъ башкиры... Дикіе, ни слова не понимаютъ ни по польски, ни по русски, только лопочуть по своему и бьютъ... Это вызывало почти суевѣрный ужасъ. Черезъ нѣсколько дней, дѣйствительно, по улицамъ прошелъ отрядъ странныхъ всадниковъ на маленькихъ лошадакахъ, въ остроконечныхъ шапкахъ, съ бараньей мохнатой оторочкой. Скуластыя лица, маленькіе глазки, какая-то особенная дикая посадка. Увидѣвъ кучку любопытныхъ, въ томъ числѣ женщинъ,—одинъ внезапно спятилъ лошадь и взмахнулъ нагайкой. Послышался истерическій визгъ, но башкиръ проѣхалъ, скаля на смугломъ лицѣ бѣлые зубы, а мимо ѣхали другіе, взбивая пыль конскими копытами, и тоже смѣялись. Мнѣ было странно, что они смѣются, какъ и обыкновенные люди, и я съ ужасомъ представлялъ себѣ атаку этихъ смуглыхъ дикарей.

Они прошли и исчезли за западной заставой, по направленію къ Польгѣ, гдѣ, какъ говорили, „уже лилась кровь“, а въ городъ вступали другіе отряды...

Въ нашей конюшнѣ тоже стояли три или четыре казацкія лошади. Сами казаки устраивались тутъ же, около лошадей, а на кухнѣ и въ сараѣ расположились пѣхотинцы... Этихъ постояльцевъ встрѣчали не очень привѣтливо; домохозяйева и

квартиранты долго спорили съ „квартирерами“, не желали отводить помѣщенія, ходили куда-то жаловаться. Но мы, дѣти, вскорѣ съ ними освоились. Казаки иной разъ сажали насъ на лошадей и брали съ собой на рѣчку къ водопою. Солдаты свисходительно позволяли чистить суворкой и мѣломъ луговицы своихъ мундировъ, а жидкія щи, которыя они приносили въ котелкахъ изъ ротной кухни, казались намъ необыкновенно вкусными.

Особенно ярко вспоминается мнѣ одна солдатская фигура. Это былъ уже старикъ, съ морщинистымъ лицомъ, щетинистыми сѣдыми усами и сережкой въ лѣвомъ ухѣ. Видъ у него былъ непривѣтливый и суровый. Устроившись въ сараѣ, гдѣ онъ развѣсилъ на гвоздяхъ „аммуницію“, а ружье заботливо утавилъ въ уголь,—онъ оперся плечомъ въ косякъ двери и долго, молча, съ серьезнымъ вниманіемъ смотрѣлъ, какъ мы съ мальчишками сосѣдей продѣлывали на дворѣ „ученіе“ съ деревянными ружьями. Черезъ нѣкоторое время онъ не выдержалъ роли сторонняго зрителя, подошелъ къ нашему фронту, взялъ „ружье“ и сталъ показывать настоящіе пріемы, поражая насъ отчетливостью и упругостью своихъ движеній. Казалось, при каждомъ такомъ движеніи внутри солдата дязгали и стучали какія-то пружины.

— Вотъ научу васъ, ляшкоть, а вы пойдете бунтовать да меня же и убьете,—сказалъ онъ въ заключеніе, полушутя, полусердито.

Черезъ нѣкоторое время у насъ установились съ нимъ отличныя отношенія. Много часовъ мы провели вмѣстѣ, въ лѣтнія сумерки, на солдатской койкѣ Аѳанасія, пропахшей потомъ, кожаной аммуниціей и кислыми солдатскими щами,—пока его рота не ушла куда-то въ уѣздъ преслѣдовать повстанскіе отряды. Для насъ разставаніе съ нимъ было большой непріятностью, да и старому солдату видимо было не по себѣ. Долгая „николаевская“ служба уже взяла всю его жизнь, порвала всѣ семейныя связи, и старое солдатское сердце пробавлялось хоть временными привязанностями на стоянкахъ...

Изъ казаковъ особенно выдѣляется въ памяти кудрявый бронець, урядникъ. Лицо его было изрыто оспой, но это не мѣшало ему слыть настоящимъ красавцемъ. Для насъ было истиннымъ наслажденіемъ смотрѣть, какъ онъ, почти волшебствомъ, безъ приготовленій, взлеталъ на лошадь. Повременамъ онъ напивался, и тогда, сверкая глазами, кричалъ на весь дворъ:

— Эхъ вы, ляшки! Куда вамъ бунтоваться! Вотъ поглядите: когда-нибудь Донъ тряхнетъ матушкой-Москвой... Такъ ужъ тря-я-хнетъ... Не по вашему.

Онъ сжималъ кулакъ и трясъ имъ надъ головою, какъ будто въ немъ зажата уже матушка-Москва. Нашъ пріятель, старый солдатъ Аѳанасій, укоризненно моталъ головой и говорилъ:

— Отчаянный народъ, казаки. Воръ народъ: гдѣ плохо лежитъ, у него животъ заболитъ. И служба у нихъ другая... Легкая служба... За что нашего брата сквозь строй гоняли,— имъ ничего. Отхлещетъ урядникъ нагайкой, и все тутъ. И то не за воровство. А значить: не попадайся!

Казаки на эти сурьезныя рѣчи Аѳанасія только смѣялись.

Однажды черноволосый красавецъ что-то набуянилъ, и его пришли арестовать. Онъ, совершенно пьяный, вырвался изъ рукъ товарищей, вскочилъ на свою неразсѣдланную лошадь и умчался со двора. Его качало въ сѣдлѣ такъ, что казалось, онъ вотъ-вотъ свалится на мостовую и расшибется вдребезги. Но, выѣхавъ за ворота, мы увидѣли его уже далеко въ перспективѣ улицы. Онъ летѣлъ, какъ птица, къ Кіевской заставѣ, а сзади, отставая, скакала погоня. На утро, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ заботливо чистилъ своего скакуна, пересмѣливаясь съ недогнавшими его товарищами.

Банды появились уже и въ нашемъ краѣ. Надъ жизнью города нависала злобѣщая тѣнь. То и дѣло было слышно, что тотъ или другой изъ знакомыхъ молодыхъ людей исчезалъ. Ушелъ до „лясу“. Остававшихся паненки иронически спрашивали: „Вы еще здѣсь?“ Ушло до лясу нѣсколько юношей и изъ пансіона Рыхлинскаго...

Однажды за обѣдомъ мать сказала отцу:

— Стасикъ пріѣзжалъ. Зовутъ сегодня, вечеромъ.

Отецъ посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ и потомъ спросилъ:

— Всѣ трое?

— Да, всѣ трое,— отвѣтила мать съ тихой печалью.

— Съ ума вы всѣ посходили!—сказалъ отецъ, сердито откладывая ложку.—Всѣ посходили съ ума,—и старые туда же!..

Оказалось, что это три сына Рыхлинскихъ, студенты Кіевскаго университета, пріѣзжали прощаться и просить благословенія передъ отпращиваніемъ въ банду. Одинъ былъ на последнемъ курсѣ медицинскаго факультета, другой, кажется, на третьемъ. Самый младшій, Стасикъ, лѣтъ восемнадцати, только въ прошломъ году окончилъ гимназію. Это былъ общій любимецъ, румяный, веселый мальчикъ съ блестящими черными глазами.

Послѣ вечера, проведеннаго среди родныхъ и близкихъ знакомыхъ, всѣ три стали на колѣни, старики благословили ихъ, и ночью они уѣхали..

— Я бы этого Стасика высѣкъ и заперъ на ключъ,—сердито говорилъ отецъ на другой день.

— Даже дѣти идутъ биться за отчизну,—сказала мать задумчиво, и на глазахъ у нея были слезы.—Что-то будетъ?

— Что будетъ? —переловятъ всѣхъ, какъ цыплятъ,—отвѣтилъ отецъ съ горечью.—Всѣ вы походили съ ума...

Первое время настроеніе польскаго общества было приподнятое и бодрое. Говорили о побѣдахъ, о какомъ-то Ружицкомъ, который стаявится во главѣ вольнскихъ отрядовъ, о томъ, что Наполеонъ пришлетъ помощь. Въ пансіонѣ ученики поляки дѣлились этими новостями, которыя приносила Марьяна, единственная дочь Рыхлинскихъ. Ея большіе, какъ у Стасика, глаза сверкали радостнымъ одушевленіемъ. Я тоже вѣрилъ во всѣ эти успѣхи поляковъ, но чувство, которое они во мнѣ вызывали, было очень сложно.

Однажды ночью мнѣ приснился яркій и тяжелый сонъ. Дѣло какъ будто началось съ игры „въ поляковъ и русскихъ“, которая въ то время замѣнила для насъ всѣ другія. Раздѣлялись обыкновенно не по національностямъ, а по жребію, такъ что русскіе попадали на польскую сторону и поляки на русскую. Не помню теперь, на чьей сторонѣ я былъ на этотъ разъ во снѣ, помню только, что игра вскорѣ перешла въ дѣйствительную войну. Было широкое поле, по которому вилась рѣчка, поросшая камышами. Гдѣ-то горѣло, гдѣ-то проносились въ пыли и дыму всадники въ остроконечныхъ шапкахъ, гдѣ-то трещали выстрѣлы, и вѣтеръ уносилъ бѣлые дымки, какъ на солдатскомъ стрѣльбищѣ. Я отъ кого-то убѣгалъ и скрывался подъ обрывомъ рѣчного берега...

И вдругъ оказалось, что скрываюсь собственно не я, а взводъ русскихъ солдатъ. Испуганные и жалкіе, они притаились подъ обрывомъ, за камышами, по колѣни въ водѣ. Впереди всѣхъ, ближе ко мнѣ, стоялъ старикъ Аванасій въ своей круглой шапочкѣ безъ козырька, съ серьгой въ лѣвомъ ухѣ. Онъ смотрѣлъ на меня серьезнымъ, немного суровымъ и укоризненнымъ взглядомъ, и сердце у меня сжалось тоской и страхомъ. Тамъ, въ широкомъ полѣ носились въ дыму горжествующіе поляки... Вдругъ надъ обрывомъ появился верхомъ Стасикъ Рыхлинскій... Онъ сверкалъ веселыми черными глазами и улыбался своей дѣтски-задорной улыбкой. Я замеръ отъ ожиданія, и мнѣ казалось, что на свѣтѣ нѣтъ ничего страшнѣе этого милаго юноши, который сейчасъ откроетъ притаившагося въ камышахъ Аванасія и солдатъ... Между тѣмъ, эти люди были мнѣ теперь близки и дороги, и мнѣ было ихъ жаль, какъ родныхъ. „Это оттого,—подумалъ я, просну-

вписъ весь въ поту и съ сильно стучавшимъ сердцемъ,— что они русскіе и я русскій“. Но я ошибался. Это было только оттого, что они люди... И вскорѣ мои сожалѣнія перемѣстились.

Недѣли черезъ двѣ или три прошли слухи о стычкахъ подъ Кіевомъ. Это были жалкія попытки, быстро разсѣяныя казаками и крестьянами. Въ семьѣ Рыхлинскихъ водворилась тяжелая тревога. Однажды мы сидѣли за урокомъ въ комнатѣ Марыни, которая занималась съ малышами французскимъ языкомъ, когда ее позвали въ кабинетъ отца. Вернулась она оттуда вся красная, съ заплаканными глазами и попыталась продолжать урокъ. Но вдругъ вскочила, кинулась на свою постель и разрыдалась... И бросился за водой, но она отстранила рукой стаканъ и говорила сквозь рыданія:

— Уйдите, уйдите всѣ... Ничего не надо.

Вскорѣ въ пансіонѣ стало извѣстно, что всѣ три брата участвовали въ стычкѣ и взяты въ плѣнъ. Старшій раненъ казацкой пикой въ шею...

Старикъ Рыхлинскій по прежнему выходилъ къ завтраку п обѣду, по прежнему спрашивалъ: *Qui a la règle*, по прежнему чинилъ судъ и расправу. Его жена такъ же степенно вела обширное хозяйство, Марыня занималась съ нами, не давая больше воли своимъ чувствамъ, и вся семья гордо несла свое горе, ожидая новыхъ ударовъ судьбы.

Возстаніе нигдѣ не удалось, Наполеонъ не приходилъ, мужики даже въ Польшѣ неохотно приставали къ „рухавецъ“, а въ другихъ мѣстахъ жестоко расправлялись съ возставшими павами.

Однажды мнѣ пришлось увидѣть поѣздъ съ захваченными плѣнными. На длинныхъ возахъ съ „драбинами“, въ какихъ возятъ снопы, сидѣли кучей повстанцы, нѣкоторые съ повязанными головами и руками на перевязяхъ. Лица у раненыхъ были блѣдны. У одного на повязкѣ видѣлись пятна крови. Впереди сидѣли мужики, погонявшіе лошадей, а по бокамъ верхами скакали такіе же мужики конвоиры. Сочувствіе городского большаинства было на сторонѣ плѣнниковъ. Молодые горничныя плевали въ гарцовавшихъ на своихъ влячахъ побѣдителей, а тѣ насмѣшливо потряхивали чуцинами и задемывали бараньи шайки.

Тюрьма, помѣщавшаяся на тѣсной узенькой Чудновской улицѣ, скоро была переполнена этими плѣнниками, и для содержанія просто „подозрительныхъ“ и „неблагонадежныхъ“ занимали помѣщенія у частныхъ лицъ.

Начиналось „торжество побѣдителей“ и расплата.

Однажды къ нашей квартирѣ подъѣхала извозничья парная коляска, изъ которой вышелъ молодой офицеръ и спросилъ отца. Онъ былъ въ повенкомѣ, свѣжемъ синемъ мундирѣ, па которомъ эффектно выдѣлялись бѣлые аксельбанты. Шпори его звенѣли на каждомъ шагу пріятнымъ тихимъ звономъ.

— Ка-кой красивый,—сказала моя сестренка. И намъ съ братомъ онъ тоже очень понравился. Но мать, увидѣвъ его, отчего-то вдругъ испугалась и торопливо пошла въ кабинетъ... Когда отецъ вышелъ въ гостиную, красивый офицеръ стоялъ у картины, на которой довольно грубо масляными красками была изображена фигура бородатаго поляка, въ красномъ кунтушѣ, съ саблей на боку и гетманской булавой въ рукѣ. Офицеръ поклонился, звякнулъ шпорами и, указывая на картину, спросилъ:

— Мазепа?

— Нѣтъ, это Жолѣвскій,—отвѣтилъ отецъ.

— А-а,—протянулъ офицеръ съ такимъ видомъ, какъ будто онъ одинаково не одобряетъ и Мазепу, и Жолѣвскаго,—а затѣмъ удаллся съ отцомъ въ кабинетъ. Черезъ четверть часа оба вышли оттуда и усѣлись въ коляску. Мать и тетки осторожно, но съ тревогой, слѣдили изъ оконъ за уѣзжавшими. Кажется, онѣ боялись, что отца арестовали... А намъ казалось страннымъ, что такая красивая, чистенькая и пріятная фигура можетъ возбуждать тревогу...

Вечеромъ отецъ рассказывалъ, что, когда они проѣзжали мимо тюрьмы, повстанцы, выглядывавшіе въ окна, тоже подумали, что „судью арестовали“, и стали громко ругать жандарма...

Отецъ по должности принималъ участіе въ коммиссіяхъ, въ которыхъ этотъ красивый офицеръ, съ пріятнымъ, ласковымъ звономъ шпоръ, былъ однимъ изъ самыхъ свирѣлыхъ членовъ. Другіе чиновники, съ мѣстными связями, были мягче.

Однажды, вернувшись изъ засѣданія, отецъ рассказалъ матери, что одинъ изъ „подозрительныхъ“ пришелъ еще до начала засѣданія и, бросивъ на столъ только что полученное письмо, сказалъ съ отчаяніемъ:

— Я не защищаюсь болѣе... Дѣлайте, что хотите... Мой сынъ ушелъ въ отрядъ и—убитъ...

Жандарма и прокурора еще не было. Отецъ, взглянувъ на остальныхъ членовъ коммиссіи,—отдалъ старику письмо и сказалъ официальнымъ тономъ:

— Засѣданіе еще не открыто, а частные разговоры здѣсь неумѣстны.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ жандармъ, но старикъ

уже овладѣлъ собою и спрятать письмо. Его личное дѣло окончилось благопріятно, и семья была спасена отъ конфискаціи имущества и раззоренія.

Казней въ нашемъ городѣ, если не ошибаюсь, было три. Казнили такъ называемыхъ жандармовъ-вѣшателей и пришедшихъ къ возстанію офицеровъ русской службы.

Я помню только одну. Казнили бывшего офицера, кажется, Стройновскаго. Онъ былъ молодъ, красивъ, недавно женился, и ему предстояла блестящая карьера. Онъ былъ взятъ на мѣстѣ битвы, и—„закошъ былъ ясенъ“... Не знаю, стояла ли подпись отца въ числѣ другихъ, подъ приговоромъ, или нѣтъ, но никто не питалъ къ нему по этому поводу никакой горечи. Наоборотъ, уже приговоренный, Стройновскій попросилъ, чтобы отецъ посѣтилъ его передъ казнью. На этомъ свиданіи онъ передалъ отцу какіи-то порученія и послѣдній привѣтъ молодой женѣ. При этомъ онъ съ большой горечью отзывался о своемъ бывшемъ отрядѣ: когда онъ хотѣлъ отступить, они шумно требовали битвы, но когда передъ завалами на лѣсной дорогѣ появились мужики съ косами и казаки, — его отрядъ „накивалъ конскими хвостами“, а его взяли... Умиралъ онъ съ горечью и сожалѣніемъ, но мужественно и гордо.

Романтизмъ, которымъ шталось настроеніе возставшей тогда панской молодежи,—плохая военная школа. Они вдохновлялись умершимъ прошлымъ, тѣнями жизни, а не самой жизнью... Грубое, прозаическое наступленіе толпы мужиковъ и казаковъ ничѣмъ не напоминало красивыхъ батальныхъ картинъ... И бѣдняга Стройновскій поплатился за свое довѣріе къ историческому романтизму...

Былъ яркій свѣтлый день въ іюнѣ или въ іюлѣ. Съ утра было извѣстно, что за Кіевской заставой, на пустырь, около боевъ, уже поставленъ черный столбъ и вырыта яма, поэтому все въ этотъ день казалось особеннымъ, печально торжественнымъ, томительно важнымъ. Въ серединѣ дня, въ свѣтломъ воздухѣ тяжеловато, отчетливо, ясно, прокатился глухой короткій ударъ, точно въ уши толкнулся плотный круглый комокъ... И съ нимъ какъ будто раскрылось что-то среди этого яснаго дня, какъ раскрывается облако отъ зарницы... Облака не было, не было и зарницы; свѣтило солнце... А между тѣмъ что-то всетаки раскрылось, и на одно мгновеніе изъ-за яснаго дня выглянуло что-то таинственное, скрытое, невидимое въ обычное время.

Это было мгновеніе, когда завѣдомо для всѣхъ насъ не стало человѣческой жизни... Рассказывали впоследствии, будто Стройновскій просилъ не завязывать ему глазъ и не связыв-

вать рубь. И будто ему позволили. И будто онъ самъ скомап-доваль солдатамъ стрѣлять... А на другомъ концѣ города у знакомыхъ сидѣла его мать. И когда комокъ доехалъ до нея, она упала, точно скошенная...

Повторяю: я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговорѣ военно-судной комисіи, или это былъ полевой судъ изъ однихъ военныхъ. Никто не говорилъ объ этомъ, и никто не считалъ этого важнымъ. „Законъ былъ ясенъ“...

XIII.

Кто я?

Возстаніе умирало. Говорили уже не о битвахъ, а о бойняхъ и объ охотѣ на людей. Рассказывали, будто мужики зарывали пойманныхъ пановъ живыми въ землю и будто одну такую могилу съ живыми покойниками казаки еще во время отконали гдѣ-то недалеко отъ Житомира...

Въ польскомъ обществѣ мѣсто возбужденія заняло разочарованіе, и, кажется, демократизмъ смѣнилъ романтическія мечты о блескѣ и пышности „исторической Польши“. вмѣсто хвастливаго „Jeszcze Polska nie zginęła“ или „Grzmią pod Stoczkiem harmany“ („Еще Польша не погибла“ и „Подъ Сточкомъ гремятъ пушки“) — молодежь пѣла мрачную и горькую демократическую пѣсню:

О, честь вамъ, паны, и князья, и прелаты
За край, братней кровью залитый...

Въ это время къ отцу часто приходилъ писатель Александръ Гроза, пользовавшийся нѣкоторой извѣстностью въ польской литературѣ того времени. У него, вмѣстѣ съ нѣкимъ Паціорковскимъ, была типографія, которая была конфискована. Время было простое, печатные матеріалы были свалены въ квартиру отца, и я жадно читалъ ихъ. Тутъ была, помню, „Хроника Яна Хризостома Паска“ и нѣкоторыя произведенія Грозы. Нѣсколько вечеровъ онъ читалъ у насъ свою новую драму въ стихахъ, озаглавленную, если не ошибаюсь, „Попель“. Рѣчь шла о борьбѣ простого народа съ рыцарями и княземъ Попелемъ. Этого свирѣпаго князя, согласно легендѣ, съѣли мыши, а простой народъ на его мѣсто поставилъ королемъ крестьянина Пяста. Не могу ничего сказать о достоинствѣ этой драмы, но въ моей памяти осталось нѣсколько сценъ и общій тонъ — противопоставленіе прочьхъ добродѣтелей крестьянства заносчивости рыцарей-аристократовъ. Отецъ слушалъ чтеніе очень внимательно и, когда Гроза окончилъ, онъ сказалъ печально:

— Какъ я вамъ завидую... Поэтъ живетъ особою жизнью...

Онъ переносится въ другіе вѣка, далекіе отъ нашихъ тяжелыхъ дней...

Это было первое общее сужденіе о поэзіи, которое я слышалъ, а Гроза (маленькій, круглый человекъ, съ крутыми чертами ordinarily лица) былъ первымъ видѣннымъ мною „живымъ поэтомъ“... Теперь о немъ совершенно забыли, но его произведенія были для того времени настоящей литературой, и я съ захватывающимъ интересомъ слѣдилъ за чтеніемъ. Читалъ онъ съ большимъ одушевленіемъ, и порой мнѣ казалось, что этотъ кругленькій человекъ преобразуется, становится другимъ,—большимъ, красивымъ и интереснымъ...

Случилось такъ, что русская литература впервые предстала передо мной въ видѣ одного только „Вѣстника Юго-Западной и Зап. Россіи“, издававшегося для цѣлей обрусѣнія Говорскимъ. Выписка его была обязательна для чиновниковъ, поэтому цѣлыя горы „Вѣстника“ лежали у отца въ кабинетѣ, по кажется, что мой старшій братъ и я были его единственными и то неособенно усердными читателями. По содержанію это была грубо тенденціозная сряпя. Всѣ русскіе изображались героями добродѣтели, а изъ поляковъ хорошими представлялись только тѣ, кто измѣнялъ своимъ соотечественникамъ... Все это оставляло въ душѣ осадокъ безвкусицы и сознательной лжи.

Понятно, что эта литература нисколько не захватывала и не убѣждала. Въ жизни на одной сторонѣ стояла возвышенно печальная драма въ семьѣ Рыхлинскихъ и казнь Стройновскаго, на другой — красивая фигура безжалостнаго, затянутаго въ мундиръ жандарма... Я думаю поэтому, что если бы кто-нибудь сумѣлъ вскрыть мою душу, — то и въ этотъ періодъ моей жизни онъ бы навѣрное нашелъ, что наибольшимъ удѣльнымъ вѣсомъ обладали въ ней тѣ чувства, мысли, впечатлѣнія, какія она получала отъ языка, литературы и вообще культурныхъ вліяній родины моей матери.

Итакъ, кто же — я на самомъ дѣлѣ?.. Этотъ головоломный, пожалуй, даже неразрѣшимый вопросъ сталъ центромъ маленькой драмы въ моей неокрѣпшей душѣ...

Въ то время въ пансіонѣ учился вмѣстѣ со мною полякъ Кучальскій. Это былъ высокій, худощавый мальчикъ, нѣсколько сутулый, съ узкой грудью и лицомъ, попорченнымъ оспой (вообще — какъ я теперь вспоминаю, въ то время было гораздо больше людей со слѣдами этой болѣзни, чѣмъ теперь). Не смотря на сутулость и оспенное лицо, — въ немъ было какое-то особое прирожденное изящество, а маленькіе, немного печальные, но очень живые черные глаза глядѣли изъ-подъ

рябоватыхъ вѣкъ необыкновенно привлекательнымъ и добрымъ взглядомъ. Мнѣ нравилось въ немъ все: и чистенькое, хорошо лежавшее на его тонкой фигурѣ платье, и походка, какъ будто слегка неуклюжая и, не смотря на это—изящная, и тихая улыбка, и какая-то особенная сдержанность среди шумной ватаги пансіонеровъ, и то, какъ онъ, отвѣтивъ урокъ у доски, обтиралъ бѣлымъ платкомъ свои тонкія руки. И сразу замѣтилъ его среди остальныхъ учениковъ, и понемногу мы сблизились, какъ сблизжаются школьники: то есть оказывали другъ другу мелкія услуги, дѣлились перьями и карандашами, въ свободные часы уединялись отъ товарищей, ходили вдвоемъ и говорили о многомъ, о чемъ не хотѣлось говорить съ другими. Иной разъ мнѣ просто пріятно было смотрѣть на него, ловить его тихую, задумчивую улыбку... То, что онъ былъ полякъ, а я русскій, не вносило ни малѣйшей тѣни въ завязывавшуюся между нами дѣтскую дружбу.

Когда началось возстаніе, наше сближеніе продолжалось. Онъ глубоко вѣрилъ, что поляки должны побѣдить, и что старая Польша будетъ восстановлена въ прежнемъ блескѣ. Разъ кто-то изъ русскихъ учениковъ сказалъ при немъ, что Россія—самое большое государство въ Европѣ. Я тогда еще не зналъ этой особенности своего отечества, и мы съ Кучальскимъ тотчасъ же отправились къ картѣ, чтобы провѣрить это сообщеніе. Я и теперь помню непреклонную увѣренность, съ которой Кучальскій сказалъ послѣ обозрѣнія карты:

— Это русская карта. И это не правда.

Этому своему пріятелю я, между прочимъ, рассказалъ о своемъ снѣ, въ которомъ я такъ боялся за судьбу русскихъ солдатъ и Аѳагасіа.

— Ты не вѣришь въ сны?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я.—Отецъ говоритъ, что это пустяки и что сны не сбываются. И я думаю тоже. Сны я вижу каждую ночь...

— А я вѣрю,—отвѣтилъ онъ.—И твой сонъ значитъ, что мы непременно побѣдимъ.

Вскорѣ выяснилось, что мой сонъ этого не значилъ, и я сталъ замѣчать, что Кучальскій начинаетъ отстраняться отъ меня. Меня это очень огорчало, тѣмъ болѣе, что я не чувствовалъ за собой никакой вины передъ нимъ... Напротивъ, теперь со своей задумчивой печалью онъ привлекалъ меня еще болѣе. Однажды, во время перемены, когда онъ ходилъ одинъ, въ сторонѣ отъ товарищей — я подошелъ къ нему и сказалъ:

— Слушай, Кучальскій... У тебя, вѣрно, случилось какое-нибудь горе?

Онъ посмотрѣлъ на меня печальными глазами и, не оставиваясь, сказалъ:

— Да, большое горе..

— Почему ты мнѣ не скажешь?.. И почему ты меня избѣгаешь?..

— Такъ...—отвѣтилъ онъ,—тебѣ до этого не можетъ быть дѣла... Ты—москаль.

Я обидѣлся и отошелъ съ нѣкоторой раной въ душѣ. Послѣ этого каждый вечеръ я ложился въ постель и каждое утро просыпался съ щемлящимъ сознаниемъ непонятной для меня отчужденности Кучальскаго. Мое дѣтское чувство было оскорблено и доставляло мнѣ страданіе.

Среди учениковъ пансіона былъ одинъ, который питалъ ко мнѣ такое же чувство, какое я питалъ къ Кучальскому. Фамилію его я забылъ и назову его Стоцкимъ. Это былъ низенькій мальчикъ, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывалъ третьимъ во время нашихъ прогулокъ съ Кучальскимъ. Теперь онъ подмѣтилъ наше отчужденіе, и я рассказалъ ему объ отвѣтѣ Кучальскаго на мои попытки узнать объ его горѣ. Мальчикъ послѣ этого нѣсколько разъ ходилъ съ Кучальскимъ, обуздывая свою живость и стараясь попасть въ сдержанный тонъ моего бывшего друга. Наконецъ, онъ вывѣдалъ, что ему было нужно, и сказалъ мнѣ во время одной изъ прогулокъ:

— Онъ говоритъ, что ты—москаль... Что ты во снѣ плакалъ о томъ, что поляки могли побѣдить русскихъ, и что ты... будто бы... теперь радуешься...

И онъ прибавилъ, что, повидному, кто-то изъ близкихъ Кучальскаго убитъ, равенъ или взятъ въ плѣнъ...

Это сообщеніе меня поразило. Итакъ—я лишился друга только потому, что онъ полякъ, а я—русскій, и что мнѣ было жаль Аѳанасія и русскихъ солдатъ, когда я думалъ, что ихъ могутъ убить. Подозрѣніе, будто я радуюсь тому, что теперь гибнутъ поляки, что Феликсъ Рыхлинскій раненъ, что Стасень сидитъ въ тюрьмѣ и пойдетъ въ Сибирь,—меня глубоко оскорбило... Я ожесточился и чуть не заплакалъ...

— Я не радуюсь. — сказалъ я Стоцкому, — но... когда такъ... Ну, что жъ. Я—русскій, а онъ пускай думаетъ, что хочетъ...

И я не дѣлалъ новыхъ попытокъ сближенія съ Кучальскимъ. Какъ ни было мнѣ горько видѣть, что Кучальскій ходитъ одинъ или въ кучкѣ новыхъ пріятелей,—я крѣпился,

хотя не могъ изгнать изъ души ноющее и щемящее ощуще-
ніе утраты чего-то дорогого, близкаго, нужнаго моему дѣт-
скому сердцу.

Но вдругъ въ положеніи этого вопроса произошла новая
перемѣна. пришла третья национальность и въ свою очередь
предъявила на меня свое право.

Случилось это слѣдующимъ образомъ. Одинъ изъ нашихъ
молодыхъ учителей, полякъ панъ Высоцкій, поступилъ въ
университетъ или уѣхалъ за границу. На его мѣсто былъ
приглашенъ новый, по фамиліи, если память мнѣ не измѣ-
няетъ, Буткевичъ. Это былъ молодой человѣкъ небольшого
роста, съ очень живыми движеніями и ласково веселыми,
черными глазами. Вся его фигура отличалась многими, не-
привычными для насъ особенностями.

Прежде всего обращали вниманіе длинныя тонкіе усы, съ
подъусниками, опущенные внизъ, по-казацки. Волосы были
острижены въ кружокъ. На немъ былъ синій казакинъ, раз-
стегнутый на груди, гдѣ виднѣлась вышитая малороссійскимъ
узоромъ рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкія
синія шаровары были подъ казакиномъ опоясаны цвѣтнымъ
поясомъ и вдѣты въ голенища лакированныхъ мягкихъ сапогъ.
Войдя въ классную комнату, онъ кинулъ на ближайшую
кровать сивую смушковую шапку, на одной изъ пуговиць
его казакина болтался кisetъ изъ пузыря, стянутый тонкимъ
цвѣтнымъ шнуркомъ...

Въ самомъ началѣ урока онъ взялъ въ руки списокъ и
сталъ громко читать фамилии. Полякъ?—спрашивалъ онъ при
этомъ.—Русскій?—Полякъ? Полякъ? Наконецъ, онъ прочелъ
и мою фамилію.

— Русскій,—отвѣтилъ я.

Онъ вскинулъ на меня свои живые глазки и сказалъ:

— Брешешь.

Я очень сконфузился и не зналъ, что отвѣтить, а Бутке-
вичъ послѣ урока подошелъ ко мнѣ, запустилъ руки въ мои
волосы, шутя откинулъ назадъ мою голову и сказалъ опять:

— Ты не москаль, а козацкій внукъ и правнукъ, воль-
ного козацкаго роду... Понимаешь?

— По-нимаю...—отвѣтилъ я, хотя, признаться, въ то время
понималъ мало и былъ озадаченъ. Впрочемъ, слова „вольного
козацкаго роду“ имѣли какое-то смутно-манящее значеніе.

— Вотъ погоди,—я принесу тебѣ книжечку: изъ нея ты
поймешь еще больше,—сказалъ онъ въ заключеніе.

На слѣдующій же урокъ Буткевичъ принесъ мнѣ маленькую
брошюрку, кажется, кіевскаго изданія. На обложкѣ было за-

главіе, если не ошибаюсь: „Про Чупрыну та Чортовуса“, а виньетка изображала мертваго казака, съ „оселеддемъ“ на макушкѣ и огромнѣйшими усами, лежавшаго, раскинувъ могучія руки, на большомъ поваленномъ пнѣ...

Разсказъ велся отъ лица дворскаго казака, который участвовалъ въ преслѣдованіи гайдамацкой ватаги, состоявшей подъ начальствомъ запорожцевъ-ватажковъ, Чупрыны и Чортовуса. Гайдамаки сдѣлали набѣгъ, рѣзали пановъ, жидовъ и ксендзовъ, жгли панскіе дворы и замки. Польскій отрядъ съ помощью реестровыхъ казаковъ оттѣснилъ ихъ на какой-то островъ, окруженный рѣкой и болотами. Гайдамаки сдѣлали засѣлки и долго отстрѣливались, пока ночью реестровый казакъ не указалъ полякамъ какого-то способа перехода черезъ болото... На утро польское войско кинулось на засѣлки, гайдамаки отчаянно защищались, но, наконецъ, погибли всѣ до одного; послѣдними пали отъ рукъ своихъ же братьевъ ватажки „Чупрына та Чортовусъ“; одинъ изъ нихъ былъ изображенъ на виньеткѣ. Кончался этотъ разсказъ соответствующей моралью: реестровый казакъ внушалъ своимъ товарищамъ, какъ нехорошо было съ ихъ стороны сражаться противъ своихъ братьевъ-гайдамаковъ, которые боролись за свободу съ утѣшителями поляками...

Брошюрка эта не произвела на меня того впечатлѣнія, какого ожидалъ Буткевичъ. Разсказъ велся отъ имени реестроваго казака, но я не былъ реестровымъ казакомъ и даже не зналъ, что это такое. Мораль состояла въ томъ, что гайдамаковъ не слѣдовало истреблять, а нужно было помогать имъ. Но и гайдамаковъ нигдѣ уже не было. Не было также и яркихъ картинъ и образовъ, захватившихъ мое воображеніе въ польскомъ театрѣ. Былъ только довольно блѣдный разсказъ о томъ, что гайдамаки пришли рѣзать пановъ, а паны, при помощи „лейстровыхъ“, вырѣзали гайдамаковъ... Разсказчикъ отъ себя прибавлялъ, что гайдамаки поступали хорошо, а лейстровые плохо, но для меня и тѣ, и другіе были одинаково чужды.

Одно только послѣдствіе какъ будто вытекало изъ открытія, сдѣланнаго для меня Буткевичемъ: если я не москаль, то, значить, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мнѣ въ голову, но оскорбленная гордость не позволила сдѣлать первые шаги къ примиренію. Это сдѣлалъ за меня мой маленький пріятель Стоцкій. Однажды мы проходили съ нимъ по двору, когда на-встрѣчу намъ попался Кучальскій, по обыкновенію одинъ. Стоцкій со своей обычной почти обезьяньей живостью схватилъ его за руку и сказалъ:

— Слушай, Кучальскій. Поди съ нами. Вѣдь онъ не москаль. Буткевичъ говоритъ, что онъ малороссъ.

Кучальскій на минуту остановился, какъ будто колеблясь, но затѣмъ взглядъ его принялъ опять свое обычное упрямо-печальное выраженіе...

— Это еще хуже,—сказалъ онъ, тихо высвобождая свою руку:—они закапываютъ нашихъ живьемъ въ землю...

Эта простая фраза разрушила всѣ старанія украинца-учителя. Когда послѣ этого Буткевичъ по украински заговаривалъ со мною о „Чупринѣ та Чортовусѣ“, то я потуплялся, краснѣлъ, замыкался и молчалъ.

Можетъ быть этому способствовало еще одно обстоятельство. Въ нашей семьѣ тонъ былъ очень простой. У отца я никогда не замѣчалъ ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вѣроятно поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тѣмъ вся фигура новаго учителя казалась мнѣ, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но... какой-то не настоящей. Онъ одѣвался такъ, какъ никто не одѣвался ни въ городѣ, ни въ деревнѣ. Тонкій казакинъ, кisetъ на шнуркѣ, люлька въ карманѣ широкихъ шароваръ, казацкіе подѣвусники—все это казалось не настоящимъ, не природнымъ и непосредственнымъ, а „нарочнымъ“ и дѣланымъ. И говорилъ онъ не просто, какъ всѣ, а точно подчеркивалъ: вотъ видите, я говорю по-украински. И мнѣ казалось, что, если, по его требованію, я стану отвѣчать ему тоже на украинскомъ языкѣ (который я зналъ довольно плохо), то и это выйдетъ не настояще, а нарочно и потому „стыдно“.

Въ Буткевичѣ это вызывало, кажется, нѣкоторую досаду. Онъ приписалъ мое упорство „ополяченію“ и однажды сказалъ что-то о моей матери „ляшкѣ“... Это было самое худшее, что онъ могъ сказать. Я очень любилъ свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожанія. На этомъ маленькомъ эпизодѣ мои воспоминанія о Буткевичѣ совсѣмъ прекращаются.

Счастливая особенность дѣтства—непосредственность впечатлѣній и потокъ яркой жизни, уносящій все впередъ и впередъ,—не позволили и мнѣ остановиться долго на этихъ національныхъ рефлексіяхъ... Дни бѣжали своей чередой, украинскій прозелитизмъ не удался; я перестрадалъ маленькую драму разорванной дѣтской дружбы, и вопросъ о моей „национальности“ остался пока въ томъ же неопредѣленномъ положеніи...

Но и неоформленный и нерѣшенный, онъ всетаки лежалъ гдѣ-то въ глубинѣ сознания, а по ночамъ, когда пестрыя

впечатлѣнія дня смолкали, — онъ облакался въ образы и управлялъ моими снами.

Изъ этихъ сновъ одинъ запомнился мнѣ особенно ярко.

Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышала, какъ мать говорила изъ сосѣдней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла въ спальню, отодвинула задвижку и вышла на дворъ, чтобы исполнить приказаніе. И когда она вышла, скрипнувъ дверью, меня опять захватилъ еще не разсѣявшійся утренній сонъ. И въ немъ я увидѣлъ себя Наполеономъ.

У меня было его лицо, я былъ въ его сѣромъ сюртукѣ, въ треугольной шляпѣ, со шпагой. Я приѣхалъ въ Россію, чтобы сдѣлать здѣсь какое-то важное дѣло и кого-то непременно защитить... Какое это дѣло и кто ждалъ моей защиты, — это было неясно. Въ смутномъ облакѣ неопредѣленно болящихъ ощущеній носились и фигуры Рыхлинскихъ, и солдатъ Аванасій, и моя плачущая мать, и мать Стройновскаго... Гдѣ-то слышались отдѣльные выстрѣлы и крики, и стоны... Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ница и не находя того, кто мнѣ былъ нуженъ. Наконецъ, кто-то беретъ меня въ плѣнъ, и меня сажаютъ въ тотъ самый домикъ на Вильской улицѣ гдѣ, по рассказамъ, сидѣла въ заключеніи знаменитая дѣвица Пустовойтова—Юанна д'Аркъ „повстанья“. Въ немъ еще темно, но въ щели ставней проникаютъ яркіе лучи дня, а у дверей брякаетъ оружіе. И вдругъ въ комнату врываются солдаты. Они выстраиваются въ рядъ. Я становлюсь противъ нихъ и разстегиваю свой мундиръ. Внезапный грохотъ залпа, въ груди ощущеніе удара и теплоты, и ослѣпительный свѣтъ разливается отъ мѣста этого удара..

Я проснулся. Ставни какъ разъ открывались, комнату заливалъ свѣтъ солнца, а звукъ залпа объяснился паденіемъ желѣзнаго засова ставни. И я не могъ повѣрить, что весь мой долгій сонъ, съ повсками, неудачами, приключеніями, улегся въ тѣ нѣсколько секундъ, которыя были нужны горничной, чтобы открыть спаружки ставню..

Сердце у меня тревожно билось, въ груди еще стояло ощущеніе теплоты и удара... Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, съ какой во снѣ я искалъ и не находилъ то, что мнѣ было нужно, между тѣмъ, какъ рядомъ, въ спутанномъ клубкѣ сновидѣній, кто-то плакалъ, стоналъ и бился... Теперь мнѣ кажется, что этотъ клубокъ былъ завязанъ тремя „націонализмами“, въ которыхъ каждый заявлялъ право на владѣніе моею беззащитной душой, съ обязанностию кого-нибудь ненавидѣть и преслѣдовать...

XIV.

Житомирская гимназія.

Это было время перелома въ воспитательной системѣ. Въ обществѣ и литературѣ шли разсужденія о томъ, „пороть ли розгами ребенка, учить ли грамотѣ народъ“. Въ Кіевскомъ округѣ попечителемъ былъ знаменитый Пироговъ. Незадолго передъ тѣмъ (въ 1858 году) онъ издалъ рядъ блестящихъ статей о воспитаніи, въ которыхъ рѣшительно высказывался противъ розогъ. Добролюбовъ горячо привѣтствовалъ эти статьи, тѣмъ болѣе, что онѣ вышли изъ-подъ пера практическаго дѣятеля въ области воспитанія. Добролюбовъ сдѣлалъ изъ нихъ заключеніе, что, значить, въ Кіевскомъ округѣ розга отошла уже въ область преданія. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. Въ слѣдующемъ 1859 году Пироговымъ было созвано „совѣщаніе“, въ которомъ участвовали, кромѣ попечителя и его помощника, нѣкоторые профессора, директора, инспекторы гимназій и выдающіеся учителя. Совѣщаніе высказалось за „постепенность реформы“ и, сохраняя розгу, рѣшило только регламентировать ея примѣненіе. Пироговъ не только не остался при особомъ мнѣніи, но еще прибавилъ свою мотивировку къ знаменитымъ въ свое время „правиламъ“, въ которыхъ всѣ виды гимназическихъ преступленій были тщательно взвѣшены, разнесены по рубрикамъ и таксированы такими-то степенями наказаній. Таблица съ этими рубриками должна висѣть на стѣнѣ, и ученику, совершившему проступокъ, предстояло самому найти его въ соответствующей графѣ. Предполагалось, что это будетъ „способствовать развитію чувства законности“. Въ числѣ иривинностей, неизбѣжно навлекавшихъ тѣлесное наказаніе, значился, между прочимъ, „религіозный фанатизмъ“.

Это былъ компромиссъ „теоріи съ практикой“ и при томъ очень неудачный. Правила не продержались и нѣсколькихъ лѣтъ. „Духъ времени“ быстро изгонялъ розгу, но тамъ, гдѣ педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признаніе тѣлесныхъ наказаній было ей очень на руку. Добролюбовъ отвѣтилъ на появленіе „правилъ“ рѣзкой статьёй, полной горечи и сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика раздѣлилась на два лагеря: за и противъ Добролюбова, при чемъ „умѣренный либерализмъ“ того времени былъ за попечителя и за постепенность противъ журналиста съ его радикальными требованіями. Въ этомъ спорѣ на долю житомирской гимназіи выпала своеобразная извѣстность. Ока-

залось, что, по количеству случаев порки—она далеко оставила за собой всё остальныя: въ 1858 году изъ 600 учениковъ было высѣчено 290. Это было въ семь разъ чаще, чѣмъ, напримѣръ, въ Кіевской второй гимназіи, и въ 35 разъ больше, чѣмъ въ Кіевской первой. Простодушные старозавѣтные педагоги, съ директоромъ Киченкомъ во главѣ—проставили въ своемъ отвѣтъ на запросъ Пирогова эту краснорѣчивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.

Я былъ тогда слишкомъ малъ и не помню, въ какой мѣрѣ отголоски этого журнальнаго спора проникали въ гимназическую среду. У нея была своя литература, заучиваемая на память, ходившая въ рукописяхъ и по альбомамъ. Ученическая муза неизмѣнно настраивалась при этомъ на сатирическій ладъ. Я помню длинную поэму въ стихахъ, написанную, кажется, очень недурно, въ которой говорилось, между прочимъ, что въ Житомирѣ не могутъ ужиться „учителя-люди“ среди „учителей-звѣрей“. По какой-то роковой неизбѣжности „людей“ похищаетъ нечистая сила:

Взяли черти Трофимова,
Возьмутъ Добрашова...

говорилъ, между прочимъ, неизвѣстный авторъ, не щадившій красокъ для изображенія педагоговъ, остающихся въ педагогическомъ звѣринцѣ.

Уже по тону этихъ произведеній, проникнутыхъ горечью и злобой, можно было бы судить, какія благодарныя чувства возбуждала тогдашняя школа и съ какимъ настроеніемъ выпускала она въ жизнь своихъ питомцевъ.

Ярче запомнилось мнѣ другое шуточное „подпольное“ произведеніе, гдѣ выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было „сказаніе о Миѣ“. „Бѣ вѣкій человекъ, — говорилось въ этомъ сказаніи, — именованный Прометей, сирѣчь ученикъ Буйвидъ. И той похищаше огонь съ небесе, сирѣчь книги изъ класса. И богъ Зевесъ, сирѣчь директоръ Киченко, приковаше его къ кавказской скалѣ, сирѣчь скамьѣ въ карцерѣ. И абіе свирѣпый коршунъ, сирѣчь сторожъ Мина, клеваше печень его, сирѣчь з-цу, желѣзнымъ клювомъ, сирѣчь розгою. И услыша вопли его Гераклъ, сирѣчь Буйвидъ-отецъ...“

Дальше въ томъ же тонѣ описывалась баталія, дѣйствительно происшедшая между отцомъ наказываемаго и гимназическимъ начальствомъ, въ лицѣ любителя порки Киченка, надзирателя Журавскаго и Мины. Съ большимъ злорадствомъ изображались подвиги и побѣды Геракла, кото-

рый освобождает Прометея съ великимъ уропомъ для самаго Зевса.

Въ пансіонѣ Рыхлинскаго было много гимназистовъ, и потому мы всё заранѣе познакомились съ этой рукописной литературой. Въ одномъ изъ альбомовъ я встрѣтилъ и сразу запомнилъ безыменное стихотвореніе, начинавшееся словами: „Выхожу задумчиво изъ класса“. Это было знаменитое добролюбовское „*Размышленіе гимназиста лютеранскаго въ ро-исповѣданія и не Кіевскаго округа*“. По вопросу о томъ, „былъ ли Лютеръ геній или плутъ“, бѣдняга говорилъ слишкомъ вольно и изъ „чувства законности“ онъ самъ желаетъ, чтобы его высѣкли.

Но не тѣмъ съченіемъ обычнымъ,
Какъ съкутъ повсюду дураковъ,
А такимъ, какое ечель приличнымъ
Николай Ивановичъ Пироговъ.
И бѣ хотѣлъ, чтобы для меня собрался
Весь педагогическій совѣтъ
И о томъ чтобы долго препирался,
Сѣчь меня за Лютера, иль нѣтъ...
...Чтобъ узналъ объ этомъ попечитель,
И, лежа подъ свѣжею лозой,
Чтобъ я зналъ, что нашъ руководитель
Въ этотъ мигъ скорбитъ о мнѣ душой...

Каждый изъ насъ, пансіонеровъ, мечталъ, конечно, о поступленіи въ гимназію, и потому мы заранѣе интересовались всѣмъ, что гимназисты приносили изъ классовъ. Мы знали о грозномъ Киченкѣ, о старыхъ учителяхъ, о надзирателѣ Журавскомъ, о Минѣ, жена котораго угощала гимназистовъ въ пережбну отличными пирожками по 1½ копѣйки, а самъ онъ тѣхъ же гимназистовъ угощаль въ карцерѣ розгами. И если, тѣмъ не менѣе, мы мечтали о гимназическомъ мундирѣ, то это было нѣчто вродѣ честолюбія юнаго воина, отправляющагося на опасную войну съ непріателемъ...

Наконецъ, въ концѣ іюня 1863 года, и я въ мундирѣ съ краснымъ воротникомъ и мѣдными пуговицами отправился въ первый разъ на уроки въ новое гимназическое зданіе.

Шелъ я далеко не такимъ побѣдителемъ, какъ когда-то въ пансіонѣ Рыхлинскаго. Послѣ вступительнаго экзамена я заболѣлъ лихорадкой и пропустилъ почти всю первую четверть. Жизнь этого огромнаго „казеннаго“ учрежденія шла безъ меня на всѣхъ парахъ, и я чувствовалъ себя янчужнымъ, жалкимъ, впередъ уже въ чемъ-то виновнымъ. Виновнымъ въ томъ, что болѣлъ, что ничего не знаю, что я, наконецъ, такъ малъ и не похожъ на гимназиста... И иду теперь беззащитный на-встрѣчу Киченку, Минѣ, суровымъ нравамъ и наказаніямъ...

Въ большомъ шумномъ классѣ все было чуждо, но особенное смущеніе вызвала во мнѣ знакомая фигура нѣкоего стараго гимназиста Шумовича. Это былъ малый лѣтъ 18-ти, широкоплечій, приземистый, съ походкой молодого медвѣдя и серьезнымъ, почти угрюмымъ взглядомъ. Два или три послѣднихъ года онъ почти ежедневно проходилъ въ гимназію мимо нашего двора. Если случайно я или младшій братъ попадались ему при этомъ на дорогѣ, — онъ сгребалъ попавшагося въ свои медвѣжьи лапы, тискалъ, мялъ, сплющивалъ носъ, хлопалъ по ушамъ и наконецъ, — повернувъ къ себѣ спиной, пускалъ въ пространство ловкимъ ударомъ колѣна пониже спины. Затѣмъ неторопливо шель дальше. Завидѣвъ его еще издали, мы прятались за калитку, но когда онъ проходилъ, что-то тянуло насъ за нимъ. Мы бѣжали сзади и окликали: „Шумовичъ! Шумовичъ!“ Онъ поворачивался и серьезнымъ взглядомъ измѣрялъ разстояніе...

Оказалось, что реформа, запретившая оставаться болѣе двухъ лѣтъ въ одномъ классѣ, застала его продолжительную гимназическую карьеру только на второй ступени. Богатырь оказался моимъ товарищемъ, и я со страхомъ думалъ, что онъ сдѣлаетъ со мной въ ближайшую переѣзду... Но онъ не показалъ и виду, что помнитъ о нашихъ внѣ-гимназическихъ отношеніяхъ. Вѣроятно, ему самому эти воспоминанія доставляли мало удовольствія...

Я чувствовалъ себя, какъ въ лѣсу, и когда, на первомъ урокѣ, молодой учитель естественной исторіи назвалъ вдругъ мою фамилію,—я замеръ. Сердце у меня забилось, и я безпомощно оглянулся. Сидѣвшій рядомъ товарищъ толкнулъ меня локтемъ и сказалъ: „Иди, иди къ каедрѣ“. И тотчасъ же громко прибавилъ:

— Онъ не готовилъ. Былъ боленъ.

— Былъ боленъ, былъ боленъ... Не готовилъ!—загудѣлъ весь классъ. Я нѣсколько ободрился, почувствовавъ, что за мной стоитъ какая-то дружественная и солидарная сила. Подойдя къ каедрѣ, я остановился и потупился.

— Боленъ, боленъ, боленъ!.. — бо-о-о... не гото-о-о... — гудѣло за мной пятьдесятъ голосовъ.

Учитель Прелинъ оказался не страшнымъ. Молодой, красивый блондинъ съ синими глазами спросилъ у меня, что я знаю, и, получивъ отвѣтъ, что я не знаю еще ничего, — пригласилъ придти къ нему на домъ... Я сѣлъ на мѣсто, ободренный и покоренный его ласковымъ и серьезнымъ взглядомъ.

— Этотъ ничего... славный малый, — сказалъ мой сосѣдъ, по фамиліи Крыштановичъ.

Въ это время дверь широко и быстро открылась. Въ классъ рѣшительной, почти военной походкой вошелъ большой, полный человѣкъ. „Директоръ Герасименко“ — робко шепнулъ мнѣ сосѣдъ. Едва поклонившись учителю, директоръ развернулъ вѣдомость и сказалъ отрывистымъ, точно лающимъ голосомъ:

— Четвертыя отмѣтки. Слушать! Абрамовичъ... Баландовичъ... Буяльскій... Варшаверъ... Варшавскій...

Точно изъ мѣшка, онъ сыпалъ фамилии, названія предметовъ и отмѣтки... Повременамъ изъ этого потока вырывались краткія сентенціи: „похвально“, „совѣтъ высказываетъ порицаніе“... „угроза розогъ“, „выпороть мерзавца“. Назвавъ мою фамилію, онъ прибавилъ: „много пропущено... стараться“... Проявивъ послѣднюю сентенцію, онъ быстро сложилъ журналъ и такъ же быстро вышелъ.

Въ классѣ поднялся какой-то особенный шумъ. Сзади кто-то заплакалъ. Прелинъ, красный и какъ будто смущенный, наклонился надъ журналомъ. Мой сосѣдъ, голубоглазый, очень пріятный мальчикъ въ узкомъ мундирчикѣ, толкнулъ меня локтемъ и спросилъ просто, хотя съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ:

— Слушай... Что онъ сказалъ обо мнѣ: „угроза розогъ“ или „выпороть мерзавца“?

— Я не замѣтилъ.

— Свиныя... тебѣ не жаль товарища?

— Но вѣдь ты и самъ не замѣтилъ...

— Да, чортъ его знаетъ... лаетъ, какъ собака...

— Крыштановичу что?.. Кто замѣтилъ? — заговорили кругомъ. — Кажется „угроза“...

— Нѣтъ, „выпороть мерзавца“... Я слышалъ, — сказалъ кто-то сзади.

— Ну?—повернулся Крыштановичъ.

— Вѣрно, братъ, вѣрно...

Я съ сочувствіемъ взглянулъ на него, но онъ безпечно мотнулъ головой съ буйнымъ золотистымъ вихромъ и сказалъ:

— Чортъ съ ними! Ты... будешь учиться?

— А то какъ же?—спросилъ я наивно.

— Много пропустилъ. Все равно не догонишь. Вудуть пороть.. Я вотъ не учусь совсѣмъ... Хочу въ телеграфисты...

Прелинъ поегучалъ карандашомъ. Разговоры стихли...

Въ ближайшую перемину я не вышла, а меня вынесло на дворъ, точно бурнымъ потокомъ. И тотчасъ же завертѣло, какъ щепку. Я былъ новичокъ. Это было замѣтно, и на меня

посыпались щипки, толчки и удары по ушамъ. Ударить по уху такъ, чтобы щелкнуло, точно хлопнушкой, называлось на гимназическомъ жаргонѣ „дать фаца“, и нѣкоторые старые гимназисты достигали въ этомъ искусствѣ значительнаго совершенства. У меня вдобавокъ была коротко-остриженная голова и нѣсколько торчащія уши. Поэтому, пока я безпомощно оглядывался, вокругъ моей головы стояла пальба, точно изъ пулемета, которую прекратило только бурное вмѣшательство моего знакомаго гимназиста Ольшанскаго.

Это былъ толстый, необыкновенно жизнерадостный крѣпшъ, ринувшійся въ атаку съ безавѣтной храбростью и вскорѣ вырвавшій меня изъ водоворота. Правда, онъ и самъ вышелъ изъ битвы не безъ урона и даже два катался съ противниками въ травѣ. Потомъ схватился на ноги и крикнулъ:

— Бѣги за мной!

Мы побѣжали во второй дворъ. Убѣгая отъ какого-то настигнувшаго меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преслѣдователь остановился, а другой крикнулъ:— „Сломалъ дерево, сломалъ дерево! Скажу Журавскому!“

Между тѣмъ, съ крыльца раздался звонокъ, и всѣ гимназисты ринулись съ той же стремительностью въ зданіе. Ольшанскій, вошедшій въ роль покровителя, тащилъ меня за руку. Добѣжавъ до крыльца, гдѣ визенькій сторожъ потрясалъ большимъ звономъ, онъ вдругъ остановился и, ткнувъ въ звонаря пальцемъ, сказалъ мнѣ:

— Это Мина!

Знаменитый Мина оказался небольшимъ плотнымъ человекомъ, съ длинными, какъ у обезьяны, руками и загорѣлымъ лицомъ, на которомъ странно выдѣлялась очень свѣтлая заросль. Длинный прямой носъ какъ будто утопалъ въ толстыхъ, какъ два полѣна, свѣтлыхъ усахъ. Переставъ звонить, онъ взглянулъ на моего жизнерадостнаго покровителя и сказалъ:

— Чего смѣешься?.. Смотри, Ольшанскій,—скоро суббота... Уроки, небось, опять не вытвердилъ?

Ольшанскій безпечно показавъ грозному Минѣ языкъ и скрылся въ корридорѣ. Передъ урокомъ, когда уже всѣ сидѣли на мѣстахъ, въ классъ вошелъ надзиратель Журавскій и, поиславъ кого-то глазами, остановилъ ихъ на мнѣ.

— Ты, новичокъ, останься послѣ класса.

И былъ удивленъ. Товарищи тоже были заинтересованы. Крыштановичъ хлопнулъ меня по плечу и сказалъ:

— Молодецъ, новичокъ! Сразу попадешь подъ розги...Здорово!

Я чувствовалъ себя до такой степени невиннымъ, что даже не испугался. Оказалось, однако, что я былъ уже виновенъ.

— Ты сломать дерево?— спросилъ меня какой-то незнакомый ученикъ, подошедшій съ задней парты.

— Нѣтъ, но... я его согнулъ.

— Ну, вотъ. Я самъ слышалъ, какъ Домбровскийъ ябедничалъ Журавскому...

— За дерево... могутъ выпороть... — опять предположилъ Крыштановичъ.

Послѣдовалъ обменъ мнѣній. Хотя поломка деревьевъ едва ли была предусмотрена пироговской таблицей наказаній, но въ новой гимназiи только что были произведены посадки, и порча ихъ считалась большимъ преступленіемъ. Тѣмъ не менѣе, большинство мнѣній было въ мою пользу:

— Безъ согласія родителей пороть не станутъ.

Это была еще одна форма „постепеннаго“ компромисса: родителямъ предлагали: выпороть или уволить. Относительно Ольшанскаго, Крыштановича и нѣкоторыхъ другихъ была получена *carte blanche*, и дѣло шло какъ по маслу, безъ дальнѣйшихъ формальностей.

— А Домбровскаго пора проучить, — сказалъ Крыштановичъ.— Это уже не первый разъ.

— Гм-да...—многозначительно сказалъ еще кто-то.

По окончанiи уроковъ я съ нѣсколькими учениками прошелъ къ Журавскому. Дѣло обошлось довольно благополучно. Новые говарищи мои дружно доказывали, что я еще новичокъ, недавно оправившійся отъ болѣзни, и дерева не ломалъ. Къ концу этой бесѣды незамѣтно подошла еще кучка учениковъ, которые какъ-то особенно демонстративно вступали въ объясненія съ надзирателемъ. Журавскій сдѣлалъ мнѣ выговоръ и отпустилъ съ миромъ. Когда мы проходили по корридору, изъ пустого класса выскочилъ Домбровскій. Онъ былъ весь красный, а глазахъ у него были слезы.

Крыштановичъ рассказалъ мнѣ, улыбаясь, что надъ нимъ только что произведена „экзекуція“... Послѣ уроковъ, когда онъ собиралъ свои книги, сзади къ нему подкрался кто-то изъ „стариковъ“, кажется, Шумовичъ и накинулъ на голову его собственный башлыкъ. Затѣмъ его повалили на парту, Крыштановичъ снялъ съ себя ремень и „козв“ урѣзали десятка полтора ремней. Закончивъ эту операцію, исполнители кинулись изъ класса и, пока Домбровскій освобождался отъ башлыка, они старались обратить на себя вниманіе Журавскаго, чтобы установить *alibi*.

Такъ силовое гимназическое „товарищество“ казало „измѣнника“... Внослѣдствіи то же мнѣ пришлось встрѣтить въ тюрьмахъ. Формы, конечно, была жесточе, но сущность та же.

Этотъ эпизодъ какъ-то сразу ввелъ меня, новичка, въ новое общество на правахъ его члена. Домой я шелъ съ гордымъ сознаніемъ, что я уже настоящій ученикъ, что меня знаетъ весь классъ и изъ-за меня совершился даже нѣкоторый важный актъ общественнаго правосудія.

— Ты, славный малый, начинаешь недурно!—съ покровительственной важностью одобрилъ меня Крыштановичъ. Въ его глазахъ мнѣ недоставало еще только карцера и цорки...

Въ ближайшую субботу мой пріятель и защитникъ Ольшавскій показался мнѣ нѣсколько озабоченнымъ. На мои вопросы,—что съ нимъ,—онъ не отвѣтилъ, но мимо Мины въ переѣзду проскользнулъ какъ-то стыдливо и незамѣтно.

Крыштановичъ, съ которымъ мы теперь каждый день уходили изъ гимназіи вмѣстѣ, тоже былъ настроенъ невесело и передъ послѣднимъ урокомъ сказалъ:

— А меня, знаешь.. того... дѣйствительно сегодня будутъ драть... Ты меня подожди.

И затѣмъ, безпечно грыхнувъ завиткомъ волосъ надъ крутымъ лбомъ, прибавилъ:

— Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первымъ...

— Тебѣ это... ничего?—спросилъ я съ сочувствіемъ.

— Плевать... У насъ, братья, въ Бѣлой Церява, не такъ драли... Черив заводились. Отецъ тоже лупить, сволочь, здорово!

Послѣ уроковъ, когда масса учениковъ быстро схлынула,—въ опустѣвшемъ и жутко затишемъ корридорѣ осталась только угрюмая кучка обреченныхъ. Вышелъ Журавскій съ вѣдомостью въ рукахъ. Мина своей развалистой походкой слѣдовала за нимъ. Увидѣвъ меня, Журавскій остановился.

— А, новичокъ!—сказалъ онъ.—Тыже попался! Не говоришь ты тебѣ, а?

— Нѣтъ, я вотъ съ нимъ...—отвѣтилъ я.

— Ага, съ Крыштановичемъ!.. Хорошая компанія. Пойдешь далеко... Тебѣ, Крыштановичъ, сегодня пятнадцать...

— Я, г-нъ надзиратель, хочу попросить...

— Не могу. Просилъ бы у Совѣта...

— Нѣтъ, я не то... Я хочу, чтобы меня первымъ... Ко мнѣ, г-нъ надзиратель, тетушка прѣехала... изъ Кіева.

— А! такъ ты хочешь ее поскорѣе обрадовать.. Ну, хорошо, хорошо, это можно...—И, сдѣлавъ по вѣдомости пере-

кличку, онъ развелъ оставшихся по классамъ и потомъ сказалъ:

— Ну, что-жь. Пойдемъ, г-нъ Крыштановичъ. Тетушка дожидается.

И они втроемъ: Мина, Журавскій и мой пріятель отправились къ карцеру, съ видомъ людей, идущихъ на дѣловое свиданіе. Когда дверь карцера открылась, я увидѣлъ широкую скамью, два пучка розогъ и помощника Мины. Затѣмъ дверь опять захлопнулась, какъ будто проглотивъ красивую фигуру Крыштановича въ мундирчикѣ съ короткой таліей...

Тишина въ корридорѣ стала еще гучче. Я съ бьющимся сердцемъ ждалъ за дверью карцера возни, просьбъ, криковъ. Но ничего не было. Была только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то съ своеобразнымъ свистомъ. Едва я успѣлъ сообразить, что это за тиканье, какъ оно прекратилось, и изъ-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвѣжьаватой походкой онъ подошелъ къ одному изъ классовъ, щелкнулъ ключомъ, и въ ту же минуту оттуда понесся по всему зданію отчаянный ревъ. Мина тащилъ за руку упиравшагося Ольшанскаго. Ротъ у моего жизнерадостнаго знакома былъ открытъ до ушей, толстыя щеки измазаны слезами и мѣломъ, онъ ревелъ во весь голосъ, хватался за косяки, потомъ даже старался схватиться за гладкія стѣны... Но Мина, равнодушный, какъ сама судьба, безъ всякаго видимаго усилія увлекать его къ карцеру, откуда уже выходилъ Крыштановичъ, застегивая подъ мундиромъ свои подтяжки. Лицо его было немного краснѣе обыкновеннаго, и только. Онъ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на барахтавшагося Ольшанскаго и сказалъ мнѣ:

— Вотъ дуракъ... Что этимъ выиграеть?

Его глаза засвѣтились насмѣшливымъ огонькомъ.

— И урѣжетъ же ему теперь Мина... Пстой,—прибавилъ онъ, удерживая меня и прислушиваясь.

Мина со своей жертвой скрылся за дверью... Черезъ минуту раздался рѣзкій звукъ удара—ж-жикъ—и отчаянный вопль...

Мы подходили уже къ выходной калиткѣ, когда изъ корридора, какъ бомба, вылетѣлъ Ольшанскій; онъ ронялъ книги, оглядываясь и на бѣгу доканчивалъ свой туалетъ. Впрочемъ, въ ближайшій поведѣльничекъ онъ опять былъ радостенъ и безпеченъ на всю недѣлю...

Въ назначенный день я пошелъ къ Прелину. Робко, съ замирающимъ сердцемъ нашелъ я маленькій домикъ на Сѣнной площади, съ балкономъ и вѣдубами цвѣтовъ. Прелинъ,

въ свѣтломъ лѣтнемъ костюмѣ и бѣлой соломенной шляпѣ, возился около цвѣтника. Онъ встрѣтилъ меня радушно и просто, задержалъ меня въ саду, показывая цвѣты, потомъ ввелъ въ комнату. Здѣсь онъ взялъ мою книгу, размѣтилъ ее, показалъ, что уже пройдено, раздѣлилъ пройденное на части, разъяснилъ болѣе трудныя мѣста и указалъ, какъ мнѣ догнать товарищей.

Вышелъ я отъ него, почти влюбленный въ молодого учителя и, придя домой, сталъ жадно поглощать отмѣченные мѣста въ книгѣ. Скоро я догналъ товарищей по всемъ предметамъ, и на слѣдующую четверть Герасименко, послѣ моей фамилии, продалъ сентенцію: „похвально“. Такимъ образомъ, ожиданія моего пріятеля Криштановича не оправдались: испробовать гимназическихъ розогъ мнѣ не пришлось.

Впрочемъ, розга была уже осуждена безповоротно, и порка исчезала. На слѣдующій годъ мнѣ запомнился, впрочемъ, одинъ случай ея примѣненія: два гимназиста убѣжали изъ дому, направляясь въ дѣвственные степи Америки искать приключеній... Школьный строй никогда не могъ понять этихъ, во всякомъ случаѣ, не заурядныхъ порывовъ юной натуры къ чему-то необычному, выходящему изъ будничныхъ рамокъ, невѣдомому и заманчивому... Побѣгъ этотъ взволновалъ всю гимназію и, сидя на урокахъ, мы шопотомъ дѣлились предположеніями о томъ, далеко ли успѣли уйти ваши бѣглецы. Дня черезъ три мы узнали, что они пойманы, привезены въ городъ и сидятъ день и ночь въ карцерѣ, въ ожиданіи педагогическаго совѣта...

Былъ какъ разъ урокъ ариметики, когда одинъ изъ бѣглецовъ, уже наказанный, угрюмо вошелъ въ классъ. На кафедрѣ сидѣлъ маленькій, круглый Сербиновъ, человѣкъ восточнаго типа, съ чертами ожирѣвшей хищной птицы. Онъ былъ грубъ, глупъ и строгъ, преподавалъ по своему предмету одни только „правила“, а рѣшеніе задачъ сводилось на переписку въ тетрадкахъ; весь классъ списывалъ у одного или двухъ лучшихъ учениковъ, и Сербиновъ ставилъ отмѣтки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Онъ дослуживалъ срокъ ценсіи, былъ очень раздраженъ всякими новшествами и въ классѣ иной разъ принимался ругать разныхъ „дураковъ, которые нишуть противъ розги...“ Когда бѣлецъ вошелъ въ классъ, Сербиновъ съ четверть часа продержалъ его у порога, злорадно издѣваясь и цинично спрашивая о разныхъ подробностяхъ порки. Затѣмъ, хорошо зная, что мальчикъ не могъ приготовиться,—онъ спросилъ урокъ и долго съ наслажденіемъ вычерчивалъ въ журналѣ единицу.

Преливъ, наоборотъ, не упоминая ни словомъ о побѣгѣ, вызвалъ мальчика къ кандрѣ, съ серьезнымъ видомъ спросилъ, когда онъ можетъ заверстать пропущенное, вызвалъ его въ назначенный день и съ подчеркнутой торжественностью поставилъ цѣль съ ласкомъ...

Въ житомирской гимназiи мнѣ пришлось пробыть только два года, и потомъ завязавшія здѣсь школьныя связи были оборваны. Только одна изъ нихъ оставила во мнѣ болѣе глубокое воспоминаніе, сложное и нѣсколько грустное, но и до сихъ поръ еще живое въ моей душѣ.

Это дѣтская дружба съ Крыгтановичемъ.

Съ перваго же дня, когда онъ ко мнѣ обратился съ своимъ простодушнымъ вопросомъ, — будутъ ли его пороть или пока только грозятъ, — онъ внушилъ мнѣ глубокую симпатію. Мнѣ нравился его крутой лобъ, свѣтлые глаза, то сверкавшіе шаловливымъ веселіемъ, то внезапно тускнѣвшіе и заволакивавшіеся непонятнымъ мнѣ и загадочнымъ выраженіемъ, его широкоплечая фигура съ тонкимъ станомъ, въ узкомъ старомъ мундирчикѣ, спокойная самоувѣренность и чувство какого-то особаго превосходства, сквозившее во всѣхъ его пріемахъ. Онъ былъ года на 1½ старше меня, но мнѣ казалось почему-то, что онъ знаетъ обо всѣхъ людяхъ, — учителяхъ, ученикахъ, своихъ родителяхъ, — что-то такое, чего я не знаю. Онъ упорно осуществлялъ свой планъ, не приготовляя уроковъ, глубоко презиралъ и наказанія, и весь школьный режимъ, не любилъ говорить о своей семьѣ, охотно упоминая лишь о сестрѣ, которую иной разъ обзывалъ ласково самыми грубыми олошадными названіями. Если бы кто-нибудь подслушалъ иные рассказы его о своихъ яко-бы похожденияхъ съ женщинами, то, конечно, пришелъ бы въ ужасъ отъ спокойнаго динизма этого гимназиста второго класса. Я теперь тоже вспоминаю эти рассказы съ удивленіемъ. Но мнѣ кажется, что я и тогда чувствовалъ въ нихъ выдумку и своего рода хвастовство.

Трудно было разобрать, говорить ли онъ серьезно или смѣется надъ моимъ легковѣріемъ. Въ концѣ концовъ въ немъ чувствовалась хорошая натура, поставленная въ какія-то тяжелыя условія. Порой онъ внезапно затуманивался, уходилъ въ себя, и въ его тускнѣвшихъ глазахъ стояло выраженіе затаенной печали... Какъ будто чистая сторона дѣтской души неволью грустила подъ напльвомъ затагивавшей ее грязи...

Послѣ описанной выше порки, которая, впрочемъ, больше до конца года не повторилась, — я отнесся къ нему какъ-то

особенно: жалѣлъ, удивлялся, готовъ былъ для него что-то сдѣлать... Создалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Онъ относился ко мнѣ хорошо, но въ этомъ было что-то невысказанное, можетъ быть не вполне сознанное: я разочаровалъ его. Товарищество у насъ было не полное. Я, пожалуй, не прочь былъ стать такимъ же „отбѣтымъ“, какъ онъ, чтобы пользоваться такой же фамиллярной извѣстностью у Журавскаго и вмѣстѣ съ пріятелемъ попадать въ карцеръ. Но это у меня какъ-то не выходило.

Въ карцеръ я, положимъ, попалъ скоро. Горячій французъ, Бейвель, обыкновенно въ теченіе урока оставалъ по нѣскольку человѣкъ, но часто забывалъ записывать въ журналъ. Такъ же онъ оставилъ и меня. Когда, послѣ урока, я, вмѣстѣ съ Крыштановичемъ, подошелъ въ корридоръ съ Журавскому, — то оказалось, что я въ спискѣ не числюсь.

— Но... меня оставилъ мосье Бейвель, — настаивалъ я.

— Вѣрно, — покровительственно подтвердилъ Крыштановичъ.

— Ну, оставилъ, такъ оставайся! — согласился Журавскій. — Тамъ, кетати, встрѣтишь своего брата.

Въ карцерѣ, дѣйствительно, уже сидѣло нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ мой старшій братъ. Я съ гордостью вошелъ въ первый разъ въ это избранное общество, но братъ тотчасъ же охладилъ меня, сказавъ съ презрѣніемъ:

— Дуракъ! Самъ напросился!

Я понялъ, что далъ промахъ: „настоящій“ гимназистъ гордился бы, если бы удалось обманомъ ускользнуть отъ Журавскаго, а я самъ полѣзъ ему въ лапы...

Когда мы всѣ были выпущены, Крыштановичъ сказалъ мнѣ:

— Ты всетаки славный мальш, хотя еще глупъ. Давай завтра уйдемъ изъ церкви.

— Куда?

— Куда я поведу... Пойдешь?

— Хорошо, только надо вѣдь попроситься у матери...

— Она не узнастъ... Можешь сказать, что заходилъ къ товарищу учить уроки...

Я покраснѣлъ и замаялся. Онъ внимательно посмотрѣлъ на меня и повелъ плечамъ.

— Ты боишься соврать своей матери? — сказалъ онъ съ отбѣннымъ насмѣшливаго удивленія... — А я вру постоянно... Ну, однако, ты мнѣ далъ слово... Не сдержать слово товарищу — подлость.

Я сказалъ матери, что послѣ церкви пойду къ товарищу на весь день; мать отпустила. Служба только началась еще въ старомъ соборѣ, когда Крыштановичъ дернулъ меня за рукавъ, и мы незамѣтно вышли. Во мнѣ шевелилось легкое угрызеніе совѣсти, но, сказать правду, — было также что-то необыкновенно заманчивое въ этой полу-преступной прогулкѣ въ часы, когда товарищи еще стоятъ на хорахъ собора, считая ектеніи и съ нетерпѣніемъ ожидая херувимской. Казалось, даже самыя улицы имѣли въ эти часы особенный видъ.

Крыштановичъ увѣреннымъ шагомъ повелъ меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой „фигуры“ на шоссе и пошли прямо. Въ какой-то маленькой лавочкѣ Крыштановичъ купилъ двѣ булкіи и кусокъ колбасы. Увѣренность, съ какой онъ дѣлалъ эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, — тоже импонировала мнѣ: у меня только разъ въ жизни было 15 копѣекъ, и когда я шелъ съ ними по улицѣ, то мнѣ казалось, что всѣ знаютъ объ этой огромной суммѣ и кто-нибудь непременно затѣвастъ меня ограбить...

— Откуда у тебя столько денегъ? — спросилъ я у моего бойкаго товарища, когда мы вышли изъ лавочки...

— А тебѣ какое дѣло? — отвѣтилъ онъ. — Ну, укралъ у отца...

Я покраснѣлъ и не зналъ, что сказать. Мнѣ казалось, что Крыштановичъ говоритъ это „нарочно“. Когда я высказалъ это предположеніе, онъ ничего не отвѣтилъ и пошелъ впередъ.

Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышеніе дороги, которое когда-то казалось мнѣ чуть не краемъ свѣта, и откуда мы съ братомъ ожидали „рогатаго попа“. Потомъ и улица, и домъ Коляновскихъ исчезли за косягоромъ... По сторонамъ тянулись заборы, пустыри, дачуги, землянки, передъ нами лежала бѣлая лента шоссе, съ звенящей телеграфной проволокой, а впереди, въ дымкѣ пыли и тумана, синѣла роща, та самая, гдѣ я когда-то въ первый разъ слушалъ шумъ сосноваго бора...

Мнѣ было жутко и пріятно. Міръ, открывавшійся передо мною, былъ новъ и неожиданъ, или вѣрнѣе: я смотрѣлъ на него съ новой и неожиданной точки зрѣнія. Бѣлыя облака лежали на самомъ горизонтѣ, не закрытомъ домами и крышами. Навстрѣчу попадались чумацкіе возы съ скрипучими осями, двигались высокія еврейскія балагулы, какіе-то странныя оглядывались на насъ съ любопытствомъ и удивленіемъ; проѣхалъ обозъ крымскихъ татаръ, ежегодно привозившихъ въ нашъ городъ виноградъ и арбузы. Обозъ состоялъ изъ

огромныхъ фургоновъ, похожихъ на вагоны, раздѣленные горизонтальной переборкой на двѣ половины. Въ одной лежали молодые татарчата, внизу были вложены арбузы и стояли ящики съ виноградомъ. Фургоны были запряжены верблюдами, которыхъ въ городѣ татары показывали за деньги. Здѣсь, на просторѣ мы смотрѣли безилатно, какъ они плелись по поспе мягкими ступнями, покачивая змѣиными шеями и презрительно вытягивая длинныя отвислыя губы...

Такъ мы прошли версты четыре и дошли до деревяннаго моста, перекинутаго черезъ рѣчку въ глубокомъ оврагѣ. Здѣсь Крыштановичъ спустился внизъ, и черезъ минуту мы были на берегу тихой и ласковой рѣчущки Каменки. Надъ нами, высоко, высоко пролегалъ мостъ, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса возовъ, проѣхалъ обратный мшикъ съ тренькающимъ колокольчикомъ, передвигались у барьера силуэты пѣшеходовъ, рабочихъ, странниковъ и богомолокъ, направлявшихся въ Почаевъ.

Крыштановичъ подошелъ къ мысу, образованному извилиной рѣчки, и мы растянулись на прохладной зеленой травѣ; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь къ гудѣнію протекавшей сверху дорожной жизни.

Дѣтство часто безопасно проходитъ мимо самыхъ тяжелыхъ драмъ, но это не значить, что оно не схватываетъ ихъ чуткимъ полу-сознаніемъ. Я чувствовалъ, что въ душѣ моего пріятели есть что-то, что онъ хранитъ про себя... Все время дорогой онъ молчалъ, и на лбу его лежала легкая складка, какъ тогда, когда онъ спрашивалъ о поргѣ.

Наконецъ, онъ сѣлъ въ травѣ. Лицо его стало спокойнѣе. Онъ оглянулся кругомъ и сказалъ:

— Правда, — хорошо?..

— Хорошо, — отвѣтилъ я. — А ты уже здѣсь бывалъ?

— Да, бывалъ.

— Одинъ?

— Одинъ... Если захочешь, будемъ приходить вмѣстѣ... Тебѣ не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Такъ, чтобы все идти. идти... и не возвращаться...

Мнѣ этого не хотѣлось. Идти — это мнѣ нравилось, но я всетаки зналъ, что надо вернуться домой, къ матери, отцу, братьямъ и сестрамъ.

Я не отвѣтилъ и спросилъ въ свою очередь:

— Слушай... Отчего ты... такой?

— Какой? — переспросилъ онъ и прибавилъ: — брось... чортъ съ нами, со всѣми, со всѣми... Давай лучше купаться.

Черезъ минуту мы плескались, плавали и барахтались въ

рѣчушій такъ весело, какъ будто сейчасъ я не предлагалъ своего вопроса, который Крыштановичъ оставить безъ отвѣта... Когда мы опять подходили къ городу, то огоньки предмѣстїа свѣтились навстрѣчу въ неопредѣленной синей мглѣ...

Эта маленькая прогулка ярко залала мнѣ въ память, быть можетъ, потому, что рядомъ съ нею легло смутное, но глубокое впечатлѣніе отъ личности моего прїятеля. На слѣдующій день онъ не пришелъ на уроки, и я сидѣлъ рядомъ съ его пустымъ мѣстомъ, а въ моей головѣ рондись воспоминанїя вчерашняго и смутные вопросы. Между прочимъ, я думалъ о томъ, кѣмъ я буду впоследствии. До тѣхъ поръ я переѣмнилъ уже въ воображенїи нѣсколько родовъ дѣятельности. Видѣ первой извозчичьей пролетки, запахъ кожи, краски и лошадинаго пота, а также великое преимущество держать въ рукахъ вожжи и управлять движенїями лошадей, вызвалъ у меня желанїе стать извозчикомъ. Потомъ я воображалъ себя полякомъ XVII столѣтїа, въ шпанкѣ съ орлинымъ перомъ и съ кривой саблей на боку. Потомъ мнѣ очень хотѣлось быть казакомъ и мчаться пыльному на конѣ по степи, какъ мчался знакомый мнѣ удалой донской урядникъ. Теперь я былъ уже умнѣе. Мнѣ захотѣлось быть учителемъ.

И именно такимъ, какъ Преливъ. Я сижу на кафедрѣ, и ко мнѣ обращены всѣ дѣтскїя сердца, а я, въ свою очередь, знаю каждое изъ нихъ, вижу каждое ихъ движенїе. Въ числѣ учениковъ сидитъ также и Крыштановичъ. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сдѣлать, чтобы глаза его не были какъ печальны, чтобы онъ не ругалъ отца сводочью и не смѣялся надъ матерью...

Все это было такъ завлекательно, такъ ясно и просто, какъ только и бываетъ въ мечтахъ или во снѣ. И видѣлъ я это все такъ живо, что... совершенно не замѣтилъ, какъ въ классѣ стало необычайно тихо, какъ ученики съ удивленїемъ оборачиваются на меня; какъ на меня же смотреть съ кафедры старый учитель русскаго языка, лысый, какъ колыно, Бѣлоконскїй, уже третїй разъ окликающїй меня по фамиліи... Онъ заставилъ повторить что-то имъ сказанное, разсердился и выгналъ меня изъ класса, приказавъ стать у классной двери снаружи.

И вышелъ, все еще унося съ собою продолженїе моего сна наяву. Но едва я устроился въ пиннѣ дверей и опять отдался теченїю своихъ мыслей, какъ въ перспективѣ корридора показалась рослая фигура директора. Поровнявшись со мной, онъ остановился, кинулъ величавый взглядъ съ своей высоты и пролаялъ свою автоматическую фразу:

— Выгнать изъ классы! Вып-порю мерзавца!

И затѣмъ прослѣдоваль дальше. Очень вѣроятно, что черезъ минуту онъ уже не узналъ бы меня при новой встрѣчѣ, но въ моей памяти этотъ маленький эпизодъ остался на всю жизнь. Безсмысленный окрикъ автомата случайно упалъ въ душу, въ первый еще разъ раскрывшуюся на-встрѣчу вопросамъ о несовершенствахъ жизни и разнѣженную мечтой о чемъ-то лучшемъ... Впоследствии въ минуты невольныхъ уединеній, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно въ этомъ прошломъ опредѣлило мой жизненный путь,—въ памяти среди многихъ важныхъ эпизодовъ, влияній, размышленій и чувствъ неизмѣнно вставала также и эта картина: длинный корридоръ, мальчикъ, прижавшійся въ углубленіи дверей съ первыми движеніями разумной мечты о жизни, и огромная мундиро-автоматическая фигура съ своею несложною формулой:

— Вып-порю мерзавца!..

Въ 1866 году одинъ эпизодъ „большой политики“ долетѣлъ отголосками и до насъ. 4 апрѣля 1866 года Каракозовъ въ Петербургѣ стрѣлялъ въ императора Александра II. Въ іюнь того же года, по окончаніи экзаменовъ происходилъ годичный гимназическій актъ. Насъ сначала собрали въ здании гимназіи, а потомъ поваряю повели насъ въ залъ дворянскаго собранія. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тѣмъ, что гимназія собиралась щегольнуть передъ властями и обществомъ собственнымъ поэтомъ. Сначала словесникъ Шавровъ произнесъ рѣчь, которая сохранилась въ моей памяти, а затѣмъ на эстраду выступилъ гимназистъ, небольшого роста, съ большой курчавой головой. Какимъ-то напряженнымъ тономъ съ выкрикиваніями и сильнымъ акцентомъ онъ прочелъ стихотвореніе, въ которомъ говорилось о „чудесномъ спасеніи“. Стихотвореніе было напыщенно и высокопарно. Оно начиналось вопросомъ въ родѣ: „Куда текутъ народа шумны волны?“ — а затѣмъ сообщало, что

Ужасная вѣсть обтекаетъ Россію

Объ умыслѣ зломъ на царя...

Но чудо свершилось предъ всѣми въ очю,

Вънчанную жизнь сохраняя...

По окончаніи чтенія, поэтъ поднесъ губернатору свитокъ со своимъ произведеніемъ, а архіерей поцѣловалъ гимназиста-еврея въ голову.

Сколько могу припомнить, покушеніе Каракозова ни во

миѣ, ни въ моихъ сверстникахъ не будило въ то время никакихъ вопросовъ. Царь—это было нѣчто огромное, отдаленное, стихія! Стихіей же казались и люди, которые въ него стрѣляютъ. Нѣчто отвлеченное, далекое отъ нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показное, „невостоящее“, — это мы ощущали ясно. Перегибался черезъ перила хоръ, мы съ ироническимъ любопытствомъ смотрѣли, какъ смѣшно поэтъ Варшавскій подходилъ къ рукѣ архіерея, и тотъ прикасается губами къ его жесткой курчавой головѣ. На лицахъ учениковъ было или безразличное любопытство, или усмѣшка...

Стихотвореніе появилось въ гимназическомъ журналѣ, который позволено было печатать въ губернской типографіи. Вышло, кажется, два или три номера. Губернская канцелярія и редакторство учителей убивали свободный полетъ гимназической поэзіи, и она хирѣла... Былина о „Коршунѣ-Милѣ и Прометѣѣ-Вуйвидѣ“, конечно, не могла бы найти мѣста въ этомъ журналѣ, какъ и другія, порой несомнѣнно остроумныя сатиры безыменныхъ поэтовъ-школьниковъ... Въ этотъ разрѣшенный начальствомъ журналъ гимназическая муза отправлялась точно съ вязитомъ, затуфованная, напряженная, несвободная, тогда какъ у себя дома она была гораздо интереснѣе.

Поэтическому таланту Варшавскаго, начавшему свое пареніе съ торжественныхъ одъ и поднесеній высокимъ лицамъ, такъ и не суждено было расцвѣсть. Въ гимназическомъ журналчикѣ было еще помѣщено его стихотвореніе, уже не столь торжественнаго содержанія, озаглавленное „Шапка“. Дѣло шло о форменной гимназической фуражкѣ, которая, по словамъ поэта, украшая кудрявыя юныя головы, жаждущія науки, влечетъ къ нимъ „взгляды красотокъ“. Другой гимназистъ, Іорданскій, написалъ злую критику, въ которой опровергалъ всѣ поэтическія положенія товарища-поэта по пунктамъ. „Поэтъ утверждаетъ, якобы шапка красотокъ влечетъ, — писалъ онъ весьма энергическимъ стилемъ. — Я же говорю: напротивъ!“

Придя какъ-то къ брату, критикъ читалъ свою статью и, произнося: „я же говорю: напротивъ“ — сверкалъ глазами и энергически ударялъ кулакомъ по столу... Отъ этого на нѣкоторое время у меня составилось представленіе о „критикахъ“, какъ о людяхъ, за что-то сердитыхъ на авторовъ и говорящихъ имъ „все напротивъ“.

На этой полемикѣ, кажется, литературное предпріятіе житомірской гимназіи и закончилось, а съ нимъ и имя поэта Варшавскаго кануло въ Лету...

XV.

Отъѣздъ.

Послѣ возстанія пошла тяжелая полоса „обрусѣнія“, съ доносами, арестами, судами уже не надъ повстанцами, а надъ „подозрительными“, съ конфискаціями имѣній. Сыновья Рыхлинскаго были высланы въ Сибирь. Старики ѣздили въ Кіевъ и видѣли сыновей въ послѣдній разъ передъ отправленіемъ.

Однажды, въ именины стараго Рыхлинскаго, его родственники и знакомые устроили торжество, во время котораго хоръ изъ пансіонеровъ спѣлъ подъ руководствомъ одного изъ учителей сочиненную на этотъ случай кантату. Она кончалась словами:

— Вѣдь есть на небѣ великій Богъ:
Сыновъ увидишь у своихъ ногъ...

Старикъ, глубоко растроганный, плакалъ, но въ это время юмористъ дядя Петръ печально покачалъ головой и отвѣтилъ горькой шуткой:

— Да у меня и ногъ-то нѣтъ.

Короткая фраза ушла среди наступившей тишины съ какой-то грубою рѣзкостью. Всѣ были возмущены цинизмомъ Петра, но—онъ оказался пророкомъ. Вскорѣ пришло печальное извѣстіе: старшій изъ сыновей умеръ отъ раны на одномъ изъ этаповъ, а еще черезъ нѣкоторое время кто-то изъ соперниковъ сдѣлалъ доносъ на самый пансіонъ. Началось разслѣдованіе, и лучшее изъ училищъ, какое я зналъ въ своей жизни,—было закрыто. Старики ликвидировали любимое дѣло и уѣхали изъ города.

Вскорѣ пришлось уѣхать и намъ.

Въ гор. Дубно нашей губерніи былъ убитъ уѣздный судья. Это былъ полякъ, принявшій православіе, человекъ отъ природы желчный и злой. Положеніе межъ двухъ огней озлобило его еще больше, и его имя приобрѣло мрачную извѣстность. Однажды, когда онъ возвращался изъ суда, полякъ Бобрикъ окликнулъ его сзади. Судья оглянулся, и въ то же мгновеніе Бобрикъ свалилъ его ударомъ палки съ наконечникомъ въ видѣ топорика.

Этотъ случай произвелъ у насъ впечатлѣніе гораздо болѣе сильное, чѣмъ покушеніе на царя. То была какая-то далекая отвлеченность въ столицѣ, а здѣсь событіе въ нашемъ собственномъ мірѣ. Очень много говорили и о жертвѣ, и объ убійцѣ. Бобрикъ представлялся или героемъ, или сумасшедшимъ. На судѣ онъ держалъ себя шутливо, передъ казнью попросилъ позволенія выкурить папиросу.

Чтобы нѣсколько успокоить вызванное этимъ убійствомъ волненіе, высшая администрація рѣшила послать на мѣсто убитаго судья челоувѣка, пользующагося общимъ уваженіемъ и умѣреннымъ. Выборъ палъ на моего отца.

Онъ наскоро собрался и уѣхалъ. На каникулы мы ѣздили къ нему, но затѣмъ вернулись опять въ Житомиръ, такъ какъ въ Дубно не было гимназіи. Въ виду этого, отецъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ попросилъ перевода и былъ назначенъ въ уѣздный гор. Ровно. Тамъ онъ заболѣлъ, и мать съ сестрой уѣхали къ нему.

Мы остались и прожили около полугода подъ надзоромъ бабушки и тетокъ. Новой „власти“ мы какъ-то сразу не подчинились, в жизнь пошла кое-какъ. У меня были превосходныя способности и, совсѣмъ переставъ учиться, я схватывалъ предметы на лету, въ классѣ, на переѣвахъ и получалъ отличныя отмѣтки. Свободное время мы съ братьями отдавали бродячеству: уходя веселой компаніей за рѣку, бродили по горамъ, покрытымъ орѣшникомъ, купались подъ мельничными шлюзами, дѣлали набѣги на баштаны и огороды, а домой возвращались позднѣю ночью.

Вслѣдствіе этого, выдержавъ по всѣмъ предметамъ, я рѣшительно срѣзался на математикѣ и остался на второй годъ въ томъ же классѣ. Въ это время былъ рѣшенъ нашъ переѣздъ къ отцу, въ Ровно.

Въ серединѣ іюня огромная семейная колымага, посившая у насъ названіе „кочъ кареты“, стояла передъ нашимъ крыльцомъ, нагруженная доверху. Привели почтовыхъ лошадей. Ямщикъ въ низкой шляпѣ съ мѣднымъ орломъ и съ бляхой на лѣвой рукѣ взгромоздился на козлы... Замелькали знакомыя ушицы, лавочки, костелы, остовъ „старой фигуры“, когда-то разбитой громомъ, дома Коляновскихъ... Знакомый міръ, который, самъ не знаю почему, сталъ мнѣ постыднымъ и ненавистнымъ. Душа рвалась на-встрѣчу новому, неизвѣданному... Въѣхавъ на косогоръ, у русскаго кладбища, ямщикъ остановился и отвязалъ колокольчикъ. Я съ страстнымъ нетерпѣніемъ ждалъ, чтобы онъ поскорѣе опять вѣзъ на свое мѣсто. Мнѣ казалось, что оттуда, сзади придетъ еще что-то и остановитъ насъ. И дѣйствительно, кто-то бѣжалъ по старой Вильской улицѣ и махалъ бѣлымъ сверткомъ. Сердце у меня замерло, но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла внизъ съ косогора...

Лачуга, заборы, землянки. Убогая лавочка, гдѣ когда-то Крыштановичъ на сомнительныя деньги покупалъ булки... шоссе съ пѣшеходами, возами, балагулами, странниками...

гулкой мостъ. Рѣчка, гдѣ мы купались съ моимъ пріятелемъ. Врангелевская роща. Ощущеніе особенной пріятной боли мелькнуло въ душѣ. Какъ будто отрывалась и урывалась назадъ въ первый еще разъ такъ рѣзко отграниченная полоска жизни.

Мостъ печезь, печезли позади и сосны Врангелевки, послѣднія грани того мірка, въ которомъ я жилъ до сихъ поръ. Впередѣ развѣртывался просторъ, невѣдомый и замалчиваемый. Солнце было еще высоко, когда мы подѣхали къ первой станціи, палеовому зданію съ красной крышей и готической архитектурой.

Перецѣрягли лошадей, прописали подорожную (съ этимъ мать послала меня, чѣмъ я очень гордился), и я опять полѣзъ на козлы...

Опять дорога, лѣнивое позваниваніе колокольчика, бѣлая лента шоссе, съ шуршащимъ подъ колесами свѣжимъ щебнемъ, гулкіе деревянные мосты, протяжный звонъ телеграфа... Опять станція, точь въ точь похожая на первую, потомъ синія сумерки, потомъ звѣздная ночь и фосфорическія облака, какъ будто валитыя луннымъ свѣтомъ... Мать стучитъ въ оконце за козлами, ящикъ сдерживаетъ лошадей. Мать спрашиваетъ, не холодно ли мнѣ, не сплю ли я, и какъ бы я не свалился съ козель.

Мнѣ кажется, что я не спалъ, но всетаки мѣсто, гдѣ мы стоимъ, для меня неожиданно ново: невдалекѣ впереди мостикъ изъ свѣжихъ бревенъ, подъ нимъ темная рѣчка, по сторонамъ лѣсъ, и верхушки деревь сонно качаются въ свѣтѣ ночного неба...

Я весь переполненъ радостью повизны, ожиданій... И однако, подъ гулъ телеграфной проволоки, оттуда, сзади, гдѣ осталось это постылое прошлое, что-то какъ будто тянется ко мнѣ по этой дорогѣ, кабая-то смутная была дразнить, ласкаетъ и манитъ своими воспоминаніями... Вспоминается вечеръ съ краснымъ закатомъ, „щось буде“, толки о чемъ-то невѣдомомъ, такой же гулъ телеграфа, кучки людей у столбовъ... Пансіонъ... Какъ давно это было, и какой я былъ тогда глупый... И насколько я теперь умнѣе того мальчишки, который принадлежалъ ухомъ къ телеграфнымъ столбамъ вли гордился... чѣмъ же? Званіемъ малыша пансіонера... А вотъ теперь я уже „старый гимназистъ“ и ѣду въ новыя мѣста на какую-то новую жизнь...

Въ дѣтской жизни бываютъ минуты, когда сознаніе какъ будто оглядывается на пройденный путь, ловитъ и отмѣчаетъ собственный ростъ. Одну изъ такихъ минутъ я еновь переживаю въ эту ночь подъ вѣваніе вѣтра и его звонъ въ прово-

локахъ, смутный, но какъ будто осмысленный... Точно смѣшанные голоса переговариваются среди ночи о чемъ-то, въ томъ числѣ обо мнѣ съ моимъ прошлымъ. И я съ удивленіемъ замѣчаю, что въ этомъ прошломъ вмѣстѣ съ опредѣленными картинами, такими простыми, такими обыденными и прозаическими, когда онѣ происходили, въ душѣ встаетъ неизвѣстно откуда сознание, что это было хорошо и прекрасно. И удивляюсь: отчего же не было этого ощущенія тогда, когда все это было настоящимъ. Было ли мнѣ тогда такъ же хорошо? Можетъ быть было, но не такъ... Того, что я теперь чувствую рядомъ со всѣми этими картинами, того особеннаго, того печально-пріятнаго, того, что ушло, того, что уже не повторится, того, что дѣлаетъ тѣ впечатлѣнія такими незаурядными, единственными, такъ странно и на свой ладъ прекрасными,—того тогда не было... Откуда же,—если тогда его не было,—оно берется теперь?..

На разсвѣтъ, не помню уже гдѣ именно,—въ Новоградъ-Волинскъ или мѣстечкѣ Корцѣ—мы проѣхали на самой зарѣ мимо развалинъ давно закрытаго базилианскаго монастыря-школы... Предутренній туманъ застилалъ низы длиннаго зданія, а вверху рѣзко чернѣли ряды пустыхъ оконъ... Мое воображеніе населяло ихъ десятками дѣтскихъ головъ, и среди нихъ знакомое, серьезное лицо Оома изъ Сандомира, герой первой прочитанной мною повѣсти...

И я опять чувствую, что Оома теперь кажется мнѣ тоже другимъ... Онъ тотъ же, котораго я полюбилъ тогда, вглядываясь въ его образъ сквозь трудныя строки плохо еще разбираемой грамоты,—но теперь и онъ обиваетъ страннымъ прибавочнымъ ощущеніемъ...

А впереди все-таки—что-то новое, еще болѣе прекрасное и еще болѣе манящее...

— Скоро ли? Скоро ли? — то и дѣло спрашиваю я у ямщиковъ...

Въ уѣздномъ городѣ.—Ученическіе годы.

XVI.

Уѣздный городъ Ровно.

Еще день, и опять утро. Скоро ли?

Ямщикъ указываетъ кнутовищемъ впередъ и говоритъ:

— Вонъ тамъ за пригоркомъ городъ. А это вотъ грабникъ.

По праздникамъ сюда ходятъ гулять...

Впереди виднѣлась роца, а изъ-за нея выглядывала красная крыша казеннаго зданія. Городъ залегъ въ широкой котловинѣ и только туманное или дымное облачко подымалось снизу... Зданіе съ красною крышею оказалось тюрьмой. Когда мы поровнялись съ ней, изъ оконъ второго этажа на насъ глядѣли зеленовато-блѣдныя, угрюмыя лица арестантовъ, державшихся руками за желѣзныя рѣшетки... Мнѣ часто вспоминалась эта картинка изъ моего дѣтства въ послѣдствіи, когда и самъ я, уже взрослымъ, смотрѣлъ изъ-за такихъ же рѣшетокъ на вольную дорогу... И одинъ разъ на возлахъ такой же семейной колымаги сидѣлъ такой же мальчикъ и смотрѣлъ на меня съ такимъ же жуткимъ чувствомъ жалости, состраданія, невольнаго осужденія и страха...

Тюрьма стояла на самомъ перевалѣ, и отъ нея уже былъ видѣнъ городъ, крыши домовъ, улицы, сады и широкія сверкающія пятна прудовъ... Грузная коляска покатила въ быстрѣе и остановилась у полосатой заставы шлагбаума. Инвалидный солдатъ подошелъ къ дверцамъ, взялъ у матери подорожную и унесъ ее въ маленькій домикъ, стоявшій на лѣвой сторонѣ у самой дороги. Оттуда вышелъ тотчасъ же высокій господинъ, „команду на заставѣ имѣющій“, въ путейскомъ мундирѣ и съ длинными офицерскими усами. Вѣжливо поклонившись матери, онъ сказалъ:

— Господинъ судья ожидаетъ!—И затѣмъ, повернувшись, командовалъ инвалиду:

— Подвись!

Полосатое бревно шлагбаума заскрипѣло въ гнѣздѣ, и тонкій конецъ его ушелъ высоко кверху. Ямщикъ тронулъ лошадей, и мы въѣхали въ черту уѣзнаго города Ровно.

Эти „заставы“, теперь, кажется, исчезнувшія повсемѣстно, составляли въ то время характерную особенность шоссе-ныхъ дорогъ, а характерную особенность самихъ заставъ составляли шоссе-ные инвалиды николаевской службы, доживавшіе здѣсь свои болѣе или менѣе злополучные дни... Характерными чертами инвалидовъ являлись: вѣчно-дремотное состояніе и дѣйная неповоротливость движеній, отлѣченная

еще Пушкинымъ въ известномъ стихотвореніи, въ которомъ поэтъ гадаетъ о томъ, какой конецъ пошлетъ ему судьба:

Иль чума меня подѣшитъ,
Иль морозъ окостенитъ,
Иль шлагбаумъ въ лобъ мнѣ влѣпитъ
Непроворный инвалидъ...

Команда этихъ путейскихъ инвалидовъ представляла словіе, необыкновенно расположенное къ философскому покою и созерцательной жизни. И теперь, когда въ моей памяти оживаетъ городъ Ровно, то неизмѣнно, какъ бы въ преддверіи всѣхъ другихъ впечатлѣній, вспоминается мнѣ построе бревно шлагбаума и фигура инвалида въ запыленномъ и выцвѣтшемъ скюртукѣ николаевскихъ временъ. Инвалидъ непремѣнно сидитъ на обрубкѣ у шлагбаума, со спиной, точно прилипшей къ полосатому столбу. На головѣ у него тоже поряжѣлый и выцвѣтшій картузь, съ толстымъ козыремъ, ротъ раскрытъ, и въ него лѣзутъ назойливы дорожныя мухи... Впослѣдствіи намъ доставляло удовольствіе изъ-за столба щекотать спящему соломинками шею, а болѣе смѣлые шадуны совали соломинки даже въ носъ бѣднаго севастопольскаго героя. Инвалидъ отмахивался, чихалъ, иной разъ вскакивалъ и испуганно озирался къ тюрьмѣ, въ ту сторону, откуда могъ появиться, стоя въ кибиткѣ и размахивая казеннымъ листомъ, какой-нибудь стремительный „куррьеръ“, передъ которымъ надо подымать шлагбаумъ безъ задержки... Но, видя только пыльную ленту шоссе, стражъ заставы опять садился и мирно засыпалъ... И было въ этой дремотной фигурѣ что-то символическое, — точно прообразъ мирнаго житія провинціальнаго городишка...

Но въ то время эта фигура не имѣла еще для меня символическаго значенія, и я жадными глазами ловилъ то „новое“, что открывалось за „подвышеннымъ“ полосатымъ бревномъ... „Новое“, впрочемъ, было не особенно представительно. Лачуги, пустыри, заборы, устья двухъ-трехъ узенькихъ переулочковъ, потомъ двухъэтажное каменное зданіе казначейства... Передъ нимъ на площади — каменная колонна со статуей Богородицы. Кругомъ заѣзжіе дворы съ широкими воротами, откуда на насъ устремились вѣскольکو факторовъ-мишуресовъ... Потомъ рѣчка и деревянный мостъ. Рѣчка и мостъ въ самомъ центрѣ города привели меня въ восхищеніе...

Передъ самымъ мостомъ ямщикъ круто повернулъ лошадей, наша „каро́та“ качнулась, заскрипѣла, остановилась какъ будто въ раздумьи въ покосившихся воротахъ и поплыла внизъ по двору, поросшему зеленой муравкой. На этомъ дворѣ было въ безпорядкѣ разбросано вѣскольکو зданій. На одномъ

была надпись: „Ровенскій уѣздный судъ“. На другомъ, какъ-то незло выдвинувшемся изъ ряда—было написано: „Архивъ“. На третьемъ, стоявшемъ въ глубинѣ двора, никакой надписи не было. Эта и была наша новая квартира, расположенная на мысу, между прудомъ и рѣчкой... Въ раскрытую калитку была видна вода, подходящая къ самому огороду, и деревянная кладочка, съ привязанной у нея лодкой... Съ моста на нашъ прѣздъ гляѣли кучки обывателей, которымъ была отлично видна внутренность низко расположенной усадьбы и для которыхъ прѣздъ семьи „господина судьи“ составлялъ выдающееся событіе.

Нѣсколько большихъ прудовъ, соединенныхъ тихими рѣчушками, влегали въ широкую ложбинѣ, и городокъ расположенъ былъ по ихъ берегамъ. Наша усадьба была на сторонѣ городской. Напротивъ, на островѣ, по преданію, засыпанномъ искусственно плѣнными турками, стоялъ полуразвалившійся дворецъ князей Любомірскихъ, въ старо-польскомъ полу-готическомъ стилѣ. Онъ былъ окруженъ высокими пирамидальными сополами и имѣлъ чудесный видъ живописной древности. На лѣвой сторонѣ пруда—бѣленькое, веселое, съ портикомъ и колоннами—стояло двухъэтажное просторное зданіе гимназіи. И угрюмый „замокъ“, и свѣтлая колоннада гимназіи, точно въ зеркалѣ, отражались въ водѣ. Вдали, подъ другимъ берегомъ, отчетливо рисуясь на синевѣ и зелени, плавали лебеди, которыхъ я тогда видѣлъ въ первый разъ. Они оставляли за собой длинныя свѣтлыя полосы, долго потомъ стоявшія на сонной неподвижной глади...

Каждая новая мѣстность имѣетъ какъ бы собственную физиономію и откладываетъ въ душѣ какое-то общее, смутное, но свое собственное впечатлѣніе, на которое ложатся всѣ подробности. Все, что я видѣлъ теперь, показалось мнѣ чѣмъ-то волшебнымъ... Да, это дѣйствительно какая-то новая, первѣдкая страница жизни... И вмѣстѣ... вѣроятно, отъ стараго замка странное ощущеніе истомя, дремоты, грезы о прошломъ, минувшемъ, исчезнувшемъ павѣки. — кидало свою гнѣнь на это молодое ожиданіе чудесъ. Прудъ лежалъ, какъ мертвый, и въ немъ отражался мертвый „замокъ“ съ пустыми впадинами оконъ, окруженный, точно заслужившей стражей, высокими рядами пирамидальныхъ толодей. Вода зацвѣтала, покрывалась у береговъ зеленою ряской, заростала татарникомъ и камышами. Неподвижная поверхность сверкала зноемъ и дышала на городокъ плѣсенью и лихорадками... И все было такъ родственно съ пустырями, съ дремотною фигурой инвалида у шлагбаума, съ пустыми окнами стараго замка...

Въ одинъ изъ первыхъ вечеровъ, когда мы сидѣли въ столовой за чаемъ, со стороны пруда послышался странный гулъ.

— Это шумять тополи около стараго замка,—сказала мать.

Противный, глубокий, немного злобщій шумъ неся надъ городишкомъ, точно важный голосъ, рассказывавшій о бурномъ прошломъ тихому и ничтожному настоящему, погруженному въ сѣрые будни...

Теперь я люблю воспоминаніе объ этомъ городишкѣ, какъ любить порой память стараго врага. Но, Боже мой, какъ я возненавидѣлъ, къ концу своего пребыванія, эту затягивающую, какъ прудовой иль, липенную живыхъ впечатлѣній будничную жизнь, высасывавшую энергію, гасившую порывы юнаго ума своей безотвѣтностью на всѣ живые запросы, погружавшую воображеніе въ бесплодно-романтическое лѣнивое созерцаніе мертваго прошлаго.

XVII.

„Уѣздный судъ“, его нравы и типы.

Были каникулы. Гимназія еще стояла пустая, гимназисты не начинали съѣзжаться. У отца знакомыхъ было немного, и потому наши знакомства на первое время ограничивались сосѣдями-чиновниками помѣщавшагося тутъ же во дворѣ уѣзднаго суда...

Первымъ изъ этихъ знакомыхъ былъ архиваріусъ, панъ Крыжановскій.

Онъ встрѣтилъ насъ въ самый день пріѣзда и, снявъ меня, какъ перышко, съ козелъ, галантно помогъ матери выйти изъ коляски. При этомъ на меня пахнуло отъ этого огромнаго человѣка запахомъ перегара, и мать, которая уже знала его раньше, укоризненно покачала головой. Незнакомецъ стыдливо скосилъ глаза и при этомъ я невольно замѣтилъ, что горбатый сизый носъ его свернуть совершенно „на бекрень“, а глаза какъ-то уныло-тусклы...

Мы съ нимъ быстро сошлись. Въ свободное время онъ ходилъ съ нами гулять, показывалъ достопримѣчательности города, училъ управлять лодкой. Мы узнали, частью отъ него самого, частью отъ другихъ, что когда-то онъ былъ богатымъ помѣщикомъ и въ городъ пріѣзжалъ на отличной четверкѣ. Говорили затѣмъ, будто у него жена убѣжала съ офицеромъ (тогда что-то многія жены убѣгали съ офицерами), послѣ чего онъ сильно закутилъ и пропилъ все имѣніе; или наоборотъ: сначала онъ прокутилъ все имѣніе, а потомъ жена убѣжала съ офицеромъ. Какъ бы то ни было, теперь онъ служилъ архиваріусомъ, получалъ 8 рублей въ мѣсяцъ, ходилъ въ засаленномъ костюмѣ, видъ имѣлъ не то высоко-

мѣрный, не то унылый и въ общемъ—сильно потертый. За то онъ никогда не унижался до дешевой помады и томпаковыхъ цѣпочекъ, которыя другіе „чиновники“ носили на виду, безъ всякой надобности, такъ какъ часовъ по большей части въ карманахъ не было.

Жилъ онъ настоящимъ философомъ и даже особую квартиру считалъ излишней роскошью, помѣщаясь въ тѣсномъ зданіи архива. Связки дѣлъ на полкахъ этого учрежденія пріятно разнообразились принадлежностями пезатѣйливаго костюма, бутылками изъ-подъ водки и „вещественными доказательствами“. Тутъ были изломанные замки, краденый самоваръ, топоръ съ ржавыми пятнами крови на лезвіи, узлы съ носильнымъ платьемъ, большіе болотные сапоги и двѣ охотничьи двустволки. Хотя на всѣхъ этихъ предметахъ болтались ярлыки съ номерами и сургучными печатами, но панъ Крыжановскій обращался съ ними довольно свободно: самоваръ сторожъ ставилъ для архиваріуса, когда у него являлось желаніе выпить чаю (что, впрочемъ, случалось не ежедневно), а съ двустволками панъ Крыжановскій нерѣдко отправлялся на охоту, надѣвая при этомъ болотные сапоги и соединяя, такимъ образомъ, для одного употребленія вещественныя доказательства изъ различныхъ дѣлъ.

Однажды, кто-то изъ служебныхъ враговъ Крыжановскаго поднялъ было по этому поводу гнусную клевету, но Крыжановскій заблаговременно предупредилъ ея послѣдствія: самоваръ онъ за собственный счетъ выудилъ, къ одной двустволкѣ придѣлалъ новый курокъ, а на сапоги судейскій сторожъ накинулъ изживеніемъ архиваріуса подметки. „Хоть это и стоило денегъ“, какъ съ торжествомъ говорилъ самъ Крыжановскій,—за то ядовитый доносъ потерялъ силу. Работалъ онъ неровно, порывами: то цѣлыми днями слонялся гдѣ-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведеніе дѣлъ въ порядокъ. Въ такихъ случаяхъ онъ бралъ съ собой бутылъ водки и заирался въ архивъ. Въ маленькомъ рѣшетчатомъ оконцѣ архива поздно ночью свѣтился огонь. Крыжановскій спивалъ, подшивалъ, припечатывалъ, заносилъ въ вѣдомости и пилъ, пока въ одно прекрасное утро дѣла оказывались подшитыми, бутылъ пуста, а архиваріусъ лежалъ на полу и храпѣлъ, раскинувъ руки и ноги...

Вскорѣ послѣ нашего пріѣзда, двадцатаго числа Крыжановскій попросилъ у матери позволенія взять насъ съ собой на прогулку.

— Пане Крыжановскій?.. — сказала мать полу-вопросительно, полу-строго.

— Ахъ, пани сендзина, — сказали онъ, цѣлуя у нея руку. — Неужели и вы... считаете меня совсѣмъ пропащимъ?

Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановскій водилъ насъ по городу, угощалъ конфетами и яблоками, и всешло превосходно, пока онъ не остановился въ раздумьи у какой-то невзрачной хибарки. Постоявъ такъ въ черѣшимости, онъ сказалъ: „ничего в сейчасъ“ и быстро нырнулъ въ низкую дверь. Оттуда онъ вышелъ слегка измѣнившимся, весело подмигнувъ намъ и сказалъ:

— Матери говорить не надо. — И, вздохнувъ, прибавилъ: — Святая женщина!

Увы! За первой остановкой послѣдовала вторая, за ней третья, и пока мы дошли до центра города. — панъ Крыжановскій сталъ совершенно неузнаваемъ. Глаза его гордо сверкали, улыбка исчезла, но — что уже было совсѣмъ плохо, — онъ сталъ заирать прохожихъ, оскорблять женщинъ, гоняться за евреями... Около насъ стала собираться толпа. Къ счастью, это было уже близко отъ дома, и мы посѣпили ретироваться во дворъ.

Послѣ этого панъ Крыжановскій исчезъ не являлся на службу, и объ его существованіи мы узнавали только изъ ежедневныхъ доносеній отцовскаго лакея Захара. Свѣдѣнія были мало-утѣпительныя. Въ одинъ день Крыжановскій смѣшалъ на билліардѣ шары у итравшей компаніи, послѣ чего „вышелъ большой шумъ“. На другой день онъ подрался съ будочниками. На третій — ворвался въ компанію чиновниковъ и нанесъ пощечину столоначальнику Венцелю.

Отецъ страшно разсердился, упрекалъ мать, что она покровительствуетъ этому вистльнику, и потребовалъ, чтобы Крыжановскаго доставили ему живого или мертваго. Но объ архивариусѣ не было ни слуху, ни духу.

На третій или на четвертый день мы съ братомъ и сестрой были въ саду, когда Крыжановскій неожиданно перемахнулъ своими длинными ногами черезъ заборъ со стороны пруда и, прилѣвъ въ высокой травѣ в бурьянахъ, поманилъ насъ къ себѣ. Видъ у него былъ унылый и несчастный, лицо помитое, глаза совсѣмъ мутные, носъ еще болѣе покривился и даже каеъ будто обвисъ.

— Тесе... — сказалъ онъ, косясь на терраску нашей квартиры, выходящую въ садъ. — Что, — какъ панъ судья? Очень сердить?..

— Сердить, — отвѣтили мы.

— А пани сендзина (госпожа судейша)?..

Мы не могли скрывать, что даже мать не смѣетъ ничего сказать въ его защиту.

— Святая женщина! — сказали Крыжановскій, смахивая слезу. — Подите, мои милые друзья, спросите у нея, можно ли мнѣ явиться сегодня, или еще обождать?

Мы привесли отвѣтъ, что ему лучше не являться, и архивариусъ опять тѣмъ же путемъ перемахнулъ черезъ заборъ, — какъ разъ во время, такъ какъ вслѣдъ затѣмъ отецъ появился на террасѣ.

Прошло еще дня два. Было воскресенье. Отецъ недавно вернулся изъ церкви въ благодушномъ настроеніи и, надѣвъ халатъ, ходилъ взадъ и впередъ по гостиной. Когда онъ, повернувшись къ двери, пошелъ въ противоположный уголъ, изъ сѣней вдругъ вынырнула длинная фигура архивариуса. Сдѣлавъ намъ многозначительный знакъ, онъ неслышно переступилъ черезъ порогъ и застылъ у косяка. Но едва отецъ, прихрамывая и опираясь на палку, дошелъ до конца комнаты, — архивариусъ такъ же неслышно исчезъ опять въ сѣняхъ. Это повторилось нѣсколько разъ. Наконецъ, принявъ окончательное рѣшеніе, онъ перекрестился, опять выступилъ изъ-за стѣны, прислонился, точно прилилъ спиной къ косяку, и застылъ въ этой позѣ.

Отецъ повернулся и увидѣлъ преступника. У него въ Дубно былъ легкій ударъ, и мать очень боялась повтореній. Теперь, при неожиданномъ появленіи виновнаго архивариуса, лицо, лобъ, даже затылокъ у отца залило краской, палка у него въ рукѣ задрожала. Крыжановскій жалкій, какъ провинившаяся собака, подошелъ къ судѣ и поклонился къ его рукѣ. Отецъ схватилъ нагнувшагося великана за волосы... Затѣмъ произошла странная сцена: судья своей слабой рукой таскалъ архивариуса за жесткій вихоръ, то наклоняя его голову, то поднимая вверхъ. Крыжановскій старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариусъ цѣловалъ судью въ животъ, когда подымалась, онъ цѣловалъ въ плечо и все время приговаривалъ голосомъ, въ который старался вложить какъ можно больше убѣдительности:

— А! панъ судья... А! ей-Богу!.. Ну, стоитъ ли? Это можетъ повредить вашему здоровью... Ну, будетъ уже, ну, довольно...

Изъ кухни прибѣжала мать и, успокаивая отца, постаралась освободить волосы Крыжановскаго изъ его руки. Когда это удалось, архивариусъ еще разъ поцѣловалъ отца въ плечо и сказалъ:

— Ну, вотъ и все... И слава Богу... пусть теперь панъ судья успокоится. Стоитъ ли, ей-Богу, принимать такъ близко къ сердцу — всякіе тамъ пустяки...

— Пошелъ вонъ! — сказалъ отецъ. Крыжановскій поцѣловалъ у матери руку, сказалъ: — „святая женщина“, — и радостно скрылся. Мы поняли какъ-то сразу, что все кончено, и Крыжановскій останется на службѣ. Дѣйствительно, на слѣдующій день онъ опять, какъ ни въ чемъ не бывало, работалъ въ архивѣ. Огонекъ изъ рѣшетчатого оконца свѣтилъ на дворъ до поздней ночи.

Нравы въ чиновничьей средѣ того времени были простые. Судейскіе съ величайшимъ любопытствомъ разспрашивали насъ о подробностяхъ этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считалъ при этомъ себя или Крыжановскаго профессионально оскорбленнымъ. Мы тоже смѣялись. Юность недостаточно чутка къ скрытымъ драмамъ; однажды мы даже сочинили общими усилиями юмористическое стихотвореніе и подали его Крыжановскому въ видѣ дѣловой бумаги. Начиналось оно словами:

Архиваріусъ я чиновникъ,
Видомъ, ростомъ молодецъ...

и заключало насмѣшливое изложеніе его служебныхъ неудачъ и горестей. Крыжановскій началъ читать, но затѣмъ нервно скомкалъ бумагу, сунулъ ее въ карманъ и, посмотрѣвъ на насъ своими тускло-унылыми глазами, сказалъ только:

— Учатъ васъ... балбесы...

На слѣдующій годъ Крыжановскій исчезъ. Одни говорили, что видѣли его оборваннаго и пьянаго гдѣ-то на ярмаркѣ въ Тульчинѣ. Другіе склоны были вѣрить легендѣ о какомъ-то, яко-бы полученномъ имъ, наслѣдствѣ, призвавшемъ его къ новой жизни.

Вообще ближайшее знакомство съ „уѣзднымъ судомъ“ дало мнѣ еще разъ въ усложненномъ видѣ то самое ощущеніе изнанки явленій, какое я испыталъ въ раннемъ дѣтствѣ, при видѣ сломаннаго крыльца. Въ Житомирѣ отецъ ежедневно уѣзжалъ „на службу“, и эта „служба“ представлялась намъ всѣмъ чѣмъ-то важнымъ, нѣсколько таинственнымъ, отчасти роковымъ (это было „царство закона“) и возвышеннымъ.

Здѣсь этотъ таинственный храмъ правосудія находился у насъ во дворѣ... Въ его преддверіи помѣщалась сторожка, гдѣ бравый николаевскій унтеръ въ неслужебное время чинилъ чиновничью обувь и, кажется, торговалъ водкой. Изъ сторожки такъ и садило особымъ жилымъ „духомъ“.

Впрочемъ, этотъ жилой духъ, острый, щекотавшій въ поздрахъ и царапавшій въ горлѣ, не выводился и въ „канцеляріяхъ“. Нѣкоторые писцы не имѣли квартиръ и неизмѣнно

проживали въ судѣ. Въ черныхъ шкапахъ, кромѣ бумагъ, хранились засаленныя манишки и жилеты, тарелки съ обрѣзками колбасы и другіе неофіціальныя предметы. Оклады „чиновниковъ“, даже принимая во вниманіе дешевизну, были всетаки изумительные. Архивариусъ получалъ 8 рублей въ мѣсяць и считался счастливецъ. Штатные писцы получали по 3 рубля, а вольнонаемные по „пяти злотыхъ“ (на польскій счетъ: злотый считался въ 15 копѣекъ). Здѣсь, очевидно, коренилось то философское отношеніе, съ какимъ отецъ глядѣлъ на мелкое взяточничество подчиненныхъ: безъ „благодарности“ обывателей они должны бы буквально умирать съ голоду. Нѣкоторые изъ судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились въ подвалахъ стараго замка или же устраивались „вѣчными дежурными“ въ судѣ. Такимъ вѣчнымъ дежурнымъ былъ, напримѣръ, нѣкій панъ Ляцковскій. Получалъ онъ всего на всего три рубля, нѣсколько зашибалъ и имѣлъ наклонность къ щегольству: носилъ грязныя крахмальныя манишки, а курчавыя пеньельные волосы густо смазывалъ помадой. За всеми этими потребностями денегъ на квартиру у него не оставалось. Такихъ бѣдняковъ было еще пять-шесть, и они за самую скромную плату дежурили за вѣхъ. По вечерамъ въ опустѣвшихъ канцеляріяхъ уѣзднаго суда горѣлъ какой-нибудь сальный огарокъ, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумагѣ нѣсколько огурцовъ, и дежурные рѣзались до глубокой ночи въ карты... По утрамъ святилище правосудія имѣло видъ далеко не офіціальныи. На нѣсколькихъ столахъ, безъ постелей, въ растяжку хранились „дежурные“, въ брюкахъ, грязныхъ сорочкахъ и желтыхъ носкахъ. Когда панъ Ляцковскій, кислый, не выспавшійся и похмѣльный, протиралъ глаза и поднимался со своего служебнаго ложа, то на оберткѣ „дѣла“, которое служило ему на эту ночь изголовьемъ, оставалось всегда явственное жирное пятно отъ помады. Постѣ „двадцатаго числа“ въ судѣ по вечерамъ становилось нѣсколько шумно. За картами у дежурныхъ порой возникали даже драки. Если авторитетъ сторожа оказывался недостаточнымъ, то на мѣсто являлся отецъ, въ халатѣ, туфляхъ и съ палкой въ рукѣ. Чиновники разбѣгались, лѣтомъ прыгая въ окна: было извѣстно, что, всплывъ, судья легко пускалъ въ ходъ палку...

Одну только комнату отецъ ограждалъ отъ вторженія всякой партикулярной распущенности. Это было присутствіе съ длиннымъ столомъ, накрытымъ зеленымъ сукномъ съ золотыми кистями и съ зеркаломъ на столѣ. Никто изъ мелкихъ канцеляристовъ туда не допускался, и ключъ отецъ хранилъ у

себя. Самъ опъ всегда входилъ въ это святилище съ выраженіемъ торжественно-важнымъ, какъ въ церковь, и это давало тонъ остальнымъ. За отцомъ такъ же важно въ часы засѣданій разсказивались подсудки, среди которыхъ были и выборные представители сословій. Одинъ изъ нихъ былъ еврей Рабиновичъ. Въ то время объ „еврейскомъ вопросѣ“ еще не было слышно, но не было и нынѣшняго злого антисемитизма: законъ считалъ справедливымъ, чтобы въ судѣ, гдѣ разбираются и дѣла евреевъ, присутствовалъ также представитель еврейскаго населенія. И когда Рабиновичъ, типичный еврей, съ необыкновенно черной бородой и курчавыми волосами, въ мундирѣ съ шитьемъ и при шпагѣ, входилъ въ „присутствіе“,— въ немъ нельзя было узнать Рабиновича—торговца, сидѣвшаго въ свободные часы въ своей лавочкѣ или за мѣняльнымъ столикомъ. Казалось, отъ „зеркала“ на него въ этой комнатѣ падало тоже какое-то сіяніе.

„Зерцало“ было какъ бы средоточіемъ жизни всего этого промозглаго зданія, наполненнаго жалкими несчастливцами, родѣ Крыжановскаго или Ляцковскаго. Когда намъ въ неприсутственные часы удавалось проникать въ святилище уѣзднаго суда, то и мы съ особой осторожностью проходили мимо зеркала. Оно казалось намъ какой-то волшебной скинней. Слово, неосторожно сказанное „при зеркалѣ“, было уже не простое слово. Оно влекло за собой серьезныя послѣдствія.

Однажды, этой первой осенью послѣ нашего прѣзда въ городъ пришло извѣстіе: ѣдетъ губернаторъ съ ревизіей. Въ Житомирѣ мы какъ-то мало слышали о губернаторѣ. Здѣсь опъ представлялся чѣмъ-то въ родѣ кометы, двигающейся на трепетный міръ. Забѣгали кварталныя, подналась чистка улицъ; на столбахъ водворяли давно побитые фонари, въ судѣ мыли полы, подшивали и заканчивали на спѣхъ дѣла. Отецъ волновался. Дѣла у него были въ образцовомъ порядкѣ, но онъ чувствовалъ за собой двѣ слабыя стороны: жена у него была полька, и онъ былъ разбитъ параличомъ. Между тѣмъ, губернію уже облетѣла фраза новаго губернатора: „я мастеръ здоровый, и мнѣ нужны здоровые подмастерья“... Въ Дубно онъ уже уволилъ больного судью...

Прѣхалъ... Остановился у исправника... Былъ въ полиціи, въ казначействѣ... Отецъ въ новомъ мундирѣ и съ Владиміромъ въ петлицѣ уходитъ изъ дому въ судъ. Мать на дорожку крестить его крамольнымъ польскимъ крестомъ и посылаетъ насъ наблюдать, что будетъ. Нашъ наблюдательный пунктъ въ бурьянахъ на огородѣ, противъ оконъ „присутствія“.

„Самого“ еще нѣтъ, но два или три хлыщеватыхъ чиновника

уже рожется въ дѣлахъ, которыя имъ почтительно подастъ секретарь. Вечерѣть. Въ „присутствіи“ зажигаютъ свѣчи,— необыкновенно много свѣчей. Зерцало, ячищенное мѣломъ, изливаетъ сіяніе. Торжественно и строго... У воротъ слышно тархтѣніе коляски. Отецъ и подсудки поднимаются съ мѣстъ. Помощникъ исправника самъ отворяетъ настежь дверь присутствія, и въ ней, точно осіянная и свѣтящаяся, какъ само зеркало, является бравая генеральская фигура. За нею выхоленные лица „чиповниковъ особыхъ порученій“, а за ними въ пролетъ двери видѣется канцелярія, неузнаваемая, вси въ свѣту и тренетѣ. Мы стремглавъ бѣжимъ къ матери.

— Ну, что?—спрашиваетъ она съ тревогой.

— Вошелъ. Палѣ подаль руку... Просилъ садиться.

Вздохъ облегченія.

— Ну, слава Богу...—И мать набожно крестится...

— Слава Богу,—повторяютъ за ней дамы, трепетной кучкой набившіяся въ нашу квартиру.—Охъ, что-то будетъ съ нашими?..

Я не помню, чтобы послѣ этой первой видѣнной мною „ре-визіи“ въ моемъ умѣ сколько-нибудь ясно шевелились критическіе вопросы: какова природа этой грозы? Почему молодые хлыщеватые щеголи изъ губернаторской свиты держатся такъ развязно, а мой отецъ, заслуженный и всѣми уважаемый, стоитъ передъ ними, точно ученикъ на экзаменѣ? Почему этотъ важный генералъ можетъ безпричинно разрушить существованіе цѣлой семьи, и никто не спросить у него отчета, правильно ли это сдѣлано? Такихъ вопросовъ не существовало для меня, какъ и для окружающихъ. Царь можетъ все, генералъ имѣетъ силу у царя, хлыщи имѣютъ силу у генерала. Значить, и они „могутъ все“. Слава Богу, что не все разрушили, не всѣхъ разогнали и кое-кого оставили въ покоѣ. Когда комета унеслась въ пространство, а на мѣстѣ подсчитывались результаты ея пролета,—то оказывалось, по большей части, что удаленія, переводы, смѣщенія постигали неожиданно, безтолково и случайно, какъ вихрь случайно вырветъ одно дерево и оставитъ другое. „Сила власти“ иллюстрировалась каждый разъ очень ярко, но сила чисто стихійная, отъ которой, по самой ея природѣ, никто и не ждалъ осмысленности и цѣлесообразности. Въ однихъ семьяхъ служили благодарственные молебны, въ другихъ плакали и строили догадки: кто донесъ, насилетничалъ, спаушничалъ. Сплетенки и были виноваты. Они навлекли грозу...

Самая же гроза не была виновата. Ей такъ полагалось по законамъ природы. Безправная и безответная среда только гнула, какъ подъ налетомъ вихря...

XVIII.

Еще одна изнанка.

Каникулы подходили къ концу. Мнѣ предстоялъ провѣрочный экзаменъ для поступленія въ „Ровенскую реальную Гимназію“.

Это было заведеніе особеннаго переходнаго типа, вскорѣ исчезнуващаго. Реформа Д. А. Толстого, раздѣлившая среднія учебныя заведенія на классическія и реальныя, еще не была закончена. Въ Житомирѣ я началъ изучать умѣренную латынь только въ третьемъ классѣ, но за мною она двигалась уже съ перваго. Ровенская гимназія, наоборотъ, превращалась въ реальную. Латынь уходила, классъ за классомъ, и третій, въ который мнѣ предстояло поступить, шелъ уже по „реальной программѣ“, безъ латыни, съ преобладаніемъ математики.

Только уже въ Ровно изъ разговоровъ старшихъ я понялъ, что доступъ въ университетъ мнѣ закрытъ и что отнынѣ математика должна стать для меня основнымъ предметомъ изученія.

Во время провѣрочнаго экзамена я блестяще выдержалъ по всѣмъ предметамъ, но измучилъ учителя алгебры поразительнымъ невѣжествомъ. Инспекторъ, въ недоумѣніи качая головою, сказалъ отцу, ожидавшему въ приемной:

— Мы его, пожалуй, примемъ. Но вамъ лучше бы пустить его „по классической“.

Это, конечно, было совершенно вѣрно, но не имѣло никакого практическаго смысла. Мой отецъ, какъ и другіе чиновники, долженъ былъ учить дѣтей тамъ, гдѣ служилъ. Выходило, что выборъ дальнѣйшаго образованія предопредѣлялся не „умственными склонностями“ дѣтей, а случайностями служебныхъ переводовъ нашихъ отцовъ.

Уже вслѣдствіе этой наглядной несообразности, реформа Д. А. Толстого была чрезвычайно непопулярна въ среднихъ кругахъ тогдашняго общества и безъ всякаго сомнѣнія сыграла значительную роль въ оппозиціонномъ настроеніи застигнутыхъ ею молодыхъ поколѣній...

Однажды, вскорѣ послѣ моего экзамена у отца собрались на карточный вечеръ сослуживцы и знакомые. Это было чуть не единственное удовольствіе, которое отецъ позволялъ себѣ, и очень скоро у него подобралась компанія партнеровъ. Тутъ былъ подсудокъ Кроль, серьезный нѣмецъ съ рыжеватыми баками, по страшной случайности женатый на русской поповнѣ; былъ толстый городничій Дембскій, послѣдній представитель этого званія, такъ какъ вскорѣ должность „город-

ничихъ“ была упразднена; докторъ Погоновскій, добродушный человекъ съ пробритымъ подбородкомъ и длинными баками (тогда это было распространенное украшеніе докторскихъ лицъ), панъ Богацій, „секретать опеки“, получавшій 18 рублей въ мѣсяцъ и державшій домъ на широкую ногу... Было еще нѣсколько скромныхъ обывательскихъ фигуръ, серьезно предававшихся „преферансу“ и нимало не склонныхъ ни къ политикѣ, ни къ оппозиціи. Жены ихъ сидѣли съ матерью въ столовой и вели своя специально дамскія бесѣды. Было сильно накурено и довольно скучно. За зелеными столами слышались обычныя лаконическія заявленія:

— Пасъ...

— Покупаю...

— Семь трефъ...

— Надо было ходить съ короля...

Во время перерыва за чайнымъ столомъ, уставленнымъ закусками и водкой, зашелъ общій разговоръ, касавшійся, между прочимъ, школьной реформы. Всѣ единодушно осуждали ее съ чисто практической точки зрѣнія: чѣмъ виноваты дѣти, отцы которыхъ волею начальства служатъ въ Ровно? Путь въ университетъ имъ закрыть, а университетъ тогда представлялся единственнымъ настоящимъ высшимъ учебнымъ заведеніемъ.

Кто-то задался вопросомъ: какъ могло „правительство“ допустить такую явную несообразность?

Отецъ выписывалъ „Сынъ Отечества“ и теперь сообщилъ въ краткихъ чертахъ исторію реформы: большинствомъ голосовъ въ государственномъ совѣтѣ проектъ Толстого былъ отвергнутъ, но „царь согласился съ мевъпшинствомъ“.

Послѣдовало короткое молчаніе. Разговоръ какъ бы уткнулся въ высокую преграду.

— И все это Катковъ,—сказалъ кто-то съ легкимъ вздохомъ.

— Конечно, онъ,—прибавилъ другой...

— Много этотъ человекъ сдѣлалъ зла Россіи...—вздыхнул третій.

Отецъ не поддакивалъ осуждавшимъ реформу и не говорилъ своего обычнаго „толкуй больной съ подтѣкаремъ“. Онъ только сдержанно молчалъ.

Черезъ нѣкоторое время чаепитіе кончилось, и партнеры перешли въ гостиную, откуда опять послышалось:

— Пасъ!

— Покупаю.

— Семь трефъ!

— Надо было ходить въ реноясъ.

Я вышелъ изъ накуренныхъ комнатъ на балконъ. Ночь была ясная и свѣтлая. Я смотрѣлъ на прудъ, залитый луннымъ свѣтомъ, и на старый дворецъ на островѣ. Потомъ сѣлъ въ лодку и тихо отплылъ отъ берега на середину пруда. Мнѣ былъ видѣнъ нашъ домъ, балконъ, освѣщенные окна, за которыми играли въ карты... Определенныхъ мыслей не помню.

Изъ того, что я такъ запомнилъ именно этотъ „карточный вечеръ“ среди многихъ другихъ, я заключаю, что я вышелъ тогда изъ накуренной комнаты съ тѣмъ-то невызъмъ, смутнымъ, по способнымъ къ росту... На вопросъ, когда-то поставленный, по словамъ отца, „философами“: „можно ли думать безъ словъ“, я теперь отиѣтилъ бы совершенно определенно: да, можно. Мысль, облеченная въ точное понятіе и слово, есть только надземная часть растенія,—стебель, листья, цвѣты... Но начало всего этого—подъ почвой: въ невидимомъ зернѣ дремлютъ возможности стебля, цвѣтка и листьевъ. Ихъ еще нѣтъ, надъ ними еще колышутся другія листья и стебли, а между тѣмъ—тамъ уже все готово для новаго растенія.

Такіе ростки я, должно быть, выпесъ въ ту минуту изъ беззаботныхъ, безцѣльныхъ и совершенно благонамѣренныхъ разговоровъ „старшихъ“ о непопулярной реформѣ. Передъ моими глазами были лунный вечеръ, сонный прудъ, старый замокъ и высокіе тополи. Въ головѣ, можетъ быть, коношились какія-нибудь пустыя мыслишки насчетъ завтрашняго дня и начала уроковъ, но онѣ не оставили никакого слѣда. А подъ ними прокладывали себѣ дорогу новыя понятія о царѣ и верховной власти.

Есть на свѣтѣ солнце, мѣсяцъ, звѣзды, грозовыя тучи, царь, законъ... Все это есть, и все это дѣйствуетъ такъ или иначе *не почему-нибудь*, а просто потому, что есть и что дѣйствуетъ... Роптать на небесный громъ—глухо и безцѣльно. Такъ же глухо роптать на царя. Тутъ нѣтъ вопроса: „почему такъ, а не иначе“... Глухая козявка и уносящій ее водяной потокъ, „старая фигура“ у дома Коляновскихъ и разбившая ее громовая стрѣла, наконецъ, неразумный больной и все знающій могущественный подлѣকারъ... Всѣ эти взаимныя отношенія есть *не почему-нибудь*, а просто *есть, были и будутъ* отъ вѣка и до вѣка...

Таково было устойчивое, цѣльное, простое міровоззрѣніе моего отца, которое незамѣтно просочилось и въ мою душу. По моему мнѣнію, только такое міровоззрѣніе есть истинная основа абсолютизма „волею Божіею“, и до тѣхъ поръ, пока

совѣмъ еще неприкосновенно это воззрѣніе, — сильна абсолютная власть. До этого вечера я и былъ во власти такой цѣльности. Стихійность, неизбежность, недоступность для какой бы то ни было критики распространялась сверху, отъ цари, очень широко, вплоть до генераль-губернатора, даже, пожалуй, до губернатора... Все это сіяло, какъ фигура Черткова на порогѣ объятаго треногомъ уѣзднаго присутствія, все это гремѣло, благодѣтельствовало или свергало въ отчаяніе не почему-нибудь а не на какомъ-нибудь основаніи, а просто такъ... безъ причины, высшею, безотчетною волей, съ которой нельзя спорить, о которой не приходится даже и разсуждать.

Теперь невинный разговоръ старшихъ шевельнулъ что-то въ этой цѣльности: моя личная судьба опредѣлена заранѣе, — университетъ для меня и тысячи моихъ сверстниковъ закрытъ. Это я чувствую, какъ зло, и всѣ признаютъ это зломъ. Это бы еще ничего. Но... этого могло не быть. Какое-то большинство въ какомъ-то государственномъ совѣтѣ: этотъ проектъ осудило. Царь могъ согласиться съ большинствомъ... тогда было бы хорошо. Но онъ почему-то согласился съ меньшинствомъ... Вышла всѣми признаваемая несообразность, которой могло не быть... И случилось это не просто потому, что громъ есть громъ, а царь есть царь... Итъ, — „все это надѣлать“ въ числѣ другого зла какой-то невѣдомый Катковъ. Предо мной вскрывалась изнанка крупнаго жизненнаго явленія. Домъ казался цѣльнымъ и вѣчнымъ. Пришли какіе-то люди, сняли одно крыльцо, приставили другое и при этомъ обнажили старые столбы, заплѣсневѣлые и подгнившіе. И вышло, что домъ не вѣченъ, а *сольанъ*, какъ многое другое. Теперь изъ-за цѣльнаго представленія о власти „земного бога“ выглянулъ простой Катковъ, котораго уже можно судить и осуждать...

Должно быть, это смутное ощущеніе новой „изнанки“ сдѣлало для меня и этотъ разговоръ, и этотъ осенній вечеръ съ луной надъ гладью пруда такими памятными и значительными, хотя „мыслей словами“ я вспомнить не могу.

И даже болѣе: довольно долго послѣ этого — самая идея власти, стихійной и не подлежащей критикѣ, продолжала стоять въ моемъ умѣ, чуть тронутая гдѣ-то въ глубинѣ сознанія, какъ личинка трогаетъ подъ землей корень еще живого растенія. Но съ этого вечера у меня уже были предметы первой „политической“ антипатии. Это былъ министр Толстой и главное, — Катковъ, изъ-за которыхъ мнѣ сталъ недоступенъ университетъ и предстоить изучать ненавистную математику...

Первое впечатлѣніе новой гимназіи.

Я былъ всетаки принятъ. Вскорѣ послѣ экзаменовъ, въ ясное утро воскресенья я, отъ нечего дѣлать, пошелъ на польское кладбище на „Волю“. Это было предмѣстье, гдѣ городъ незамѣтно уступалъ мѣсто деревнѣ. Маленькій уютный костель стоялъ въ сосѣдствѣ соломенныхъ хатъ, посреди могилъ и крестовъ. Было что-то особенно привѣтливое въ этомъ бѣленомъ храмѣ съ его небольшими звонкими колоколами и звуками органа, вырывавшимися изъ-за цвѣтныхъ стеколъ и посившимися надъ могилами. Когда органъ стихалъ, слышался тихій шелестъ березокъ и шопотъ молящихся, которые не умѣщались въ „каплицѣ“ и стояли на колѣняхъ у входа.

Я долго бродилъ среди памятниковъ, какъ вдругъ въ одномъ мѣстѣ, густо заросшемъ травой и кустарникомъ, мнѣ бросилось въ глаза странное синее пятно. Подойдя ближе, я увидѣлъ маленькаго человѣчка, въ сипемъ мундирѣ съ мѣдными пуговицами. Лежа на могильномъ камнѣ, онъ что-то тщательно скоблилъ на немъ ножикомъ, и былъ такъ углубленъ въ это занятіе, что не замѣтилъ моего прихода. Однако, когда я сообразилъ, что мнѣ лучше ретироваться, — онъ быстро поднялся, отряхнулъ запачканный мундиръ и увидѣлъ меня.

— Кто такой? — спросилъ онъ нѣсколько скрипучимъ высокимъ теноромъ. — А, новый? Какъ фамилія? Сма-а-атри ты у меня!

И, погрозивъ за что-то пальцемъ, онъ пошелъ прочь смѣшной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могилъ.

И какъ только онъ скрылся, — изъ-за ближайшаго склепа выбѣжали три гимназиста.

— Что онъ тебѣ говорилъ? — спросилъ одинъ изъ нихъ, Кроль, съ которымъ я уже былъ знакомъ. Двое другихъ тотчасъ же кинулись къ плитѣ и въ свою очередь принялись что-то скоблить на камнѣ. Когда они кончили и встали съ довольнымъ видомъ, — я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на ихъ работу. На плитѣ, послѣ традиціонныхъ трехъ буквъ Д. О. М. стояло уменьшительное имя съ фамиліей (въ родѣ Ясь Янкевичъ), затѣмъ годъ рожденія и смерти. Вверху, выцарапанныя въ глубокой бороздѣ гвоздями и ножиками, видѣлись два польскихъ слова: *ofiara srogosci* (жертва строгости).

Мои новые товарищи рассказали мнѣ исторію этой надписи. Это было нѣсколько лѣтъ назадъ. Ученика младшихъ

классовъ Янкевича „престѣдовало“ гимназическое начальство, и однажды его оставили въ карцерѣ „за невниманіе на урокъ“. Мальчикъ говорилъ, что онъ боленъ, отпрашивался домой, но ему не повѣрили.

Карцеръ помѣщался во второмъ этажѣ, въ самомъ отдаленномъ углу зданія. Къ нему велъ отдѣльный небольшой корридорчикъ, дверь котораго запиралась еще особо.

Впослѣдствіи мнѣ пришлось свести знакомство съ этимъ помѣщеніемъ, и каждый разъ, какъ сторожъ, побрякавъ ключами, удалялся, и его шаги замирали въ гулкомъ длинномъ корридорѣ,—я вспоминалъ Янкевича и представлялъ себѣ, какъ ему, вѣроятно, было страшно, больному, въ этомъ одиночествѣ. Вотъ стукнула далеко внизу выходная дверь на блокъ, по корридорамъ пробѣжали, толкались въ углахъ, тревожные и чуткіе отголоски. Все замерло. За маленькимъ высокимъ оконцемъ шумятъ каштаны густого сада, въ сырыхъ, холодныхъ углахъ таится и густѣетъ мгла раннихъ сумерекъ...

Когда сторожъ пришелъ вечеромъ, чтобы освободить заключеннаго,—онъ нашелъ его въ безпамятствѣ, свернувшись комочкомъ у самой двери. Сторожъ поднялъ тревогу, привелъ гимназическое начальство, мальчика свезли на квартиру, вызвали мать... Но Янкевичъ никого не узнавалъ, метался въ бреду, пугался, кричалъ, прятался отъ кого-то и умеръ, не приходя въ сознаніе...

Теперь въ гимназіи не было уже ни виновниковъ этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила отъ поколѣнія къ поколѣнію, и ученики считали своею обязанностью подновить надпись на могильномъ камнѣ. Это было тѣмъ интереснѣе, что надзиратель Дитяткевичъ, въ просторѣчій называвшійся Дидонусомъ,—считалъ своею обязанностью отъ времени до времени выскабливать крамольныя слова. Такимъ образомъ борозда утонала все глубже, но надпись все оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной „строгости“ и объ ея „жертвѣ“...

Такое было первое впечатлѣніе, какимъ встрѣчала меня „ровенская реальная гимназія“...

XX.

Желто-красный попугай.

И теперь еще, хотя дѣля десятилѣтія отдѣляютъ меня отъ того времени,—я повременамъ вижу себя во снѣ гимназистомъ ровенской гимназіи... Особеннымъ звукомъ звенить въ моихъ ушахъ частый колоколь, и я знаю: это старикъ сторожъ изъ кантонистовъ подошелъ къ углу гимназическаго

зданія, гдѣ на двухъ высокихъ столбахъ укрѣпленъ качающійся колоколъ, и дергаетъ за длинную веревку. Звонъ настойчивый, торопливый, какъ будто захлебывающійся, перелетаетъ черезъ гладь прудовъ, забирается въ ученическія квартиры. Частый топотъ ногъ по деревяннымъ мосткамъ, визгъ и стукъ калитки на блокъ съ нѣсколькими камнями... Топотъ усиливается, какъ приливъ, потомъ становится рѣже, проходитъ огромный инспекторъ Степанъ Яковлевичъ Рудевичъ, на дворѣ все стихаетъ, только я все еще бѣгу по двору или вхожу въ опустѣвшіе корридоры съ неприятнымъ сознаніемъ, что я уже опоздалъ, и что Степанъ Яковлевичъ смотритъ на меня тяжелымъ взглядомъ съ высоты своего огромнаго роста.

Чорой снится мнѣ также, что я сижу на скамьѣ и жду экзамена или вызова къ доскѣ для отвѣта. При этомъ меня томитъ привычное сознаніе какой-то неготовности и риска...

Такъ прочны эти впечатлѣнія. И не мудрено. Въ ровенской гимназій я пробылъ пять лѣтъ и два года въ житомирской. Считаю въ году по 250 дней, проведенныхъ въ классахъ или церкви, и по 4—5 учебныхъ часовъ ежеднвно— это составитъ около 8 тысячъ часовъ, въ теченіи которыхъ выстѣ со мною сотни молодыхъ головъ и юныхъ душъ находились въ непосредственной власти десятковъ педагоговъ. Затихшее зданіе гимназій въ эти часы представляется мнѣ теперь чѣмъ-то вродѣ огромнаго резонатора, въ которомъ педагогическій хоръ настраиваетъ на извѣстный ладъ умы и души сотенъ будущихъ людей. И мнѣ хочется, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, опредѣлить теперь основныя ноты, преобладавшія въ этомъ хорѣ.

Еще въ Житомирѣ, когда я былъ во второмъ классѣ, былъ у насъ учитель рисованія, старый полякъ Собкевичъ. Говорилъ онъ всегда по польски или по украински, фанатически любилъ свой предметъ и считалъ его первой основой образованія. Однажды, разсердившись за что-то на весь классъ, онъ схватилъ съ каменды свой портфель, поднялъ его высоко надъ головой и изо всей силы швырнулъ на полъ. Съ сверкающими глазами, съ гривой сѣдыхъ волосъ надъ головой, весь охваченный гнѣвомъ, онъ былъ похожъ на Моисея, разбивающаго скрижали.

— Ідоны! Бараны! Ослы!—кричалъ онъ по польски.— Что значать всѣ ваши грамматыки и арытметыки, если вы не понимаете красоты человѣческаго глаза!..

Можетъ быть, это было грубо в смѣшно, но мы не смѣялись. Отъ могучей фигуры стараго художника надъ толпой неосмысленныхъ малышей пронеслось, какъ вихрь, одушевле-

ніе фанатической вѣры въ свой предметъ, въ высшее значеніе искусства... Когда онъ подходилъ къ рисующему ученику и, вода большимъ пальцемъ надъ бумагой, говорилъ: „Ага! Вотъ такъ... Чувствуешь, малый? Оно вотъ тутъ округляется. Вотъ-вотъ... Теперь сильнѣе, гуще!.. Ага! Видишь: засвѣтилось, глядитъ!..“—то казалось, что подъ этими его жестами на самой бумагѣ начинають роиться живыя формы, которыя стоитъ только схватить...

Другая фигура, тоже еще въ Мѣтомирѣ. Это священникъ Овсянкинъ... Онъ весь бѣлый, какъ молоко, съ прекрасными синими глазами. Въ этихъ глазахъ постоянно свѣтилось выраженіе какого-то добраго безпокойства. И когда порой, во время отвѣта, онъ такъ глядѣлъ въ мои глаза, то мнѣ казалось, что онъ чего-то ищетъ во мнѣ съ ласковой тревогой, чего-то нужнаго и важнаго для меня и для него самого.

Однажды онъ задумалъ устроить для своихъ учениковъ говѣніе особо отъ остальныхъ молящихся.

Для этого онъ наскоро сладилъ ученическій хоръ подъ руководствомъ двухъ учениковъ изъ поповичей и самъ служилъ для насъ послѣ общей службы. Намъ это нравилось. Церковь была въ нашемъ нераздѣльномъ владѣніи, въ ней было какъ-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было.

Но... понавъ въ эту обстановку послѣ годичной муштровки—ученики распустились. Всѣхъ охватила какая-то рѣзвость, особенно во время сѣнокъ, на которыхъ не бывало и священника. Послѣ одной такой сѣнки настроеніе перелилось черезъ край, и за вечерней хоръ пропѣлъ „отцу и сыну и святому духу“ съ кощунственнымъ измѣненіемъ („брюху“). Въ сущности, настоящаго, сознательнаго кощунства тутъ не было, а была только инерція рѣзости. Мальчишки шутили скорѣе надъ добрымъ священникомъ, чѣмъ надъ представленіемъ о Богѣ. По окончаніи службы причетникъ сказалъ, что батюшка проситъ всѣхъ остаться. Мы сгрудились около лѣваго клироса. Въ слабо освѣщенной, старой церкви стало какъ-то торжественно-тихо и печально. Черезъ минуту Овсянкинъ вышелъ изъ алтаря серьезный и какъ бы виновный. Подойдя къ намъ, онъ началъ говорить:

— Дѣти... дѣти мои...

Но продолжать не могъ. Бѣлое лицо его какъ-то жалко дрогнуло, глаза затуманились, и по щекамъ потекли крупныя слезы.

Эта глубокая печаль потрясла насъ гораздо сильнѣе, чѣмъ могла бы потрясти самая краснорѣчивая проповѣдь. И въ члѣ,

пристыженные и растроганные, первые кинулись къ нему, цѣловали его руки, ловили края широкихъ рукавовъ. За ними старика обступили остальные, неповинные въ бошунствѣ; все мы баялись въ томъ, что и намъ показалось это смѣшно и весело. Старикъ клалъ руки на наши коротко остриженные головы, и лицо его постепенно свѣтлѣло... Говѣніе окончилось подъ впечатлѣніемъ этой сцены, и никогда впоследствии покаинная молитва Ефрема Сирина не производила на меня такого дѣйствія, какъ въ эти дни, когда ее произносилъ для насъ Овсянкинъ въ убогомъ старомъ храмѣ, подъ низкимъ потолкомъ котораго дѣлалось дѣлѣ растроганнаго кающагося молодого хора...

Наконецъ, въ Ровно я засталъ уже только рассказы объ одномъ учителѣ физики. Должно быть, фигура была тоже яркая въ своемъ родѣ, такъ какъ рассказы о немъ переходили изъ поколѣнія въ поколѣніе. Онъ былъ „натуръ-философъ“ и матеріалистъ. По его мнѣнію, физическіе законы объясняли все или должны были все объяснить. Опыты онъ продѣлывалъ съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто каждый изъ нихъ былъ откровеніемъ, поднимающимъ завѣсу міровой тайны, а въ учительской онъ велъ страстную полемику съ священникомъ, противопоставляя геологическіе періоды шести днямъ творенія...

Художника Собкевича у насъ убрали въ концѣ перваго же года моего пребыванія въ жиитомирской гимназій: началось „обрусѣніе“, а онъ не могъ пріучиться говорить въ классѣ только по русски. Какъ онъ старался бѣдный старикъ, — на русскомъ языкѣ у него ничего „не скруглялось“ и „не свѣтилось“. Да и, вообще, вся его оригинальная фигура плохо укладывалась въ казенныя рамки. Овсянкина тоже скоро смѣнилъ законоучитель Сольскій, сухой и строгій... Наконецъ, ровенскаго „натуръ-философа“ улалили по доносу его полемиста священника, который этимъ способомъ возстановилъ авторитетъ „книги Бытія“.

Какъ ни различны эти фигуры, — онѣ встаютъ въ моей памяти объединенныя общей чертой: вѣрой въ свое дѣло. Догматы были различны: Собкевичъ, вѣроятно, отрицалъ и физику наравнѣ съ грамматикой передъ красотой человѣческаго глаза. Овсянкинъ былъ одинаково равнодушенъ къ красотѣ человѣческихъ формъ, какъ и къ красотѣ точнаго познанія, а физикъ готовъ былъ навѣрно поспорить и съ Овсянкинымъ о шестодневіи. Содержаніе вѣры было различно, психологія одна.

Теперь — яркая фигура уже другого рода.

Это учитель нѣмецкаго языка, мой дальній родственникъ Игнацій Францевичъ Лотоцкій. Я еще не поступалъ и въ пансіонъ, когда онъ пріѣхалъ въ Житомиръ изъ Галиціи. У него былъ дипломъ одного изъ заграничныхъ университетовъ, дававшій тогда право преподаванія въ нашихъ гимназіяхъ. Кто-то у Рыхливскихъ посмѣялся въ его присутствіи надъ заграничными дипломами. Лотоцкій всталъ, куда-то выпелъ изъ комваты, вернулся съ дипломомъ и изорвалъ его въ клочки. Затѣмъ уѣхалъ въ Кіевъ и тамъ выдержалъ новый экзамень при университетѣ.

Послѣ этого онъ получилъ мѣсто преподавателя въ житомирской гимназіи и женился на одной изъ моихъ тетокъ. Ее считали счастливицей. Но черезъ нѣкоторое время мы, дѣти, стали замѣчать, что наша жизнерадостная тетка часто приходитъ съ заплаканными глазами, запирается съ моею матерью въ комнатѣ, что-то ей рассказываетъ и плачетъ. Если иной разъ, придя къ ней въ гости, намъ случалось разыграться,—дверь кабинета слегка пріотворялась, и въ щель появлялось чисто выбритое лицо съ выпуклыми блестящими глазами. Этого было достаточно: мы тотчасъ смолкали и разсаживались по угламъ, а тетка блѣднѣла и тряслась... Если не ошибаюсь, тогда я впервые запомнилъ слово „тиранъ“.

Всѣ, однако, признавали его образцовымъ учителемъ и пророчили блестящую учебно-административную карьеру. Это былъ типичный „братушка“, какіе черезъ нѣсколько лѣтъ при Толстомъ заповоложили наше просвѣтительное вѣдомство, съ тѣмъ, однако, преимуществомъ, что Лотоцкій превосходно говорилъ по русски.

Одѣтый всегда съ иголочей, тщательно выбритый, безъ пылинки на блестящемъ мундирѣ,—онъ являлся на урокъ минута въ минуту и размереннымъ шагомъ входилъ на кафедру. Здѣсь онъ останавливался и окидывалъ классъ блестящими, выпуклыми, живыми глазами. Подъ этимъ взглядомъ все замирало. Казалось,—большей власти учителя надъ классомъ трудно представить. Это былъ идеаль „дисциплины“ въ общепотребительномъ смыслѣ этого слова. Его боялись, уроки ему готовили лучше, чѣмъ другимъ, въ совѣтъ его голось обладалъ большимъ вѣсомъ. Взглядъ всякаго „ревизора“ съ удовольствіемъ останавливался на образцово-чиновничьей фигурѣ съ опредѣленно-точными и авторитетными приемами...

Однако... ученики давно уже подмѣтили слабыя стороны образцоваго педагога. и ни на кого не рисовали столько и при томъ такихъ удачныхъ карриатуръ. Было извѣстно, что

за шесть или семь лѣтъ учительства онъ не пропустилъ ни одного урока. По корридорамъ шагаль всегда одной и той же походкой, по журавлиному, крупными шагами, держа туловище необыкновенно прямо. Отъ двери класса до каѳедры всегда дѣлалъ опредѣленное количество шаговъ. Съ нѣкоторыхъ поръ стали замѣчать, что, если ему случалось стать на порогъ не той ногой, — онъ дѣлалъ движеніе назадъ и поправлялся, какъ солдатъ, „потерявшій ногу“. На каѳедрѣ оставался всегда въ одной позѣ.

Если въ это время кто-нибудь дѣлалъ рѣзкое движеніе или заговаривалъ съ сосѣдомъ, — Лотоцкій протягивалъ руку и, странно сводя два пальца, указательный и мизинецъ, показывалъ ими въ уголь, произнося фамилію виновнаго быстро, съ выкрикомъ на послѣднемъ слогѣ, и пропуская почти всѣ гласныя:

— Кр-ч-н-вд... Врив...скій... Абрм-ввчъ...

Это значило, что Абрамовичъ, Кириченко, Варшавскій должны отправиться въ уголь.. Въ классѣ водворилась тишина, абсолютная, томительная, жуткая... Въ нее отчетливо, рѣзко падали только отрывистые, быстрые вопросы учителя и торопливые отвѣты учениковъ...

Однимъ словомъ, это было нѣчто вроде каторги образованаго педагогическаго порядка!..

Но и на каторгѣ люди дѣлають подкобы и бреша. Оказалось, что въ этой идеальной, замкнутой и запечатанной власти моего строгаго дядюшки надъ классомъ есть значительныя прорѣхи. Такъ, вскорѣ послѣ моего поступленія, во время переклички оказалось, что ученикъ Кириченко не явился. Когда Лотоцкій произнесъ его фамилію, сосѣдъ Кириченко по партѣ поднялся, странно вытянулся, застылъ и отрубилъ, явно цереманная манера учителя:

— Кр-чн-вд... не явил-ся-я.

Обезьянничаніе было до такой степени явно и дерзко, что я со страхомъ и удивленіемъ взглянулъ на Лотоцкаго. Онъ ничего не замѣтилъ и продолжалъ отчеканивать фамилію за фамиліей. Среди тишины звучалъ его металлическій голосъ, и падали короткіе отвѣты: „есть... есть... есть...“ Только въ глазахъ учениковъ искрилась усмѣшка.

Въ другой разъ Лотоцкій принялся объяснять склоненіе прилагательныхъ, и тотчасъ же по классу пробѣжала чуть замѣтно какая-то искра. Мой сосѣдъ толкнулъ меня локтемъ. „Сейчасъ будетъ „попугай“, — прошепталъ онъ чуть слышно. Блестящіе глаза Лотоцкаго сверкнули по всему классу, но на сѣмьяхъ опять ни звука, ни движенія.

— Der gelb-rothe Para-gaj, — сказал Лотоцкий в растяжку. — Итакъ! Имени-тельный! Der gelb-rothe Pa-ra-gaj... Родитель-ный... Des gelb-rothen Pà-ra-gà-a-aj-èn...

Въ голосѣ Лотоцкаго появились какія-то особенныя прыгающія нотки. Онъ начиналъ скандовать, видимо наслаждаясь пѣвучестью ритма. При дательномъ падежѣ въ голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось пѣвучее рокотаніе всего класса:

— Dem... gelb... го... then... Pà-ra-gà-a-aj-èn...

Въ лицѣ Лотоцкаго появилось выраженіе, напоминающее кота, когда у него щекочуть за ухомъ. Голова его закидывалась назадъ, большой носъ нацѣмился въ потолокъ, а тонкій широкій ротъ раскрывался, какъ у сладостно ввакающей лягушки.

Множественное число проходило уже среди скандующаго грома. Это была настоящая оргія скандовки. Нѣсколько десятковъ голосовъ разрубали желто-краснаго полугая на части, кидали его въ воздухъ, растягивали, качали, подымали на самыя высокія ноты и опускали на самыя низкія... Голоса Лотоцкаго давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительскаго кресла, а только бѣлая рука съ ослѣпительной манишкой отбивала въ воздухѣ тактъ карандашомъ, который онъ держалъ въ двухъ пальцахъ... Классъ бѣсовался, ученики передразнивали учителя, какъ и онъ запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. Два или три отчаянныхъ шалуна вскочили даже на парты.

И вдругъ...

Едва, какъ отрѣзанный, затихъ послѣдній слогъ послѣдняго падежа, — въ классѣ, точно по волшебству, новая перемена. На кафедрѣ опять сидитъ учитель, вытнутый, строгій, чуткій, и его блестящіе глаза, какъ молнии, пробѣгаютъ вдоль скамей. Ученики обаменили. И только я, застигнутый врасплохъ, смотрю на все съ разинутымъ ртомъ... Крыштановичъ толкнулъ меня локтемъ, но было уже поздно: Лотоцкий съ рѣзкой отчетливостью назвалъ мою фамилію и жестомъ двухъ пальцевъ указалъ въ уголъ.

И опять нѣсколько уроковъ проходило среди остолебѣлаго „порядка“, пока Лотоцкий не наткнулся на желто-краснаго полугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали цѣлую систему, незамѣтно загонявшую учителя въ такимъ словамъ. Это была какъ бы борьба двухъ гипнозовъ, и побѣда въ этой борьбѣ склонялась на сторону массы. Лотоцкий повременамъ, кажется, чувствовать что-то неладное, и его глаза передъ скандовкой и послѣ

нея обѣгали скамьи съ подозрительной тревогой. Но чуткая тишина усыпляла его подозрѣнія, а затѣмъ хоръ и начинался, и выросталъ такъ вкрадчиво, такъ постепенно и незамѣтно...

За стеклянной дверью порой мелькали въ корридорѣ изумленные лица надзирателей или инспектора, привлеченныхъ странными выкрикиваніями желто-краснаго попугая... Но, когда Лотоцкій проходилъ изъ класса въ учительскую, — сдержанный, холодный, неприступный и сознающій свою образцовость, — никто не рѣшался заговорить съ нимъ о томъ, что его классъ напоминаетъ порой домъ сумасшедшихъ.

Однажды жена его пришла къ моей матери, экстренно испуганная, и сказала, что „у Игнатія выпли неприятности въ гимназіи“. Это, вѣроятно, инспекторъ рѣшился, наконецъ, „обратить вниманіе господина учителя“... Лотоцкій вснылилъ, какъ въ томъ случаѣ, когда посмѣялись надъ его аттестатомъ, и вскорѣ перевелся въ Черниговъ... Обозалось, однако, что желто-красный попугай послѣдовалъ за нимъ. Общимъ инстинктомъ молодежь и тутъ схватила черты рокового автоматизма. На гиппозъ дисциплины она отвѣчала встрѣчными внушеніями. Шаблонъ все сильнѣе захватывалъ моего дядюшку. Походка его становилась все деревяннѣе, объясненія отливались въ застывшія формы, въ которыхъ ученики знали впередъ не только фразы, слова, но и ударенія. Его передразнивали съ дерзко-почтительнымъ видомъ, а попугай гремѣлъ все громче и чаще.

Въ концѣ концовъ роковая птица уничтожила блестяще начатую карьеру. Лотоцкій переводился изъ гимназіи въ гимназію и бросилъ службу года за четыре до пенсіи...

Конечно, у Лотоцкаго были, повидимому, нѣкоторыя врожденные странности, которыя шли на-встрѣчу вліянію отупляющей рутины. На другихъ это сказывалось не такъ полно и не такъ ярко, но все же, когда теперь въ моей памяти встаетъ безконечная вереница часовъ, проведенныхъ въ стѣнахъ гимназій, то мнѣ кажется, что напряженная тишина этихъ часовъ то и дѣло оглашается маниаческими выкрикиваніями желто-краснаго попугая...

Вотъ классъ француза Лемпи. Швейцарецъ родомъ, онъ какъ-то попалъ въ Ровно и здѣсь учительствуетъ лѣтъ сорокъ. Семья у него нѣтъ. Весь его міръ — классъ, инспекторская комната и квартира въ нѣсколькихъ шагахъ отъ гимназій. Сорокъ лѣтъ въ опредѣленные часы онъ проходитъ автоматической походкой эти нѣсколько саженей въ гимназію и обратно. Увидѣть мосея Лемпи внѣ этого пространства — большая рѣдкость. Но русски онъ говоритъ плохо. Его

объясненія—это нѣсколько стереотипныхъ формулъ, запоминаемыхъ ради курьеза. Онъ сохранилъ еще достаточно вниманія и настойчивости, и потому классъ грамматики, которую онъ отдѣлилъ отъ переводовъ, — истинное мученіе...

Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то изъ другой жизни. Онъ любитъ рассказывать о прошломъ. Въ каждомъ классѣ есть особый мастеръ, умѣющій заводить Лемпи, какъ часовщикъ заводитъ часы. Стоитъ тронуть какую-то пружину,—старикъ откладываетъ скучный журналъ, маленькіе глазки загораются маслянистымъ мерцаніемъ, и начинаются безконечные рассказы...

Это нѣчто смутно легендарное, фантастическое. Онъ родился въ Швейцаріи... Учился у великаго Песталоцци. Песталоцци былъ гениальнѣйшій педагогъ... Лемпи былъ цушкаремъ школьнаго отряда...

Рассказываетъ онъ все это дѣтски-умиленнымъ голосомъ, суюкая, прижмуривъ глаза, поднимая къверху ладони съ негибающимися пальцами. Ученики, знающіе всю эту исторію (порой по рассказамъ своихъ отцовъ), — предаются постороннимъ занятіямъ, зубрятъ слѣдующіе уроки, играютъ въ пуговицы и перья. А бѣдный швейцарецъ говоритъ и говоритъ. Онъ зналъ великаго Наполеона. Въ какую-то трудную минуту его жизни онъ оказалъ ему услугу въ качествѣ проводника черезъ Альпы. Они подымались по отвѣснымъ скаламъ, смазавъ руки липкой смолой. Великій Наполеонъ потрепалъ его по плечу и сказалъ: „*Mon brave petit Lumpi*“, что значитъ: „Ты, Лемпушка, естъ молодецъ“... Если тема начинала истощаться, заводчикъ напоминалъ объ африканской пустынѣ. Лемпи покорно отиравался въ африканскую пустыню, путешествовалъ по знойнымъ пескамъ, видѣлъ, какъ боа-констрикторъ глоталъ молодого быка. Рога злополучнаго четвероногаго торчали сквозь кожу „этого монстра“, обтянутые, какъ пальцы въ перчаткахъ. И такъ они продвигались на глазахъ у наблюдателя отъ змѣиной шеи къ желудку.

Благодѣтельный звонокъ прерывалъ нескончаемое путешествіе, и грамматика оставалась неспрошеной. Но иногда заводчикъ не успѣвалъ подать реплику... Фантазія Лемпи угасала... Онъ тяжело вздыхалъ, рука тянулась къ журналу, и въ оставшіяся пять или десять минутъ онъ успѣвалъ поставить нѣсколько двоекъ. Первымъ страдалъ „заводчикъ“.

Учитель русскаго и славянскаго языка Егоровъ былъ еще толще Лемпи. Только швейцарецъ напоминалъ цилиндръ, Егоровъ — шаръ. Голова у него была не по росту мала, глаза—заплывшія щелочки, носъ — незамѣтная иговка, го-

лось — тонкая фистула. Отвѣчать ему нужно было быстро, монотонно и безъ запинокъ. Разъ начавъ такимъ тономъ, можно было далѣе врать, сколько угодно. Егоровъ сидѣлъ, закрывъ глаза, точно убаюканный, съ короткими ногами на вѣсу, круглый, похожій на китайскаго божка. Но стоило ученику зануться или измѣнить толь, — глаза Егорова открывались, голова откидывалась назадъ, и онъ произносилъ обиженной скороговоркой:

— Балъ дамъ! Балъ дамъ! Балъ дамъ!

За третьимъ выкрикомъ слѣдовало быстрое движеніе руки, и въ журналъ влетала характерная егоровская двойка въ видѣ вопросительнаго знака.

— Балъ уже данъ! — Сидись!

Начиная объясненіе задаваемого урока, Егоровъ подходилъ къ первой партѣ и упирался въ нее животомъ. На этотъ предметъ ученики смазывали первую парту мѣломъ. Дитяткевичъ въ корридорѣ услужливо стиралъ бѣлую полосу на животѣ Егорова, но тотъ запасался ею опять на ближайшемъ урокѣ.

Географъ Самаревичъ больше всѣхъ походилъ на Лотоцкаго, только въ немъ не было ни великолѣпія, ни увѣренности. Тонкій, высокій, сухой, желтый, онъ говорилъ всегда враспятьку, звенящимъ, не то жалобнымъ, не то угрожающимъ голосомъ. По корридорамъ, какъ и Лотоцкій, ходилъ журавлинымъ шагомъ, какъ будто переступая черезъ лужи. За металлическія дверныя ручки брался не иначе, какъ сдвинувъ рукавъ и покрывъ сукномъ ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, какъ Лотоцкій, всегда въ одной позѣ, держась рукой за клокъ волосъ, по странной игрѣ природы торчавшій у самаго горла (борода и усы у него не росли). Классъ стлхалъ. Становилось жутко. Тонкая, длинная шея Самаревича, съ большимъ кадыкомъ, змѣеобразно двигалась въ широкомъ воротникѣ, а сухіе, желчныя глаза обѣгали учениковъ справа палѣво. Въ выраженіи глазъ и лица чувствовалась безпредметная злоба и страданіе. Въ эту жуткую минуту по классу, слѣдуя за колющимъ взглядомъ Самаревича, пробѣгала полоса мертвящаго оцѣпенѣнія... Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой, — какъ тотчасъ же раздавался злобѣще цѣвучій голосъ:

— Дежурный! Отведи его въ темный карцеръ.

„Темнаго“ карцера не было, никто насъ туда не отводилъ, и мы проводили время просто гдѣ-нибудь въ пустомъ классѣ. Это было очень удобно, особенно для невыучившихъ урока, но пользовались этимъ рѣдко: такъ жутко было ощущеніе

этой минуты... Того же результата, впрочемъ, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножки и начать чистить ногти. Самаревичъ принимался, какъ тощій вѣтрякъ на порывистомъ вѣтрѣ, махать руками, называлъ ученика негодяемъ и высылалъ изъ класса.

Уроки у него выучивали. Не потому, что знать ихъ было интересно, а потому, что не отвѣтить было жутко. И значить, какъ учитель, онъ былъ на хорошемъ счету. Никому, разумѣется, не приходило въ голову, чѣмъ въ сущности замѣнялъ онъ для насъ познаніе божьяго міра. Однажды передъ экзаменомъ по географіи мнѣ приснился странный, теперь сказали бы, „символическій“ сонъ. На какомъ-то огромномъ полу лежала безконечная географическая карта, съ раскрашенными площадками, съ извилистыми чертами рѣкъ, съ черными кружками городовъ. Я глядѣлъ на нее и не могъ вспомнить ни названій, ни того, какой изъ этихъ кружковъ знаменитъ лѣсной торговлей, а какой торгуетъ шерстью и саломъ. А въ серединѣ карты — въ какомъ-то туманномъ клубкѣ видѣлась голова на тонкой извивающейся шеѣ, и колющія глаза остро глядѣли на меня въ ожиданіи отвѣта... Безграничные океаны съ ихъ грозями, просторъ и красота міра, кипучая и разнообразная дѣятельность людей—все это подмѣнилось представленіемъ о листѣ бумаги съ пятнами, чертами и кружками...

Было въ этой сухой фигурѣ что-то зловѣщее и трагическое. Ковчиль онъ ужасно. Изъ нашей гимназій онъ былъ переведенъ въ другой городъ, и здѣсь его жена — добродушная женщина, которую роковая судьба связала съ маіакомъ, — взяла разрѣшеніе держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будетъ ея особое дѣло, но Самаревичъ скоро простеръ на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечеръ передъ сномъ, во главі домохозяцель, онъ обходилъ всю квартиру, заглядывая во все углы, подъ столы и подъ диваны. Послѣ этого квартира запиралась, и ключъ Самаревичъ уносилъ къ себѣ, подъ подушку.

Однажды—это было уже въ восьмидесятыхъ годахъ,—ночью въ эту запертую крѣпость постучали. Вооруживъ домохозяцель метлами и кочергами, Самаревичъ подошелъ къ дверямъ. Снаружи продолжался стукъ, какъ оказалось... „именемъ закона“. Когда дверь была отворена, въ нее вошли жандармы и полиція. У одного изъ учениковъ произвели обыскъ, и ученика арестовали.

Это совершенно ошеломило Самаревича. Нѣсколько дней онъ ходилъ съ остолбенѣлымъ взглядомъ, а въ одно утро

его застали мертвымъ. Оказалось, что онъ перерѣзалъ себѣ горло. Жандармы показали ему страшнѣе бритвы...

Учитель нѣмецкаго языка, Кранцъ... Подвижной человекъ, небольшого роста, съ голымъ лицомъ, лишеннымъ растительности, сухой, точно сказочный дѣмуръ, состоящій изъ однихъ костей и сухожилий. Казалось, этотъ человекъ сознательно стремился сдѣлать предметъ совершенно бессмысленнымъ и всегаки добиться, чтобы ученики его одолѣли. Всю грамматику онъ ухитрился превратить въ изученіе окончаній.

— Леонтьевичъ,—вызываетъ онъ, нарочно коверкая фамилію и переставляя удареніе.—Склоняй: der Mensch.

Леонтьевичъ встаетъ и склоняетъ, произнося не слова, а только окончанія: именительный: *с, и, амъ*, родительный: *э, эсь*, дательный: *э, м*, винительный: *э, н*. Множественное число *э, н...* и т. д.

Если ученикъ ошибался, Кранцъ тотчасъ же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая слова на всѣ лады. Предлоги онъ спрашивалъ жестами: ткнуть пальцемъ внизъ и вытянуть губы коботомъ,—надо отвѣчать: *unten*; подыметь палецъ вверхъ и сдѣлать гримасу, какъ будто его глаза съ желтыми бѣлками слѣдятъ за полетомъ птицы, — *oben*. Быстро подбѣжить къ стѣнѣ и шлепнуть по ней ладонью,—*an...*

— Такой-то... Пусть тамъ себѣ *амъ* или *ямъ*? Пусть бы тамъ себѣ *али* или *ьли*?

Ученикъ, по возможности быстро, долженъ отвѣтить такой же тарабарщиной.

Языкъ Шиллера и Гете онъ превращалъ въ безтолковую смѣсь ничего не означающихъ звуковъ и кривляній... Шутство это было вдобавокъ сухое и злобное. Ощущеніе было такое, какъ будто передъ нѣсколькими десятками дѣтей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Можетъ быть, для сторонняго зрителя ея движенія и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающаго, взвизгивающаго, жестикулирующаго существа очень острые когти и власть... до звонка. Звонокъ являлся настоящимъ крикомъ цѣлуха, прогонявшимъ кошмарное видѣніе...

Въ каждомъ классѣ у Кранца были избранники, которыхъ онъ мучилъ особенно охотно... Въ первомъ классѣ такимъ мученикомъ былъ Колубовскій, маленькій карапузъ, съ большой головой и толстыми щеками... Входя въ классъ, Кранцъ обыкновенно корчилъ гримасу и начиналъ брезгливо водить носомъ. Всѣ знали, что это значить, а Колубовскій блѣднѣлъ.

Въ теченіе урока эти гримасы становились все чаще, и, наконецъ, Кранцъ обращался къ классу:

— Чѣмъ это тутъ пахнетъ, а? Кто знаетъ, какъ сказать по нѣмецки „пахнетъ“? Колубовскій! Ты знаешь, какъ по нѣмецки „пахнетъ“? А какъ по нѣмецки: „портить воздухъ“? А какъ сказать: „лѣнивый ученикъ“? А какъ сказать: „лѣнивый ученикъ испортилъ воздухъ въ классѣ“? А какъ по нѣмецки пробка? А какъ сказать: „мы заткнемъ лѣниваго ученика пробкой“?.. Колубовскій, ты понимаешь? Колубовскій, иди сюда, komm her, mein lieber Kolubowski. Ну-у!..

Съ шутовскими жестами, онъ вынималъ изъ кармана пробку. Бѣдный карапузъ блѣднѣлъ, не зная, идти ли на вызовъ учителя, или бѣжать отъ злого шута. Въ первый разъ, когда Кранцъ продѣлалъ это представленіе, малыши невольно хотѣли. Но когда это повторилось,—въ классѣ стояло угрюмое молчаніе. Наконецъ, однажды Колубовскій выскочилъ изъ класса почти въ истерикѣ и побѣжалъ въ учительскую комнату... Но здѣсь вмѣсто связнаго разсказа выкрикивалъ одни только ругательства: „Кранцъ подлецъ, дуракъ, сволочь, мерзавецъ“... Инспекторъ и учителя были очень удивлены этой вспышкой маленькаго клоа. Когда дѣло разъяснилось изъ разсказовъ старшихъ учениковъ учителямъ, — совѣтъ поставилъ Кранцу на видъ неумѣстность его шутовскихъ водевилей.

Первое время послѣ этого Кранцъ приходилъ въ первый классъ, желтый отъ злости, и старался не смотрѣть на Колубовскаго, не заговаривалъ съ нимъ и не спрашивалъ уроковъ. Однако, выдержалъ недолго: шутовская манія брала свое, и, не смѣя возобновить представленіе въ полномъ видѣ, Кранцъ всетаки водилъ носомъ по воздуху, гримасничалъ и, вызвавъ Колубовскаго, — показывалъ ему изъ-за каѳедры пробку.

Радомирецкій... Добродушный старикъ, плохо выбритый, съ птичьимъ горбатымъ носомъ, вѣчно кричащій. Средними нотами своего голоса онъ, кажется, никогда не пользовался, и все же его совсѣмъ не боялись. Преподавалъ онъ въ высшихъ классахъ годъ отъ году упраздняемую латынь, а въ низшихъ—русскую и славянскую грамматику. Казалось, что у этого человѣка половина вниманія утратилась, и онъ не замѣчалъ уже многого, происходящаго на его глазахъ... Точно у него, какъ у щедринскаго прокурора, одно око было драманное.

— Погоновскій!—выкрикиваетъ онъ сердито, приступая къ уроку. Классъ сговорился сегодня не отвѣчать. Погоновскій встаетъ и отвѣчаетъ дѣловитымъ тономъ:

— И, господи́нь учитель, сегодня́ уро́ка не гото́вилъ.

— Столбъ еси, и столбъ получаешь. И стой столбомъ до конца́ класса!..—гро́зно изрекаетъ Радомире́цкїй. Въ журна́ль влета́етъ едини́ца. Учени́къ стано́вится у стѣны, вытяну́въ ру́ки и по возмо́жности упо́добля́етъ столбу́.

— Павло́вскїй.

— Я, господи́нь учитель, сегодня́ не гото́вилъ.

— Стой столбомъ до конца́ класса. И тебѣ́ едини́ца, ази́нусь.

Ази́нусь и́детъ къ той же стѣ́лкѣ, плечо́мъ подвигаетъ По́гоновскаго да́льше и вытя́гиваетъ на его мѣ́стѣ. Третьи́й ото́двигаетъ обо́ихъ, и, та́кимъ обра́зомъ, ря́дъ „столбо́въ“ выстра́иваетъ вдо́ль все́й стѣ́ны до самы́хъ двере́й. На опу́стѣвшихъ ска́мьяхъ оста́ется деся́токъ неспро́шенныхъ учени́ковъ, съ кото́рыми стари́къ продо́лжаетъ заня́тія, со́вершенно за́бывъ объ оста́льныхъ. Ме́жду тѣ́мъ, первы́й „столбъ“ ти́хонько отќрываетъ дверь и вы́скальзи́ваетъ въ корри́доръ. За нимъ дру́гой, тре́тїй... Че́резъ нѣ́сколько мину́тъ всѣ́ уже на во́лѣ и вмѣ́сто ску́чнаго уро́ка съ увлече́ніемъ игра́ютъ въ мя́чъ въ укромно́мъ уго́лкѣ са́да. По́льская ка́пличка скрываетъ ихъ отъ око́нъ гимна́зическаго зда́нія. Впро́чемъ, Ди́тятке́вичъ, отлѣ́чно зна́ющїй эту о́собенность уро́ковъ Радомире́цкаго, поро́й отпра́вляется въ эксне́дицію и беретъ въ плѣ́нъ бѣ́гледо́въ. Тогда́ дверь класса́ отворѣ́тся, и „столбы́“, подго́няемые колче́ногимъ надзи́рателе́мъ, ско́пяфуженно уста́навлива́ются о́пять вдо́ль стѣ́нъ. Радомире́цкїй, подня́въ на ло́бъ больш́ія ро́говья оч́ки,—съ уди́вленїемъ сло́тритъ на не́понятное явле́ніе...

Къ этой ко́ллекціи я не безъ колеба́нїя рѣ́шаю́сь присоеди́нить еще́ одну́ фигу́ру. Это́ Ми́трофанъ Алекса́ндровичъ Андри́евскїй, сло́весникъ. По́ душе́вному со́держанію онъ ско́рѣе подо́ходитъ бы́ въ ти́пу, отмѣ́ченному въ нача́лѣ́ этого́ очерка́. Въ его́ ду́шѣ те́плилось свое́ увлече́ніе, я сказа́ть бы́ свои́ вѣ́ра. Все́ свое́ свободное́ время́, всѣ́ мысли́ и чувства́ онъ отда́валъ не́сконча́емой диссе́ртаціи́ на те́му „Слово́ о полку́ Иго́ревѣ́“. Съ вѣ́чной за́ботой о зага́дочныхъ выра́женїяхъ „Слова́“ онъ хо́дилъ по ули́цамъ со́ннаго горо́дка, не замѣ́чая ни́чего окружа́ющаго и за́бывая поро́й о цѣ́ли своего́ выхода́ изъ до́му. Если́ кало́ша увязла въ гря́зи, онъ шелъ да́льше безъ кало́ши. Одна́жды, на мои́хъ гла́захъ, вѣ́теръ, разду́вая концы́ его́ башлы́ка, зане́съ оди́нъ изъ ни́хъ въ це́ль часто́кола. Бѣ́дный сло́весникъ, за́держанны́й не́ожиданно въ свое́мъ за́думчиво́мъ шестви́и, остано́вился, посто́ялъ, по́пробова́лъ двину́ться да́льше, но ви́дя, что́ шпе́ятствіе́ не

устунасть,—спокойно размотавъ бацтыкъ съ шеп, оставилъ его на заборѣ и съ облегченіемъ продолжалъ путь.

Ученики его любили съ какой-то синеходительной нѣжностью, по предмета его совѣтъ не учили. Объяснял онъ небрежно и спутанно, оживляясь лишь въ случаяхъ, когда можно было почерпнуть примѣръ изъ „Слова“. Диссертація его все росла, но печатать ее онъ не рѣшался, пока для него оставались темными нѣкоторыя мѣста, напр. „Дивъ кличетъ върху древа“, „рыща въ трону трояню“, или „трубы трубить до додutki“... Онъ ни мало не сомнѣвался, что читать надо „до додонтки“ (съ юсомъ). Но и „додонтки“ мало поддавались объясненію... Порой онъ былъ прямо интересенъ, только это рѣдко случалось на урокахъ. Мы очень любили бесѣдовать съ нимъ, застигнувъ его гдѣ-нибудь на улицѣ. Плотно обступивъ Андріевского тѣлымъ кольцомъ, мы задавали ему вопросы и высказывали порой самыя изумительныя гипотезы о „дивѣ“, о „тропѣ трояней“ и „додонткахъ“. Если это ему надоѣдало, а мы его не выпускали изъ плѣна,—то онъ, наконецъ, вынималъ изъ кармана класную записную книжечку съ карандашомъ, вглядывался въ лица стоящихъ передъ нимъ и, усмѣхаясь своей задумчиво-юмористической улыбкой, говорилъ:

— А, это Мочальскій... Вотъ я поставлю Мочальскому на понедѣльникъ единицу.

И совершенно серьезно ставилъ единицу. Къ отмыткамъ онъ относился съ насмѣшливымъ пренебреженіемъ и часто, по просьбѣ класса, переправлялъ класныя двойки на тройки или даже четверки... Но единицы, поставленныя на улицѣ, отстаивалъ упорнѣе.

— Митрофанъ Александровичъ,—кричалъ классъ.—Да въдь эти единицы вы поставили на улицѣ...

— А-а,—усмѣхался Андріевскій...—На улицѣ?... Такъ что же, что на улицѣ. Позванія не всегда обнаруживаются даже въ классѣ. А невѣжество проявляется на всякомъ мѣстѣ... Что онъ тогда говорилъ о „дивѣ“. А?

— Онъ, Митрофанъ Александровичъ, бурской губернии.

— Ну, такъ что же?

— Куряне, Митрофанъ Александровичъ, свѣдоми кмети.

— Шеломами повиты, концемъ копія вскормлены,—дружно подхватываетъ классъ. Лицо Андріевского расцвѣтаетъ...

— А-а-а,—произноситъ онъ съ выраженіемъ радостнаго довольства, в единица зачеркивается.

Изъ-за его разсѣянной улыбки свѣтилась дѣтская душа и, можетъ быть, незаурядный умъ, отъ одиночества и окружающей пустоты ушедшій въ непроходимыя дебри „Слова“.

Онъ прошелъ передъ нами со своимъ невиннымъ маниачествомъ, не оставивъ глубокаго слѣда, но ни разу также не возбудивъ ни въ комъ ни одного дурнаго или враждебнаго движенія души... Въ его задумчивой улыбкѣ сквозилъ тихій юморъ. на урокахъ иногда слетало мѣткое сужденіе или слово, но о „теоріи словесности“ даже въ лучшихъ ученикахъ онъ не успѣлъ поселить никакого представленія...

Разумѣется, вромѣ маниаковъ, вродѣ Лотоцкаго или Самаревича, въ педагогическомъ хорѣ, настраивавшемъ наши умы и души, были также голоса средняго регистра, тянувшіе свои партитуры болѣе или менѣе прилично. И эти, конечно, дѣлали главную работу: добросовѣстно и настойчиво перекачивали фактическія свѣдѣнія изъ учебниковъ въ наши головы. Не болѣе, но и не менѣе... Своего рода живые педагогическіе фонографы...

Впереди всѣхъ изъ этой категоріи стоитъ въ моей памяти характерная фигура Степана Ивановича Тысса. Это былъ человѣкъ съ очень некрасивымъ, но умнымъ лицомъ, которое портили большіе зубы, а украшали глубокіе каріе глаза. Одѣвался онъ всегда безукоризненно, даже щегольски, держался съ достоинствомъ, преподавалъ ровно, безъ увлеченія, но толково, спрашивалъ строго, отмѣтки ставилъ справедливо. Его уважали, учились у него порядочно, и именно ему я обязанъ тѣмъ, что рѣшеніе задачъ мнѣ перестало казаться непостижимымъ волишебствомъ. Въ его сдержанномъ достоинствѣ было что-то привлекательное, и въ насъ зарождалось, пожалуй, нѣкоторое влеченіе къ этому серьезному человѣку, но оно отражалось его холодною замкнутостью. Къ намъ и къ своему предмету онъ относился съ одинаковой корректностью. Предметъ былъ предметъ, одинъ и тотъ же изъ году въ годъ, а мы были разныя степени его усвоенія. Ни въ насъ, ни въ предметѣ не было ничего, что освѣтило бы жизнь въ глухомъ городишкѣ, среди стоячихъ прудовъ. Говорили, будто главная доля его души была поглощена любовью некрасиваго человѣка къ красавицѣ женѣ и муками сдержанной ревности. Быть можетъ, поэтому онъ выдѣлялся щегольствомъ одежды и на разные лады отпускалъ красивую каштановую бороду. Эти наблюденія давали намъ мало поучительнаго, а мы, въ свою очередь, мало давали ему. Тыссу приписывали между прочимъ горькій афоризмъ, въ который онъ заключилъ свой учительскій опытъ.

— Мы, — говорилъ онъ, — три года мучимся, три года учимся, три года учимъ, три года мучимъ, а тамъ—хоть къ чорту...

Я его зналъ еще въ годы перелома. Онъ училъ еще довольно серьезно и не мучилъ, но уже начиналъ опускаться и занивать...

За нимъ встаютъ въ памяти различныя, менѣе характерныя фигуры того же средняго регистра. Общими усиліями, съ большимъ или меньшимъ усиліемъ они гнали часть по программамъ, давая умамъ, что полагалось по штату. Дѣло, конечно, полезное. Только... это умственное питаніе производилось приблизительно такъ, какъ откармливаютъ въ клѣткахъ гусей, насильственно проталкивая постылую пиццу, которую бѣдная птица отказывается принимать въ требуемомъ количествѣ по собственному побужденію.

А та нѣжная, тонкая живая нить, которая связываетъ процессъ ученія съ вѣчнымъ стремленіемъ къ знанію, освѣщаетъ его, подымасть, живить—молчала или затрогивалась рѣдко, случайно... Оригинальныя фигуры, со своимъ собственнымъ содержаніемъ, были не во двору въ казенномъ строѣ, требовавшемъ догматическаго единства. Сильные—уходили, слабые—уживались, и жизнь въ сонномъ городкѣ вокругъ мертваго замка брала свое. Сначала мечты о диссертациі, о переводѣ въ другое мѣсто, потомъ женитьба, сладость сонной истомы, карты въ клубѣ, прогулки за шлагбаумомъ, билетны, посѣщенія погребка Вайнтрауба, откуда учителя выходятъ обнявшись, не совѣмъ твердыми шагами, или—маленькаго домика за грабникомъ, гдѣ порой наставники встрѣчаются съ питомцами изъ старшихъ классовъ...

Одинъ изъ лучшихъ учителей, какихъ я только звалъ, Авдѣевъ (о которомъ я скажу дальше)—въ началѣ своего второго учебнаго года на первомъ урокѣ обратился къ классу съ шутивнымъ предложеніемъ:

— Нѣтъ ли, господа, у кого-нибудь записокъ моего прошлогодняго перваго урока? Есть? Отлично. Прозкзаменуйте меня, пожалуйста: я буду говорить, а вы отмѣчайте фразы, которыя я повторю по прошлогоднему.

Онъ сталъ ходить по классу, импровизируя вступленіе къ словесности, а мы слѣдили по запискамъ. Намъ пришлось то и дѣло останавливать его, такъ какъ онъ сбивался съ контекста и иначе строилъ свою рѣчь. Только, кажется, разъ кто-то поймалъ повторенное выраженіе.

— Ну, это еще вичего.—сказалъ онъ весело. И затѣмъ, вздохнувъ, прибавилъ:

— Лѣтъ черезъ десять буду жарить слово въ слово. Ахъ, господа, господа! Вы вотъ смѣтаетесь надъ нами и не понимаете, какава это въ сущности трагедія. Сначала все такъ

живо! Самъ еще учишься, ищешь новой мысли, яркаго выраженія... А тамъ, годъ за годомъ,—застываешь, отливаешься въ форму...

Застываетъ учитель и превращается въ лучшемъ случаѣ въ фонографъ, среднимъ голосомъ и съ среднимъ успѣхомъ перекачивающій свѣдѣнія изъ учебниковъ въ головы... Но наиболѣе ярко выдѣляются въ общемъ корѣ скрипучіе фальцеты и душевные диссонансы маниаковъ, уже въ конецъ заклевавшихся желто-краснымъ попугаемъ.

Кто учтетъ вліаніе этой роковой автоматической птицы на жизнь и судьбы повольтнѣй, проходящихъ строй за строемъ черезъ наши среднія школы

Директора у насъ смѣнялись довольно часто. Инспекторомъ долго былъ Степанъ Яковлевичъ Рущевичъ, назначенный впоследствии директоромъ.

Это была тоже характерная, почти символическая фигура. Огромный, грузный, въ широкомъ мундирѣ и широчайшихъ брюкахъ,—это былъ какой-то чиновничій массивъ, съ дипломомъ, точно вырубленнымъ изъ дуба и обрамленнымъ двумя сѣдоватыми чиновничьими бакенбардами. Голосъ у него былъ тоже огромный, грузный, и на всѣхъ этихъ количественныхъ преимуществахъ покоился его педагогическій авторитетъ.

Провинившагося ученика онъ призывалъ обыкновенно въ инспекторскую. Все пространство отъ порога до стола нужно было пройти подъ его тяжелымъ, гипнотизирующимъ взглядомъ, который какъ будто обволакивалъ жертву тѣмъ-то подавляющимъ, густымъ и тугимъ. Ноги прилипаютъ къ полу. Кажется преступленіемъ идти свободно, а еще большимъ преступленіемъ—остановиться. Глаза невольно потупляются, и все же чувствуешь гдѣ-то близко надъ собой огромное лицо почти безъ выраженія, большіе тускло-сѣрые глаза и два сѣдоватыхъ бакенбарда. Ощущеніе чего-то физически подавляющаго, несмысленнаго, но властнаго. Минута жуткаго молчанія... Вопросъ густымъ басомъ... Рубкій отрицательный отвѣтъ...

И вдругъ гигантъ подымается во весь ростъ, а въ высотѣ бурно проносится ураганъ крика. По большей части Рущевичъ выкрикивалъ при этомъ двѣ-три незначащихъ фразы, весь эффектъ которыхъ былъ въ этомъ подавляющемъ ростѣ и громовыхъ раскатахъ. Всего страшнѣе было это первое мгновеніе: ощущеніе было такое, какъ будто стоишь подъ разваливающейся скалой. Хотѣлось невольно—поднять руки надъ головой, исчезнуть, ступешаться, провалиться сквозь

землю. Въ вартцеръ послѣ этого мы устремлялись съ радостью, какъ въ пріютъ избавленія...

Впоследствии, въ старшихъ классахъ, когда физическая противоположность между ученикомъ и директоромъ сглаживалась,—терпелось и устрашающее обаяніе Рущевича. Въ сущности, какъ я убѣдился впоследствии, это былъ человекъ не злой, скорѣе добрый. Во всякомъ случаѣ лучше средняго директора послѣдующаго времени уже потому, что тогда „внутренняя политика“, съ ея тайными аттестациями и подлымъ политическимъ сыскомъ, еще въ такой степени не заполняла школу... Онъ только совѣтъ не былъ педагогомъ, и подавляющая массивность была единственнымъ его ресурсомъ въ борьбѣ за порядокъ и дисциплину. Мелкая непрерывная партизанская война составляла основной тонъ школьной жизни.

Уже съ ранняго зимняго утра, когда въ сыроватыхъ сумеркахъ сонно жмурились и расплывались огоньки, — изъ длиннаго двухъэтажнаго зданія появлялась колченогая фигура я, оглинувшись по сторонамъ, вырвала въ сумракъ. Дитяткевичъ было неутомимый охотникъ...

Къ семи часамъ ученики, жившіе на общихъ квартирахъ, должны были сидѣть за столами и готовить уроки. Исполнялось это рѣдко, и главная прелесть незаконнаго утренняго сна состояла именно въ сознаніи, что гдѣ-то, въ туманѣ, пробираясь по деревяннымъ кладочкамъ и проваливаясь съ калошами въ грязь, крадется ищейка Дидонусъ и, быть можетъ, въ эту самую минуту уже заглядываетъ съ улицы въ окно... Грязь, слякоть, дождь, зимняя мятель я вьюга,—ничто не останавливало неутомимаго сыщика. Наоборотъ, въ ненастье преступный сонъ налегаетъ на учениковъ съ особенной силой, и въ то же время ихъ легче застигнуть... Если, заглянувъ въ комнату спаружъ, онъ видѣлъ квартиру въ полномъ порядкѣ, то уходилъ разочарованный, какъ охотникъ, давшій промахъ. Въ противномъ случаѣ,—онъ внезапно появлялся въ дверяхъ, веселый, съ сіяющими глазами, и ласковымъ, довольнымъ тономъ требовалъ „квартирный журналъ“. Если гдѣ-нибудь неподалеку онъ замѣчалъ въ темнотѣ огромную фигуру Рущевича, то охотно дѣлалъ для него стойку, наводи на неисправныя квартиры... Стенанъ Яковлевичъ входилъ съ торжественной мрачностью и, подобно темному обелиску, становился надъ постелью сосливца.. До сихъ поръ еще живо помню минуты жуткаго пробужденія подъ его уныло-тяжелымъ взглядомъ...

Когда ученики уходили въ гимназію,—Дитяткевичъ прихо-

дѣлѣ въ пустыя квартиры, рылся въ сундукахъ, конфисковалъ поргъ-сигары и обо всемъ найденномъ записывалъ въ журналъ. Куреніе, „неразрѣшенныя книги“ (Писаревъ, Добролюбовъ, Некрасовъ, — „о нелегалѣ“ мы тогда и не слышали), купанье въ вразрѣшенномъ мѣстѣ, катанье на лодкахъ, гулянье послѣ 7 часовъ вечера, — все это входило въ кодексъ гимназическихъ проступковъ. Въ ихъ классификаціи чувствовался отчасти тотъ же маниакаскій автоматизмъ: вопросъ сводился не къ безнравственности поступка, а къ трудностямъ педагогической охоты. Въ городѣ и кругомъ города было много прудовъ и рѣчекъ, но катанье на лодкѣ было воспрещено, а для купанья была отведена лужа, гдѣ мочили дѣнь. Разумѣется, ученики катались въ лодкахъ и купались въ рѣчкахъ или подъ мельничными плюзами, съ ихъ брызгами и шумомъ... Нерѣдко въ самый разгаръ купанья, когда мы безопасно ныряли въ рѣчушкѣ, ободо „исправницкой купальни“, надъ обрѣзомъ горы, изъ высокой рки показывалась вдругъ синяя фуражка, и ковыляющая фигурка Дидонуса быстро спускалась по тропинкѣ. Мы хватали одежду и кидались въ камыши, какъ бѣглецы во время татарскихъ нашествій. Колченогій надзиратель бѣгалъ, какъ наездникъ, по берегу, называлъ наугадъ имена, увѣрялъ, что онъ всѣхъ знаетъ, и требовалъ сдачи въ плѣнъ. Мы стояли въ камышахъ, посинѣвшіе отъ холода, но сдавались рѣдко... Если надзирателю удавалось захватить платье купальщиковъ, то приходилось одѣваться и слѣдовать за нимъ къ инспектору, а оттуда—въ карцеръ... И всегда наказаніе соответствовало не тяжести вины, въ сущности, явно небольшой, а количеству усилій, затраченныхъ на поимку...

Съ семи часовъ вечера выходитъ изъ квартиръ тоже воспрещалось, и съ закатомъ солнца маленькій городишко съ его улицами и переулками превращался для учениковъ въ рядъ засадъ, западныхъ, внезапныхъ нападеній и болѣе или менѣе искусныхъ отступленій. Особенную опасность представлялъ узенькій переулочекъ, соединявшій двѣ параллельныхъ улицы: Гимназическую и Тополевою. Темными осенними вечерами очень легко было внезапно наткнуться на Дидонуса, а порой, что еще хуже, — „самъ инспекторъ“, слышавъ крадущіеся шаги, прижимался спиной къ забору и... внезапно наводилъ на близкомъ разстояніи потайной фонарь... Это были потрясающіе моменты, о которыхъ на утро рассказывали въ классахъ...

Впрочемъ, я съ благодарностью вспоминаю объ этихъ своеобразныхъ состязаніяхъ. Гимназія не умѣла сдѣлать инте-

реснымъ преподаваши, она не пыталась и не умѣла использовать тотъ избытокъ нервной силы и молодого темперамента, который не поглощался зубристикой и механическимъ посѣщеніемъ неинтересныхъ классовъ... Можно было совершенно застыть отъ скуки или обратиться въ автоматическій зубрильный аппаратъ (что со многими и случалось), если бы въ монотонную жизнь не врывались эпизоды этого своеобразнаго спорта.

Но съ особенной признательностью я вспоминаю широкіе пруды съ ихъ заростающей водяной гладью и тихо сочащимся отъ пруда къ пруду рѣчушками. Лѣтомъ мы, точно шираты, плавали по нимъ въ лодкахъ, стараясь быстро переѣхать открытыя мѣста, нырнуть въ камыши, прятаться подь мостами, по которымъ грузной походкой проходилъ инспекторъ или ковылялъ Дитигкевичъ... Съ осени, когда пруды начинали покрываться пленкой,—мы съ нетерпѣніемъ слѣдили за ихъ замерзаніемъ... До сихъ поръ еще въ моихъ ушахъ стоитъ переливчатый стеклянный звонъ отъ камней, бросаемыхъ съ берега по тонкому льду... Ледъ становится крупче, на немъ уже стоятъ лебеди, которыхъ скоро уберутъ на зиму, потомъ мы съ братомъ привязываемъ коньки и, съ опасностью провалиться, или попасть въ карцеръ, пробуемъ кататься. Черезъ недѣлю послѣ нашихъ опытовъ съ берега на прудъ торжественно спускается Степаъ Яковлевичъ, сторожъ Савелій пробуетъ ледъ иѣшней и—наконецъ, официально разрѣшается кататье. Каждый день послѣ обѣда на пруду выются сотни юркихъ мальчишекъ, сбѣгаясь, разбѣгаясь, падая, среди веселой суетни, хохота, криковъ. Между мелюзгой, точно осетры въ стаѣ мелкой рыбешки, неуклюже качаются на конькахъ учителя. Вотъ огромный Петровъ, точно падающая башня, вотъ даже Лемпи, безъ коньковъ, весь красный отъ мороза, рассказываетъ, какъ они бѣгали на конькахъ въ школѣ Песталоцци. Нѣмецъ Глюкъ, замѣнившій Кранца, долго не могъ выучиться даже стоять на конькахъ и заказать себѣ коньки съ двойными полосками. Стоять на нихъ удобно, но поворачиваться трудно. Крупкій вѣтеръ подхватываетъ его небольшую фигурку въ широкой шубѣ и мчитъ по гладкому, какъ зеркало, льду, прямо къ рѣчкѣ. Мы кричимъ ему, что на рѣчкѣ опасно; бѣдный нѣмецъ размахиваетъ руками, шуба его распахивается, какъ парусъ... Черезъ минуту онъ на черномъ непрочномъ льду, который трещитъ и проваливается. Глюкъ ухааетъ въ водѣ, къ счастью не на глубокомъ мѣстѣ. Малыши связываютъ башлыки, выстраиваются въ рядъ, самый легкій подбѣгаетъ къ рѣчкѣ и

кидает башлыкъ. Затѣмъ, по командѣ вся вереница съ пѣньемъ и криками „ура“ выволакиваетъ мокраго Глюка на бѣрыное мѣсто.

Въ особенно погожіе дни являются горожане и горожанки. Порой приходитъ съ сестрой и матерью она, кумиръ многихъ сердець, усиленно бьющихся подъ сѣрыми шинелями. Въ томъ числѣ—увя!—и моего бѣднаго современника... Ей вазпуски подають кресло. Счастливіишій выхватываетъ кресло изъ толпы соперниковъ... Усиленный бѣгъ, визгъ полозьевъ, морозный вѣтеръ съ легкимъ запахомъ духовъ, а впереди головка, уткнувшаяся въ муфту отъ мороза и отъ страха... Огромный прудъ кажется такимъ маленькимъ и тѣснымъ... Вотъ уже берегъ...

Темнѣеть... Два сторожа, надзиратель и инспекторъ обходятъ прудъ кругомъ, сгоняя запоздавшихъ съ катка. Ледъ пустѣеть... Изъ-за широкихъ камышей подымается луна, трогая холоднымъ свѣтомъ края стараго дворца; бѣлая гладь сверкаетъ, порой трескается и стонетъ... На ней продолжаютъ виться пять-шесть темныхъ фигуръ... На берегу, на лѣстницѣ инспекторскаго дома, рядомъ съ гимназійю, появляется высокая черная тѣнь. Это Степанъ Яковлевичъ слѣдитъ за преступными катальщиками. Отъ гимназійю спускается нѣсколько темныхъ силуэтовъ: будетъ облава. Дитяткевичъ уже, быть можетъ, заходитъ съ другой стороны, отъ острова... Но лунный свѣтъ обманчивъ,—узнать, кто катается, нельзя... Мы даемъ преслѣдователямъ время подойти ближе, почти окружить себя. Но затѣмъ быстро бѣжимъ къ опаснымъ мѣстамъ... Ледъ звенитъ все тоньше, подъ ногами переличато плещетъ подгибающаяся ледяная пленка, близко черѣбютъ полыши... Ж-ж-жи... Одинъ за другимъ, держась на разстояніи, бѣглецы пробѣгаютъ по опасной рѣчкѣ на другой прудъ... Преслѣдователи останавливаются, совѣщаются и чаще всего отступаютъ... Фигуры преслѣдователей расплываются въ морозной мглѣ... И опять на гладкомъ пруду слышенъ легкій визгъ желѣза по льду, и продолжается молчаливое круженіе на лунномъ свѣтѣ.

Изъ первыхъ учениковъ я давно спустился къ серединѣ и нахожу это наиболѣе для себя подходящимъ: честолюбіе меня не мучитъ, тройки не огорчаютъ... А за то на пруду, въ эти лунныя ночи, прудъ дышитъ такъ полно и, подъ свободными движеніями, такъ хорошо работаетъ воображеніе... Луна подымается, заглядываетъ въ пустыя окна мертваго замка, выхватываетъ золотой карнизъ, приводитъ въ таинственное осторожное движеніе какія-то неясныя тѣни... Что-то шевелится, что-то дышитъ, что-то оживаетъ...

И потому снится такъ брѣвко, не смотря на то, что уроки совѣтъ не готовы...

Теперь, когда я вспоминаю первые два-три года своего ученія въ ровенской гимназiи и спрашиваю себя, что тамъ было въ то время наиболѣе свѣтлаго и здороваго,—то отвѣтъ у меня одинъ: толпа товарищей, интересная война съ начальствомъ и—пруды, пруды...

XXI.

Религія дома и въ школѣ.

Это было еще въ Житомирѣ. Я еще не поступилъ въ гимназію, когда однажды въ нашемъ домѣ появился старикъ съ толстыми, совершенно бѣлыми усами и бритымъ подбородкомъ, въ сѣрой военной шинели. Онъ былъ женатъ на старшей сестрѣ моей матери, фамилія его была Курцевичъ, а имя Казимиръ, но звали его обыкновенно просто капитаномъ. Онъ былъ полякъ и католикъ, но служилъ сначала въ русской военной службѣ, а затѣмъ по лѣсиному вѣдомству, откуда и вышелъ въ отставку „корпуса лѣсничихъ штабсъ-капитаномъ, съ мундиромъ и пенсіей“. Мундиръ былъ военнаго образца съ бѣлыми эполетами, съ короткой таліей и короткими полами, такъ что капитанъ напоминалъ въ немъ долговязаго гимназиста, выросшаго изъ прошлогодняго мундира. А надъ тугимъ воротникомъ съ позументами, затянутое и валитое кровью, виднѣлось старое лицо съ бѣлыми, какъ молоко, усами.

Въ день его пріѣзда, послѣ обѣда, когда отецъ съ трубкой легъ на свою постель, капитанъ въ тужурѣ пришелъ къ нему и сталъ разсказывать о своей поѣздкѣ въ Петербургъ. Въ то время поѣздка въ столицу изъ глухой провинціи была не шутка, а капитанъ былъ превосходный разсказчикъ. Собственный интересъ къ разсказу есть главный шансъ успѣха у слушателей; а капитанъ всегда былъ переполненъ душевленіемъ. И теперь, пока отецъ лежалъ, пошхивая трубкой, капитанъ ходилъ по комнатѣ, остававливался, жестикулировалъ, увлекался и увлекалъ. Онъ ѣхалъ черезъ Вильно... Тамъ на воротахъ до сихъ поръ виситъ гербъ „литовская погоня“. Всеѣмъ это казалось удивительнымъ, потому, что у насъ за эту „эмблему“ сажали въ кутузку. Затѣмъ онъ описывалъ желѣзную дорогу (по которой отецъ мой не ѣздилъ ни разу въ жизни). Въ столицѣ онъ осмотрѣлъ все, что стоило осмотра. Былъ въ Эрмитажѣ и видѣлъ тамъ изображеніе Божьей Матери.

— Понимаешь,—слеза на щекѣ!.. живал!

По самое большое впечатлѣніе произвело на него обозрѣніе пулковской обсерваторіи. Онъ купилъ ꙗ себѣ ручной телескопъ, по это совѣтъ не то. Въ пулковскую трубу „какъ на ладони видно: горы, пропасти, овраги... Однимъ словомъ—цѣлый міръ, какъ наша земля. Такъ и ждешь, что вотъ-вотъ поѣдетъ мужикъ съ телѣгой... А кажется маленькой потому, что—понимаешь: тысячи, десятки тысячъ... Нѣтъ, что я говорю: миллионы миллионовъ миль отдѣляютъ отъ луны нашу землю“.

Онъ останавливался посреднѣ комнаты и подымалъ вверху руки, раскидывая ими, чтобы выразить необъятность пространства. Въ дверяхъ кабинета стояли мать и тетки, привлеченныя громкимъ пафосомъ рассказчика. Мы съ братьями забрались въ уголокъ кабинета и слушали, затаивъ дыханіе... Когда капитанъ взмахивалъ руками высоко къ потолку, то казалось, что самый потолокъ раздвигается, и руки капитана уходятъ въ безграничныя пространства.

Потомъ онъ круто оборвалъ жестикуляцію и сказалъ:

— И знаешь, что я тебѣ скажу: когда чеговѣкъ повпадаетъ все то, что я видѣлъ, и поговорить съ умными людьми, то... Ну, однимъ словомъ, человекъ многому перестаетъ вѣрить такъ слѣпо, какъ прежде...

— Напримѣръ?—спросилъ отецъ.

— Напримѣръ? Ну, хорошо: вотъ Иисусъ Навинъ сказалъ: стой солнце, и не двигайся луна... Но вѣдь мы теперь со всѣми этими трубами и прочей, понимаешь, наукой, хорошо знаемъ, что не солнце вертится вокругъ земли, а земля вокругъ солнца...

— Такъ что же?

— Какъ что? Значитъ, солнце не могло остановиться по слову Иисуса Навина... Оно стояло и прежде... А если земли всетаки продолжала вѣртіться, то, понимаешь, — никакого толку и не вышло бы...

Отецъ засмѣялся и сказалъ:

— Толкуй большой съ подлѣкаремъ! Иисусъ Навинъ не зналъ астрономіи, вотъ и все.

— То-то, что не зналъ... Я что же говорю? Не зналъ, а распоряжался мірами...

— Распоряжался не онъ, а Богъ. А Богъ зналъ, что и какъ падо остановить...

Капитанъ скептически помоталъ головой...

— Остановить... такую махину! Никогда не повѣрю!

И опять, поднявшись во весь ростъ, — сѣдой, крупный, внушительный, — онъ сталъ словами, голосомъ, жестами из-

ображать необъятность вселенной. Увлекаясь, онъ шагъ за шагомъ подвигалъ свой скептицизмъ много дальше Иисуса Навина и его маленькихъ столкновений съ амалекитянами.

— Говорится въ писаніи: небеса подножіе ногъ Его... Посмотришь въ эти трубы, на это небо... Тутъ тебѣ луна съ горами, вулканами, пропастями... Сатурнъ, обтянутый огненными обручами. Венеры эти, Марсы, Юпитеры, понимаешь, звѣзды, планеты... все міры, больше нашей земли... Безъ конца, безъ краю. И все въ постоянномъ круговращеніи естества. А! Толкуй ты мнѣ о подножии. Гдѣ тутъ верхъ, гдѣ низъ? Я вотъ стою, задравши голову къверху... А подо мною, въ какой-нибудь тамъ Америкѣ, что ли, стоитъ антиподъ подошвами ко мнѣ, а головой, значить, книзу? Такъ? И тоже думаетъ, что смотреть къверху... Однимъ словомъ, когда все это узнаешь и представишь себѣ ясно, то прямо, скажу тебѣ, чувствуешь, какъ все это въ тебѣ поворачивается, поворачивается...

И опять, поднявъ руки къверху, капитанъ, казалось, поворачивалъ вселенную около какой-то оси, а мы съ нѣкоторымъ страхомъ слѣдили снизу вверхъ за этой опасной операціей...

— Ахъ, Казимиръ, Казимиръ!—сказала укоризненнымъ тономъ мать. — Сколько людей ѣздить въ столицы и даже живутъ тамъ, а въ Бога всетаки вѣрятъ. А вы разъ только съѣздили и уже говорите такія глупости.

— А еще старый человѣкъ,—прибавила съ негодованіемъ тетка.

— Ха! Въ Бога...—отозвался на это капитанъ.—Про Бога я еще ничего не говорю... Я только говорю, что въ писаніи есть много такого... Да вотъ, не вѣрите — спросите у него (капитанъ указалъ на отца, съ легкой усмѣшкой слушавшаго споръ): правду я говорю про этого антипода?..

Я посмотрѣлъ на отца, ожидая, что онъ установитъ опрокидывающійся міръ на прежнее мѣсто, но онъ кивнулъ головой и сказалъ:

— Правда...

И потомъ, пыхнувъ раза два трубкой, прибавилъ:

— И все это ничего не значитъ. У каждаго верхъ надъ своей головой, а низъ — въ центрѣ земли... А Богъ вездѣ,—вверху, и внизу, и по сторонамъ. Значить, всюду и можно къ нему обращаться. Слушай, Казимиръ. Былъ ты этотъ разъ у Яна?

— Былъ,—отвѣтилъ Казимиръ.

— Ну, что: какъ живетъ?

— Ничего, живеть... Просился на мѣсто тюремнаго смотрителя.

— Ну, и что же?

— Губернаторъ посмотрѣлъ и говоритъ: „да, настоящій тюремщикъ!“ А что будетъ,—еще неизвѣстно.

— Ну, а мертвецы его оставили въ покоѣ?

— А! Гдѣ тамъ оставили! Еще хуже стало.

И капитанъ перевелъ свое одушевленіе на другіе рельсы. Янъ Курцевичъ былъ его родственникъ, военный, служившій на Кавказѣ. Тамъ онъ участвовалъ въ набѣгахъ, попадалъ въ плѣнъ, былъ, кажется, контуженъ, вышелъ въ отставку и, вернувшись на родину, привезъ массу самыхъ удивительныхъ разсказовъ. Одного изъ его товарищей черкесы, яко-бы, распяли на стѣнахъ сакли, и молодежь долго упражнялась надъ нимъ въ стрѣльбѣ изъ пистолетовъ и луковъ. Самъ Янъ усилявалъ всякій разъ спастись, порой не безъ вмѣшательства таинственныхъ силъ. По возвращеніи на родину его тоже сопровождали злые духи: въ его квартирѣ все предметы,—столы, стулья, подсвѣчники, горшки и бутылки,—жили своей собственной жизнью, передвигались, стучали, летали изъ угла въ уголъ. По ночамъ въ темныхъ комнатахъ раздавались стуки, шопоты, шорохи, вздохи и стоны. Невидимыя руки ткнулись изъ темноты и точно бархатомъ проводили по лицу: кто-то черныи, лохматыи и мягкій разъ обцалъ его въ корридорѣ за талью...

— И какъ же онъ видѣлъ въ темпотѣ, что этотъ кто-то черныи?—спросилъ съ улыбкой отецъ.

— Вотъ въ томъ-то, понимаешь, и штука, — отвѣтилъ капитанъ просто:—темно, хоть глазъ выколи, а онъ видитъ, что лохматыи и черныи... А зажегъ спичку,—нигдѣ никого... все тихо. Разъ насыпалъ на полу золы... На утро остались слѣды, какъ отъ большой птицы... А вотъ недавно...

Послѣдовалъ разсказъ о какой-то бѣлой „душѣ“, которая являлась въ новую квартиру Яна съ сосѣдняго кладбища. „Что тебѣ надо отъ меня, несчастная блуждающая душа?“ — спросилъ Янъ. Она застонала и тихо двинулась изъ комнаты. Янъ часкоро натянулъ сапоги, накиннулъ черкеску, взялъ пистолеты и, позвавъ слугу, тоже бывшаго кавказца, пошелъ вслѣдъ за фигурой. Прошли пустырь, подошли къ кладбищу. Денщикъ струсилъ и остался у ограды, Янъ пошелъ. „Душа“ туманнымъ столбомъ подлетѣла къ могилѣ, постояла надъ ней, колеблясь, какъ дымъ, потомъ свернулась спирально, какъ змѣя, и съ глухимъ стономъ ушла въ могилу. А подъ Яномъ заколыхалась земля, какой-то вихрь подхва-

тилъ его, и онъ очутился сразу въ своей постели и даже раздѣтый...

— А деващикъ?—спросилъ отецъ.

— Спать, понимаешь, какъ вбитый. Едва добудился... И шчего не помнить.

— Почему же ты думаешь, что это все твоему Яну не приснилось?

— А! Приснилось! Сапоги оказались мокрые отъ росы!..

Отецъ засмѣялся.

— Чудакъ ты, Казимиръ!—сказалъ онъ.—Я тебя нарочно спросилъ о Янѣ. Сомнѣваешься въ Богѣ, а бабымъ сказкамъ вѣришь...

— Э! не говори! Есть что-то, понимаешь, въ натурѣ такое... Я не говорю, что непременно тамъ вечная сила или что-нибудь такое сверхъестественное... Можетъ быть, магнетизмъ... Когда-нибудь наука дойдетъ...

— Магнетизмъ тебѣ будетъ стонать?—пронически замѣтилъ отецъ.

Эта ночь у насъ прошла тревожно: старшій братъ, проснувшись, увидѣлъ, что къ нему тянутся черныя бархатныя руки, и закричалъ... Я тоже спалъ плохо, и просыпался въ поту отъ безсвязныхъ сновидѣній...

На слѣдующій вечеръ старшій братъ, проходя черезъ темную гостиную, вдругъ закричалъ и со всѣхъ ногъ кинулся въ кабинетъ отца. Въ гостиной онъ увидѣлъ высокую бѣлую фигуру, какъ та „душа“, о которой рассказывалъ капитанъ. Отецъ велѣлъ намъ идти за нимъ... Мы подошли къ порогу и заглянули въ гостиную. Слабый отблескъ свѣта падалъ на полъ и терялся въ темнотѣ. У лѣвой стѣны стояло что-то высокое бѣлое, дѣйствительно похожее на фигуру.

— Ступай, посмотри, что это такое?—сказалъ отецъ старшему брату... Тотъ двинулся было въ темноту, но вдругъ со всѣхъ ногъ кинулся въ дверь, растолкалъ насъ и исчезъ.

— Дуракъ! —сказалъ отецъ съ досадою.—Ну, идите вы вдвоемъ... Марить.

Съ замирающими сердцами мы двинулись, подроняемые приказами отца. Съ содроганіемъ, оба вмѣстѣ, дотронулись мы до загадочной фигуры... Оказалась гладильная доска, забытая прислугой въ необычномъ мѣстѣ...

— Вотъ видите,—сказалъ отецъ,—такъ всегда кончаются эти страхи, если ихъ не бояться.

Вообще, очень религіозный, отецъ совѣтъ не былъ суетвѣренъ. Богъ все видитъ, все знаетъ, все устроилъ. На землѣ дѣйствуютъ его ясные и твердые законы. Глупо не вѣрить

въ Бога и глуно вѣрить въ сны, въ нечистую силу, во всякіе страхи.

Отъ капитана и его рассказовъ осталось у насъ послѣ этого смѣшанное впечатлѣніе: рассказы были занимательны. Но онъ не вѣрить въ Бога, а вѣрить въ нечистую силу, которая называется магнетизмъ, и бѣгаетъ на птичьихъ лапахъ. Это смѣшно.

Около этого же времени я узналъ еще одного невѣрующаго. Братъ моей матери женился, былъ страстно влюбленъ въ свою молоденькую жену и безумно счастливъ. Онъ очень любилъ меня и взялъ къ себѣ въ свой медовый мѣсяць. Я жилъ у нихъ, плохо понимая значеніе того, что совершалось въ жизни моего дяди, но впитывая бессознательно атмосферу счастья и какой-то свѣтлой озаренной заски, которая струилась и на меня въ маленькой квартирѣ, точно изъ золотого тумана. Такъ было, пока на нашемъ горизонтѣ не появилось новое лицо. Это былъ братъ моей новой тетки, студентъ кіевскаго университета. У него было бѣлое лицо, черные волосы и выхолонныя маленькія баки. Онъ не любилъ дѣтей, и разъ, не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, сказалъ, что ужъ лучше бы завести собачонку. Тетка укоризненно указала ему глазами на меня.

— Что онъ понимаетъ, этотъ малышъ, — сказалъ онъ съ пренебреженіемъ. Я въ это время, сидя рядомъ съ теткой, сосредоточенно пилъ изъ блюдечка чай и думалъ про себя, что я все понимаю не хуже его, что онъ вообще противный, а баки у него точно прильзены къ щекамъ. Вскорѣ я узналъ, что этотъ непріятный мнѣ „дядя“ въ Кіевѣ рѣзалъ лягушекъ и трупы, не нашель души и не вѣрить „ни въ Бога, ни въ чорта“.

Во всякомъ случаѣ, обѣ фигуры „невѣрующихъ“ подѣйствовали на мое воображеніе. Фигура капитана была занимательна и красочна, фигура будущаго медика — суха и непріятна. Оба не вѣрятъ. Одинъ потому, что смотрѣлъ въ трубу, другой потому, что рѣжетъ лягушекъ и трупы... Обѣ причины казались мнѣ недостаточными.

И вотъ, въ связи съ этимъ мнѣ вспоминается очень опредѣленное и яркое настроеніе. Я стою на дворѣ, безъ дѣла и безъ цѣли. Въ рукахъ у меня ничего нѣтъ. Я безъ шапки. Стоять на солнцѣ нѣсколько непріятно... Но я совершенно поглощенъ мыслью. Я думаю, что, когда стану большимъ, сдѣлаюсь ученымъ или докторомъ, побываю въ столицахъ, — то все же никогда, никогда не перестану вѣрить въ то, во что такъ хорошо вѣрятъ мой отецъ, моя мать и я самъ.

Это было что-то въ родѣ объѣта. Я обозрѣвалъ весь извѣстный мнѣ мірокъ. Онъ былъ не великъ, и мнѣ было нетрудно распредѣлить въ немъ истину и заблужденіе. Вѣра—это разумное, спокойное настроеніе отца. Невѣріе или смѣшно, какъ у капитана, или сухо и непріятно, какъ у молодого медика. О сомнѣніи, которое остановить труднѣе, чѣмъ было Іисусу Навину остановить движеніе міровъ,—я не имѣлъ тогда ни малѣйшаго понятія. Въ моемъ міркѣ оно не занимало никакого мѣста.

Эта минута *полной* *уверенности* осталась навсегда ярко-освѣщеннымъ островкомъ моей душевной жизни. Многое, что этому предшествовало и что слѣдовало за этимъ, затянулось глубокими туманами. А островокъ стоитъ, далекій, но яркій...

Въ церковь я ходилъ охотно, только попросилъ позволенія посѣщать не соборъ, гдѣ ученики стоятъ рядами подъ надзоромъ начальства, а ближнюю церковь св. Пантелеймона. Тутъ, стоя невдалекѣ отъ отца, я старался уловить настоящее молитвенное настроеніе, и это удавалось чаще, чѣмъ гдѣ бы то ни было впоследствии. Я слѣдилъ за литургіей по малелькому требнику. Молитвенный шелестъ толпы подхватывалъ и меня, какое-то широкое общее настроеніе уносило, баюкая, какъ плавная рѣка. И я не замѣчалъ времени...

Въ такомъ настроеніи я перешелъ и въ ровенскую гимназію. Здѣсь, на первомъ же урокѣ Закона Божія, священникъ о. Крюковскій вызвалъ меня къ кафедрѣ и заставилъ читать молитвы. Читая „Отче нашъ“, я ошибся въ удареніи и, вмѣсто „на небесахъ“, сказалъ „на небесахъ“.

Лицо у священника сдѣлалось язвительное и злое.

— На-а не-бес-сѣхъ,—передразнилъ онъ непріятно дребезжащимъ голосомъ...—На небесахъ?.. Вотъ какъ тебя научили! Матка полѣчка? А?

Кровь бросилась мнѣ въ голову. Я потунилъ и пересталъ отвѣчать... Въ моей груди столпились и клокотали безформенныя чувства, но я не умѣлъ ихъ выразить и, можетъ быть, расплакался бы или выбѣжалъ изъ класса, но меня подержало сознаніе, что за мной—сочувствіе товарищей. Не добившись продолженія молитвы,—священникъ отпустилъ меня на мѣсто. Когда я сѣлъ, мой сосѣдъ Кроль сказалъ:

— Всегда онъ такъ, проклятый попище. У меня тоже отецъ лютеранинъ.

Идя домой, я всю дорогу бормоталъ про себя разныя гнѣбныя слова, которыя *должны* *были* найтись тогда же, и не могъ себѣ простить, что не нашелъ ихъ во-время...

Фигура священника Крюковскаго была по своему харак-

терная и интересная. Однажды, уже въ высшихъ классахъ, одинъ изъ моихъ товарищей, Володковичъ, добрый малый, любившій иногда поговорить о высокихъ матеріяхъ, сказалъ мнѣ съ глубокомысленнымъ видомъ:

— Знаешь, что я слышалъ о Крюковскомъ? Онъ былъ въ академіи, но не кончилъ... Исключили... Вольтеріанецъ...

— Пустяки навѣрное, — усомнился я.

— Нѣтъ, не пустяки. Онъ написалъ диссертацию: „Мыслишь ли Богъ?..“

— Ну, такъ что же?

— Ты не понимаешь... Это о-чень, о-чень...

Что очень — онъ такъ и не докончилъ, но это неопредѣленное свѣдѣніе почему-то присоединилось тотчасъ же къ моему представленію о личности законоучителя. Это былъ человѣкъ довольно некрасивый. Суховатое, нездоровое лицо, жидкіе прямые волосы, рѣдкіе усы и бородка, маленькіе умные глаза... Когда ему иной разъ ставили на кафедрѣ чернильницу въ видѣ женскаго башмачка, — онъ дѣлалъ гримасу отвращенія и, отвернувъ лицо, — обѣими руками какъ бы отстранялъ отъ себя искушеніе. Онъ не былъ ни золь, ни придирчивъ, и въ послѣдствіи у меня не было съ нимъ столкновеній. Но вмѣстѣ съ тѣмъ — ни разу за все время въ его голосѣ не дрогнула ни одна нота, въ которой бы послышалось внутреннее чувство, живая вѣра. Вмѣсто этого была всегда наготовѣ искусная, суховатая и глубоко безразличная эрудиція. Кромѣ того, онъ былъ ярый обруситель, воевавшій съ „римскими“ ерестами на раздорюжьяхъ, съ „неправославными“ иконами въ убогихъ храмахъ, съ крещеніемъ посредствомъ обливанія и съ католическими именами, которыя въ простотѣ сердечной давало дѣтямъ „опопаченное“ волинское духовенство. Такъ, въ нашемъ классѣ оказался православный ученикъ Шпановскій, въ метрикахъ котораго стояло имя Конрадъ. Законоучитель перемѣнилъ это имя въ спискѣ и, отказавъ въ наказаніе даже въ Кандратіи, велѣлъ именовать Кандратомъ.

— Шпановскій, — вызывалъ онъ его въ классѣ. — Какъ твое имя?

И юноша, потушая, коверкалъ привычное имя на имя Кандрата.

Въ зданіи гимназіи была своя церковь, и за посѣщеніями ея слѣдили очень строго. Рано утромъ мы обязаны были собираться, всѣ православные, въ одномъ большомъ классѣ. Сюда являлся надзиратель или инспекторъ и дѣлалъ переѣличку. Послѣ переѣлички — перемѣна въ пять минутъ, при чемъ надзиратели строго слѣдили, чтобы кто-нибудь не стрек-

пулъ домой. Затѣмъ насъ вели въ церковь. Самые маленькіе выстраивались впереди. У каждаго класса, точно взводный у взвода, становился „старшій“. Въ сторонѣ — какъ ротные, стояли надзиратели, искоса слѣдя за порядкомъ. Сзади, какъ сторожевая башня, высилась фигура Степана Яковлевича. Самъ онъ молился только урывками, и тогда массивное лицо его смягчалось. Но по большей части онъ внимательно обзрѣвалъ наши ряды. Слѣдили также надзиратели, и отъ этого порой я испытывалъ такое ощущеніе, какъ будто спереди, сзади, съ боковъ я пронизанъ невидимыми нитями, а сзади прямо въ спину упирается тяжелый взглядъ Рущевича... И длинная служба превращалась въ томительное путешествіе по знойной пустыщѣ, съ оазами знакомыхъ возгласовъ, подвигающихъ къ концу...

...Рвзкій лязгъ металлическихъ колець, сдвигаемыхъ по проволокѣ. Царскія двери закрыты, задернута завѣса... По рядамъ шорохъ, легкое движеніе разбиваетъ оцѣсившее забытьё. Слава Богу, — половина отопла. Хорошо слаженный хоръ затягиваетъ херувимскую.

Опять забытьё, съ вереницей безсвязныхъ мыслей и нытьемъ въ ногахъ... И новый шорохъ. Регентъ ударяетъ камертономъ о перила, подымаетъ его, взмахиваетъ, и хоръ точно пускается вплавъ съ знакомымъ мотивомъ:

— О-ò-от-че на-а-ашъ... Иже еси на небеси-и-й...

Опять неопредѣленный туманъ, звяканіе кадильницы, клубы дыма, возгласы, не отмѣчаемые памятью, вереница влдыхъ мыслей въ головѣ...

— До-стой-иоестьяко во-истину... — Мотивъ оживленный, какъ будто радость: „двѣ трети“, — пробѣгаетъ въ умахъ учениковъ...

Таково было „общеніе съ Богомъ“ огромнаго большинства обязательныхъ молельщиковъ.

Одинъ только моментъ изъ этихъ службъ до сихъ поръ вспоминается мнѣ, обвѣянный какой-то особенной, трогательно-молитвенной поэзіей. Это — пѣніе „Свѣте тихій“ за вечерней (которая служилась вмѣстѣ съ заутреней), особенно поздней весной или ранней осенью. Солнце закатывается, бросая послѣдніе лучи на высокіе тополн острова за прудомъ... Въ открытыя окна изъ перьви синими струйками тянется ароматный дымъ, въ углахъ и надъ алтаремъ ютятся мочтательныя тѣни, огни свѣчей выступаютъ ярче, фигура Христа изъ синеватой мглы простираетъ поднятыя руки, и тихое пѣніе хора несется, стройно колыхаясь въ прощальныхъ лучахъ затихающаго дня... „Свѣте тихій, свитыя славы безсмертнаго, Отца небеснаго...“

День замѣтно уходитъ... Спускается тихая, свѣжая ночь... И кто-то добрый и ласковый говорить о томъ, что... черезъ нѣсколько минутъ конецъ долгаго стоянія...

Послѣ обѣдни насъ не отпускали домой, а опять гнали въ тотъ же классъ. Предстояло объясненіе евангелія. Опять пяти-минутная перемѣна, звонокъ. Успѣвшій переодѣться въ церкви законоучитель входитъ на кафедру. Первый вопросъ его будетъ:

— Какой сегодня читался апостолъ? Какое евангеліе?

И—замѣчательное явленіе, которое, навѣрное, помнятъ мои товарищи: сотни полторы человекъ, только что выйдя изъ церкви, зная, что этотъ вопросъ имъ будетъ предложенъ одному за другимъ,—по большей части не могли вспомнить ни евангелія, ни апостола. Точно за порогомъ церкви кто-то неслышнымъ ударомъ выкидывалъ изъ головы все, что читалось и шлось въ эти два часа. Спрошенный безпомощно оглядывается, толкаетъ товарища локтями, пинается ногами подъ партой, по огромному классу бѣжить изъ конца въ конецъ шопотъ, вопросы... И одинъ за другимъ вызванные молчать или говорить несообразности. Священникъ сердится, язвить, грозить двойкамъ.

Единственное спасеніе въ этихъ случаяхъ—предложить на разрѣшеніе отца протоіерея какой-нибудь „недоумѣнный вопросъ“, небольшое, приличное религіозное сомнѣніе... Отецъ протоіерей начитанъ и любитъ разрѣшать внѣ-очередные вопросы. Говоритъ онъ умно, гладко, красиво пользуется текстами. Къ ученику, доставившему ему случай для такой бесѣды,—относится съ благорасположеніемъ и ставитъ хорошую отмѣтку въ четверти...

Но это почва очень скользкая. Вопросъ долженъ быть чисто формальный, поддающийся эрудиціи. Храни Богъ отъ намека на дѣйствительное, живое и болящее сомнѣніе. Опасно также задѣтъ обрусительную или духовно-чиновничью струнку... Лицо протоіерея дѣлается неприятнымъ, и онъ долго не забудетъ неосторожному вопрошателю...

Чаще всего выступалъ съ вопросами Гаврило Ждановъ, мой пріятель, красивый малороссъ, съ простодушными глазами на выкатѣ и курчавыми, изъ-спя-черными кудрами. Въ церкви онъ читаетъ апостола. У него пріятная, небольшая, но свѣжая октава, которой онъ гордится и соперничаетъ съ діакономъ. У діакона глубокой, когда-то сильный, но давно пронитой басъ. Онъ знаетъ о соперничествѣ Гаврилы и презираетъ его, лоя я подчеркивая всякій срывъ на высокихъ конечныхъ нотахъ. Гаврило въ свою очередь постоянно передразниваетъ его въ корридорахъ... Это вошло у него въ привычку настолько, что

однажды, выйдя въ солеѣ съ апостоломъ и откашлявшись, онъ вмѣсто очередного апостола затянулъ „діаконскимъ басомъ“:

— О-дѣтъ Лу-уки святаго евангелія... Во время оно...

И вдругъ остано­вился, оглядываясь кругомъ выпученными глазами. Лохматая голова діакона повернулась къ нему съ выраженіемъ дьявольскаго злорадства, а изъ алтаря послышался торопливый голосъ протоіерей:

— Гаврило... анаеема!.. съ ума, что ли, сошелъ?

Прямо изъ церкви Гаврило отправился въ карцеръ.

Но все же Ждановъ былъ до пзвѣстной степени „церковникъ“, участвовалъ въ хорѣ, и протоіерей относился къ нему хорошо. Поэтому чаще всего задача предлагать „недоумѣнные вопросы“ выпадала на его долю.

— Отецъ протоіерей,—начиналъ онъ.—Позвольте предложить вопросъ. По встрѣтившемуся нѣкоторому сомнѣнію.

— Ну, ну... Какое тамъ сомнѣніе? Говори.

— Вотъ, отецъ протоіерей,—начиналъ Гаврило при общемъ молчаніи,—существуетъ, кажется, текстъ: „блаженъ, иже и по смерти творай ближнему добро“.

— Ну, положимъ, что существуетъ, хотя ты, по обыкновенію, его и перевралъ. Изъ дѣяній апостольскихъ извѣстны многіе случаи, что даже отъ предметовъ, коими при жизни пользовались святые люди, какъ-то: главо­тяжи, убрусцы и иные тому подобные... Такъ и отъ нихъ происходили чудеса и исцѣленія.

И протоіерей пускался въ рассказы о чудесахъ, произведенныхъ благодатными главо­тяжами и убрусцами. Время уходило. Гаврило терпѣливо выслушивалъ до конца и потомъ говорилъ:

— Нѣтъ, отецъ протоіерей. Я не о томъ... то-есть, не о главо­тяжахъ...

— А о чемъ же?..

— А о томъ, что на­примѣръ... кости... то-есть именно человѣческія...

— Ну, что-жь? Кости тѣмъ паче. Извѣстно чудо отъ костей пророка Елисея, когда мертвый, прикоснувшись къ нимъ въ пещерѣ, воскресъ и ожилъ.

Слѣдовалъ рассказъ о чудѣ отъ костей Елисея и комментарий.

— Нѣтъ, отецъ протоіерей, я еще и не о томъ,—упорствовалъ Гаврило. — А вотъ одинъ англичанинъ предлагаетъ черезъ газеты...

— Что такое? Что еще за англичанинъ?—говорить священникъ.—Газеты дѣло мірское и къ предмету не относятся. Вотъ скажи лучше, какой сегодня...

— Нѣтъ, отецъ протоіерей; относятся!—торопливо перебиваетъ Гаврило.—Потому что: „блаженъ иже и по смерти“... Такъ этотъ англичанинъ... Онъ говоритъ: какая, говоритъ, масса человѣческихъ костей пропадаетъ, говоритъ, напрасно... Безъ всякой пользы для человѣчества...

Лицо священника дѣлается сразу настороженнымъ и непріятнымъ. Гаврило замѣчаетъ опасность... Его красивые глаза на выкатѣ выкатываются еще больше и какъ бы застываютъ. Но **останавливаться** уже поздно.

— Ну, ну?—извительно поощряетъ его священникъ:—такъ что же твой англичанинъ? Послушаемъ, послушаемъ вмѣсто святыхъ отецъ газетнаго англичанина.

— Такъ онъ... то есть это англичанинъ, предлагаетъ ихъ...

— Ну?

— Отдавать... на фабрики. Для выдѣлки, отецъ протоіерей, фосфору и тому подобное...

На лицѣ священника—отвращеніе. Онъ отворачиваетъ голову и закрывается отъ Гаврилы ладонями, совершенно такъ, какъ отъ чернильницы въ видѣ дамскаго балмачка.

— Гробокопательство!.. Нарушеніе вѣчнаго покоя мертвыхъ!—Онъ рѣзко поворачивается къ Гаврилѣ.

— И это ты считаешь недоумѣніемъ?.. Газетки почитываешь? Сочувствуешь?.. Говори, анаѰема, сейчасъ: какой сегодня апостоль?

Гаврило застываетъ въ видѣ соляного столба.

— А-а... Не зна-аешь?.. Самъ читалъ сегодня? А про англичанина когда вычиталъ?

— Давно, отецъ протоіерей... Это я, отецъ протоіерей, еще въ Полтавѣ...—неосторожно зацѣпается бѣдный Гаврило.

— А-а. Вотъ видишь! Въ Полтавѣ? И всетаки помнишь? А сегодняшнее евангеліе забылъ. Вотъ вѣдь какъ ты поддался лукавому? Какъ онъ тебя осѣтилъ своими мрежами... Доложу, погоди, Степану Яковлевичу. Попадешь часика на три въ карцеръ... Тамъ одумаешься... Гро-бо-копатель!

Гаврило, недоумѣло и печально оглядываясь, грузно опускается на парту, точно погружается въ омутъ... Вьетъ звонокъ, но... Долго еще протоіерей будетъ изводить его на урокахъ напоминаніями объ англичанинѣ...

Мнѣ вспоминается одно только собесѣдованіе за урокомъ, гдѣ мы были искреннѣе. Рѣчь зашла о церкви „единославающей“. Кто-то предложилъ вопросъ: правда ли, что спасеніе можно только въ восточно-православной церкви, а все остальное человѣчество, вичего о ней не знающее или остающееся вѣрнымъ исповѣданію отцовъ, — обречено на вѣчныя

страданія... Православная церковь не признает чистилища, какъ римско-католическая, — и поэтому рѣшеніе безповоротно, — навсегда, навѣки, въ безкопечность! Протоіерей обстоятельно разработалъ вопросъ съ академической точки зрѣнія, приводя соотвѣтствующіе тексты, но... объясненіе не привело къ обычному молчанію класса, которое онъ привыкъ считать за согласіе. Мы знали, что тексты онъ привелъ и истолковалъ правильно, но непосредственное чувство рѣшительно отказывалось подчиниться этому „вѣриному истолкованію“. Наши товарищи-католики, признававшіе, что Духъ исходитъ отъ Отца и Сына, и крестившіеся всей ладонью; лютераннинъ, отецъ Кроля, не признававшій иконъ и святыхъ и не крестившійся вовсе; милліоны людей, никогда и не знавшихъ о существованіи символа вѣры... Все это вставало въ воображеніи живое, реальное, и мы защищали своихъ родныхъ отъ вѣчныхъ мученій только за одно слово въ символѣ, за сложеніе перстовъ... А язычники, не слыжавшіе о Христѣ и однако жертвовавшіе жизнью за ближнихъ?..

Вопросъ за вопросомъ, возраженіе за возраженіемъ неслись со скамей къ кафедрѣ. Протоіерей исчерпалъ все тексты и, чувствуя, что они не останавливаютъ потока возраженій, прибѣгъ къ послѣдному аргументу. Онъ сдѣлалъ суровое лицо, подвинулъ къ себѣ журналъ, давая понять, что считаетъ бесѣду конченною, и сказалъ:

— Такъ учить святая церковь, и мы должны, какъ дѣти, подчинять ея материнскому голосу свои суемудрыя толкованія, хотя бы...

Онъ закрылъ глаза, вздохнулъ, какъ бы сожалѣя, что ему приходится подтвердить суровый приговоръ, и прибавилъ съ какимъ-то декоративнымъ смиреніемъ:

— Хотя бы это противорѣчило нашему внутреннему чувству. Перейдемъ къ уроку.

— Не вѣрять и самъ,—шепнуть мнѣ Кроль...

Я подумалъ то же...

Вскорѣ послѣ этого я шелъ изъ церкви вмѣстѣ съ товарищемъ Сучковымъ... Онъ былъ классомъ выше, но мы были близки и часто проводили время въ разговорахъ о разныхъ отвлеченныхъ предметахъ. И теперь, вмѣсто того, чтобы пройти прямо домой, мы незамѣтно пошли въ пустынную улицу, обставленную тополями, и вышли въ поле. Былъ свѣтлый осенній день. Съ тополей тихо валились желтые листья и, крутясь, падали на землю. О чемъ именно мы говорили до того, я не помню. Сучковъ былъ сынъ великоросса-чиновника и матери-англичанки. Онъ былъ ры-

жій, очень впечатлительный, то застѣчивый, то рѣзкій, но искренний и серьезный. Кромѣ того, мы съ нимъ вмѣстѣ учились въ Житомирѣ, и онъ только обогналъ меня классомъ при переходѣ въ Ровно. Это насъ сближало еще больше.

Разговаривали мы о религiи, и Сучковъ, остановившись вдругъ у начала тропинки, которая черезъ поле вела къ рѣкѣ, спросилъ:

— Ты вѣришь?

— Да,—отвѣтилъ я съ убѣжденiемъ.—Вѣрю, конечно...

— И я тоже. Но... во все ли?..

— Иѣтъ,—отвѣтилъ я, запнувшись и оглядываясь въ первый разъ на составъ своей вѣры... — Вѣрю въ Бога... въ Христа... Но не могу вѣрить... въ вѣчную казнь.

— И я тоже,—опять отвѣтилъ онъ...

Обвалъ захватилъ съ собой нѣсколько больше того, чего коснулась данная волна: сомнѣнiе было вызвано вопросомъ о вѣчной казни только за иновѣрiе... Теперь отпала вѣра въ самую вѣчную казнь...

XXII.

Наши бунты... Генераль-губернаторъ и директоръ.

Жаркiй день ранней осени. Отъ стоячихъ прудовъ идетъ блескъ и легкiй запахъ тины... Мертвый замокъ, опрокинутый въ водѣ, грезить объ умершей старипѣ. Скучно снуютъ лебеди, прокладывая слѣды по зеленой ряскѣ, тихо и сонно квакають разомлѣвшiя лягушки.

Кругомъ гимназiи изнывающая зелень капитановъ никнетъ подъ зноемъ. На дворѣ пусто, бѣлое зданiе молчитъ, замкнувшись въ себѣ. Идутъ уроки.

Я попросился изъ класса и стою въ корридорѣ. Тихо. Вдали по обоямъ концамъ виднѣются окна, одно затѣнено капитанами, такъ что въ серединѣ стоитъ полутьма; погруженный въ нее, дремлетъ старикъ Савелiй. Сложивъ на груди руки и прислонясь къ учительскимъ шубамъ, онъ ждетъ прямо противъ инспекторской сигнала звонить. Изъ-за закрытыхъ дверей чуть просачивается неопредѣленное жужжанiе, точно кто читаетъ по покойнику. Порой вырывается взвизгиванiе толстаго Егорова, или тонкiя пѣвучiя вскрикиванiя географа Самаревича, или порывистый лай Радомирецкаго. И опять все тихо. Открывается дверь инспекторской, на Савелiя падаетъ бѣлая полоса свѣта. Онъ тревожно просыпается, но тотчасъ опять закрываетъ глаза. Въ свѣтлой полосѣ появляется странная фигура Дидонуса. Ковыляя своей изломанной походкой, онъ, какъ лодка на волнахъ, ильветъ

въ полутьмѣ корридора, вдоль темныхъ вѣшалокъ и вдругъ исчезаетъ въ амбразурѣ классной двери. Видѣется только уголь отъ Дитяткевича съ смѣшно торчащими фалдочками фрака. Самъ онъ впился глазомъ въ замочную скважину и тихо, съ наслажденіемъ шпионить за классомъ, стараясь только, чтобы торчащій надъ его лбомъ хохолокъ волосъ не показался въ дверномъ стеклѣ. Тогда въ классѣ поднялся бы шумъ, хохотъ, шабашъ...

Но его не видятъ. Тишина кажется еще безжизненнѣе и мертвѣе отъ ровнаго неуловимаго жужжанія и вскрикиваній. Становится жутко, томительно, почти страшно. Хочется какъ будто проснуться, громко вскрикнуть, застучать, опрокинуть что-нибудь, вообще сдѣлать что-нибудь такое, что прочалось бы по корридорамъ, ринулось въ классныя двери, наполнило бы все это зданіе грохотомъ, шумомъ, тревогой...

Въ то время о „школьной политикѣ“ еще не было слышно; не было и „злумышленныхъ агитаторовъ“, волнующихъ молодежь. Кругомъ гимназіи залегла такая же дремотная тишь. Два-три номера газеты заносили слухи изъ далекаго міра, но они были чужды маленькому городку и его интересамъ, группировавшимся вокругъ стараго замка и живого бѣленькаго зданія гимназіи.

У замка были свои легенды о прошломъ. Гимназія имѣла свои. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передавались рассказы о героическихъ временахъ, когда во второмъ классѣ сидѣли усачи, а изъ третьяго прямо женились. Этотъ независимый и беззаботный народъ нерѣдко будилъ сонную тишину необыкновенными выходками: они ходили стѣной на полицейскихъ... Однажды выворотили фонарные столбы, которые, положимъ, никогда не свѣтили,—и покидали ихъ съ моста въ рѣчку. Въ другой разъ, темнымъ вечеромъ, подстерегли гимназическаго надзирателя, подглядывавшаго въ окна. Схватили, завязали глаза, привязали къ лѣстницѣ и повезли топить въ прудъ. Нѣсколько разъ опускали съ мостика въ воду по шею и опять поднимали. Потомъ съ пѣснями и дикимъ гиканьемъ проволокали на лѣстницѣ по засыпающимъ улицамъ и бросили противъ клуба...

Тѣхъ героевъ уже не было; всѣ мы были меньше и, пожалуй, культурнѣе, но легенды о героическихъ временахъ казались намъ занимательными и даже какъ будто поэтичными... Хоть дико и нелѣпно, но они разрывали по своему эту завороженную тишь однообразія и молчаливой рутинны...

Порой, и мы начинали шумѣть также стихійно, неожиданно и нелѣпно.

Звонокъ пробилъ. Перемена кончилась. Корридоры опустѣли, во всѣхъ классахъ идутъ занятія. У насъ урокъ Егорова, по онъ не является. Придетъ или не придетъ? Тянутся минуты, рождается надежда: не придетъ. Беззаботные ученики, выучивающіе уроки только въ классахъ и на переменахъ (я давно уже принадлежу къ ихъ числу),—торопятся доучить аористы: „Выхъ, бы, бы... быховъ, бѣста, бѣста... быхомъ, бѣсте, бѣша“... Но затѣмъ бросаютъ: если Егоровъ не придетъ, на чорта тогда аористы... Дитяткевичъ то и дѣло заглядываетъ въ открытую классную дверь... Порой проходитъ мимо высокая фигура Рущевича. Они знаютъ, что такое положеніе класса опасно, и стараются держать насъ въ полугипозѣ: не урокъ, но и не свобода... Ожиданіе непріятно, томительно, раздражаетъ нервы...

Мой сосѣдь Кроль, тоже бросившій грамматику Перевлѣскаго, долго и сосредоточенно жевалъ во рту бумажную жвачку. Наконецъ, это ему надоѣло. Онъ вынулъ изо рта нажеванный комокъ, посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и, по внезапному вдохновенію, швырнулъ въ противоположную стѣну. Комокъ влипаетъ и расплющивается надъ самой каедрой большимъ сѣрымъ пятномъ. Смѣхъ.

Въ дверяхъ появляется Дитяткевичъ. Онъ слышалъ смѣхъ и безпокойно оглядываетъ насъ изъ-за дверей, по пятна ему не видно. Это интересно. Едва онъ отходитъ, какъ нѣсколько комковъ летитъ вдогонку за первымъ и скоро плеяда сѣрыхъ звѣздъ располагается надъ кресломъ учителя.

— Господа, господа!.. Что вы дѣлаете?—кричитъ дежурный, первое отвѣтственное лицо въ классѣ, по его не слушаютъ. Дождь жвачекъ сыплется ливнемъ. Кто-то смочилъ жвачку въ чернилахъ. Среди сѣрыхъ звѣздъ являются синечервныя. Опѣ линнуть по стѣнамъ, на потолокъ, попадаютъ въ икону...

Какой-то малышъ, отпросившійся съ урока въ сосѣднемъ классѣ, пребѣгаетъ мимо нашей двери, заглядываетъ въ нее, и глаза его вспыхиваютъ восторгомъ. Онъ подѣлится новостью въ своемъ классѣ... За нимъ выбѣжитъ другой... Въ нѣсколько минутъ узнаетъ уже вся гимназія...

Наконецъ, въ корридорѣ слышатся тяжелые шаги. „Егоровъ, Егоровъ“... Въ классѣ водворяется тишина, и мы съ недоумѣніемъ смотримъ другъ на друга... Что же теперь будетъ?.. Толстая фигура съ журналомъ подъ мышкой появляется на порогѣ и въ изумленіи отшатывается... Черезъ минуту является встревоженный надзиратель, окидываетъ взглядомъ стѣны и стремяглазъ убѣгаетъ... Въ классъ дви-

гается огромная фигура инспектора... А въ перемѣну эпидемія перекидывается въ младшіе классы...

Въ жизни бѣлаго зданія событіе. Начальство озадачено. Приступаютъ къ разслѣдованію, и прежде всего, конечно—ищутъ зачинщиковъ... И тутъ-то въ застоившуюся атмосферу врывается нѣчто новое, интересное, пожалуй серьезное. Зачинщиковъ не выдадутъ: передъ начальствомъ весь классъ, единый, сплоченный, солидарный. Тѣ, кто не кидаль и даже пытался образумить товарищей, теперь—заодно съ кидавшими. Въ инспекторскую вызываютъ дежурнаго, и онъ уже не возвращается. Его отправили въ карцеръ... Первая жертва... Мы его любимъ, гордимся имъ, готовы слѣдовать его примѣру. Вызываютъ первыхъ учениковъ... Потомъ послѣднихъ. Является Рущевичъ и произноситъ передъ классомъ рѣчь длинную, тягучую, поучительную. Преступленіе не можетъ остаться безъ наказанія... Уже наказаны, быть-можетъ, невинные и будутъ наказаны еще болѣе. Это нечестно. Зачинщики должны сознаться, или классъ обязанъ ихъ выдать...

Но у насъ свои понятія о честности. Честность это товарищество. Въ немъ одномъ мы находимъ ощущенія, которыхъ не дасть и не требуетъ ни ариметика, ни географія, ни аористы: самоотверженіе, готовность пострадать за общее дѣло, мужество, вѣрность. Мы знаемъ, что жевать бумагу и кидать въ бѣлыя стѣны—глупо. Когда вошелъ Тыссъ и, не говоря ни слова, окинулъ классъ своимъ серьезнымъ и какъ будто скучающимъ взглядомъ, намъ было стыдно. По—постоять за товарищей не глупо, а хорошо и красиво... Каждый изъ насъ ждетъ своей очереди присоединиться къ пострадавшимъ, и въ этомъ—оправданіе передъ ними... Въ воздухѣ напряженіе, новое, необычное. Ожиданіе нарастающей грозы вноситъ новый душевный мотивъ, разряжаетъ обычное классное томленіе.

Послѣдній звонокъ въ этотъ день звучитъ тоже необычными тонами. Онъ застаетъ разслѣдованіе неоконченнымъ и какъ бы говорить: продолженіе завтра. А пока, едва сбѣгавъ домой и захвативъ что-нибудь съѣстное, мы пробираемся на развѣдки къ карцеру. Окно его высоко, въ стѣнѣ угловой двухъэтажной пристройки на задахъ. Кто-нибудь осторожно кидаетъ мелкій камешекъ въ видѣ сигнала. Заключенные по очереди, становясь другъ другу на спины, появляются въ квадратъ окна. Они кажутся намъ такими дорогими, милыми, красивыми. Особенно дежурный: всѣ мы отвѣтимъ и за себя,—онъ только за другихъ. Каждому изъ насъ хочется что-нибудь сдѣлать для него, хочется быть на его мѣстѣ.

Тутъ зарождалось чувство, изъ-за котораго въ семидесятихъ годахъ Стрѣльниковъ послалъ на висѣлицу юношу Разовскаго, не пожелавшаго выдать товарища...

Порой эти наши вспышки напоминали прямо массовое помѣшательство.

Дождливый осенній день. Большая перемяна. За окнами каштаны взмахиваютъ еще не опавшею, но уже поблекшей зеленью, косою дождь бьетъ по стекламъ. На дворѣ играть въ мячъ нельзя, многіе не ушли домой завтракать, корридоры кишатъ толпой, которая волнуется въ тѣснотѣ живою зыбью.

Появляется Самаревичъ. Онъ только-что вошелъ со двора, мокрый, въ черной мерлушечей шапкѣ и широкой шубѣ изъ „бирокъ“ (мелкій подобранный барашекъ). Его желтое лицо кажется особенно страннымъ въ черной остроконечной мурмолкѣ, на фонѣ чернаго воротника, въ сумеречномъ освѣщеніи корридора. Среди шумной толпы онъ проходитъ брезгливо, точно пробирается по грязной улицѣ; глаза его бѣгаютъ сердито и чутко: ищутъ Дитяткевича, чтобы тотъ проложилъ ему дорогу. Но Дитяткевича нѣтъ. Ученики сами робко сторопятся, когда замѣчаютъ его, но замѣчаютъ не сразу: сжатая толпа колыхается порой совершенно произвольно.

Вдругъ изъ классной двери выбѣгаетъ малышъ, преслѣдуемый товарищемъ. Онъ вырывается прямо въ толпу, чуть не сбиваетъ съ ногъ Самаревича, подымаетъ голову и видитъ надъ собой высокую фигуру, сухое лицо и желчно-злые глаза. Нѣсколько секундъ онъ испуганно смотритъ на неожиданное явленіе и вдругъ съ его губъ срывается кличка Самаревича:

— Бирка!

Слово, кинутое такъ звонко прямо въ лицо грозному учителю, сразу поглощаетъ всѣ остальные звуки. Секунда молчанія, потомъ неистовый визгъ, хохотъ, тольботня. Изступленіе охватываетъ весь корридоръ. Къ Самаревичу проталкиваются малыши, опережаютъ его, становятся впереди, кричатъ: „бирка, бирка!“—и опять ныряютъ въ толпу. Изумленный, испуганный бѣдный-маніакъ стоитъ среди этого живого водоворота, поворачивая голову и сверкая сухими воспаленными глазами.

На шумъ выбѣгаютъ изъ инспекторской надзиратели, потомъ инспекторъ. Но малыши увертываются отъ руки Дитяткевича, ныряютъ между ногъ у другого надзирателя, добродушнаго рыжаго Бутовича, проскакиваютъ мимо инспектора, дергаютъ Самаревича за шубу, и крики: „бирка, бирка!“ несутся среди хохота, топота и шума. Обычная власть поге-

ряла силу. Только рѣзкій звонокъ, который сторожъ догадался дать минуты на двѣ раньше,—позволяетъ наконецъ освободить Самаревича и увести его въ инспекторскую.

На этотъ разъ не пытаются даже искать зачинщиковъ.

Тутъ уже совершенно очевидно, что зачинщиковъ нѣтъ, что это просто стихійный взрывъ, въ которомъ прорвалась, такъ сказать, подпочва нашего обычнаго настроенія. Подавлять можно, но овладѣть никто не умѣетъ...

Такая же неожиданная демонстрація была устроена и Кранцу. На этого мучителя пришелъ черный день. Онъ жилъ на квартирѣ у немолодой вдовы, и по городу пошли слухи, что нашъ сухой и жиливатый лемуръ воспылалъ нѣжной страстью къ своей дебелой хозяйкѣ. Городокъ вообще былъ полонъ слухами, и слухъ объ этой связи тлѣлъ среди другихъ болѣе или менѣе пикантныхъ слуховъ, пока однажды дѣло не разразилось неожиданнымъ и громкимъ скандаломъ: Кранцъ объявилъ о своемъ переѣздѣ на другую квартиру; тогда бойкая вдова ворвалась въ засѣданіе гимназическаго совѣта и принесла съ собой невипнаго младенца, котораго и предложила на попеченіе всего педагогическаго персонала.

Черезъ нѣсколько дней изъ округа пришла телеграмма: немедленно устранить Кранца отъ преподаванія. Въ большую переѣзную нѣмецъ вышелъ изъ гимназіи, чтобы болѣе туда не возвращаться. Зеленый и злой, онъ быстро шелъ по улицѣ, не глядя по сторонамъ, весь поглощенный злыми мыслями, а за нимъ шла гурьба учениковъ, точно стая собачонокъ за затравленнымъ, но все еще опаснымъ волкомъ.

Такъ онъ дошелъ до квартиры Колубовскихъ. Это была многочисленная семья, изъ которой четверо или пятеро учились въ гимназіи. Всѣ они были маленькіе, толстощекие и очень похожи другъ на друга. Самый маленькій, жертва Кранца, былъ общій любимецъ. Въ этотъ день онъ былъ боленъ и оставался дома. Но когда братья прибѣжали къ нему съ радостною вѣстью,—малышъ вскочилъ съ постели и, увидѣвъ въ окно проходившаго мучителя, выскочилъ на улицу. Братья кинулись за нимъ и затравленный волкъ очутился въ курьезной осадѣ. Младшій Колубовскій, съ сверкающими глазами, заслушалъ ему дорогу и крикнулъ:

— А! Что, проклятый нѣмецъ? Прогнали? Прогнали? Будешь мучить? Проклятый, проклятый!..

Остальные братья тоже бѣжали съ ругательствами. Къ нимъ присоединилъ бывшіе поблизости ученики, и взбѣшенный Кранцъ, все прибавляя шагу, дошелъ до своей квартиры, сопровождаемый свистомъ, гиканьемъ и криками „ура“. Къ

счастью, квартира была недалеко. На крыльцѣ нѣмецъ оглянулся и погрозилъ кулакомъ, а въ окно выглядывало злорадное лицо бѣдной жертвы его коварства...

Къ концу этой сцены съ угрюмыми и сковфуженными лицами проходили мимо другіе учителя. Ученикамъ было совѣстно смотрѣть на нихъ, но, кажется, и учителямъ было совѣстно смотрѣть на учениковъ.

Однѣ только рѣзъ на панномъ горизонтѣ встала возможность чего-то вродѣ безпорядковъ „съ политической окраской“.

Это было въ 1867 или 1868 году. Ждали генераль-губернатора Безака *). Остановиться онъ долженъ былъ у исправника, на Гимназической улицѣ, поэтому исправничья квартира стала центромъ общаго вниманія. Кругомъ изъ-за заборовъ, изъ переулочка, вообще изъ-за разныхъ прикритій робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо противъ дома исправника была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и такъ какъ это было уже послѣ уроковъ, то кучка учениковъ вышла въ палисадникъ, чтобы полюбоваться встрѣчей. Улица имѣла приличный случаю торжественно-испуганный видъ. У крыльца, вытянувшись въ струнку, застыли квартальные. Все было подметено, убрано, вычищено. Все превратилось въ ожиданіе.

Часовъ вѣроятно около пяти прискакалъ отъ тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за нимъ, въ перспективѣ улицы, вскорѣ появился тарантасъ, запряженный тройкой по русски. Ямщикъ ловко осадилъ лошадей, залезъ на мѣстѣ колокольчикъ, помощникъ исправника и квартальные кинулись отстегивать фартукъ, но...

Тутъ случилось нѣчто неожиданное и страшное. Фартукъ самъ распахнулся съ другой стороны... Изъ тарантаса выкатилась плотная невысокая фигура въ военной формѣ, и среди общаго испуга и недоумѣнія, его превосходительство, командующій войсками кievскаго военного округа и генераль-губернаторъ юго-западнаго края, бѣжалъ, сѣмеля короткими погами, черезъ улицу, въ сторону, противоположную отъ исправничьяго крыльца...

Черезъ нѣсколько секундъ дѣло объяснилось: зоркіе глаза начальника края успѣли изъ-за фартука усмотрѣть, что ученики, стоящіе въ палисадникѣ, не сняли шапокъ. Они, конечно, сейчасъ же исправили свою оплошность, и только одинъ, братъ хозяйки, — мальшъ, кажется, изъ второго

*) Былъ ген.-губернаторомъ юго-зап. края съ 1865 по 1868 г. — Ярмъ сбрустель.

класса,—глядѣть, выпучивъ глаза и разинувъ ротъ, на страннаго генерала, неизвѣстно зачѣмъ трусившаго грузнымъ аллюромъ черезъ улицу... Безакъ вбѣжалъ въ палисадникъ, схватилъ гимназиста за ухо и передалъ подбѣжавшимъ полицейскимъ:

— Арестовать!..

Полицейское управленіе было рядомъ, и испуганнаго мальчика немедленно заверли въ каталажку, гдѣ обыкновенно держали пьяныхъ до вытрезвленія... Только тогда грозное начальство прослѣдовало въ исправнику...

Вѣсть объ этомъ происшествіи мгновенно облетѣла весь городъ.

Въ тотъ день я за что-то былъ оставленъ послѣ уроковъ и возвращался позже обыкновеннаго домой съ кучей распозавшихся книгъ въ рукахъ. Улица была пуста, только впереди виднѣлось нѣсколько синихъ мундировъ, которыхъ полицейскій выпроваживалъ въ конецъ, подальше отъ дома исправника. Кое-гдѣ мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрѣлой пересѣкавшая улицу и исчезающая... Только когда я поровнялся съ казначействомъ и повернулъ за уголь,—навстрѣчу мнѣ попалась кучка гимназистовъ человѣкъ въ десять. Среди нихъ я замѣтилъ Перетяткевичей и Домарацкихъ, представителей двухъ родственныхъ польскихъ семей. Это былъ, по большей части, народъ великовозрастный, состоятельный и державшійся относительно гимназическаго режима довольно независимо. Одинъ еще недавно былъ вынужденъ оставить гимназію. Увидѣвъ меня, они заступили мнѣ дорогу и закидали вопросами:

— Васъ пропустили? Ну, что? Правда, что съ Савицкимъ припадокъ? Вы видѣли его сестру?..

— Что такое?—отвѣтилъ я съ недоумѣніемъ, глядя на ихъ возбужденныя лица.

— Хорошій товарищъ!—насмѣшливо сказалъ старшій Перетяткевичъ:—да гдѣ же вы были это время?

— Въ карцерѣ.

— А! Это другое дѣло. Значитъ вы не знаете, что Безакъ схватилъ Савицкаго за ухо и швырнулъ въ каталажку... Идите домой и зовите товарищей на улицу.

Разсказъ прошелъ по мнѣ электрической искрой. Въ памяти, какъ живал, встала простодушная фигура Савицкаго, въ фуражкѣ съ большимъ козыремъ и съ наивными глазами. Это воспоминаніе вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, смутанное и грозное. Товарищъ... не въ карцерѣ, а въ каталажкѣ, больной, безъ помощи, одино-

кій... И посаженъ не инспекторомъ... Другая сила, огромная и стихійная, будила теперь чувство товарищества, и сердце невольно замирало отъ этого вызова. Что дѣлать?

Я побѣжалъ домой, бросилъ книги, не нашелъ братьевъ и опять опрометью кицнулся на улицу. Перетяткевичей и Домарацкихъ уже не было. Они, вѣроятно, ушли куда-нибудь совѣщаться. Но по площади бродили группы учениковъ, ошеломленныхъ происшествіемъ и не знавшихъ что дѣлать. Полицейскіе не успѣвали ихъ прогнать даже съ Гимназической улицы... Разговаривали, спрашивали, передавали въ разныхъ вариантахъ, что случилось. Сходились, расходились, не находя мѣста. Нѣсколько человекъ, особенно предприимчивыхъ, пробрались къ окну каталажки черезъ заборъ сосѣдняго двора и видѣли, что Савицкій лежитъ на лавкѣ. Будочникъ покрылъ его лицо темною тряпкой...

Трудно сказать, что могло бы изъ этого выйти, если бы Перетяткевичи успѣли выработать и предложить какой-нибудь опредѣленный планъ: идти толпой къ генераль-губернатору, пустить камнями въ окна исправническаго дома... Можетъ быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домамъ, унося въ молодыхъ душахъ ядовитое сознаніе безсилія и ненависти. И только, быть-можетъ, ночью забрэнчали бы стекла въ генераль-губернаторской комнатѣ, давая поводъ къ репрессіямъ противъ крамольной гимназіи...

Но раньше, чѣмъ это успѣло опредѣлиться, произошло другое.

Изъ дома на той же улицѣ, одѣтый по формѣ, важный, прямой, въ треуголкѣ и при шпагѣ вышелъ директоръ Долгоноговъ. Онъ былъ недавно назначенъ, и мы его знали мало. Да, правду сказать, и впоследствии не узнали ближе. Онъ былъ великороссъ, и потому въ немъ не было обрусительной злобы, справедливъ — порой признавалъ неправымъ начальство въ столкновенияхъ съ учениками — и строгъ. Но для насъ это былъ все же чиновникъ педагогическаго вѣдомства, точный, добросовѣтный, формалистъ, требовательный къ себѣ, къ учителямъ и къ ученикамъ... Какъ оказалось, кромѣ того — у него было сознаніе своего достоинства и достоинства того дѣла, которому онъ служить. Такъ представляется мнѣ этотъ человекъ теперь, когда я вспоминаю его въ этотъ знаменательный день.

Въ эту минуту во всей его фигурѣ было что-то твердое и сурово спокойное. Онъ, очевидно, зналъ, что ему дѣлать, и шелъ, среди смятенныхъ кучекъ гимназистовъ, какъ большой корабль среди маленькихъ лодокъ. Отвѣчая на поклонны, онъ говорилъ только:

— Расходитесь дѣти, расходитесь.

И было въ немъ что-то, заставлявшее учениковъ чувствовать, что они дѣйствительно дѣти, и полагаться на этого спокойнаго серьезнаго человѣка...

Такъ онъ вошелъ въ домъ, гдѣ остановился генераль-губернаторъ. Минуты черезъ три онъ вышелъ оттуда въ сопровожденіи помощника исправника, который почтительно забѣгалъ передъ нимъ сбоку, держа въ рукѣ свою фуражку, и оба пошли къ каталажкѣ. Помощникъ исправника открылъ дверь, и директоръ вошелъ къ ученику. Вслѣдъ затѣмъ прибѣжалъ гимназическій врачъ въ сопровожденіи Дитяткевича, и другой надзиратель провелъ заплаканную и испуганную сестру Савицкаго...

Было что-то ободряющее и торжественное въ этомъ занятіи полицейскаго двора людьми въ мундирахъ министерства просвѣщенія, и даже колченогій Дидонусъ, суетливо вбѣгавшій и выбѣгавшій изъ полиціи, — казался въ это время своимъ, близкимъ и хорошимъ. А когда другой надзиратель, большой рыжій Бутовичъ, человѣкъ очень добродушный, но всегда нѣсколько „въ подпитіи“, вышелъ къ воротамъ и сказалъ:

— Директоръ проситъ всѣхъ гимназистовъ разойтись по домамъ! — то черезъ минуту около полицейскаго двора и исправническаго дома не осталось ни одного синяго мундира...

Въ чиновничьихъ кругахъ передавали подробности сцены между генераль-губернаторомъ и директоромъ. Когда директоръ вошелъ, Безакъ, весь раскаленный, какъ пушка, изъ которой долго палили по непріятелю, — накинудся на него:

— Что тутъ у васъ! Безпорядки! Непочтительность! Полячки не снимаютъ передъ начальствомъ шапокъ!

— Ваше превосходительство, — сказалъ Долгоноговъ холодно и твердо, — въ другое время я готовъ выслушать все, что вамъ будетъ угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленнаго освобожденія моего ученика, незаконно арестованнаго при полиціи. О происшествіи я уже послалъ телеграмму моему начальству...

Безакъ растерянно посмотрѣлъ на директора и... приказалъ тотчасъ же отпустить Савицкаго.

Въ одинъ изъ карточныхъ вечеровъ у отца объ этомъ случаѣ заговорили чиновники. Всѣ сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему не сдобровать, другіе догадывались, что, должно быть, у этого Долгоногова есть „сильная рука“ въ Петербургѣ. Отецъ съ обычной спокойной категоричностью сказалъ:

— А, толкуйте! Просто — дѣйствовалъ человѣкъ на законномъ основаніи и баста!

— Но вѣдь, — Безакъ!.. Назначенъ самимъ царемъ!

— Всѣ мы назначены царемъ, — возразилъ отецъ.

Достоевскій въ одномъ изъ своихъ „дневниковъ писателя“ рассказывалъ о впечатлѣніи, какое въ юности произвела на него встрѣча на почтовомъ трактѣ съ фельдъ-егеремъ: фельдъ-егерь стоялъ въ повозкѣ и, не переставая, колотилъ ямщика по шеѣ. Ямщикъ неистово хлесталъ кнутомъ лошадей, и тройка съ смертельнымъ ужасомъ въ глазахъ мчалась по прямой дорогѣ, мимо полосатыхъ столбовъ. Эта картина показалась юношѣ символомъ всей самодержавной Россіи и, быть можетъ, содѣйствовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота въ ожиданіи казни... Въ моей памяти такимъ символическимъ пятномъ осталась фигура генераль-губернатора Безака. Цѣльное представленіе о „власти-стихи“ дало сразу огромную трещину. На одной сторонѣ оказался властный сатрапъ, хватающій за ухо испуганнаго мальчишку, на другой — законъ, отдѣленный отъ власти, но вооружающій скромнаго директора на борьбу и побѣду.

Много ли русская школа знаетъ такихъ выступленій за послѣднія десятилѣтія, ознаменованныя вторженіемъ въ нее „административнаго порядка“ и бурными волненіями молодежи? Кто вмѣсто нея проявлялъ гражданское мужество въ защитѣ законности, человѣчности и права?

ВЪ ДЕРЕВНѢ.

XXIII.

Гарнолуцкое панство.

Деревня для школьника-горожанина — это каникулы.

Когда мы переѣзжали изъ Житомира въ Ровно, то оказалось, что Гарный Лугъ, деревня дяди капитана, находится всего въ 50-ти или 60-ти верстахъ отъ города. По семейному соглашенію, сынъ капитана Саня жилъ у насъ въ Ровно весь учебный годъ, а мы всей семьей пріѣзжали къ нему на каникулы. Саня былъ мальчикъ длинный, худощавый, съ деревенскими приемами, которые дѣлали его жертвой насмѣшекъ, съ дѣтски чистымъ сердцемъ и головой слабоватой на ученіе. Мы всѣ любили его, но порой довольно жестоко шутили надъ его деревенской простотой, которую онъ сохранилъ на всю жизнь и сохранилъ еще что-то особенное: какъ будто противорѣчія жизни отпечатлѣлись безсознательно на слишкомъ чуткой совѣсти.

Деревня была своеобразная, одна из тѣхъ, въ которыхъ крѣпостное право еще до формальнаго упраздненія уже дошло до явной нелѣпости. Покойный Данилевскій въ бѣгломъ эскизѣ набросалъ картинку деревни, носившей характерное названіе Стопановки. Такъ окрестили ее потому, что въ ней было около сотни „помѣщиковъ“, почти столько же, сколько крѣпостныхъ. Такихъ деревень къ концу крѣпостного права было, надо думать, немало. Помѣстное сословіе множилось, разорялось, теряло черты барства божіей милостью, выдѣляя все болѣе и болѣе паразитовъ, приживальщиковъ, владѣльцевъ одной или двухъ душъ...

Гарный Лугъ представлялъ настоящее гнѣздо такого выродившагося „панства“: уже ко времени эмансипаціи въ немъ было около 60 крестьянскихъ дворовъ и что-то около двухъ десятковъ шляхтичей-душевлдѣльцевъ. Капитану одному принадлежало около трети.

Какъ возникла эта странная „соціальная структура“, я не знаю. Всего вѣроятнѣе, что Гарный Лугъ былъ когда-то такъ называемымъ „застѣнкомъ“, а его „панство“ представляло „застѣнную шляхту“, ярко описанную Мицкевичемъ въ „Панѣ Тадеушѣ“, тяготѣвшую къ какому-нибудь патрону. Въ чертѣ капитанской усадьбы, на небольшомъ холмикѣ надъ прудикомъ, высилось старинное темное зданіе съ остроконечною крышей, загадочнаго вида и назначенія. Кругомъ, точно почетная стража, стояли семь пирамидальныхъ тополей съ опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но въ дѣйствительности это былъ только „магазинъ“, т. е. кладовая. Въ нижнемъ ея помѣщеніи стояли бочки съ квасомъ, огурцами, капустой. Въ среднемъ ссыпали въ засѣки хлѣбъ, а въ мезонинѣ была жилая комната съ балкончикомъ. На балконъ намъ воспрещалось выходить подѣ опасеніемъ провала, и порой все это почтенное зданіе кривчало и какъ будто разсѣдалось. Но капитанъ этого не признавалъ. Онъ очень гордился „магазиномъ“, который былъ видѣнъ далеко со своими тополями, занимая центральное господствующее положеніе... Кругомъ, точно подѣ его покровительствомъ, ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы съ журавлями. Кое-гдѣ, въ одиночку, точно отбившіеся отъ центра, торчали отдѣльные тополи, обозначая „панскія усадьбы“. Лучшая изъ нихъ—домъ капитана, была тоже съ соломенной крышей. Остальные почти уже ничѣмъ не отличались отъ мужицкихъ.

По преданію—„магазинъ“ былъ единственнымъ остаткомъ богатой панской усадьбы, служившей центромъ для гарно-

лужской шляхты. Капитанъ дорожилъ имъ, какъ эмблемой. Самый крупный изъ „помѣщиковъ“ Гарнаго Луга, хотя чело-вѣкъ сравнительно новый,—онъ вмѣстѣ съ этой древней постройкой какъ бы наслѣдовалъ первенствующее поло-женіе...

Прежній центръ исчезъ навѣки, а съ нимъ исчезъ и смыслъ существованія мѣстной шляхты...

Капитанъ, какъ уже сказано, былъ отличный рассказчикъ и повременамъ, въ длинныя зимніе вечера любилъ изображать эпизоды гарнолужскаго прошлаго съ его удивительными правами. Старая, отжившая шляхетская „воля“, лишенная смысла и значенія, выражалась въ карикатурныхъ формахъ. Въ деревнѣ было двѣ партіи, продолжавшія изъ-за чего-то воевать, нападать другъ на друга и тягаться въ судахъ. Центромъ этой борьбы являлось право пропинаціи, то есть, сдача въ аренду шинка. Каждая партія считала это право за собой и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооруженной рукой. Шинокъ превращался порой въ настоящую крѣпость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водвореннаго въ шинкѣ Янкеля, Банькевичи чинили нападенія, чтобы водворить на его мѣсто Мошка. Темными ночами порой закипалъ бой. Паны во главѣ челяди лѣзли къ корчмѣ на приступъ: трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дѣти...

Когда водка вся выходила, и приходилось покупать въ городѣ новый запасъ,—наступали самые драматическіе моменты этой гарнолужской иліады. Янкеля съ бочкой сопровождалъ вооруженный отрядъ. Впередъ проѣзжали благополучно. Но на обратномъ пути, около мостика въ оврагѣ устраивалась засада. Въ одной изъ такихъ экспедицій капитанъ, кажется, участвовалъ лично и съ большимъ юморомъ рассказывалъ, какъ во время жаркаго боя мужики вышибли у бочки дно. Обѣ стороны, забывъ вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, у кого они были... Утро застало витязей въ повалку на лѣсной муравѣ, друзей и враговъ рядомъ.

Все это вело, конечно, къ тяжбамъ, съ наѣздами приказныхъ, которые одни извлекали пользу изъ этихъ рыцарскихъ столкновеній...

Въ то время, когда мнѣ пришлось познакомиться съ Гарнымъ Лугомъ, героическіе нравы отошли въ область легендъ. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало... Рассказывали, между прочимъ, что, вслѣдствіе какихъ-то замысловатыхъ семейно-наслѣдственныхъ комбинацій, два члехтича, женатые на родныхъ сестрахъ, владѣли одной

только крѣпостной хатой и то спорной. Хуже всего при этомъ доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о „душѣ“ Микиты въ судѣ шла тяжба, оба пана отдавали ему приказанія, и оба требовали покорности. Несчастный мужикъ вѣчно находился подѣ воздействиемъ двухъ силъ, тянувшихъ въ разныя стороны, Неудивительно, что равнодѣйствующая повлекла его въ направленіи, одинаково удаленномъ отъ обѣихъ: онъ облюбовалъ себѣ мѣсто въ шинкѣ Янкеля... Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило въ Микитѣ дипломатическія способности: порой онъ заключалъ союзъ съ однимъ паномъ и вмѣстѣ съ нимъ тузилъ другого. Потомъ переходилъ на сторону противника и для возстановленія политическаго равновѣсія добросовѣстно колотилъ недавняго союзника. Суда онъ не боялся, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ исполнялъ панское приказаніе...

Бывало, конечно, и такъ, что оба пана приходили къ сознанію своего, какъ теперь принято говорить, классоваго интереса и заключали временный союзъ противъ Микиты. Тогда Микитѣ приходилось плохо, если только Янкель не успѣвалъ своевременно обезпечить ему убѣжище.

Вообще, жизнь злополучнаго спорнаго мужика сложилась совсѣмъ не по людски... Имѣть одного, но „настоящаго“ пана было бы для него счастьемъ. Поэтому онъ не разъ приходилъ къ капитану, прося купить его въ нераздѣльное владѣніе и обѣщая работать за троихъ. Работникъ онъ былъ хорошій, и Янкель не имѣлъ основаній на него жаловаться. Но купить его было нельзя, такъ какъ не было извѣстно, кто же собственно могъ его продать. А раздѣлить покупную сумму пополамъ „стороны“ не соглашались: онѣ лучше согласились бы разрубить пополамъ самого Микиту.

— Хибѣ-жь я таки ничего не стою?—спрашивалъ бѣдняга въ отчаяніи.

— И тебя, бѣдный человѣкъ, не хую, — отвѣчалъ капитанъ.—Мужикъ ты стоящій, но съ тобой приходится наживать тяжбу... Иди себѣ съ Богомъ...

Микита шелъ въ корчму, напивался и становился страшень для обоихъ владѣльцевъ...

Самымъ старымъ изъ этой шляхты былъ панъ Погорѣльскій, живая лѣтопись деревни, помнившій времена самостоятельной Польши. Онъ служилъ „панцырнымъ товарищемъ“ въ хоругви какого-то пана Холевинскаго или Голембювскаго и участвовалъ въ конфедераціи. Ему было что-то около сотни лѣтъ.

Мнѣ приходитъ въ голову странная мысль. Чуть не каждый годъ мы читаемъ въ газетахъ, что въ томъ или другомъ

мѣстѣ умеръ старикъ или старуха ста, ста десяти лѣтъ, а лѣтъ восемь или десять назадъ сибирскія газеты сообщали о смерти поселенца 136 лѣтъ... Когда мы смотримъ на горные склоны, покрытые лѣсомъ, то даже средняя гора кажется огромной по сравненію съ деревьями: такая безчисленная зеленая рать толпится по ея уступамъ. Но если бы выбрать столѣтнія деревья и смѣрять гору по ихъ росту, то оказалось бы, что десятокъ-другой такихъ деревьевъ уже измѣряетъ всю высоту... Безчисленные поколѣнія людей, какъ мелколѣсье на горныхъ склонахъ, умѣстились на разстояніи двадцати столѣтій, протекшихъ съ той ночи, когда на небѣ сіяла хвостатая звѣзда и въ виелеемской пещерѣ нашла пріютъ семья плотника Иосифа, пришедшаго изъ Назарета для переписи по указу Августа.

Съ тѣхъ поръ какъ пала Іудея, Римская имперія раздѣлилась и потонула въ безчисленныхъ ордахъ варваровъ, основались новыя царства, водворилась готическая тьма средневѣковья съ гимнами небу и стенами еретиковъ; опять засверкала изъ-подъ развалинъ античная жизнь, прошумѣла реформація; цѣлыя поколѣнія косила тридцатилѣтняя война, яркимъ костромъ вспыхнула великая революція и разлилась по Европѣ пламенемъ наполеоновскихъ войнъ... И подумать только, что все это улеглось на разстояніи менѣе, чѣмъ двадцати максимальныхъ человѣческихъ жизней. И все это время не было недостатка въ 125-лѣтнихъ старикахъ, которые могли бы, „какъ очевидцы“, передавать другъ другу лѣтопись вѣковъ.

Такихъ „очевидцевъ“ до нашихъ дней смѣнилось бы только... двадцать!..

Одного изъ такихъ старыхъ дубовъ человѣческаго лѣса я видѣлъ въ Гарномъ Лугѣ въ лицѣ Погорѣльскаго. Онъ жилъ сознательною жизнью въ семидесятихъ и восьмидесятихъ годахъ XVIII вѣка. Если бы я самъ тогда былъ умнѣе и любознѣтнѣе, то могъ бы теперь людямъ двадцатаго вѣка рассказать *со словъ очевидца* событія времянь упадка Польши, за полтора столѣтія назадъ.

Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.

Проходя за чѣмъ-то однимъ изъ закоулковъ Гарнаго Луга, я увидѣлъ за тыномъ, въ огородѣ, высокую, прямую фигуру съ обнаженной лысой головой и съ бѣлыми, какъ молоко, сѣдыми буклями у висковъ. Эта голова странно напоминала головку высохшаго мака, около которой сохранились бы два бѣлыхъ засохшихъ лепестка. Проходя мимо, я поклонился.

Старикъ посмотрѣлъ на меня выцвѣтшими, но еще живыми глазами и сказалъ:

— А чей ты, хлопче? И что-то таких не видать.

Я отвѣтилъ, что я племянникъ капитана, и мы разговорились. Онъ стоялъ за тыномъ, высокій, худой, весь изъ однихъ костей и сухожилий. На немъ была черная „чамарка“, вытертая и въ пятнахъ. Застегивалась она рядомъ мелкихъ пуговицъ, но половины ихъ не было, и изъ-подъ чамарки виднѣлось голое тѣло: у бѣдняги была одна рубаха, и когда какая-нибудь добрая душа брала ее въ стирку, старикъ обходился безъ бѣлья.

— Да... капитанъ... Знаю... Онъ купилъ двадцать душъ у такого-то... Номо почув... Прежнихъ уже нѣтъ. Все пошло прахомъ. Потому что, видишь ли... было напимѣрь два пана: панъ Банькевичъ, Иосифъ и панъ Лохмановичъ, Якубъ. У пана Банькевича было три сына и у пана Лохмановича, знаешь, тоже три сына. Это уже выходитъ шесть. А еще дочери... За одной Иосифъ Банькевичъ далъ 15 дворовъ на выводъ, до Подоля... А у тѣхъ опять пошли дѣти... У Банькевича: Стахъ, Франекъ, Фортунатъ, Юзефъ...

Онъ сыпалъ генеалогическими развѣтвленіями, которыя я, конечно, передаю здѣсь очень вольно, и потомъ заговорилъ о старыхъ временахъ.

— Гей, гей!.. Скажу тебѣ, хлопче, правду: были люди — во времена „рѣчи посполитої“... Когда, напимѣрь, гусарскій regimentъ шелъ въ атаку, то, понимаешь, — какъ буря: потому что за плечами имѣли крылья... Кони летятъ, а въ крыльяхъ вѣтеръ, говорю тебѣ, какъ ураганъ въ сосновомъ бору... Исусъ, Марія, святой Иосифъ...

Лицо стараго панцырнаго товарища покраснѣло до лысой макушки, бѣлыя букли по сторонамъ поднялись и въ выцвѣтшихъ зрачкахъ явилась колючая искорка.

Но вдругъ онъ опять весь погасъ.

— А теперь... Га! Теперь — все покатилося кверху тормашками на бѣломъ свѣтѣ. Недавно еще... лѣтъ тридцать назадъ, вотъ въ этомъ самомъ Гарномъ Лугѣ была еще настоящая шляхта... Хлоповъ держали въ страхѣ... Чуть-что... А! сохрани Боже! Били, сѣкли, мордовали!.. Правду тебѣ скажу, — даже бывало жалко... потому что не по христіански... А теперь...

Онъ вытянулъ черезъ тынъ свою сухую шею и заговорилъ мнѣ въ ухо тихимъ шопотомъ:

— Теперь мужикъ, клянусь Богомъ и пресвятой Дѣвой, — бьетъ родовитаго шляхтича по мордѣ... И что же?.. Га! Ничего... Да что тутъ и говорить: послѣднія времена!

Было знойно и тихо. Въ огородѣ качались желтые подсолнухи. Къ нимъ жужжа липли пчелы. На кольяхъ стараго

тына черябли опрокинутые горшки, жесткіе листья кукурузы шелестѣли брюзгливо и сухо. Старые глаза озирались съ наивнымъ удивленіемъ: что это тутъ кругомъ? Куда дѣвались панцырные товарищи, панъ Холевинскій, его хоругвь, прежняя шляхта?..

Въ этомъ старцѣ, давно пережившемъ свое время, было что-то дѣтски тихое, трогательно-печальное. Нельзя сказать того же о другихъ представителяхъ nobilitatis harnolusiensis, хотя и среди нихъ попадались фигуры въ своемъ родѣ довольно яркія.

Однажды у капитана случилась пропажа: кто-то ночью взломалъ окно въ нижнемъ помѣщеніи „магазина“ и утащилъ оттуда кадку масла и кадку меду. Первымъ сообщилъ о пропажѣ панъ Лохмановичъ.

Это былъ человекъ съ очень живописной наружностью: широкоплечій, съ тонкой таліей, съ прямымъ польскимъ носомъ и окладистой бородой, красиво разстилавшейся по всей груди,—онъ представлялъ вѣроятно точную копію какого-нибудь воинственнаго предка, водившаго въ бой отряды... Теперь это была форма безъ содержанія. Изъ всѣхъ качествъ старопольскаго воинства въ немъ сохранилась только величавая осанка, богатырскій аппетитъ и благородное влеченіе къ тонкимъ блюдамъ. „Панъ Лохмановичъ,—говорилъ про него капитанъ,—знасть, чѣмъ пахнетъ дымъ изъ каждой печной трубы въ Гарномъ Лугѣ“. Къ мужичью онъ питалъ нескрываемое презрѣніе.

— Ихъ дѣло,—говоритъ онъ увѣренно, когда на пропажу собрались сосѣди.—Шляхтичъ на это не пойдетъ. Имѣю немного, что имѣю, мое. А у хамовъ ни стыда, ни совѣсти, ни страха божія...

Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдругъ одинъ изъ нихъ разыскалъ слѣды подъ окномъ. Слѣды были сапожные, и правый давалъ ясный отпечатокъ сильно сбитаго каблука... Мужики ходятъ въ „постолахъ“. Сапоги — обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблукъ гордаго пана... Въ этой щекотливой стадіи разслѣдованія, панъ Лохмановичъ незамѣтно ступевался...

Поднялся шумъ. „Разнузданное хлопство“, не стѣсняясь, кричало, что капитанскій магазинъ обокрали паны, и съ этимъ извѣстіемъ хлынуло на улицу. Достоинство гарнолузскаго панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорѣльскаго, человекъ свѣдущаго въ вопросахъ чести, и на общемъ совѣтѣ было рѣшено отправить къ Лохмановичу

депутацію. Бывшій панцирный товарищъ сталъ во главѣ ея и обратился къ „брату-шляхтичу“ съ рѣчью... Самъ уважаемый собратъ и благодѣтель видитъ, что обстоятельства исключительнаго рода: хлопство кидаетъ злую „калюнню“ на все благородное сословіе Гарнаго Луга... Единственно для того, чтобы вогнать клевету обратно въ хлопскія пасти,— шляхетство проситъ своего уважаемаго собрата дозволить осмотръ кладовыхъ.

Панъ Лохмановичъ, величавый, какъ всегда, спокойно согласился.

— Pro forma, благодѣтель, pro forma, — говорилъ обрадованный Погорѣльскій. — Только чтобы зажать рты низкой черни.

Обыскъ подходилъ къ концу безъ всякаго результата. „Имѣю мало... что имѣю — мое!“ — повторялъ Лохмановичъ. Собирались уже уходить, когда одинъ изъ мужиковъ, допущенныхъ въ качествѣ депутата, — разгребъ въ углу погреба кучу мякны: подъ ней оказались рядомъ обѣ кадушки...

Подхвативъ ихъ тотчасъ же на плечи, мужики торжественно понесли находку къ капитану, съ криками торжества, съ пѣснями, съ „гвалтомъ и тумультомъ“...

Это былъ жестокій ударъ всему панству. Панъ Погорѣльскій плакалъ, какъ бобръ, по выраженію капитана, оплакивая порчу нравовъ, — *periculum in mores nobilitatis harnolusiensis*. Только самъ Лохмановичъ отнесся къ неприятной случайности вполне философски. Дня черезъ два, спокойный и величавый, какъ всегда, онъ явился къ капитану.

— Не лучше ли, уважаемый собратъ и сосѣдь, — бросить это грязное дѣло, — сказалъ онъ. — Ну, случилось тамъ... съ кѣмъ не бываетъ... Стоитъ ли мѣшать судейскихъ крючковъ въ сосѣдскія дѣла?..

Капитанъ былъ человѣкъ вспыльчивый, но очень добродушный и умѣвший брать многое въ жизни со стороны юмора. Кромѣ того, это было, кажется, незадолго до освобожденія крестьянъ. Чувствовалась потребность единенія... Капитанъ не только не началъ дѣла, простивъ „маленькую случайность“, но въ послѣдствіи ни одно семейное событіе въ его домѣ, когда изъ трубы неслись разные вкусные запахи, — не обходилось безъ присутствія живописной фигуры Лохмановича...

Но едва ли не самыми замѣчательными представителями этого измельчавшаго шляхетства были два брата Банькевича. Одинъ — „завѣдомый ябедникъ“ (былъ въ старину такой официальный терминъ), другой, — увы! — конокрадъ.

Наружность у Антонія (такъ звали ябедника) была не-

обыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой животъ, маленькая лысая голова, сизый носъ и добродушные глаза, свѣтившіеся любовью къ ближнимъ. Когда онъ сидѣлъ въ креслѣ, сложивъ пухлыя руки на животѣ, вращая большими пальцами, и съ тихой улыбкой глядѣлъ на собесѣдника, — его можно было бы принять за олицетвореніе спокойной совѣсти. Въ дѣйствительности это былъ опасный хищникъ.

Ябедникъ, обладавшій острымъ перомъ, знаніемъ законовъ и судопроизводства, — внулалъ среднему обывателю суевѣрный ужасъ. Это былъ злой волшебникъ, знающій магическое „слово“, которое отдаетъ въ его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банькевича представляла нѣчто вродѣ заколдованнаго круга.

Если курица какого-нибудь пана Купцевича попадала въ огородъ Антонія, — она, во-первыхъ, исчезала, а во-вторыхъ, начинался искъ о потравѣ. Если, наоборотъ, свинья Банькевича забиралась въ сосѣдскій огородъ, — это было еще хуже. Какъ бы почтительно ни выпроводилъ ее бѣдный Кунцевичъ, — всетаки оказывалось, что у нея перебита нога, проколота бокъ, или какимъ инымъ способомъ она потерпѣла уронъ въ своемъ здоровьи, что влекло опять уголовные и гражданскіе иски. Сосѣди дрожали и откупались.

— А! Прощу васъ, мой благодѣтель, — говаривалъ съ видомъ безпомощнаго отчаянія одинъ изъ этихъ несчастныхъ. — Ну какъ тутъ быть, когда человѣкъ не знаетъ, какой статьей закона слѣдуетъ гнать изъ огорода гуся, а какой поросенка. А онъ загоняетъ себѣ чужихъ и ничего не боится.

Сосѣдямъ казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особымъ покровительствомъ закона, а ябедникъ, стоя на крылечкѣ, цѣлые дни озиралъ свои владѣнія, высматривая источники дохода...

Слава Банькевича распространилась далеко за предѣлы Гарнаго Луга, и къ нему, какъ къ профессору этого дѣла, прѣзжали за совѣтомъ всѣ окрестные сутяги.

Появленіе въ Гарномъ Лугѣ капитана и независимое отношеніе новаго владѣльца къ опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установившійся авторитетъ. Поэтому Банькевичъ, наружно сохраняя наилучшія отношенія къ „уважаемому сосѣду и благодѣтелю“, высматривалъ удобный случай для нападенія... И вотъ на второй, кажется, годъ пребыванія капитана въ Гарномъ Лугѣ Банькевичъ отправился на его ниву со своими людьми и сжалъ его хлѣбъ.

Убытокъ былъ не очень большой, и запуганные обыватели совѣтовали капитану плюнуть, не связываясь съ опаснымъ человѣкомъ. Но капитанъ былъ не изъ уступчивыхъ. Онъ

принять вызовъ и началъ борьбу, о которой впоследствии разсказывалъ охотѣе, чѣмъ о дѣлахъ съ непріателемъ. Когда ему донесли о томъ, что его хлѣбъ жнутъ работники Банькевича, хитрый капитанъ не показалъ и виду, что это его интересуеть... Жнецы связали хлѣбъ въ снопы, тотчасъ же убрали ихъ, и на закатѣ торжествующій ябедникъ шелъ впереди возовъ, нагруженныхъ чужими снопами.

Дорога пролежала задами мимо капитанской усадьбы. Едва возы, скрипя, поровнялись съ широкими воротами клуни, эти ворота внезапно открылись, капитанъ съ людьми выскочилъ изъ засады и, похватавъ лошадей и воловъ,—завернули возы въ клуню. Ихъ вводили въ одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожнемъ въ другія. Атака произведена была такъ ошеломляюще-быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивленія. Когда все было кончено, капитанъ, снявъ фуражку, любезно благодарилъ добраго сосѣда за его помощь и приглашалъ откушать послѣ трудовъ хлѣба-соли.

Ударъ ябеднику былъ нанесенъ на глазахъ у всего Гарнаго Луга... Всѣ понимали, что дѣло завязалось не на шутку: Банькевичъ отпирался на „отпустъ“, къ чудотворной иконѣ, что дѣлалъ всегда въ особенно серьезныхъ случаяхъ.

Когда онъ вернулся, — изъ его окна всю ночь свѣтился огонь на кусты жасмина, на бурьянъ и подсолнухи, а въ избѣ виднѣлась фигура ябедника, то падавшаго на колѣни передъ иконою, когда изсякало вдохновеніе, то усиленно строчившаго... На деревнѣ пѣли уже пѣтухи, когда окно Банькевича стукнуло, и въ немъ появилось красное лицо со слѣдами не остывшаго еще вдохновенія. Съ выраженіемъ торжества онъ поднялъ руку съ листомъ бумаги и помахалъ имъ въ ту сторону, гдѣ высился темной крышей съ флагишкомъ „магазинъ“ капитана, окруженный тополями.

Всѣ эти подробности одинъ изъ сосѣдей тотчасъ же конфиденціально сообщилъ капитану.

Впоследствии капитанъ ознакомилъ насъ съ драматическими перипетіями этой борьбы. Надѣвъ роговыя очки, поднимъ бумагу высоко кверху, онъ съ чувствомъ перечитывалъ ябеды Банькевича и свои отвѣты...

Писанія Банькевича производили впечатлѣніе своеобразныхъ, но несомнѣнно талантливыхъ произведеній. Стиль былъ старинный русско-польскій, кудреватый, запутанный, усѣянный такими неожиданными оборотами, что порой чтеніе капитана прерывалось общимъ хохотомъ. Только самъ чтець оставался серьезень. Было видно, что онъ отдавалъ дань

искусству противника. Тутъ было, дѣйствительно, и знаніе законовъ, и выразительность, и своеобразный пафосъ, какъ будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя авторъ называлъ не иначе, какъ „сиротой-дворяниномъ“, противника—„именующимся капитаномъ“ (мой дядя былъ штабсъ-капитанъ въ отставкѣ), имѣніе его называлось почему-то „незаконно-пріобрѣтеннымъ“, а рабочіе—„безбожными“... „И какъ будучи тѣ везы на дорогѣ, пролегающей мимо незаконно пріобрѣтеннаго имъ, самозванцемъ Курцевичемъ, двора, то оный самозванный капитанъ со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочивъ изъ засады съ великимъ шумомъ, крикомъ и тумультомъ, яко настоящій тать, разбойникъ и публичный грабитель, похватавъ за обороти собственныхъ его, сироты-дворянина Банькевича, лошадей, а воловъ за ярма,—сопроводили оныхъ въ его, Курцевича, клюю и съ великимъ поспѣхомъ покидали въ скирды. О каковомъ публичномъ рабункѣ и явномъ разбоѣ онъ, нижайшій сирота-дворянинъ Антоній Fortunатовъ Банькевичъ, омочая сію бумагу горькими сиротскими слезами, просить произвести строжайшее слѣдствіе и дать судъ по формѣ“. Въ заключеніе приводились статьи, угрожавшія капитану чуть не ссылкой въ каторжныя работы, и списокъ убытковъ, грозившій раззореніемъ.

На этихъ произведеніяхъ Банькевича я впервые знакомился съ особенностями ябедническаго стиля, но, конечно, мое изложеніе даетъ лишь отдаленное понятіе объ его красотахъ. Особенно поражало обиліе патетическихъ мѣстъ. Старый ябедникъ, очевидно, не могъ серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность; это была безкорыстная дань эстетикѣ, своего рода полетъ чистаго творчества.

Пущенная по рукамъ, жалоба читалась и перечитывалась. Газетъ въ деревнѣ не было. Книги почти отсутствовали, и съ красотами писаннаго слова деревенскіе обыватели знакомились почти исключительно по такимъ произведеніямъ. Всѣ признавали, что ябеда написана перомъ сстрымъ и краснорѣчивымъ, и капитану придется „разгрызть твердый орѣхъ“... Банькевичъ упивался литературнымъ успѣхомъ.

Капитанъ вооружился въ свою очередь, и вскорѣ тоже прочиталъ знакомымъ „въ такой-то уѣздный судъ корпуса лѣсничихъ отставнаго штабсъ-капитана Курцевича отзывъ. А о чѣмъ оный отзывъ“,—тому слѣдовали пункты.

Прежде всего онъ, проситель, не самозванецъ, а истинный Государя своего штабсъ-капитанъ, на что имѣетъ законныя доказательства. Ибо участвовалъ въ дѣлахъ съ мятежниками,

при чемъ понесъ ядерную контузію, имѣеть орденъ. Выйдя въ отставку, опредѣлился на службу по корпусу лѣсничихъ, былъ производимъ въ чины, по прошенію уволенъ въ отставку въ чинѣ штабсъ-капитана съ мундиромъ и пенсіей. Изъ чего явствуетъ, что именующій себя сиротой-дворяниномъ Банькевичъ повиненъ не токмо въ клеветническомъ обогланіи его, Курцевича, но сверхъ того и въ дерзостномъ пренебреженіи Высочайшаго имени, на указахъ обозначеннаго.

Паоосу и чувствительности Банькевича капитанъ противопоставилъ язвительность и иронію. Онъ спрашивалъ: какъ сирота-дворянинъ очутился со снопами у его, Курцевича, клуни, когда всему свѣту извѣстно, что собственное его, Банькевича, владѣніе находится въ другой сторонѣ. „Слыхано и видано,—прибавлялъ капитанъ язвительно,—что сироты ходятъ съ торбами, вымаливая куски хлѣба у добротныхъ дателей, — но чтобы сироты пріѣзжали на чужое поле не съ убогою торбиною, а съ подводами, конно и людно, тому непохвальный примѣръ являетъ собою лишь оный Антонъ Fortunатовъ Банькевичъ, что въ благоустроенномъ государствѣ терпимо быть не можетъ“. А посему, за силою законовъ,—капитанъ, въ свою очередь, требовалъ для Банькевича разныхъ немилостивыхъ наказаній.

Отзывъ онъ повезъ въ городъ лично. Прислуга вытащила изъ сундуковъ и принялась выколачивать военный мундиръ съ эполетами, брюки съ выпушками, сапоги со шпорами и каску съ султаномъ. Развѣшенное на тыну, все это производило сильное впечатлѣніе, и въ глазахъ смиренной публики шансы капитана сильно поднялись.

Тяжба тынулася долго, со всякими подходами, жалобами, отзывами и доносами. Вся слава ябедника шла прахомъ. Одолѣть капитана стало задачей его жизни, но капитанъ стоялъ, какъ скала, отвѣчая на патетическія ябеды язвительными отзывами, все расширявшими его литературную извѣстность. Когда капитанъ читалъ свои произведенія, слушатели хлопали себя по колѣнкамъ и громко хохотали, завидуя такому необыкновенному „дару слова“, а Банькевичъ изводился отъ зависти.

Едва ли самая злая газетная полемика такъ волнуетъ теперь литературныхъ противниковъ, какъ волновала и самихъ участниковъ, и мѣстное общественное мнѣніе эта борьба капитана съ злымъ ябедникомъ, слава котораго колебалась, какъ иная литературная репутація подъ ударами новой критики.

Въ концѣ концовъ, Банькевичъ потерялъ самообладаніе и сталъ писать доносы въ высшія инстанціи на самихъ судей,

чинящихъ одному Курцевичу толеранцію и потакательство, а ему, сиротѣ-дворянину—импертыненцію и несправедливость. Кромѣ того, онъ засыпалъ разныя учрежденія доносами на родственниковъ и знакомыхъ капитана и на знакомыхъ этихъ знакомыхъ. Стоило становому, проѣзжая по стороннему дѣлу, завернуть къ капитану,—Банькевичъ писалъ доносъ на становаго. Это была игра уже не на выигрышъ, а отчаянная, слѣпая защита ябедническаго самолюбія...

Судъ, которому это надоѣло, собралъ всѣ писанія Банькевича и отослалъ въ сенатъ. Сенатъ примѣнилъ къ Банькевичу статью о „завѣдомыхъ ябедникахъ“, отъ коихъ всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и лицамъ воспрещается принимать жалобы и доносы. Рѣшеніе это настигло Банькевича, какъ громъ среди яснаго неба. По предписанію нижняго земскаго суда, въ Гарный Лугъ явился становой приставъ съ волостными и сельскими властями. Собравъ гарнолужскихъ понятыхъ, онъ съ злораднымъ торжествомъ явился къ Антонію, отобралъ у него всю бумагу, перья, чернила и потребовалъ у „завѣдомаго ябедника“ подписку о „неимѣніи оныхъ принадлежностей и на впредь будущія времена“.

Банькевичъ былъ уничтоженъ. У злого волшебника отняли черную книгу, и онъ превратился сразу въ обыкновеннаго смертнаго. Теперь самые смиренные изъ его сосѣдей гоняли дрючками его свиней, нанося дѣйствительное членовредительство, а своихъ поросятъ, захваченныхъ въ заколдованныхъ нѣкогда предѣлахъ,—отнимали силой. „Завѣдомый ябедникъ“ былъ лишенъ покровительства законовъ.

Одной темной осенней ночью на дворѣ капитана завyla собака, за ней другая. Проснулся кто-то изъ работниковъ, но сначала ничего особеннаго во дворѣ не замѣтилъ... Потомъ за клуней что-то засвѣтилось. Пока онъ будилъ другихъ работниковъ и капитана, та самая клуныя, съ которой началась ссора, уже была вся въ огнѣ.

Эту ночь долго помнили въ Гарномъ Лугѣ. Хлѣбъ уже былъ свезенъ, но только небольшая часть обмолочена и зерно сложено въ „магазинъ“. Оставшіеся скирды и солома пылали такъ сильно, что невозможно было подступиться; вверху надъ пожаромъ въ кровавомъ отсвѣтѣ вмѣстѣ съ искрами кружились голуби и падали въ нламя, а огромные тополи около магазина стояли, точно сейчасъ отлитые изъ расплавленной мѣди. Поджогъ былъ сдѣланъ съ расчетомъ, — вѣтеръ дулъ на магазинъ. Но вскорѣ онъ перемѣнился и подулъ въ поле. Величавое дряхлое зданіе уцѣлѣло; только у нѣкоторыхъ тополей посохли верхушки и долго потомъ торчали сухими вѣниками

надъ остальной буйной лютвой, напоминая о страшной ночи.

Капитанъ въ эту ночь посѣдѣлъ. Онъ хватался за пистолеты, и женѣ стоило много труда удерживать бѣшенныя вспышки. А панъ Антоній сидѣлъ утромъ на своемъ крылечкѣ, попрежнему сложивъ руки на кругломъ животѣ и крутя большими пальцами. Сосѣди видѣли, какъ онъ вышелъ изъ своей хаты въ началѣ пожара, протирая глаза и неодѣтый. Уликъ, значить, не было. Но онъ не скрывалъ, что горячо молился пресвятой дѣвѣ о своихъ обидахъ. И она дала ему понять, что его сиротскія слезы не будутъ оставлены безъ отмщенія... При этомъ масляные глазки „сироты-дворянина“ сверкали радостнымъ умилениемъ, а на губахъ играла такая странная улыбка, что сосѣди опять начали низко кланяться Антонію...

Одинъ разъ успѣхъ какъ будто улыбнулся старому ябеднику и на любимомъ поприщѣ. Подошло время возстанія. Капитанъ былъ полякъ, но патриотъ неважный, и опять бралъ событія съ юмористической стороны. Между прочимъ, онъ вздумалъ пошутить надъ Погорѣльскимъ и сталъ уговаривать бывшаго панцырнаго товарища поступить въ банду. „Повстанцамъ недостаетъ вождей, и человѣкъ, служившій въ хоругви Холевинскаго, можетъ стать во главѣ отряда“. Бѣдный старикъ вздыхалъ, даже плакалъ, отбиваясь отъ соблазнителя: ни нога уже не годится для стремени, ни рука для сабли,—но капитанъ изо дня въ день приходилъ къ его хатѣ, нашептывая одно и то же. Въ одномъ изъ этихъ разговоровъ онъ намекнулъ, что „до ясу“ повезли цѣлые возы окороковъ. Бѣдный оголодавшій старикъ не выдержалъ и на утро послѣ разговора—пришелъ записаться.

Судьба чуть не заставила капитана тяжело расплатиться за эту жестокость. Банькевичъ подхватилъ его рассказъ и послалъ доносъ, изложивъ довольно точно самые факты, только, конечно, лишивъ ихъ юмористической окраски. Время было особенное, и капитану пришлось пережить нѣсколько тяжелыхъ минутъ. Только видъ бѣднаго старика, расплакавашагося, какъ ребенокъ, въ комиссіи, убѣдилъ даже жандарма, что такого вояку можно было вербовать развѣ для жестокой шутки и надъ нимъ, и надъ самимъ дѣломъ.

У ябедника Антонія былъ братъ Фортунатъ. Образъ жизни онъ вель загадочный, часто куда-то отлучался и пропадалъ надолго съ гарнолузскаго горизонта. Водился онъ съ цыганами, греками и вообще сомнительными людьми „по лошадиной части“. Порой къ гарнолузскому табуну нивѣсть откуда присоединялись дорогія статныя лошади, которыя также таин-

ственно исчезали. Многіе качали при этомъ головами, но... панъ Фортунатъ былъ человѣкъ обходительный и любезный со всѣми...

Однажды онъ исчезъ и болѣе въ Гарномъ Лугѣ не появлялся. Говорили, будто онъ сложилъ свою дворянскую голову гдѣ-то темною ночью, на промыслѣ за чужими лошадьми. Но достоверно ничего не было извѣстно.

XXIV.

Деревенскія отношенія.

Экзамены кончены. Предстоитъ два мѣсяца свободы и поѣздка въ Гарный Лугъ. Мать съ сестрами и старшій братъ поѣдутъ черезъ нѣсколько дней на наемныхъ лошадяхъ, а за нами тремя пришлютъ „тройку“ изъ Гарнаго Луга. Мы нетерпѣливо ждемъ.

Наконецъ, „тройка“ является. Прежде всего на улицѣ по направленію отъ заставы слышенъ шумъ. Бѣжить насмѣшливое еврейское юношество, крича, кривляясь, кидаясь грязью. Въ серединѣ этой толпы виднѣются три малорослыя лошади: сивая кобыла, старшій меринъ, именуемый по прежнему владѣльцу Банькевичемъ, и третій,—молодой конекъ, почти жеребенокъ, припрягаемый „на случай несчастія“. Въ передній конецъ онъ бѣжить рядомъ съ другими на оброти. На козлахъ сидитъ молодой парубокъ въ бараньей шапкѣ, лаптяхъ и штанахъ съ мотней... Къ нему подбѣгаютъ насмѣшливыя мишуресы, предлагая ясновельможному пану захватить къ нимъ. Когда оваціи становятся слишкомъ шумны и назойливы, — „кучеръ“ приподымается и отмахивается кнутомъ, какъ отъ собакъ. Лицо его при этомъ совершенно дѣловито и серьезно. Почтенныя рабочія лошади тоже относятся къ шумной суетнѣ совершенно серьезно: Ванькевичъ только стрижетъ ухомъ, кобыла едва шевелитъ хвостомъ, и только юный жеребчикъ, къ удовольствію толпы, становился поперекъ, высоко лягался и распускалъ хвостъ трубой.

Кучеръ Антось былъ парубокъ на удивленіе некрасивый: странной формы, суженная кверху голова, нѣсколько кривыя, широко разставленныя въ бедрахъ ноги, точно ущипнутый носъ и толстыя губы. Все вмѣстѣ производило впечатлѣніе, вызывавшее невольную улыбку. Впрочемъ, онъ и самъ готовъ былъ посмѣяться надъ собой. Даже выраженіе его смѣшныхъ губъ напоминало, какъ будто, не самое безобразіе, а пародію на чье-то безобразіе. И объяснилось это, кажется, глубокой ироніей, съ которою онъ относился къ своей родной деревнѣ, Гарному Лугу, и ко всему, что изъ него исходило, значить— въ томъ числѣ и къ себѣ. Когда Саяя выбѣгала на-встрѣчу

и принимался съ умиленіемъ цѣловать морды Банькевича и кобылы, Антось смотрѣлъ на эти изліянія съ насмѣшливымъ презрѣніемъ и безъ всякаго повода вытягивалъ Банькевича кнутомъ.

Въ первый пріѣздъ, завернувъ лошадей къ сараю и увидя Саню,—онъ сказалъ ему просто:

— Отъ я и пріѣхаль.

— Гы! А мы и не видимъ,—насмѣшливо замѣтилъ лакей отца, Павелъ, молодой человекъ съ глуповатымъ лицомъ и отвислой нижней губой, но въ сюртукъ и грязной манишкѣ. Горничная и кухарка подозрительно фыркнули.

Антось нимало не смутился. Скорчивъ невѣроятную рожу, онъ вытянулъ губы хоботомъ и такъ щелкнулъ въ сторону Павла, что обѣ женщины расхохотались уже надъ Павломъ. Къ вечеру онъ сталъ на кухнѣ своимъ человекомъ и пользовался видимымъ успѣхомъ.

Въ городѣ онъ былъ тогда въ первый разъ и отнесся къ его чудесамъ съ почтительнымъ вниманіемъ. Запасшись кнутомъ на случай новыхъ еврейскихъ овацій, онъ весь день осматривалъ достопримѣчательности и долго стоялъ, задравши голову, передъ старымъ замкомъ на островѣ. Я засталъ его тамъ: нескладная фигура терялась у подножія гигантскаго каменнаго рыцаря, стоящаго у подѣзда. Глаза парубка съ наивнымъ изумленіемъ бродили по стѣнамъ съ фресками и проникали въ зіяющія впадины оконъ, откуда изъ таинственнаго полумрака поблескивала кое-гдѣ позолота карнизовъ, и случайный лучъ свѣта выхватывалъ уцѣлѣвшія на стѣнахъ фигуры нимфъ и амуровъ.

— Вотъ это видно, что паны когда-то жили,—сказалъ онъ, увидя меня. И, какъ-то особенно вздохнувъ, прибавилъ:

— Паны были настоящіе...

Мнѣ показалось, что въ этомъ вздохѣ, вмѣстѣ съ почтеніемъ къ настоящимъ панамъ, слышалась укоризна по адресу какихъ-то другихъ, „ненастоящихъ“...

Утромъ онъ поднялъ насъ еще до разсвѣта, и мы по хотодку проѣхали мимо заставы съ соннымъ инвалидомъ.

Эти поѣздки съ Антосемъ въ Гарный Лугъ были для насъ настоящимъ праздникомъ; нельзя сказать, чтобы намъ было особенно удобно въ ободранной и тѣсной гарнолужской таратайкѣ. Зато цѣлый день передъ нами мелькали лѣса, поля, перелѣски, рѣки. Стороной около шоссе тянулись вереницы богомольцевъ въ Почаевъ; ковылялъ старый еврей съ мѣшкомъ, разносчикъ своеобразной (впослѣдствіи запрещенной) еврейской почты; тащилась, шурша по щебню, балагула, затянута сверху пологомъ на обручахъ и набитая биткомъ го-

ловами, плечами, ногами, перинами и подушками... На козлахъ еврей, живой и нервный, то и дѣло взмахивалъ кнутомъ, шевелилъ вожжами, головой, локтями, колѣнями и подбодрялъ лошадей отчаяннымъ крикомъ, не производившимъ на нихъ ни малѣйшаго впечатлѣнія.

Около 12-ти часовъ мы останавливались кормить въ еврейскомъ заѣзжемъ дворѣ, проѣхавъ только половину дороги, около 30 верстъ. Послѣ этого мы оставляли шоссе и сворачивали на проселки.

Антось великодушно отдавалъ намъ вожжи, а самъ сидѣлъ бокомъ и, свѣсивъ ноги, курилъ корешки въ черешневой трубкѣ, искусно сплевывая сквозь зубы.

— Вдарь Ванькевича, вдарь! — командовалъ онъ и попеременно бралъ кнутъ. Хлесткій ударъ влипалъ въ спину злополучнаго мерина. Тройка встряхивала костистыми спинами, телѣжка катилась быстро.

Порой въ клубкѣ пыли выкатывалась съ проселка помѣщичья бричка. Антось окидывалъ ее внимательно критикующимъ взглядомъ и по большей части презрительно кривилъ губы, находя, вѣроятно, что упряжка не настоящая. Но вотъ на дорогу, какъ звѣри, выбѣжала изъ лѣсу пара сѣрыхъ, въ краковскихъ хомутахъ. На козлахъ сидѣлъ бравый кучеръ въ шапочкѣ съ павлиньимъ перомъ и наборномъ поясѣ. Въ сидѣннѣ виднѣлся панъ въ полотняномъ плащѣ отъ пыли, кинувшій на насъ мимолетный усталый взглядъ. Антось торопливо свернулъ съ дороги и долго провожалъ видѣнне восхищеннымъ взглядомъ.

— Зализныцкый панъ, — сказалъ онъ почтительно... — Вотъ это кони... и кучеръ... Го-го!..

И бѣдному Банькевичу опять досталось вдоль спины за то, что онъ не настоящий панскій конь, Антось не настоящій кучеръ и везетъ не настоящихъ паничей. Въ нашихъ взаимныхъ отношеніяхъ пробѣгало облако: мы чувствовали, что въ сущности Антось презираетъ насъ... правда вмѣстѣ съ собою...

Солнце склонялось къ закату, а наша „тройка“ все еще устало мѣсила пыль по проселкамъ, окруженная зноемъ и оводами. Казалось, мы толчемся на одномъ мѣстѣ. Некованныя копыта мягко шлепали по землѣ; темнѣло; гдѣ-нибудь на дальнемъ болотѣ гудѣлъ „бугай“, въ придорожной ржи сопно ударялъ перепелъ, и негонири пролетали надъ головами, внезапно появляясь и исчезая въ сумеркахъ.

Становилось все тише, спокойнѣе и, какъ будто, печальнѣе. Мы приближались къ цѣли; чувствовалась по знакомымъ признакамъ близость Гарнаго Луга, и, вмѣстѣ съ радостью, ка-

кой-то еще клубокъ странныхъ ощущений катился за нами въ пыльной сумеречной мглѣ. Головы отяжелѣли отъ жары, солнца и неудобнаго сидѣнія. Хотѣлось поскорѣй свѣтлой комнаты, чаю, покоя. И изъ-за близости всего этого проглядывала смутная, неясная, неоформленная тревога, ожиданіе чего-то еще... чего-то неприятнаго, что вѣдетъ вмѣстѣ съ нами въ деревню и останется на все время...

Мы долго молчимъ. Таратайка ныряетъ въ лѣсъ. Антось, не говоря ни слова, беретъ вожжи и садится на козлы. Тройка бѣжитъ бодрѣе, стучать копыта, порой колесо звонко ударяетъ о корень, и трескъ отдается по темной чащѣ.

— Вотъ тутъ зимой за Антосемъ бѣжали два волка,—задумчиво говорить Саня и прабавлясть:

— Антось, правда?

Антось не отвѣчаетъ. Лица его не видно, но мы чувствуемъ, что оно теперь недоброжелательно и угрюмо, и что причина этого—близость Гарнаго Луга. Лѣсъ рѣдѣетъ. Песчаная дорога ведетъ къ мостику, подъ которымъ сочится и журчитъ невидимая рѣчка. Это здѣсь когда-то устраивались засады на Инкели съ бочкой... Телѣжка выкатывается на онушку.

Огромный звѣздный сводъ виситъ надъ широкой темной ложиной. На горизонтѣ смутно рисуется группа тополей и темный массивъ „магазина“. Кругомъ беспорядочно разбросаны огоньки.

Какъ хорошо... И какъ печально. Мнѣ вспоминается дѣтство и деревня Коляновскихъ... Точно прекрасное облако на свѣтлой зарѣ лежитъ въ глубинѣ души это воспоминаніе... Тоже деревня, только совсѣмъ другая... И другіе люди, и другія хаты, и какъ-то по иному свѣтились огни... Доброжелательно, ласково... А здѣсь...

Телѣжка останавливается и даже откатывается назадъ. Передъ нами въ темнотѣ столбы скрипучаго „коловорота“ у въѣзда въ деревню. Кто-то отодвигаетъ его передъ нами. Налѣво, на холмикѣ, свѣтитъ открытая дверь кабака. Въ глубинѣ видна стойка и тощая фигура шинкаря. Снаружи, на „призбѣ“, маячитъ группа мужиковъ...

— Ты это, Антось?—несется оттуда вопросъ.

— А кто-жъ?.. Я.

— Рано выѣхалъ?

— До схида сонця...

— Отакъ... А пріѣхалъ ночью...

— Добрые кони,—насмѣшливо отвѣчаетъ Антось, и хлесткій ударъ звонко шлепаетъ въ мягкой тишинѣ вечера.

— Что слышалъ?

— Ничего... Встрѣтили Зализныцкаго пана. Купилъ новую пару. Огонь!.. На кучерѣ новая свита...

— Пань... настоящей...

Короткое молчаніе. Вспыхиваютъ красные огоньки люлекъ. Одинъ изъ мужиковъ подходитъ къ телѣжкѣ, заглядываетъ къ намъ и вѣжливо здоровается. Но отъ шинка опять несутся безцеремонныя замѣчанія:

— Привезь-таки?

— А привезь,—отвѣчаетъ Антось.

— Всѣхъ?

— А кто его знаетъ: можетъ пару обронилъ по дорогѣ. Пойдите, добрые люди, подберете,—ваше.

— Своихъ довольно, свои осточертѣли до бѣса..

Въ голосѣ слышна угрюмая вражда.

— Геть-геть... вьо-о!

Антось щелкаетъ кнутомъ и принимаетъ позу „настоящаго“ панскаго кучера, собирающагося лихо подкатить къ крыльцу... Онъ дѣлаетъ видъ, что съ трудомъ удерживаетъ лихую тройку, и даже отваливается корпусомъ назадъ. У кабака смѣются. Тройка дергаетъ впередъ и заворачиваетъ въ переулокъ, гдѣ за ней увязываются собаки. Подъ этотъ лай, подъ хлопанье бича и кривлянье Антоса, мы подѣзжаемъ къ скромному дому капитана... И, вмѣстѣ съ радостью прибытія, съ предчувствіемъ долгой свободы, въ душѣ стоитъ смутное сознаніе, что на эти два мѣсяца мы становимся „гарнолужскими паничами“. И надъ нами, какъ тѣнь отъ невидимой тучи, простирается общее отношеніе этихъ убогихъ хатъ къ своему панству... То-есть инстинктивная вражда, какъ къ панству вообще, и презрѣніе, какъ къ панству „ненастоящему“...

Я увѣренъ, что многіе мои сверстники, выросавшіе въ условіяхъ ликвидаціи крѣпостного строя—въ той или другой формѣ, въ той или другой степени вспомнить это особое сложное „деревенское впечатлѣніе“...

Одинъ изъ работниковъ капитана, молодой парубокъ Иванъ, не стѣняясь нашимъ присутствіемъ, по своему объяснялъ социальную исторію Гарнаго Луга. Чортъ несъ надъ землей кошницу съ панами и сѣялъ ихъ по свѣту. Пролетая надъ Гарнымъ Лугомъ, проклятый чертяка ошибся и сыпнулъ сѣмена гуще. Отъ этого здѣсь панство закустилось, какъ бурьянъ на томъ мѣстѣ, гдѣ случайно „лягнула“ корова. А настоящей травѣ, то есть мужикамъ, совсѣмъ не стало ходу...

Другіе рабочіе смѣялись, мы... слушали.

Этотъ Иванъ былъ парубокъ молодой, смуглый, съ глазами, горящими, какъ угли. Изъ нихъ глядѣла мрачная вражда,

отъ которой довременамъ становилось жутко. Мы не могли тогда понять источника этой вражды и считали Ивана просто отвратительнымъ человѣкомъ съ дурнымъ характеромъ... Но въ мрачномъ пламени его глазъ было что-то незабываемое, безпредметно гнѣвное, стихійное. Казалось, онъ можетъ безъ всякой причины кинуться на человѣка, зарубить топоромъ, пропороть вилами. Однажды, когда мы вмѣстѣ съ рабочими возили съ поля снопы, у Ивана вырвались лошади съ по-рожной телѣгой, прибѣжали во дворъ съ однимъ передкомъ, и въ необъяснимомъ ужасѣ забились въ тѣсный уголь между плетнемъ и сараемъ. Иванъ прибѣжалъ за ними и, схвативъ большой дрюкъ, сталъ колотить напуганныхъ животныхъ по чемъ попало, бѣшено, изступленно, прямо безумно. Нѣсколько человѣкъ едва справились съ освирѣпѣвшимъ парубкомъ, а лошади до самаго вечера дрожали, какъ въ лихорадкѣ, не-перестающею мелкою дрожью. Къ рабочимъ онъ не выказы-валъ никакой вражды, а только отмахивался и рвался опять къ „проклятой панской скотинѣ“.

Капитанъ обыкновенно въ случаяхъ неисправностей ругалъ виновнаго на чемъ свѣтъ стоитъ такъ громко, что было слышно по всей деревнѣ. Но на этотъ разъ онъ не сказалъ ни слова. Только на слѣдующее утро велѣлъ позвать Ивана.

Тотъ вошелъ, какъ всегда угрюмый, но смуглое лицо его было спокойно. Капитанъ пощелкалъ нѣсколько минутъ на счетахъ и затѣмъ протянулъ Ивану заработанныя деньги. Тотъ взялъ, не интересуясь подробностями разчета, и молча вышелъ. Очевидно, оба понимали другъ друга... Матери послѣ этого случая на нѣкоторое время запретили намъ участвовать въ возкѣ сноповъ. Предлогъ былъ — дикость капитанскихъ лошадей. Но чувствовалось не одно это.

Можетъ-быть, этотъ Иванъ былъ сынъ какого-нибудь спор-наго Микиты...

Была еще во дворѣ капитана характерная фигура, работ-никъ Карлъ или, какъ его называли на польскій ладъ,—Ка-роль. Это былъ не совсѣмъ заурядный крестьянинъ, а по виду и совсѣмъ не мужикъ. Самое имя его было неправославное (кажется, онъ былъ изъ униатовъ). Черты лица были тонки, суховаты, заострены. Сѣтъ морщинокъ около глазъ отбѣняла ихъ странное выраженіе: то задумчиво спокойное, то какое-то колючее и горькое. Онъ былъ мастеръ на всѣ руки: слесарь, столяръ, плотникъ и даже механикъ. А такъ какъ капитанъ самъ тоже обладалъ жилкой изобрѣтателя-самоучки, то ихъ соединяла какъ будто симпатія родственныхъ натуръ. Они сообща построили водяную мельницу, шумѣвшую колесами на

заднемъ концѣ пруда, а потомъ, когда воды оказалось мало для крупнаго помола,—конный приводъ. Часто ихъ можно было видѣть вмѣстѣ: Кароль сидѣлъ на бревнѣ или на мельничномъ приводѣ, съ вѣчной люлькой въ зубахъ и маленькимъ товорикомъ въ рукахъ. Онъ постукиваетъ топорикомъ, курить, силевываетъ, не говоритъ ни слова и внимательно слушаетъ. А капитанъ, увлекаясь и жестикулируя, развиваетъ какой-нибудь новый планъ. Фантазеръ и изобрѣтатель, онъ эти свои планы излагалъ съ увлеченіемъ, картинно, восторженно. А Кароль, усвоивъ ихъ сущность, приводилъ въ исполненіе, самостоятельно исправляя недочеты замысла.

Въ эти минуты ихъ можно было принять за двухъ неразлучныхъ друзей. Но иной разъ капитанъ за-глаза говорилъ съ горечью:

— А! Мужикъ, такъ мужикъ и есть! Какъ волка ни корми,—все въ лѣсъ глядитъ.

А Кароль иногда запивалъ и тогда они старались не встрѣчаться.

Какъ-то разъ, на второй или на третій годъ нашихъ пріѣздовъ мы узнали, что когда-то, незадолго до освобожденія, капитанъ приказалъ обливать Кароля холодной водой на морозѣ...

Капитанъ былъ человѣкъ добрый, но время было тревожное, предразсвѣтное, когда мракъ какъ будто еще сгущается и призраки ночи мечутся въ предчувствіи скорого пѣтушинаго крика... Ходили темные слухи о волѣ и въ крестьянскую массу они проникали еще болѣе смутные, неправдоподобные, фантастичные...

Въ окрестностяхъ появился гайдамакъ, называвшій себя новымъ Кармелюкомъ. Это былъ мужикъ изъ ближняго села, ходившій по лѣсу вмѣстѣ съ обнищавшимъ шляхтичемъ изъ мѣстечка Корца и грабившій однихъ пановъ. Черезъ нѣкоторое время шляхтича нашли утопленнымъ въ колодцѣ, а гайдамака выдалъ знакомый мужикъ. На него сдѣлали облаву, въ которой участвовали также помѣщики (капитанъ въ ихъ числѣ),—и сослали въ Сибирь... Нѣсколько лѣтъ объ немъ не было ни слуху ни духу и вдругъ онъ объявился опять. Мужикъ-доносчикъ косилъ на лужайкѣ въ лѣсу, когда передъ нимъ неожиданно всталъ гайдамакъ. Доносчикъ считалъ себя погибшимъ; но тотъ заставилъ его сѣсть на пень и... дочиста обрилъ бороду, усы и голову. Въ такомъ видѣ онъ отпустилъ его вѣстникомъ къ панамъ: новый Кармелюкъ собирается въ гости...

Однажды, на Рождествѣ, Кароль съ другимъ рабочимъ, возвращаясь изъ церкви лѣсной тропинкой, наткнулись въ чащѣ на огонекъ. У костра сидѣли двое вооруженныхъ людей.

Они спросили у испуганных рабочих—чи они?—угостили водкой и сообщили, что панамъ скоро конецъ.

Вернувшись, ни Кароль, ни его спутникъ ничего не сказали капитану о встрѣчѣ, и онъ узнать объ ней стороной. Онъ былъ человекъ храбрый. Угрозы не пугали его, но умолчаніе Кароля онъ затаилъ глубоко въ душѣ, какъ измѣну. Въ обычное время онъ съ мужиками обращался лучше другихъ и мужики отчасти выдѣляли его изъ рядовъ ненавидимаго и презираемаго панства. Теперь онъ тѣснѣе сошелся съ шляхтой и даже простилъ поджигателя Банькевича.

Однажды, въ какое-то неподходящее время Кароль запилъ и запой длился дольше обыкновеннаго. Капитанъ вспылить и рѣшилъ прибѣгнуть къ экстреннымъ мѣрамъ. На дворѣ у него былъ колодець съ „журавлемъ“ и желобомъ для поливки огорода. Онъ велѣлъ раздѣть Кароля, положить подъ жолобъ на снѣгъ и пустить струю холодной воды... Приказаніе было исполнено, не смотря на слезы и мольбы жены капитана... Послушные рабы истязали раба непокорнаго...

Объ этой исторіи никто впоследствии не смѣлъ напомнить капитану и, когда, узнавъ объ ней, я спросилъ у двоюродной сестры: правда ли это?—она вдругъ поблѣднѣла и съ расширенными глазами унавшимъ голосомъ сказала:

— Правда, но... ради Бога тише.

Эпизодъ этотъ залегъ въ моей памяти какимъ-то страннымъ противорѣчіемъ и порой, глядя, какъ капитанъ развивается передъ Каролемъ какой-нибудь новый планъ, а тотъ слушаетъ внимательно и спокойно,—я спрашивалъ себя: помнить ли Кароль или забылъ? И если помнить, то винить ли капитана? Или себя? Или никого не винить, а просто носить въ душѣ безпредметную горечь и злобу? Ничего нельзя было сказать, глядя на суховатое морщинистое лицо, съ колючей искоркой въ глазахъ и съ тонкими губами, скатыми, точно отъ ощущенія укуса и желчи...

Впрочемъ, и я, конечно не разбирался и не суммировалъ своихъ впечатлѣній. Капитанъ человекъ добродушный... И онъ обливалъ человека водой на морозѣ... Кароль съ нимъ теперь какъ будто друженъ... Но „какъ волка ни корми,—онъ глядитъ въ лѣсъ“. И что-то неприятное примѣшивалось ко всемъ деревенскимъ впечатлѣніямъ. Было хорошо иной разъ отправиться въ покое, съ кучкой деревенскихъ ребятъ, весело скакавшихъ въ сумеркахъ на неосѣданныхъ лошадяхъ. Приятно и жутко спать въ саду подъ деревомъ, прислушиваясь къ почнымъ шопотамъ и шорохамъ... Порой среди тихаго бреда ночной природы срывалось отяжелѣвшее яблоко и.

громко хлопая по листьямъ, падало на землю... Кричить дальній пѣтухъ... Тявкаетъ на деревнѣ собака... Близко пролетаетъ съ торопливымъ звонкимъ крикомъ какая-то неугомонная или напуганная птица... И вдругъ въ затихшемъ саду новые звуки: треснула вѣтка хвороста; шуршатъ кусты. Дерево дрожить слишкомъ частою дрожью, яблоки стучать по землѣ какъ градъ... Это *они* изъ деревни забрались въ садъ и подходятъ къ нимъ опасно. Мы втроемъ пачинаемъ стучать по стволамъ и кричимъ въ темноту чащи. Со двора бѣгутъ собаки. Неясныя тѣни медленно исчезаютъ въ кустахъ...

Матери опять не хотятъ насъ пускать почевать въ саду. Богъ знаетъ, что у *нихъ* на умѣ... Но тѣ, что приходятъ „на дворъ“ съ просьбами, кланяются, цѣлуютъ руки... А тѣ, что работаютъ у себя на поляхъ,—кажутся такими умѣлыми и серьезными, но замкнутыми и недоступными...

Усадьба капитана была ограждена непроницаемыми кустами сирени и наша жизнь постепенно все болѣе замыкалась въ ея предѣлахъ... Между нами и деревней стояла стѣна, и мы чувствовали себя людьми безъ собственной среды.

Правда капитанъ жилъ теперь въ мирѣ съ сосѣдями, и гарнолужскіе „ланы“ часто посѣщали его привѣтливый домъ. Лохмановичъ, по прежнему „маестатозный“, хотя надѣвшій вмѣсто „чамары“ простую „сукману“ изъ верблюжьей шерсти, не пропускалъ ни одного торжественнаго случая. Приходилъ, покашливая въ передней, кланялся капитану, цѣловалъ руки у женщинъ и ждалъ „стола“. Изъ всѣхъ остальныхъ претензій онъ особенно сохранилъ претензіи гастронома и увѣрялъ, будто можетъ различать тончайшіе отгѣнки винъ. Пользуясь его слабостью, мы приготовляли порой невѣроятныя смѣси, создавая для нихъ торжественную обстановку. Бѣдный шляхтичъ смотрѣлъ на свѣтъ, смаковалъ, нилъ съ удовольствіемъ и хвалилъ. Только однажды, когда мы хватили черезъ край и угостили смѣсью пива, вина и дрожжей,—онъ все-таки выпилъ всю бутылку, но на вопросъ о качествѣ,—отвѣтилъ:

— Ну... скажу вамъ откровенно: обыкновенное столовое вино... не больше.

Въ особенно торжественныхъ случаяхъ являлся въ капитанскомъ домѣ даже „завѣдомый ябедникъ“, сирота-дворянинъ Банькевичъ. Онъ сильно растолстѣлъ и ослабъ. За ужиномъ ѣлъ невѣроятно много, а затѣмъ садился поуютнѣе въ креслѣ и, сложивъ на животъ красныя руки, глядѣлъ на танцующую или играющую молодежь благодушными глазками, пака не засыпалъ. Было извѣстно, что въ такія минуты съ достойнымъ шляхтичемъ бываютъ не совсѣмъ приличныя случаи-

ности. Кавалеры хихикали, барышни краснѣли, а безпечный шляхтичъ просыпался, окидывалъ притихшій залъ свѣтлымъ взоромъ и спрашивалъ:

— А?.. Что такое?..

Порой прїѣзжали болѣе отдаленные сосѣди помѣщики съ семьями, но это бывало рѣдко и мимолетно. Прїѣзжали, здоровались, говорили о погодѣ, молодежь слушала музыку, порой танцевала. Ужинали и разъѣзжались, чтобы не видаться опять мѣсяцы. Никакихъ общихъ интересовъ не было, и мы опять оставались въ чертѣ точно заколдованной усадьбы.

Яркій солнечный день. Раскаленные лучи заливаютъ круглую клумбу съ цвѣтами, темную зелень сирени, садовыя аллеи. Гдѣ-то, какъ немазанное колесо, клеочетъ аистъ, въ раскрытыя окна изъ гостиной несутся звуки фортепiano. Это кухня играетъ пьесы изъ своего небогатаго репертуара: „Пѣсня безъ словъ“, „Молитва дѣвы“, „Полонезъ Огинскаго“, шумки и думки польско-украинскихъ композиторовъ. Играетъ недурно... Звуки, полные то безпредметной страсти, то неоформленныхъ историческихъ воспоминаній, то мечтательнаго томленія, рвутся изъ комнаты, вѣютъ надъ цвѣтами, вьются, носятся, гаснутъ надъ истомленнымъ садомъ. Я слушаю ихъ съ наслажденіемъ, страннымъ, томительнымъ, жуткимъ. Они рождаютъ въ груди ощущеніе, которое ищетъ исхода, порывается куда-то далеко за этотъ кругъ цвѣтовъ и сирени, куда-то вдаль... Порывается и не можетъ взлетѣть, и носится все въ томъ же тѣсномъ и знойномъ кругу... Я ухожу въ темные уголки сада, сажусь тамъ и даю волю воображенію... Въ пѣвучемъ рокотѣ фортепiano, смягченномъ разстояніемъ и зарослями, мнѣ слышится звонъ чашъ, лягъ сабель, крики борьбы... И опять романтическіе призраки прошлаго обступаютъ меня кругомъ, овладѣваютъ душой, колышутъ, баюкаютъ, нѣжатъ, уносятъ въ невѣдомые края и невѣдомое время... Рыцари, знамена, пыль на стениныхъ широкихъ шляхахъ... Скачка, погоня, сѣча... Съ кѣмъ? За что? Съ какой цѣлью? Во имя какой идеи? Этого не говоритъ ни этотъ звенящій рокотъ, ни раскаленное зноемъ воображеніе... А гдѣ-то тамъ, за предѣлами усадьбы, идетъ своя трудовая жизнь, невѣдомая и чуждая... Отъ нея вѣетъ въ наши заколдованные предѣлы отчужденностью, презрѣніемъ,—враждой... И нѣтъ ничего, что бы связало жизнь воображенія, мечты, порыва съ этой суровой, но дѣйствительной жизнью труда и терпѣнія

На третій, кажется, годъ мы прїѣхали въ Гарный Лугъ зимой, на святки и здѣсь узнали, что Антося умеръ.

На меня это извѣстіе произвело такое впечатлѣніе, какъ будто все то неопредѣленное, чѣмъ вѣяло на насъ съ мужичьей деревни, вдругъ сгустилось въ темное облако и оттуда палъ громовой ударъ.

Судьба некрасиваго парубка была не совѣмъ обыкновенна.

— Антося, можетъ быть, не простой человѣкъ, — говорилъ намъ со своимъ простодушно-печальнымъ и задумчивымъ видомъ Сани.

Происхожденіе Антося было для насъ окутано тайной. Впослѣдствіи я узналъ, что тайна эта не особенно сложна. Въ усадьбѣ капитана жилъ некоторое время молодой землемѣръ и была „покоевая панна“ (нѣчто почетнѣе обыкновенной горничной), изъ обнищавшей шляхты. Онъ былъ бѣднякъ, но... это не помѣшало увлеченію, а только свадьбѣ. За околицей подъ купой большихъ осокорей стояла хата старушки-вдовы Гапки, и въ этой хатѣ Антося увидѣлъ свѣтъ. Послѣ этого землемѣръ уѣхалъ некатъ доли, а панна, пока онъ не найдетъ эту долю, тоже уѣхала куда-то на мѣсто... Антося остался у Гапки, а потомъ, въ ожиданіи, пока его потребуютъ родители, — его взяли къ капитану.

Но „доля“ такъ и не далась молодому землемѣру. Родители больше уже не встрѣтились ни другъ съ другомъ, ни со своимъ ребенкомъ...

Такова была простая исторія появленія Антося на бѣломъ свѣтѣ вообще и въ частности въ Гарномъ Лугѣ. Но такъ какъ старшіе неохотно раскрывали передъ нами черты этого „неприличнаго“ эпизода, то въ нашихъ умахъ изъ отдѣльных черточекъ сложилась болѣе романтическая легенда. Мы почему-то думали, что мать Антося приѣхала въ Гарный Лугъ въ каретѣ, что время родовъ застигло ее у Гапкиной хаты, что ее высадили какіе-то таинственные господа, которые затѣмъ увезли ее дальше, оставивъ Гапкѣ Антося, денегъ на его содержаніе и разныя обѣщанія. Потомъ таинственные господа исчезли въ широкомъ свѣтѣ, Гапка умерла, и капитанъ, по своей добротѣ, взялъ покинутого сироту къ себѣ на кухню...

Такъ оно навѣрное и было: когда капитанъ рѣшилъ оставить у себя сиротку, то безъ сомнѣнія слушался только своего добраго сердца, а не разчета. Остальное пришло, какъ награда за доброе дѣло, и случилось естественно и просто: мальчикъ сначала бѣгалъ по всѣмъ комнатамъ; имъ, вѣроломно, забавлялись и ласкали; потомъ, естественнымъ образомъ, мѣстомъ его постоянного пребыванія стала кухня, гдѣ его, походя, толкали и кормили. Говорилъ онъ, разумѣется, „по мужицки“ и вообще выросталъ маленькимъ „мужикомъ“, некрасивымъ, вихрастымъ, глядѣвшимъ искоса, „зызомъ“.

А такъ какъ естественное состояніе мужиковъ въ то время было „крипацтво“, то никто и не замѣтилъ, какъ въ лицѣ пріемыша Антося подросталь капитану крѣпостной работникъ.

Въ этомъ положеніи мы и застали Антося. Это не казалось намъ въ то время предосудительнымъ или несправедливымъ, и мы приняли фактъ такъ же непосредственно, какъ и всѣ факты жизни, естественно выросавшіе изъ почвы... Антось былъ такой же работникъ изъ бывшихъ крѣпостныхъ, какъ и другіе. Только работалъ за болѣе дешевую плату и капитанъ ругалъ его иной разъ „байстрюкомъ“ и неблагодарнымъ. Если можно за это осуждать кого-нибудь, то только таинственныхъ родителей. Но они для насъ просто романтическіе фантомы. Появились, исчезли, Антось остался... И все... Фактъ выросъ въ жизни, какъ въ лѣсу вырастаетъ или сохнетъ дерево...

Зналъ ли самъ Антось „простую“ исторію своего рожденія или нѣтъ?.. Вѣроятно, зналъ, но такъ же вѣроятно, что эта исторія не казалась ему простой... Мнѣ вспоминается какъ будто особое выраженіе на лицѣ Антося, когда, во время возки сноповъ, мы съ нимъ проѣзжали мимо Гапкиной хаты. Хата пустовала, окна давно были забиты досками, стѣны облупились и покосились... И надъ нею шумѣли высокія деревья, еще гуще и буйнѣе разросшіяся съ тѣхъ поръ, какъ подъ ними явилась новая жизнь... Какія чувства рождать въ душѣ Антося этотъ шумъ?

Нужно сказать, что некрасивая фигура парубка не возбуждала идеи о „благородномъ происхожденіи“. Можетъ быть, онъ былъ посѣянъ розой, но, по странной игрѣ природы, выросъ чертополохомъ. Только немногія черты выдѣляли его изъ остальной дворни: между прочимъ, онъ былъ страстный музыкантъ.

Мои двоюродныя сестры учились у гувернантокъ игрѣ на фортепіано, и одна играла недурно. Когда въ гостиной рокотали клавиши, и звуки неслись въ открытыя окна, — Антось останавливался надъ своей работой, а иногда пробирался въ кусты и жадно слушалъ. Иной разъ, когда не было капитана, добродушныя кухни позволяли ему подходить къ инструменту и наигрывали нравившіеся ему мотивы. Кромѣ того, по воскресеньямъ у шипка двѣ скрипки и контрабасъ наяривали плясовые мотивы, подъ которые на утоптанной площадкѣ парубки и дивчата плясали казачка... Антось ловилъ звуки и присматривался къ инструментамъ.

Однажды онъ смастерилъ простымъ ножомъ грубое подобіе скрипки и сталъ пиликать въ конюшнѣ плясовые напѣвы, а порой передразнивалъ „полонезъ Огинскаго“ или „молитву

дѣвицъ. Сначала къ этому относились, какъ къ курьезу, но потомъ капитану показались оскорбительными эти конюшенныя пародіи на благородную музыку, или онъ нашелъ, что музыкальное баловство мѣшаетъ работѣ, — только однажды онъ страшно вспылить и разбилъ скрипку вдребезги. Антось сдѣлалъ другую, лучшую, и съ этихъ поръ между Антосемъ и капитаномъ началась своеобразная война: Антось пряталъ скрипки, капитанъ находилъ и ломалъ ихъ. Мы всѣ, молодежь, сочувствовали Антосю и вмѣстѣ съ нимъ придумывали новыя тайники, но и это было только непосредственное чувство: мы готовы были укрыть Антосю отъ капитанскаго гнѣва, какъ укрыли бы отъ грозы, не разсуждая о томъ, права эта гроза или нѣтъ...

И еще въ одномъ замѣтно было вліяніе „непростого происхожденія“ Антося. Это—въ необыкновенномъ почтеніи къ „настоящимъ панамъ“... Эта черта была и въ другихъ гарнолужанахъ, и она понятна. Если ужъ нужны на свѣтѣ „господа“, то пусть будутъ „настоящіе“. Около нихъ и кормиться легче и подчиняться не такъ обидно. Но у Антося чувство это достигало размѣровъ какого-то культа... Можетъ быть онъ представлялъ себѣ, что гдѣ-нибудь въ невѣдомомъ свѣтѣ стали настоящими господами и тѣ двое людей, которые бросили его въ жизнь и забыли... А вдругъ вспомнить... И онъ станетъ тоже „настоящимъ“ и поднимется надъ презирающими его и презираемыми ненастоящими гарнолужскими панамми...

Смерть покончила и съ этими мечтами и съ этой судьбой... И была она тоже стихійно проста и бессмысленна.

Несмотря на экстренно некрасивую наружность, годамъ къ двадцати Антось выработался въ настоящаго деревенскаго ловеласа. Изъ самаго своего безобразія онъ сдѣлалъ орудіе своеобразнаго грубоватаго юмора. Кромѣ того, женское сердце чутко, и деревенскія красавицы разгадали, вѣроятно, сердце артиста подъ грубой оболочкой. Какъ бы то ни было, со своими шутками и скрипичей Антось сталъ душой общества на вечерницахъ.

Однажды, захвативъ скрипку, онъ, тайно, ушелъ со двора и на утро вернулся, еле волоча ноги. На разпросы, что съ нимъ, онъ не говорилъ ничего: „нездужаю“—и только. Было еще довольно тепло, только по утрамъ становились заморозки, и Антось, съ инстинктомъ дикаго животнаго, удалился изъ людской и устроилъ себѣ пристанище на чердакѣ брошенной водяной мельницы, въ концѣ пруда, совершенно заросшаго зеленой ряской. Туда рѣдко кто ходилъ; тамъ было тихо,

пустынно. Въ полдень, разогрѣтыя солнцемъ, квакали засыпающія на зиму лягушки и однотонно звенѣла вода, просачиваясь въ старыя шлюзы. Изрѣдка навѣдывавшіеся товарищи слышали, какъ Антось временами стонетъ на своей вышкѣ. Но когда подходили, онъ смолкалъ и говорилъ, что ему лучше.

О медицинской помощи, о вызовѣ доктора къ заболѣвшему работнику тогда, конечно, никому не приходило въ голову. Такъ Антось лежалъ и тихо стоналъ въ своей норѣ нѣсколько дней и ночей. Однажды старикъ-сторожъ, пришедшій провѣдать больного, не получилъ отклика. Старикъ сообщилъ объ этомъ на кухнѣ, и Антося сразу стали бояться. Подняли капитана,—пошли къ мельницѣ скопомъ. Антось лежалъ на соломѣ и уже не стоналъ. На блѣдномъ лицѣ осѣлъ иней...

Приѣхалъ становой съ уѣзднымъ врачомъ и Антося потрошили. По вскрытіи оказалось, что Антось странно избитъ и умеръ отъ перелома реберъ... Говорили, что парубки, недовольные его успѣхами на вечерницахъ и его побѣдами, — застигли его ночью гдѣ-то подъ тыномъ и „били дрючками“. Но ни самъ Антось и никто въ деревнѣ ни единымъ словомъ не обмолвился о предполагаемыхъ виновникахъ.

Какъ умершаго безъ покаянія и „потрошеннаго“, его схоронили за оградой кладбища, а мимо мельницы никто не рѣшался проходить въ сумерки. По ночамъ отъ „магазина“, который былъ недалеко отъ мельницы, — неслись отчаянные звуки трещетки. Старикъ-сторожъ жаловался, что Антось продолжаетъ стонать на своей вышкѣ. Трещеткой онъ заглушалъ эти стоны. Вѣроятно, ночной вѣтеръ доносилъ съ того угла тягучій звонъ воды въ старыхъ шлюзахъ...

Къ тому времени мы уже видѣли немало смертей. И, однако, рѣдкая изъ нихъ производила на насъ такое огромное впечатлѣніе. Въ сущности... все было опять въ порядкѣ вещей. Капитанъ пророчилъ давно, что скрипка не доведетъ до добра. Изъ дому Антось ушелъ тайно... Если тутъ была вина, то, конечно, всего болѣе и прямѣе были виновны невѣдомые парубки, т. е. деревня... Но и они, навѣрное, не желали убить... Темная ночь, слишкомъ тяжелый дрючокъ, неосторожный ударъ...

И, тѣмъ не менѣе, было что-то подавляюще-тревожное, мрачное, почти угрожающее въ этой нелѣпой гибели... Въ зимніе вечера отъ мельницы несло безотчетнымъ ужасомъ. И, вмѣстѣ, что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана съ одной петли, и передъ нею намело снѣгу. На чердакѣ было темно, пусто, вѣяло жуткой тайной и холодомъ...

Однажды, на этихъ святкахъ старшіе уѣхали куда-то, а мы остались дома одни. Зима была снѣжная, завалило крыши, клумбы, оголенные кусты сирени, узкія дорожки сада. Къ вечеру поднялась мятель, закрывая бѣлыми хлопьями черныя стекла. Мы сидѣли, сгрудившись въ одной комнатѣ, у камина, и разговаривали объ Антосѣ, объ его полудеигендарномъ для насъ происхожденіи, объ его скрипкахъ. Надъ разговорами этими носилось невысказываемое, можетъ быть, даже несознанное ощущеніе чьей-то вины, какой-то крупной неправды... А темная ночь глухо гудѣла за стѣнами, надъ садомъ, надъ усадьбой, надъ мельницей.

Вдругъ за стѣной въ саду послышался лай. Собаки отъ мятели скрылись у садоваго крыльца, гдѣ было тише, и теперь, сорвавшись разомъ, бѣшенымъ клубкомъ понеслись въ аллею. И такъ же внезапно лай стихъ... Съ минуту несло только шинѣе и вой мятели, потомъ совсѣмъ близко послышался пугливый визгъ, что-то кинулось къ наружной двери... Дверь, неплотно запертая, соскочила съ задвижки... Въ сѣни проникла возня, жалобный визгъ собакъ и громкій, торжествующій свистъ вѣтра. Казалось, кто-то ворвался въ домъ и слѣпо стучится къ намъ въ двери, не находя входа...

Мы переглянулись. Лица были блѣдны.

— Волкъ, — сказалъ кто-то. — Надо выйти.

Выходить было жутко, но мы, мальчики, взяли фонарь, сняли со стѣны два ружья, старый заряженный пистолетъ и вышли. Дверь въ сѣняхъ была открыта, и уже успѣло накидать снѣгу. Ободренные нашимъ присутствіемъ, собаки опять яростно залаяли и понеслись въ аллею. За ними ничего не было видно, только въ свѣтѣ фонаря неслись въ неистовой пляскѣ бѣлые хлопья, а гдѣ-то въ невидимомъ ночномъ просторѣ слышался непрерывный протяжный шумъ, свистъ, гудѣніе. И еще выдѣлялся глубокій, тревожный гулъ тополей, а на старой крышѣ магазина желѣзные листы гремѣли, какъ будто кто трогалъ ихъ или пробѣгалъ тяжелыми торопливыми шагами. Казалось, будто этой странной ночью все живетъ особенной жизнью: кто-то огромный мечется среди мятели, плачетъ, грозитъ и прокликаетъ, а все остальное несетъ, надстаетъ, отступаетъ, шипитъ, гудитъ, грохочетъ, грозитъ или трясется отъ страха...

Собаки опять затихли, и намъ было слышно, какъ онѣ, спутаннымъ клубкомъ, перескакивая другъ черезъ друга, опять убѣгаютъ отъ кого-то, жалко визжа отъ ужаса. Мы поспѣшно вбѣжали въ сѣни и плотно закрыли дверь... Последнее ощущеніе, которое я унеслъ съ собой снаружи, — былъ кусокъ

наружной стѣны, по которой скользнулъ лучъ фонаря... Стѣна осталась тамъ подъ порывами вихря. И казалось, ей тоже страшно. Собаки жались къ дверямъ и жалобно, трусливо скулили...

Въ комнатѣ, освѣщенной огнемъ камина, нѣкоторое время стояла тишина.

— Это—Антось...—сказала одна изъ сестеръ упавшимъ голосомъ...

Это было глупо, но въ этотъ вечеръ всѣ мы были не очень умны. Наша маленькая усадьба казалась такой ничтожной подъ налетами бурной ночи, и въ бѣснованіи мятели слышалось столько сознательной угрозы... Мы не были суевѣрны и *знали*, что это только снѣгъ и вѣтеръ. Но въ ихъ разнообразныхъ голосахъ слышалось что-то, чему навстрѣчу подымалось въ душѣ неясное, неоформленное, тяжелое ощущеніе... Въ этой усадьбѣ началась и погибла жизнь... И, какъ стоны погибшей жизни, плачеть и жалуется вьюга...

Поздно ночью занесенные снѣгомъ вернулись старшіе. Капитанъ молча выслушалъ нашъ рассказъ. Онъ былъ „вольтеріанецъ“ и скептикъ, но только днемъ. По вечерамъ онъ молился, вѣрилъ вообще въ явленія духовъ и съ увлеченіемъ занимался спиритизмомъ... Одна изъ дочерей, веселая и плутоватая, легко „засыпала“ подъ его „пассами“ и поражала старика замѣчательными откровеніями. При сеансахъ съ стукающимъ столомъ онъ вызывалъ мертвецовъ... Сомнительно, однако, рѣшился ли бы онъ вызвать для бесѣды тѣнь Антоса...

На слѣдующій день мятель стихла, надъ наметанными за ночь сугробами ярко свѣтило солнце, съ крышъ и вѣтвей срывались бѣлые комочки снѣга... Мы рѣшили, что, навѣрное, собаки вчера испугались забѣжавшаго изъ лѣсу волка. . . .

XXV.

С м е р т ь о т ц а .

Мы были на лѣтнихъ каникулахъ въ Гарномъ Лугѣ, когда мать, остававшаяся это лѣто въ городѣ, прислала извѣстіе, чтобы мы всѣ пріѣзжали. Отцу плохо.

Послѣдніе годы онъ все слабѣлъ. Уже давно онъ оставилъ всѣ свои фантазіи, изученіе языковъ, философію, ветеринарію и тому подобныя неожиданности, которыми прежде выражались нестихавшіе порывы его молодости. Впрочемъ, уже въ самые послѣдніе годы жизни онъ производилъ еще одинъ

опытъ. Брлся онъ всегда самъ, и такъ какъ это становилось для него все труднѣе, то онъ задумалъ болѣе радикальное средство: завелъ тонкіе стальные щипчики и выщипывалъ волосокъ за волоскомъ. „Облагодѣтельствуя всѣхъ чиновниковъ,— говорилъ онъ съ трогательнымъ отблескомъ прежняго тихаго юмора:—брейся три раза въ недѣлю,—вѣдь это мука. А такъ—выщипаль разъ, и кончено“.

На щекахъ у него въ это время можно было видѣть выщипанныя плѣшинки, которыя, однако, скоро заростали. Онъ выщипывалъ вторично, думая такимъ образомъ истощить ростъ волосъ, но результаты были тѣ же... Пришлось признать, что проектъ облагодѣтельствованія чиновнаго рода не удастся...

Ему оставалось немного дослужить до пенсіи. Въ періодъ молодой неудовлетворенности онъ дважды бросалъ службу, и эти два-три года теперь не доставали до срока. Это заставляло его сильно страдать: дотянуть, во что бы то ни стало, оставить пенсію семьѣ—было теперь послѣдней задачей его жизни.

Казалось, на этомъ сосредоточились всѣ оставшіяся еще силы. Онъ уже не глядѣлъ по сторонамъ жизненной дороги,— не устраивалъ даже невинныхъ карточныхъ вечеровъ, не вмѣшивался въ хозяйственныя дѣла, не спрашивалъ насъ объ успѣхахъ въ гимназій. Вставъ утромъ, онъ заставлялъ лакея обтирать себя холодной водой, пилъ молча чай, надѣвалъ мундиръ и отправлялся черезъ нашъ дворикъ въ судъ. Въ судѣ держалъ себя все время такъ, чтобы никто не могъ замѣтить его слабости. Когда однажды мать послала меня зачѣмъ-то экстренно къ отцу въ эти дѣловые часы,—я былъ удивленъ его видомъ. Онъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ важный и бодрый, принималъ доклады и отдавалъ ясные, точные приказы. Было видно, что всѣ нити управленія судомъ онъ держалъ твердо въ своихъ слабѣвшихъ рукахъ. Правда, въ это время у него былъ хорошій помощникъ: недавно присланный новый „подсудокъ“ Поповъ, человекъ отцовскихъ взглядовъ на службу, добрый, дѣловитый и честный. Отецъ относился къ нему съ уваженіемъ и довѣріемъ.

Возвращаясь домой, отецъ сразу слабѣлъ и, едва пообѣдавъ, ложился спать. По вечерамъ опять занимался, а затѣмъ ходилъ, по совѣту врача, полчаса по комнатѣ, съ трудомъ волоча ноги и постукивая палкой. Дослужить... дослужить во что бы то ни стало остающіеся нѣсколько мѣсяцевъ... На эту задачу свелась теперь вся жизненная энергія этого не совсѣмъ зауряднаго человѣка!

Когда еврей-посылный принесъ къ намъ въ деревню письмо

матери,—оно застало насъ въ разгарѣ молодого веселья, которое сразу упало. Въ тотъ же день мы выѣхали на гарнолужскихъ лошадяхъ до первой почтовой станціи. Пока на станціи запрягали перекладныхъ, и съ младшимъ братомъ вышелъ въ перелѣсокъ у шоссе. Былъ необыкновенно свѣтлый осенній вечеръ, когда сумерки угасаютъ незамѣтно, а сверху, почти съ середины неба, уже свѣтитъ полная луна. Это опять была минута, которая во всѣхъ мелочахъ запала на всю жизнь въ мою память. Вся природа показалась мнѣ проникнутой какой-то особенной, мягкой и печальной сознательностью. Тихо шептались листья орѣшника и ольхи, вѣтеръ обвѣвалъ лицо, съ почтоваго двора доносилось потренькиваше подвизываемаго къ дышлу колокольчика,—и мнѣ казалось, что всѣ эти сдержанные шумы, говоръ лѣса, поля и почтоваго двора говорятъ по своему объ одномъ: о концѣ жизни, о торжественномъ значеніи смерти...

Двоюродный братъ, только что выпущенный изъ училища офицеръ, тихо подошелъ къ намъ и дружески обнялъ обоихъ.

— Можетъ быть, выздоровѣть,—сказалъ онъ. Но я сознавалъ, что надежды нѣтъ, что все кончено. Я чувствовалъ это по глубокой печали, разлитой кругомъ, и удивлялся, что еще вчера я могъ этого не чувствовать, а еще сегодня веселился такъ безпечно... И въ первый разъ всталъ передъ сознаниемъ вопросъ: что же теперь будетъ съ матерью, болѣзненной и слабой, и съ нами?..

Колокольчикъ забился сильнѣе, заворчали колеса, и черезъ минуту мы ѣхали по бѣлой лентѣ шоссе, уходящей въ ночную мглу, къ сумрачнымъ пятнамъ дальнихъ перелѣсковъ, такимъ же нежнымъ и смутнымъ, какъ наше будущее, но всетаки озареннымъ, какъ молодость...

Отца мы застали живымъ. Когда мы здоровались съ нимъ, онъ не могъ говорить и только смотрѣлъ глазами, въ которыхъ виднѣлись страданіе и нѣжность. Мнѣ хотѣлось чѣмъ-нибудь выразить ему, какъ глубоко я люблю его за всю его жизнь и какъ чувствую его горе. Поэтому, когда всѣ вышли, я подошелъ къ его постели, взялъ его руку и прильнулъ къ ней губами, глядя въ его лицо. Губы его зашевелились, онъ что-то хотѣлъ сказать. Я наклонился къ нему и услышалъ два слова:

— Не мучь...

На слѣдующій день судьи не стало. За его гробомъ шло очень много народа, въ томъ числѣ много бѣдноты, мѣщанъ и евреевъ. Военскій начальникъ прислалъ оркестръ, и подъ звуки похороннаго марша, подъ плескъ вѣтра въ хоругвахъ,

сдержанный топотъ толпы,—гробъ повесли на кладбище. Старый инвалидъ высоко поднялъ бревно шлагбаума, изъ оконъ тюрьмы глядѣли блѣдныя лица арестантовъ, хорошо знавшихъ этого человѣка, лежавшаго въ гробу съ блѣднымъ лицомъ и въ мундирѣ... „Вѣчная память“... Стукъ земли о крышку гроба, заглушенныя рыданія матери, и на ровенскомъ кладбищѣ выросъ новый холмикъ подъ стѣной скромной деревянной церкви.

Матери пришлось сразу взять на себя бремя оставшейся семьи. Отецъ всетаки не дослужилъ нѣсколько мѣсяцевъ, и потому пришлось много хлопотать, чтобы добиться хоть маленькой пенсіи. За тридцать слишкомъ лѣтъ службы, вдова судьи, извѣстнаго своей исключительной честностью въ тѣ темныя времена, получила что-то около 12 рублей вдовой пенсіи. вмѣстѣ съ дѣтьми это составляло около 17 руб. въ мѣсяцъ, и это благодаря усиленнымъ стараніямъ двухъ-трехъ добрыхъ людей, которые чтили память отца и помогали матери совѣтомъ... Чтобы кое-какъ довести до конца наше ученіе, мать тотчасъ послѣ похоронъ стала хлопотать о разрѣшеніи держать ученическую квартиру, и съ этихъ поръ, больная, слабая и одинокая, она, съ истинно-женскимъ героизмомъ, отстаивала наше будущее... Судья могъ спать спокойно въ своей скромной могилѣ подѣ убогой кладбищенской церковью: жена, насколько могла и даже болѣе, выполнила задачу, которая такъ мучила передъ концомъ его страдающую душу...

Жизнь ея измѣнилась сразу и рѣзко. Изъ „жены судьи“, одного изъ первыхъ людей въ городишкѣ, она превратилась въ бѣдную вдову съ кучей дѣтей и безъ средствъ (пенсію удалось выхлопотать только черезъ годъ). Ей пришлось являться просительницей передъ людьми, еще недавно считавшими за честь ея знакомство, а въ качествѣ „содержательницы ученической квартиры“, она зависѣла отъ гимназическаго начальства. Правда, за очень рѣдкими исключеніями, я не могу припомнить случаевъ, когда бы обыватели города рѣзко дали ей почувствовать эту перемѣну, и, наоборотъ, были случаи трогательной доброты и помощи.

Могила отца была обнесена рѣшеткой и заросла травой. Надъ ней стоялъ деревянный крестъ, и краткая надпись передавала кратчайшее содержаніе жизни: родился тогда-то, былъ судьей, умеръ тогда-то... На камень не было денегъ у осиротѣвшей семьи. Пока мы были въ городѣ, мать и сестра каждую весну приносили на могилу вѣнки изъ цвѣтовъ. Потомъ насъ всѣхъ разнесло по широкому свѣту. Могила стояла одинокая, и теперь, навѣрное, отъ нея не осталось слѣда...

Что осталось отъ жизни, отъ ея ошибокъ и ея страданій?..

Я тогда еще вѣрилъ по-отцовски и думалъ, что счеты отца сведены благополучно: онъ былъ человѣкъ религіозный, всю жизнь молился, исполнялъ долгъ, посильно защищалъ слабыхъ противъ сильныхъ и честно служилъ „закону“. Богъ признаеть это, — и, конечно, ему теперь хорошо.

Впослѣдствіи „простая“ вѣра разлетѣлась, и въ моемъ воображеніи вставала скромная могила: жилъ, надѣялся, стремился, страдалъ и умеръ, съ мукой въ душѣ за участь семьи... Какое значеніе имѣетъ теперь его жизнь, его стремленія и его „преждевременная“ честность?..

— Чужады были, — рѣшали не разъ благодушные обыватели. — А что вышло: умеръ, оставилъ нищихъ.

И говорили это тоже люди „простодушной вѣры“ въ Бога и въ его законы. Никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тѣни такихъ сомнѣній.

НОВЫЯ ВѢЯНІЯ.

XXVI.

„Н о в ы е“.

Кажется, я былъ въ пятомъ классѣ, когда у насъ появились сразу нѣсколько новыхъ молодыхъ учителей, проходившихъ курсъ гимназій въ попечительство Пирогова и только что вышедшихъ изъ университета.

Однимъ изъ первыхъ появился Владиміръ Васильевичъ Игнатовичъ — учитель химіи. Это былъ молодой человѣкъ, только что съ университетской скамьи, съ чуть замѣтными усиками, маленькаго роста, съ пухлыми розовыми щеками, въ золотыхъ очкахъ. У насъ были ученики, выглядѣвшіе старше своего учителя. Говорилъ онъ тонкимъ голосомъ, въ которомъ будто сохранились дѣтскія нотки. Въ классѣ нѣсколько робѣлъ, и лицо его часто заливалъ застѣнчивый румянецъ. Обращался онъ съ нами вѣжливо, преподавалъ старательно, заданное спрашивалъ рѣдко, къ отмѣткамъ выказывалъ пренебреженіе, уроки объяснялъ, какъ профессоръ читаетъ лекцію. Голосъ у него былъ тоже не твердый, нѣжный... Хотѣлось, чтобы онъ взялъ хоть лотой шже и крѣиче...

Первымъ результатомъ его системы было то, что классъ почти пересталъ учиться. Вторымъ, что ему порой начали слегка грубить. Вѣдний юноша, присутствовавшій къ намъ съ идеальными ожиданіями, платился за общую систему, которая вносила грубость и цинизмъ. Впрочемъ, это было недолго.

Однажды, когда классъ шумѣлъ и Игнатовичъ напрасно над- рывалъ свой мягкій голосокъ, одному изъ насъ показалось, будто онъ называлъ насъ стадомъ барановъ. Другіе учителя очень часто называли насъ стадомъ барановъ, а порой и хуже. Но то были другіе. Они были привычно грубы, а мы при- вычно покорны. Игнатовичъ самъ приохотилъ насъ къ другому обращенію... Одинъ изъ учениковъ, Заруцкій, очень хорошій въ сущности малый, но легко поддававшійся настроеніямъ, всталъ средя шумѣвшаго класса.

— Господинъ учитель, — сказалъ онъ громко, весь красный и дерзкій. — Вы, кажется, сказали, что мы стадо барановъ... Позвольте вамъ отвѣтить, что... въ такомъ случаѣ...

Классъ вдругъ затихъ такъ, что можно было слышать про- летающую муху.

— Что въ такомъ случаѣ... вы сами баранъ...

Стеклянная колбочка, которую держалъ въ рукахъ Игнато- вичъ, звякнула о реторту. Онъ весь покраснѣлъ, лицо его какъ-то беспомощно дрогнуло отъ обиды и гнѣва... Въ пер- вую минуту онъ растерялся, но затѣмъ отвѣтилъ окрѣпшимъ голосомъ:

— Я этого не говорилъ... вы ошиблись...

Простой отвѣтъ озадачилъ. Въ классѣ поднялся ропотъ, значеніе котораго сразу разобрать было трудно, и въ ту же минуту прозвенѣлъ звонокъ. Учитель вышелъ; Заруцкаго окружили. Онъ стоялъ среди товарищей, упрямо потупившись и чувствуя, что настроеніе класса не за него. Сказать дер- зость учителю, вообще говоря, считалось подвигомъ, и если бы онъ такъ же прямо назвалъ бараномъ одного изъ „ста- рыхъ“ — Кранца, Самаревича, Егорова, то совѣтъ бы его исключилъ, а ученики проводили бы его горячимъ сочув- ствіемъ. Теперь настроеніе было недоумѣло-тяжелое, пе- пріятное...

— Свинство, братъ, — сказалъ кто-то.

— Пусть жалуется въ совѣтъ, — угрюмо отвѣтилъ За- руцкій.

Для него въ этой жалобѣ былъ своего рода нравственный выходъ: это бы сразу поставило новаго учителя въ рядъ со старыми и оправдало бы грубую выходку.

— И пожалуется... — сказалъ кто-то.

— Конечно. Думаешь, — спустить?

— Нѣтъ, не пожалуется.

— Пожалуется.

Этотъ вопросъ сталъ центромъ въ разыгравшемся столк- новеніи. Прошло дня два, о жалобѣ ничего не было слышно.

Если бы она была, — Заруцкаго прежде всего вызвалъ бы инспекторъ Рущевичъ для обычнаго громового внушенія, а, можетъ быть, даже прямо приказалъ бы уходить домой до рѣшенія совѣта. Мы ждали... Прошелъ день совѣта... Признаковъ жалобы не было.

Наступилъ урокъ химіи. Игнатовичъ явился нѣсколько взволнованный; лицо его было серьезно, глаза чаще потуплялись, и голосъ срывался. Видно было, что онъ старается овладѣть положеніемъ и не вполне увѣренъ, что это ему удастся. Сквозь серьезность учителя проглядывала обида юноши, урокъ шелъ среди тягостнаго напряженія.

Минуть черезъ десять Заруцкій, съ потемнѣвшимъ лицомъ, поднялся съ мѣста. Казалось, что при этомъ на своихъ плечахъ онъ поднимаетъ тяжесть, давленіе которой чувствовалось всею классомъ.

— Господинъ учитель... — съ усиленіемъ выговорилъ онъ среди общей тишины. Вѣки у молодого учителя дрогнули подъ очками, лицо все покраснѣло. Напряженіе въ классѣ достигло высшаго предѣла.

— Я... прошлый разъ... — началъ Заруцкій глухо и затѣмъ, съ внезапной рѣзкостью, закончилъ:

— Я извиняюсь.

И сѣлъ съ такимъ видомъ, точно сказалъ новую дерзость. Лицо у Игнатовича посвѣтлѣло, хотя краска залила его до самыхъ ушей. Онъ сказалъ просто и свободно:

— Я говорилъ уже, господа, что баранами никого не называлъ.

Инцидентъ былъ исчерпанъ. Въ первый еще разъ *такое* столкновеніе разрѣшилось *такимъ* образомъ. „Новый учитель“ выдержалъ испытаніе. Мы были довольны и имъ, и — почти безсознательно — собою, потому что также въ первый разъ не воспользовались слабостью этого юноши, какъ воспользовались бы слабостью кого-нибудь изъ „старыхъ“. Самый эпизодъ скоро изгладился изъ памяти, но какая-то ниточка своеобразной симпатіи, завязавшейся между новымъ учителемъ и классомъ, осталась.

Скорѣ Игнатовичъ уѣхалъ въ отпускъ, изъ котораго черезъ двѣ недѣли вернулся съ молоденькой женой. Во второмъ дворѣ гимназіи было одноэтажное зданіе, одну половину котораго занимала химическая лабораторія. Другая половина стояла пустая; въ ней жилъ только сторожъ, который называлъ себя „лаборанщикомъ“ (отъ слова „лабораня“). Теперь эту половину отдѣляли и отвели подъ квартиру учителя химіи. Тутъ и водворилась молодая чета.

Жена Игнатовича была выше его ростомъ, худенькая, смуглая, не особенно красивая. Но, на нашъ взглядъ, въ ней было что-то необыкновенно привлекательное, въриѣе, — было что-то привлекательное въ нихъ обоихъ вмѣстѣ, и въ томъ, что свое гнѣздышко они устроили въ самомъ центрѣ гимназической сутолоки и шума. Каждую перемену черезъ дворъ неслись вереницы сорванцовъ, направляясь въ помещеніе, гдѣ можно было тайкомъ затянуться папироской. По звонку все это неслоь обратно, налетая другъ на друга, спшибаясь, крича, вступая на скорую руку въ короткія драки. Порой въ большую перемену во второмъ дворѣ устраивались игры въ мячъ, и ученики, подталкивая другъ друга локтями, указывали на смуглое личико, мелькавшее въ окнахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ были даже почтительно влюблены, и изъ ученической квартиры, заглядывавшей вторымъ этажомъ изъ-за ограды въ гимназическій дворъ, порой глядѣли на лабораторію въ бинокли. Иной разъ, живой и бурный потокъ, послѣ уроковъ стремившійся къ калиткѣ, вдругъ останавливался, пропуская худенькую фигурку, проходившую сквозь толпу съ привѣтливой улыбкой, и тотъ, кому она кланялась, какъ знакомому, считалъ себя польщеннымъ и счастливымъ. Игнатовичъ изрѣдка приглашалъ того или другого ученика къ себѣ. Жена его тоже выходила, знакоилась, разговаривала, распранивала. Было въ этомъ что-то хорошее, теплое, дѣйствовавшее на толпу сорванцовъ уже тѣмъ, что юный учитель былъ для насъ не только машиной, задающей уроки, но и человѣкомъ, въ маленькомъ счастьи котораго мы принимали какъ бы нѣкоторое участіе. Я сначала запустилъ было химію, но въ первыя же каникулы вызубрилъ весь учебникъ Вюрца на зубокъ; я иногда ходилъ къ Игнатовичу съ рисунками приборовъ и мнѣ не хотѣлось, чтобы Марья Степановна сказала какъ-нибудь при встрѣчѣ:

— А вы почему же это не учите химію? Вамъ не нравится? Да?

Одновременно съ Игнатовичемъ пріѣхалъ Комаровъ, „украинофиль-этнографъ“. Мы плохо понимали, что это за „труды по этнографіи“, но чувствовали, что это какой-то интересъ высшаго порядка, выходящій за предѣлы казеннаго преподаванія.

Было и еще два-три молодыхъ учителя, которыхъ я не зналъ. Чувствовалось, что въ гимназіи появилась группа новыхъ людей, и общій тонъ поднялся. Кое-кто изъ лучшихъ, прежнихъ, чувствовавшихъ себя одинокими, теперь оживил, и до насъ долетали отголоски споровъ и разногласій въ совѣтѣ.

Въ томъ общемъ хорѣ, гдѣ до сихъ поръ надъ голосами средняго тембра и регистра господствовали рѣзкіе фальцеты автоматовъ и маніаковъ,—стала замѣтна новая нотка...

А затѣмъ явился и еще одинъ человекъ, на воспоминаніи о которомъ мнѣ хочется остановиться подольше.

XXVII.

Веніаминъ Васильевичъ Авдіевъ.

Нашъ прежній словесникъ, Митрофанъ Александровичъ Андріевскій успѣлъ какъ-то жениться и „по семейнымъ обстоятельствамъ“ перевелся въ другую гимназію. Мы проводили его съ сожалѣніемъ, такъ какъ любили его добродушіе, мягкую улыбку, порой мѣткія словечки и трогательную преданность „Слову о полку Игоревѣ“. На нѣкоторое время „каедре словесности“ осталась незанятою. На уроки приходилъ Степанъ Яковлевичъ Рушевичъ, который вздумалъ учить насъ выразительному чтенію. Самъ онъ читалъ какъ-то грузно, массивнымъ голосомъ, съ чувствомъ, толкомъ и разстановкой, но съ совершенно неосновательными претензіями на выразительность. Онъ требовалъ, чтобы мы точно подражали его интонаціямъ, а намъ это было „совѣстно“ и казалось кривляніемъ. Между тѣмъ, словесность всегда, по какой-то традиціи, считалась въ гимназіи самымъ интереснымъ и самымъ „умнымъ“ предметомъ. Съ тѣмъ большимъ нетерпѣніемъ ждали мы новаго словесника.

Однажды пронесся слухъ, что онъ уже пріѣхалъ. Зовутъ Авдіевымъ, молодой. Кто-то уже видѣлъ его въ городѣ и рассказывалъ о своей встрѣчѣ какъ разъ передъ началомъ урока, который, какъ мы думали, на этотъ разъ проведетъ еще инспекторъ. Но, почти вмѣстѣ съ звонкомъ, дверь класса отворилась, и на порогѣ появился незнакомый учитель. Онъ на мгновеніе остановился, споксйно глядя, какъ мы, застигнутые врасплохъ, быстро рассаживались по мѣстамъ, — потомъ прошелъ къ кафедрѣ, кивнувъ намъ на ходу головой. Такъ какъ это былъ первый урокъ, то онъ молча сталъ ждать, пока дежурный прочтетъ обычную молитву; затѣмъ сѣлъ и раскрылъ журналъ. Лицо у него было слегка хмурое, переключку онъ дѣлалъ недовольнымъ голосомъ, порой оставиваясь надъ какой-нибудь фамиліей и вглядываясь въ ея обладателя. Кончивъ это, онъ сошелъ съ кафедры и поторопливо прошелся вдоль скамей по классу, думая о чемъ-то, какъ будто совсѣмъ не имѣющемъ отношенія къ данной минутѣ и къ тому, что на него устремлено полсотни глазъ, внимательныхъ, любопытныхъ, изучающихъ каждое его движеніе.

Это былъ молодой человѣкъ, пожалуй, только года на три старше Игнатовича, но болѣе возмужалый и солидный. Лицо у него было не совсѣмъ обыкновенное: правильныя черты съ греческимъ профилемъ, большіе выразительные глаза, полныя губы, тонкіе усы и небольшая русая бородка. Все это было довольно красиво, но почему-то на первый взглядъ классу не понравилось. Кромѣ того, на немъ были узкія брюки и сапоги съ низкими каблуками, а мы считали верхомъ щегольства брюки по-казацки широкія и высокіе каблуки. Узкія брюки носили у насъ только завѣдомые модники и франты въ шестомъ и седьмомъ классѣ.

Все это мы успѣли замѣтить и оцѣнить до послѣдней пуговицы и до слишкомъ широкихъ лацкановъ синяго фрака,— пока новый учитель ходилъ по классу. Намъ казалось страннымъ и немного дерзкимъ то обстоятельство, что онъ ведетъ себя такъ безцеремонно, точно насъ, цѣлаго класса, здѣсь вовсе не существуетъ.

Пройдя такимъ образомъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ, онъ остановился, точно прогоняя изъ головы занимавшія его стороннія мысли, и опять внимательно посмотрѣлъ на классъ.

— Чѣмъ вы занимались въ послѣднее время? — спросилъ онъ.

Мы переглянулись.

— Въ послѣднее время Степанъ Яковлевичъ читалъ намъ...

— Что?

— Басни Крылова.

Брови новаго учителя чуть приподнялись.

— Зачѣмъ? — спросилъ онъ.

Вопросъ показался намъ страннымъ. Объ этомъ нужно бы спросить у самого инспектора. Но кто-то догадался:

— Чтобы запясть пустые уроки.

— А!.. И васъ тоже заставлялъ читать?

— Да.

— Такъ. Кто у васъ хорошо читаетъ?

Классъ молчалъ. Всѣ мы умѣли читать громко, иные бѣгло, но хорошаго чтенія не слыхали никогда, а „выразительное чтеніе“ Степана Яковлевича казалось намъ искусственнымъ.

— Ну, что же? — сказалъ онъ нетерпѣливо, поведя плечомъ. — Что же вы молчите?

— Всѣ мы читаемъ одинаково, — съ досадой вырвалось у меня, но я сказалъ это слишкомъ тихо. Учитель повернулся ко мнѣ и спросилъ въ упоръ:

— Вы читаете хорошо?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ я, покраснѣвъ. — Я этого не говорилъ.

— А я именно объ этомъ спрашивалъ. Читайте вы! — сказала онъ ученику, передъ которымъ лежала книжка басень. Тотъ всталъ и, раскрывъ наудачу, сталъ читать. Учитель недовольно морщился.

— Плохо, — сказалъ онъ. — И всё такъ? И нѣтъ никого, кто бы умѣлъ читать?.. Ну, а что вы проходили раньше?

— Теорію словесности... По Минину, — отвѣтило нѣсколько голосовъ.

— А что такое словесность?

Молчаніе.

— Происходить отъ „слово“... — сказалъ кто-то.

— Положимъ, — а что такое „слово“?

— Выраженіе мысли.

— Не всегда... Можно поговорить много словъ, и всетаки выйдетъ безсмыслица... А что такое мысль?

Молчаніе.

Онъ посмотрѣлъ на насъ съ комической гримасой и сказалъ:

— Подумайте каждый про себя и скажите: вы когда-нибудь въ своей жизни *мыслили*?

Это была обида. Въ классѣ поднялся легкій ропоть.

— Всѣ, — сказалъ кто-то.

— Что всѣ?

— Всѣ думаемъ, то-есть мыслимъ, — отвѣтило нѣсколько голосовъ задорно. Учитель начиналъ раздражать.

— „Думаете“, — передразнилъ онъ, поведя плечомъ. — Вы вотъ думаете: скоро ли звонокъ?.. И тоже *думаете*, что это-то и значить *мыслить*. Но вы ошибаетесь. „Мыслить“, — понимаете: не думать только, а мыслить — это значить совсѣмъ другое. Берите тетради. Записывайте.

И, медленно рассказывая по классу, онъ началъ съ простѣйшихъ опредѣленій. Сначала въ его глазахъ и въ морщинѣ между бровями виднѣлось то же хмурое недовольство. Но развитіе темы видимо его захватывало. На смугломъ лицѣ пробился густой румянецъ. Говорилъ онъ медленно, вдумчиво и свободно. Урокъ, очевидно, не былъ заученъ: слова рождались, выплывали тутъ же и летѣли къ намъ, еще не остывшія. Повременамъ онъ останавливался на ходу и дѣлалъ паузу, подыскивая наиболѣе удачную форму, ловилъ нужное слово и опять шелъ дальше, все болѣе и болѣе довольный. Записывать за нимъ было трудновато. Онъ говорилъ медленно, но не ждалъ, пока мы за нимъ поспѣемъ. А записать хотѣлось. Остальная часть урока прошла въ этомъ занятіи. Когда ударилъ звонокъ, я удивился, что урокъ кончился такъ скоро.

Авдіевъ закончилъ, взявъ журналъ и, кивнувъ головой,

вышелъ. Въ классѣ поднялся оживленный говоръ. Впечатлѣніе было неблагопріятное.

— Вотъ такъ птица!—говорилъ одинъ.

— У этого, братцы, держись...

— И откуда выкопали такого чорта?

— А вѣдь онъ насъ, господа, оскорбилъ?..

За такими разговорами засталъ насъ звонокъ ко второму уроку. Вошелъ, помнится, учитель исторіи Андрускій. Это былъ тоже „новый“, поступившій за нѣсколько мѣсяцевъ до Авдіева, молодой человѣкъ, невысокаго роста съ умнымъ, энергичнымъ лицомъ. Въ классѣ онъ держалъ себя по учительски, суховаго, но всетаки симпатично. Часть урока былъ у него точно распределенъ на двѣ неравныя части. Въ первой онъ вызывалъ, спрашивалъ и ставилъ отмѣтки. Когда онъ опускалъ перо въ чернильницу, чтобы поставить баллъ,—лицо его дѣлалось задумчиво и серьезно. Было видно, что онъ тщательно взвѣшиваетъ въ умѣ всѣ за и противъ, и, когда послѣ этого твердымъ почеркомъ вносилъ въ журналъ ту или иную цифру,—чувствовалось, что она поставлена обдуманно и справедливо. За двадцать минутъ до конца урока, онъ придвигалъ къ себѣ учебникъ и, раскрывъ его, начиналъ объясненіе неизмѣнной фразой:

— Ну-съ, такъ вотъ... Мы остановились на томъ-то. Теперь будемъ продолжать.

И, поглядывая въ книгу, онъ излагалъ содержаніе слѣдующаго урока добросовѣстно, обстоятельно и сухо. Мы знали, что въ совѣтѣ онъ такъ же обстоятельно излагалъ свое мнѣніе. Оно было всегда снисходительно и непоколебимо. Мы его уважали, какъ человѣка, и добросовѣстно готовили ему уроки, но исторія представлялась намъ предметомъ изрядно скучнымъ. Черезъ нѣкоторое время такъ же честно и справедливо онъ взвѣсилъ свою педагогическую работу,—поставилъ себѣ неодобрительный баллъ и перемѣнилъ родъ занятій.

Теперь я съ удовольствіемъ, какъ всегда, смотрѣлъ на его энергичное квадратное лицо, но за монотонными звуками его рѣчи мнѣ слышался грудной голосъ новаго словесника, и въ ушахъ стояли его язвительныя рѣчи. „Думать“ и „мыслить“... Да, это правда... Разница теперь понятна. А всетаки есть въ немъ что-то раздражающее. Что-то будетъ дальше?..

Выгувъ тихонько тетрадь, я сталъ читать подъ партой записанный урокъ словесности, рискуя вызвать замѣчаніе Андрускаго. Урокъ былъ красивъ и интересенъ.

Дня черезъ три въ гимназію пришла изъ города вѣсть: новаго учителя видѣли пьянымъ... Меня что-то кольнуло въ

сердце. Слѣдующій урокъ онъ пропустилъ. Одни говорили извѣтельно: „съ похмѣлья“, другіе — что устраивается на квартирѣ. Какъ бы то ни было, у всѣхъ шевельнулось чувство разочарованія, когда на порогѣ, съ журналомъ въ рукахъ, явился опять Степанъ Иковлевичъ для „выразительнаго“ чтенія.

Еще дня черезъ два въ классъ упало, какъ нетарда, новое сенсаціонное извѣстіе. Былъ у насъ ученикъ Доманевичъ, великовозрастный молодой человекъ, засидѣвшійся въ гимназіи и казавшійся среди мелюзги совѣмъ взрослымъ. Онъ былъ добрый малый и хорошій товарищъ, но держалъ себя высокомерно, какъ профессоръ, случайно усѣвшійся на одну парту съ малышами.

Въ этотъ день онъ явился въ классъ съ видомъ особенно величавымъ и надменнымъ. Съ небрежностью, сквозь которую, однако, просвѣчивало самодовольство, онъ разсказалъ, что онъ съ новымъ учителемъ уже „пріятели“. Знакомство произошло при особенныхъ обстоятельствахъ. Вчера, луннымъ вечеромъ, Доманевичъ возвращался отъ знакомыхъ. На углу Тополевой улицы и шоссе онъ увидѣлъ какого-то господина, который сидѣлъ на штабелѣ бревенъ, покачивался изъ стороны въ сторону, обмѣнивался шутками съ удивленными прохожими и запѣвалъ малорусскія пѣсни.

— Голось, я вамъ скажу, — замѣчательный! — прибавилъ разсказчикъ съ нѣкоторой гордостью за новаго пріятели.

Когда Доманевичъ, не узнавъ въ веселомъ господинѣ новаго учителя, проходилъ мимо, тотъ его окликнулъ:

— Господинъ ученикъ. Подойдите сюда!

Тотъ подошелъ, узналъ, поклонился.

— Какъ ваша фамилія?

Доманевичъ, „признаться, немного струсилъ“. Было уже поздно, вечеромъ выходить съ квартиръ запрещено, а этотъ новый, кажется, строгъ. Самъ пьянъ, а директору донесеть. Тѣмъ не менѣе, скрѣпя сердце, фамилію назвалъ.

— Очень пріятно, — вѣжливо сказалъ учитель, протягивая руку. — А я Авдіевъ, Веніаминъ Васильевичъ, учитель словесности. Въ настоящую минуту, какъ видите, пѣсколько пьянъ.

При этомъ онъ захохоталъ („смѣхъ у него удивительно веселый и заразительный“) и, крѣпко опершись на руку ученика, поднялся на ноги и попросилъ проводить его до дому, такъ какъ еще не ознакомился съ городомъ.

— Чортъ знаетъ, — говорилъ онъ, смѣясь, — улицы у васъ какія-то песообразныя, а вино у Вайнтрауба крѣпкое... Не

успѣлъ оглянуться,—уже за шлагбаумомъ... Пошелъ назадъ... тутъ бревна какія-то подъ ноги лѣзутъ... Ха-ха-ха... Голова у меня всегда свѣжа, а ноги, чортъ ихъ возьми, пьянѣютъ...

Доманевичъ проводилъ учителя на его квартиру надъ прудомъ, при чемъ всю дорогу дружески поддерживалъ его подъ руку. Дома у себя Авдѣевъ былъ очень милъ, предложилъ папиросу и маленький стаканчикъ краснаго вина, но при этомъ, однако, уговаривалъ его никогда не напиваться и не влюбляться въ женщинъ. Первое — вредно, второе... не стоитъ...

Разказъ вызвалъ въ классѣ сенсацію.—Что же это такое?—думалъ я съ ощущеніемъ щемящей душевной боли, тѣмъ болѣе странной, что Авдѣевъ казался мнѣ теперь еще менѣе симпатичнымъ.

— Ну, братъ,—сдѣлалъ кто-то практическій выводъ,—теперь можешь круглый годъ не учить словесность...

— Что мнѣ учить ее,—отвѣтилъ Доманевичъ небрежно,—я съ прошлаго года знаю все, что онъ диктовалъ... И, братъ, „мысль“ еще съ перваго класса.—И, окинувъ насъ обычнымъ, нѣсколько пренебрежительнымъ взглядомъ, — Доманевичъ медленно прослѣдовалъ къ своему мѣсту. Теперь у него явилось новое преимущество: едва ли къ кому-нибудь изъ мелюзги учитель могъ обратиться за *такой* услугой...

Пробилъ звонокъ. Дверь открылась. Вошелъ Авдѣевъ и легкой беззаботной походкой прошелъ къ каедрѣ.

Всѣ взгляды впались въ учителя, о которомъ извѣстно, что вчера онъ былъ пьянъ, и что его Доманевичъ велъ подъ руку до квартиры. Но на красивомъ лицѣ не было видно ни малѣйшаго смущенія. Оно было свѣжо, глаза блестяли, на губахъ играла тонкая улыбка. Вглядѣвшись теперь въ это лицо, я вдругъ почувствовалъ, что оно вовсе не антипатично, а наоборотъ—умно и красиво... Но... всетаки вчера онъ былъ пьянъ... Авдѣевъ раскрылъ журналъ и сталъ дѣлать переключку.

— Варденскій... Заботинъ... Доманевичъ.

— Здѣсь,—отвѣтилъ Доманевичъ, лѣниво чуть-чуть подымаясь съ мѣста. Авдѣевъ на мгновеніе остановился, посмотрѣлъ на него искрящимися глазами, какъ бы припоминая что-то, и продолжалъ переключку. Затѣмъ, отодвинувъ журналъ, онъ облокотился обѣими руками на кафедру и спросилъ:

— Вы прошлый разъ успѣли все записать, что я рассказывалъ?

— Успѣли.

— И, конечно, выучили? Да? Ну-съ... Господинъ Доманевичъ.

Фамилія Доманевича пробѣжала въ классѣ электрической искрой. Головы повернулись къ нему. Бѣдняга недоумѣло и безпомощно оглядывался, какъ бы не отдавая себѣ отчета въ происходящемъ. Въ классѣ порхнулъ по скамьямъ невольный смѣшокъ. Лицо учителя было серьезно.

— Итакъ, господинъ Доманевичъ расскажетъ намъ содержаніе перваго урока... Какъ мы подошли къ опредѣленію предмета? Слушаемъ.

Доманевичъ поднялся, постоялъ полминуты потупясь и потомъ сказалъ растерянно:

— Я, господинъ учитель...

— Что именно?

— Сегодня не успѣлъ приготовить.

— Сегодня? А вчера? А третьяго дня?

— Я, вообще...

— Вообще?... Напрасно г. Доманевичъ, напрасно. Уроки задаются затѣмъ, чтобы ихъ готовить. На это было три дня. У васъ была осповательная причина?

Доманевичъ молчалъ.

— Жаль, но...—Онъ взялъ перо и раскрылъ журналъ.— Съ величайшимъ сожалѣніемъ вынужденъ поставить вамъ... единицу...

Проведя въ журналѣ черту, онъ взглянулъ на бѣднаго Доманевича. Видъ у нашего патріарха былъ такой растерянный и комично обиженный, что Авдѣевъ внезапно засмѣялся, слегка откинувъ голову. Смѣхъ у него былъ дѣйствительно какой-то особенный, переливчатый, заразительный и звонкій, при чемъ красиво сверкали изъ-подъ тонкихъ усовъ ровные бѣлые зубы... У насъ вообще не было принято смѣяться надъ бѣдой товарища,—но на этотъ разъ засмѣялся и самъ Доманевичъ. Махнувъ рукой, онъ усѣлся на мѣсто.

Осложненіе сразу разрѣшилось. Мы поняли, что изъ вчерашняго происшествія рѣшительно никакихъ послѣдствій собственно для ученія не вытекаетъ, и что авторитетъ учителя установленъ сразу и прочно. А къ концу этого втораго урока мы были ужъ цѣликомъ въ его власти. Продиктовавъ, какъ и въ первый разъ, красиво и свободно дальнѣйшее объясненіе, онъ затѣмъ вошелъ на кафедру и, раскрывъ принесенную съ собой толстую книгу въ новомъ изящномъ переплетѣ, сказалъ:

— Теперъ, господа, отдохнемъ. Я вамъ говорилъ уже, что значить мыслить понятіями. А вотъ сейчасъ вы услышите,

какъ иные люди мыслятъ и объясняютъ самыя сложныя явленія образами. Вы знаете уже Тургенева?

Къ стыду нашему, Тургенева многіе знали только по имени. Книгами мы пользовались или за умѣренную плату у любителя-еврея, снабжавшаго насъ истрепанными романами Дюма, Монтепена и Габоріо, или изъ гимназической библіотеки. Разъ въ недѣлю мы вваливались подъ вечеръ въ темныя гулкіе корридоры, казавшіеся таинственными и незнакомыми при сопительномъ свѣтѣ сальнаго огарка, который несъ впереди Андріевскій, и поднимались по лѣстницамъ, обмѣниваясь съ добродушнымъ словесникомъ шутками и остротами. Каждый разъ онъ долго подбиралъ ключъ къ замку библіотечной двери, потомъ звонко щелкалъ и открывалъ входъ въ большую комнату, уставленную по стѣнамъ огромными шкафами. Содержимое шкафовъ было чрезвычайно скудно: тутъ были преимущественно душеспасительныя поученія, „Воскресный Досугъ“, почему-то еще „Солдатское Чтеніе“ и „Всемирный Путешественикъ“. Мы роптали, а Андріевскій отшучивался, порой очень остроумно, возбуждая общій хохотъ. Въ концѣ концовъ приходилось всетаки просить для чтенія путешествіе Ливингстона, за нимъ путешествіе Кука, затѣмъ путешествіе Араго, путешествіе Беккера-паши. Разъ я принесъ домой даже путешествіе на Аѳонъ. Кажется, это были „Письма Святогорца“, изъ которыхъ, впрочемъ, не смотря на тогдашнее мое религіозное настроеніе, я запомнилъ только одно красивое описаніе бури и восхищеніе автора передъ тѣмъ, какъ святитель Николай зашилъ на соборѣ еретика Арія. Святогорецъ стоитъ передъ иконой, изображающей этотъ сильный аргументъ богословской полемики, и ему чудится, что „отзвукъ святительскаго заушенія еще носится подъ сводами безмолвнаго храма“...

Какъ бы то ни было, но даже я, читавшій сравнительно много, хотя безпорядочно и случайно, знавшій уже „Трехъ мушкетеровъ“, „Графа Монтекристо“ и даже „Вѣчнаго Жида“ Евгенія Сю,—Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Гончарова и Писемскаго зналъ лишь по нѣкоторымъ, случайно попадавшимся разговорамъ. Мое чтеніе того времени было просто развлеченіемъ и пріучало смотрѣть на беллетристику, какъ на занимательныя описанія того, чего въ сущности не бываетъ. Порой я прикидывалъ поступки и разговоры книжныхъ героевъ къ условіямъ окружавшей меня жизни и находилъ, что никто и никогда такъ не говоритъ и не поступаетъ. Свѣтлымъ пятнышкомъ выступало воспоминаніе о „Оамѣ изъ Сандомира“ и еще двухъ-трехъ произведеній польскихъ писателей, про-

читанныхъ ранѣ. Это было ближе къ жизни. Гдѣ-то, можетъ-быть, недалеко и не очень давно,—люди *могли* такъ говорить и поступать, но все-таки теперь не говорятъ и не поступаютъ...

Помню, въ одинъ свѣтлый осенній вечеръ я шелъ по тихой Тополевой улицѣ и свернулъ черезъ пустырь въ узенькій переулочекъ. Улица была въ тѣни, но за огородами, между двумя черными крышами, поднималась луна, и на ней рѣзко обрисовывались черныя вѣтки дерева, уже обнаженнаго отъ листьевъ. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого несложнаго пейзажа. Я любилъ рисовать, ограничиваясь рабскимъ копированіемъ, но теперь мнѣ страстно хотѣлось передать эту картину вотъ такъ же просто, съ ровной темнотой этихъ крышъ, колыями плетня, врѣзавшимися въ освѣтлѣвшее отъ мѣсяца небо, со всей глубиной влажныхъ тѣней, въ которыхъ чувствуется такъ много утонувшихъ во тьмѣ предметовъ, чувствуется даже недавно выпавшій дождь...

Потомъ мысль моя перешла къ книгамъ, и мнѣ пришла въ голову идея: что, если бы описать просто мальчика, вродѣ меня, жившаго сначала въ Житомирѣ, потомъ переѣхавшаго вотъ сюда, въ Ровно; описать все, что онъ чувствовалъ, описать людей, которые его окружали, и даже вотъ эту минуту, когда онъ стоитъ на пустой улицѣ и мѣряетъ свой теперешній духовный ростъ со своимъ прошлымъ и настоящимъ. Вотъ въ этой слитой, влажной тьмѣ, беспорядочно усянной огоньками, за этими свѣтящимися окошками, живутъ люди. Теперь они пьютъ чай, или ужинаютъ, разговариваютъ, ссорятся, смѣются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, никогда не примѣриваютъ своего я ко всему, что ихъ окружаетъ. Быть-можетъ, во всемъ городѣ я одинъ стою вотъ здѣсь, вглядываясь въ эти огни и тѣни, одинъ думаю о нихъ, одинъ желалъ бы изобразить и эту природу, и этихъ людей такъ, чтобы все было правда, и чтобы каждый нашелъ здѣсь свое мѣсто.

Не этими словами, но думалъ я именно это. И во мнѣ было немного гордости и много неудовлетворенія. Я только думалъ, что можно бы изобразить все, въ той простотѣ и правдѣ, какъ я теперь это вижу, и что исторія мальчика, подобнаго мнѣ, и людей, его окружающихъ, могла бы быть интереснѣе и умнѣе графа Монтекристо. Но, въ сущности, я ничего не умѣлъ: учитель Стахорскій считалъ меня даровитымъ рисовальщикомъ, но требовалъ тщательной „штриховки“. Въ штриховкѣ я достигъ большихъ успѣховъ, но съ ней не могъ зарисовать самаго простаго пейзажа съ ватуры. Порой,

отвязавъ нашу лодку, я подплывалъ къ острову, ставилъ ее среди кувшинокъ и ряски и принимался съ залива рисовать старый замокъ съ пустыми окнами, съ высокими тополями и обомшѣлыми каменными рыцарями. Рисунки мои производили фуроръ, но я чувствовалъ, что это только черты, контуры, штриховка... Нѣтъ ни задумчивой массивности старой руины, ни глубины въ зіяющихъ окнахъ, ни высоты въ тополяхъ съ шумящими вершинами, ни воздуха въ высокомъ небѣ, ни прозрачности въ водѣ. Съ ощущеніемъ бесплія и душевной безвкусицы я клалъ карандаши и альбомъ на скамейку лодки и подолгу сидѣлъ безъ движенія, глядя, какъ вокругъ, шевеля застоившуюся сверкающую воду, бѣгали долгоногіе водяные комары съ свѣтлыми чашечками на концахъ лапокъ, какъ въ тишѣ тихо и томно проплывали разомѣвшія лягушки, или раки вспахивали хвостами мутное дно. Черезъ нѣкоторое время душевная пустота, вѣявшая отъ мертвой жизни мертвого городка, начинала наполняться: изъ-за нея выходили тѣни прошлаго. Пустой островъ заселялся, замокъ оживалъ. На широкомъ балконѣ появлялись группы красавиць, и одна изъ нихъ держала кубокъ, а молодой рыцарь (можетъ быть, это даже былъ я) вѣзжалъ на конѣ по лѣстницамъ и переходамъ и бралъ этотъ кубокъ изъ руки дамы... Кругомъ гремѣли крики, выстрѣлы, звонъ шпоръ и ржаніе коней.

Или иначе: на замокъ нападаютъ казаки и гайдамаки, весь островъ въ бѣломъ дымѣ... Вообще, въ это время, подъ вліяніемъ легендъ стараго замка и отрывочнаго чтенія (въ спискахъ) „Гайдамаковъ“ Шевченка, — романтизмъ старой Украины опять врывается въ мою душу, заполняя ее призраками отонедшей казацкой жизни, такими же мертвыми, какъ и польскіе рыцари и ихъ прекрасныя дамы... Что можетъ быть интереснаго въ жизни обыкновеннаго мальчика и его сосѣдей? Интересны только дикія степи, бѣшеная погоня, нападенія, приключенія, подвиги, разумѣется, съ благополучнымъ окончаніемъ... Одно время я даже заинтересовался географіей съ той точки зрѣнія, гдѣ можно бы въ наше прозаическое время найти уголокъ для возстановленія Запорожской сѣчи, и очень обрадовался, услышавъ, что Садыкъ-паша Чайковскій ищетъ того же романтическаго прошлаго на Дунаѣ, въ Анатоли и въ Сиріи... Мечты бесплодно распаляли воображеніе, обезсиливали волю. Когда приходило время возвращаться съ этихъ неудачныхъ художественныхъ сеансовъ, я лѣниво бралъ весла, и моя лодка протягивала за собой медлительный слѣдъ, тихо залывавшій ряской, водорослями и тиной.

Растущая душа стремилась пристроить куда-то избытокъ

силы, не уходящей на „ариѳметики и грамматики“, и вслѣдъ за жгучими историческими фантазіями въ нее порой опять врывался религіозный экстазъ. Онъ былъ такой же безпочвенный и еще болѣе мучительный. Въ глубинѣ души еще не сознанныя начинали роиться сомнѣнія, а на-встрѣчу имъ поднималась жажда религіознаго подвига, полетовъ души ввысь, молитвенныхъ экстазовъ.

Однажды въ такомъ настроеніи я шелъ въ гимназію.

Путь лежалъ черезъ базарную площадь, центръ мѣстной торговой жизни. Кругомъ нея зіяли ворота заѣзжихъ домовъ; вся она была заставлена возами, заполнена шумомъ, гоготаніемъ продаваемой птицы, ржаніемъ лошадей, звонкими криками торговкокъ.

И вдругъ мой взглядъ упалъ на фигуру Мадонны, стоявшей на своей колоннѣ высоко въ воздухѣ. Это была мѣстная святыня, одинаково для католиковъ и православныхъ. По вечерамъ будочникъ, лицо оффиціальное, вставлялъ въ фонарь огарокъ свѣчи и поднималъ его на блокъ. Огонекъ звѣздочкой висѣлъ въ темномъ небѣ, и надъ нимъ красиво, таинственно, неясно рисовалась раскрашенная фигура.

Говорили, что протоіерей-обруситель возбудилъ уже вопросъ о снятіи Богородицы-католички... Теперь опальная статуя, освѣщенная утренними лучами, рѣяла надъ шумной и пестрой безто очью базара. Было въ ней что-то такое, отчего я сразу остановился, а черезъ минуту стоялъ на колѣняхъ, безъ шапки и крестился, поднявъ глаза на Мадонну.

Потомъ я поднялся и пошелъ въ классы, не обращая вниманія на удивленные взгляды.

Въ слѣдующій разъ, проходя опять тѣмъ же мѣстомъ, я вспомнилъ вчерашнюю молитву. Настроеніе было другое, но... кто-то какъ будто упрекнулъ меня; „Ты стыдишься молиться, стыдишься признать свою вѣру только потому, что это не принято“... Я опять положилъ книги на панель и сталъ на колѣни...

Тенерь толпы не было, и фигура гимназиста на колѣняхъ выдѣлялась яснѣе. На меня обратили вниманіе еврей-факторы, прохожіе, чиновники, шедшіе въ казначейство... Вдали на деревянныхъ тротуарахъ мелькали синіе гимназическіе мундиры. Мнѣ хотѣлось, чтобы меня не замѣтили...

Съ этихъ поръ на нѣкоторое время у меня явилась навязчивая идея: молиться какъ слѣдуетъ я не могъ,—не было непосредственно молитвеннаго настроенія, но мысль, что я „стыжусь“, звучала упрекомъ. Я всетаки становился на колѣни, недовольный собой, и недовольный подымался. Това-

рищи заговорили объ этомъ, какъ о странномъ чудачествѣ. На вопросы я молчалъ... Душевная борьба въ пустотѣ была мучительна и безплодна...

Въ такомъ настроеніи застало меня появленіе новаго учителя...

Закончивъ объясненіе урока, Авдѣевъ раскрылъ книгу въ новенькомъ изящномъ переплетѣ и началъ читать такимъ простымъ голосомъ, точно продолжаетъ самую обыденную бесѣду:

„Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ—старичокъ низенькій, пухленькій, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ. Онъ большой хлѣбосоль и балагуръ... Зиму и лѣто ходитъ въ полосатомъ шлафрокѣ на ватѣ... Домъ у него старинной постройки: въ передней, какъ слѣдуетъ, пахнетъ квасомъ, соевыми свѣчами и кожей“...

Это—„два помѣщика“ изъ „Записокъ охотника“. Разсказчикъ—еще молодой человекъ, тронутый „новыми взглядами“, гоститъ у Мардарія Аполлоновича. Они пообедали и пьютъ на балконѣ чай. Вечерній воздухъ затихъ. „Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и въ послѣдній разъ, замирая около дома, донесъ до слуха звукъ мѣрныхъ и чистыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюшни“. Мардарій Аполлоновичъ, только что поднесшій ко рту блюдечко съ чаемъ,—останавливается, киваетъ головой и съ доброй улыбкой начинаетъ вторить ударамъ:

— Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

Оказывается, на конюшнѣ сѣкутъ „шалунешку“ буфетчика, человекъ съ большими бакенбардами, недавно еще въ полномъ сюртукѣ прислуживавшаго за столомъ... Лицо у Мардарія Аполлоновича доброе. „Самое лютое негодованіе не устояло бы противъ его яснаго и кроткаго взора“... А на выѣздѣ изъ деревни разсказчикъ встрѣчаетъ и самого „шалунешку“: онъ идетъ по улицѣ, душитъ сѣмячки и на вопросъ, за что его наказали, отвѣчаетъ просто:

— А подѣломъ, батюшка, подѣломъ! У насъ по пустякамъ не наказываютъ... У насъ баринъ... такого барина во всей губерніи не сыщешь...

Среди глубочайшей тишины Авдѣевъ дочиталъ послѣднюю фразу: „Вотъ она—старая-то Русь!..“ Затѣмъ онъ сказалъ нѣсколько, опять очень простыхъ, словъ о крѣпостномъ правѣ и объ ужасѣ „порядка“, при которомъ возможно это двустороннее равнодушіе. Звонокъ Савелія въ первый разъ прозвучалъ для насъ неожиданно и испрѣтно.

Въ этотъ день я уносилъ изъ гимназiи огромное и новое впечатлѣнiе. Меня точно осiяло. Вотъ они тѣ „простыя“ слова, которыя даютъ настоящую, неприкрашенную „правду“ и всетаки сразу поднимаютъ надъ сѣренькой жизнью, открывая ея шири и дали. И въ этихъ ширяхъ и даляхъ вдругъ встаютъ и толпятся, и движутся знакомыя фигуры, обыденные эпизоды, будничныя сцены, озаренныя особеннымъ свѣтомъ.

Когда, послѣ урока, я шелъ домой, мнѣ вспомнился дядя капиталъ, Гарный Лугъ, „помѣщики“, Кароль, Антось... И прежняго противорѣчiя, безсмысленной несвязанности этихъ явленiй какъ не бывало... „Чики-чики-чюкъ“... „Что вы, молодой человекъ, что вы? Да развѣ я злодѣй, что вы на меня такъ уставились?“ Я понялъ стихийную непосредственность этого восклицанiя... Капитанъ тоже не злодѣй. Онъ гораздо умнѣе, симпатичнѣе Мардарiя. И однако... онъ несомнѣнно обливалъ Кароля водой на морозѣ. И Кароль съ этимъ примирился, а во мнѣ кипѣло негодованiе. Оно относилось къ „крѣпостному праву“, которое уже отошло. Но... всетаки представление о нравственности лицъ и о нравственности учреждений, строя жизни уже отдѣлялись другъ отъ друга, какъ различныя категорiи.

Съ этого дня художественная литература перестала быть въ моихъ глазахъ только развлеченiемъ, а стала увлекательнымъ и серьезнымъ дѣломъ. Авдiевъ сумѣлъ зажечь и раздуть эти душевныя эмоцiи въ яркое пламя. У него было инстинктивное чутье юности и—талантъ. Все, что онъ читалъ, говорилъ и дѣлалъ, прiобрѣтало въ нашихъ глазахъ особенное значенiе. Исторiя литературы, съ поученiями Мономаха и письмами Заточника, выступала изъ своего туманнаго отдаленiя, какъ предметъ значительный и важный, органически подготовлявшiй грядущiя откровенiя. Коротенькiе дивертисменты въ концѣ уроковъ, когда Авдiевъ раскрывалъ принесенную съ собой книгу и прочитывалъ отрывокъ, сцену, стихотворенiе,—стали для насъ потребностью. Въ его чтенiи никогда не чувствовалось искусственности. Начиналось оно всегда просто, и мы не замѣчали, какъ, гдѣ, въ какомъ мѣстѣ Авдiевъ переходилъ къ паѳосу, потрясавшему насъ, какъ рядъ электрическихъ ударовъ, или къ комизму, вѣявшему на классъ вихремъ хохота. Онъ прочиталъ сцену изъ „Мертвыхъ душъ“, и мы кинулись на Гоголя. Особенно любилъ онъ Некрасова, и впослѣдствiи я уже никогда не слышалъ такого чтенiя.

Вскорѣ между Авдiевымъ и нами завязались простыя и

близкія отношенія. Онъ приглашалъ насъ къ себѣ, угощалъ чаемъ за своимъ холостымъ столомъ и всегда держалъ себя просто, дружески и весело. Никогда не чувствовалось преднамѣренности и дидактизма; легкая шутка и вопросъ о только что прочитанной кѣмъ-нибудь изъ насъ повѣсти Тургенева, Писемскаго, Гончарова, Помяловскаго, стихотворенія Некрасова, Никитина или Шевченка сплетались незамѣтно, непринужденно... До сихъ поръ въ душѣ моей, какъ ароматъ цвѣтка, сохранилось особое ощущеніе, которое я уносилъ съ собою изъ квартиры Авдіева, ощущеніе любви, уваженія, молодой радости раскрывающагося ума и благодарности за эту радость...

Однажды, возвращаясь подъ такими впечатлѣніями къ себѣ часовъ около 9-ти вечера, я вдругъ наткнулся на инспектора, который въ переулкѣ рѣзко освѣтилъ мое лицо потайнымъ фонарикомъ. На мгновеніе меня обдало точно кипяткомъ. Но я не испугался, не пытался увернуться и убѣжать, хотя могъ бы, такъ какъ передо мной заранѣе рисовалась въ темнотѣ высокая, точно длинный столбъ, фигура приближавшагося Степана Яковлевича... Помню, что мнѣ было странно и досадно, точно я до этого мгновенія все еще оставался въ свѣтлой комнатѣ, а теперь неожиданно очутился въ грязномъ и темномъ переулкѣ передъ назойливымъ выходцемъ изъ другого міра. Повидимому, въ выраженіи моего лица было что-то, удивившее инспектора. Онъ ближе придвинулъ фонарикъ, внимательно всмотрѣлся въ меня и спросилъ:

— Что вы?

— Ничего, Степанъ Яковлевичъ.

— Откуда?

— Отъ Веніамина Васильевича. Относилъ книгу.

— А!

И онъ ушелъ, оставляя во мнѣ впечатлѣніе мимолетнаго соннаго призрака.

Никогда отъ Авдіева мы не слышали ни одного намека на нашу „систему“ или на ненормальности гимназическаго строя. Но онъ вызывалъ совершенно особый душевный строй, который непреднамѣреннымъ контрастомъ отбѣнялъ и подчеркивалъ обычный строй гимназической жизни. И это было сильнѣе прямой критики.

Повременамъ онъ продолжалъ пить. Однажды его вывели изъ клуба, гдѣ онъ началъ говорить посѣтителямъ — очень веселыя, правда — дерзости. Это вызвало негодованіе, и Авдіева выпроводили; но и при этомъ онъ велъ себя такъ забавно,

что и старшины, и публика хохотали, а на слѣдующій день, какъ стая птицъ, разлетѣлись по городу его характеристики и каламбуры... А еще черезъ нѣсколько дней, въ ближайшій клубный вечеръ, онъ опять явился, какъ ни въ чемъ не бывало, изящный, умный, серьезный, и никто не посмѣлъ напомнить о недавнемъ скандалѣ... На гуляньяхъ въ ясные дни, когда „весь городъ“ выходилъ на шоссе, чинно прогуливаясь „за шлагбаумомъ“, Авдѣевъ переходилъ отъ одной группы къ другой, и всюду его встрѣчали привѣтливо, какъ общаго фаворита. Дамы всѣ были отъ него въ восторгѣ: въ отношеніи къ нимъ онъ никогда не забывался, даже пьяный, — а мужчины старались забыть его выходки.

— Что дѣлать! Человѣкъ съ сатирическимъ направлениемъ ума, — сказалъ про него воинскій начальникъ, и провинціальный городъ принялъ эту сентенцію, какъ своего рода патентъ, узаконившій поведеніе интереснаго учителя. Другимъ, конечно, спустить того, что спускалось Авдѣеву, было бы невозможно. Человѣку съ „сатирическимъ направлениемъ ума“ это какъ бы полагалось по штату...

Все это, разумѣется, доходило до гимназистовъ. Ученики передавали о скандалахъ по рассказамъ клубныхъ очевидцевъ и съ удовольствіемъ повторяли остроты и каламбуры своего любимца. Мнѣ тоже порой казалось, что это занимательно и красиво, и иной разъ я даже мечталъ о томъ, что когда-нибудь и я буду такимъ же уѣзднымъ сатирикомъ, котораго одни боятся, другіе любятъ, и всѣ, въ сущности, уважаютъ за то, что онъ никого самъ не боится и своими выходками шевелить дремлющее болото. Но я всетаки не могъ примириться съ мыслью, что Авдѣева „выводили изъ клуба“, и многіе считаютъ себя въ правѣ называть его пьяницей.

Однажды онъ далъ мнѣ читать Писемскаго. Есть у этого писателя одна повѣсть, менѣе другихъ упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она „Monsieur Батмановъ“ и изображаетъ человѣка съ „широкой натурой“, красиваго, эксцентричнаго, остроумнаго, не признающаго условностей. Онъ попадаетъ изъ столицы въ небольшой губернской городъ, очаровываетъ все общество, которое самъ открыто презираетъ, говорить дерзости губернскимъ магнатамъ и производить болѣе или менѣе забавные дебоши. Его любитъ умная и красивая женщина. Онъ какъ будто любитъ ее также, но всетаки они расходятся навсегда: мосье Батмановъ не можетъ подумать безъ отвращенія о законномъ бракѣ и любви по обязанности...

У меня замирало сердце, когда я читалъ послѣднее объ-

ясненіе Батманова съ любимой женщиной гдѣ-то, кажется, въ театральной ложѣ. За обликомъ Батманова я подставилъ въ воображеніи оригинальное лицо Авдіева, съ его тонкой улыбкой, заразительнымъ смѣхомъ и порой ѣдкимъ, но чаще благодушно-красивымъ остроуміемъ. Какъ и Батмановъ, онъ выдѣлялся рѣзкимъ пятномъ на тускломъ провинціальномъ фонѣ, головой выше всѣхъ окружающихъ. Какъ и Батмановъ, не боялся общаго мнѣнія; наконецъ, какъ и у Батманова, мнѣ чудилась за всѣмъ этимъ какая-то драма, душевная боль, непонятный отказъ отъ счастья изъ-за неясныхъ, но, конечно, возвышенныхъ побужденій...

Кончается повѣсть Писемскаго неожиданной сценкой. Въ какомъ-то сибирскомъ городкѣ мѣстные купцы-золотопрмышленники встрѣчаютъ нрѣззаго сановника. Впереди депутаціи съ хлѣбомъ-солью стоитъ дородный красивый человекъ, съ широкой бородой, въ сибиркѣ изъ тонкаго сукна и въ высокихъ сапогахъ бураками. Сановникъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ узнаетъ въ немъ стараго знакомаго—м-сье Батманова. „Да, чѣмъ только не кончалось русское разочарованіе!“— замѣчаетъ въ заключеніе Писемскій. Обаяніе фигуры Батманова было такъ велико, что я какъ-то совершенно не обратилъ вниманія на это сатирическое заключеніе.

Однажды, когда я принесъ Авдіеву прочитанную книгу, онъ остановилъ меня, и мы разговорились какъ-то особенно задушевно. Вообще, я уже сталъ тогда однимъ изъ любимыхъ его учениковъ, и порой наши бесѣды принимали отѣнокъ своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Онъ спросилъ, не случается ли мнѣ встрѣчать въ литературѣ знакомыхъ лицъ. Я сказалъ о томъ, какъ Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ заставилъ меня вспомнить о моемъ дядѣ-капитанѣ, хотя, въ сущности, они другъ на друга не похожи. Онъ выслушалъ эту параллель съ интересомъ и вдругъ предложилъ вопросъ:

— Ну, а я похожъ на кого-нибудь изъ этихъ господъ?

— Вы...—отвѣтилъ я, нѣсколько застѣнчиво,—у Писемскаго: мосье Батмановъ.

Авдіевъ удивленно повернулся на креслѣ и сказалъ съ недоумѣніемъ:

— Бат-ма-новъ? Странно. Въ чемъ же сходство?

Я былъ въ затрудненіи. Что сказать, въ самомъ дѣлѣ, на этотъ вопросъ: въ скандалахъ и остроумныхъ каламбурахъ? Замѣтивъ мое затрудненіе и сконфуженность, онъ засмѣялся и спросилъ:

— А Батмановъ этотъ вамъ нравится?

— Да.

Онъ протянулъ руку, взялъ со стола книгу и, развертывая ее, спросилъ:

— Да вы дочитали до конца?

— Дочиталъ. Что-жь, конецъ... По моему, можно бы закончить иначе...

— Вы думаете? Ну, нѣтъ. Здѣсь художественная правда. Иначе было бы опять въ томъ же родѣ.

Онъ прочелъ заключительную сценку вплоть до ироническаго восклицанія о русскомъ разочарованіи и сказалъ:

— И что только вамъ понравилось? Печоринствующій бездѣльникъ изъ дворянъ... Но съ Печориными, батюшка, дѣло давно покончено. Изъ литературной гвардіи они уже разжалованы въ инвалидную команду, — и теперь развѣ гарнизонные офицеры прелъщаютъ уѣздныхъ барышень печоринскимъ „разочарованіемъ“. Вамъ вотъ конецъ не понравился... Это значитъ, что и у васъ, господа гимназисты, вкусомъ еще немного... гарнизонные...

И сильно покраснѣлъ. Авдіевъ замѣтилъ это и вдругъ, откинувъ голову, залился своимъ звенящимъ смѣхомъ.

— А! Вотъ оно что! Кажется, понимаю, — сказалъ онъ. — Ну, ничего, ничего, не краснѣйте! Но вѣдь это сходство только поверхностное. Батмановъ прежде всего баринъ, скупающій отъ бездѣлья. Ну, а я разночинецъ и работникъ. И кажется...

Онъ опять взглянулъ на меня и прибавилъ серьезнымъ тономъ:

— И, кажется, работникъ въ своемъ дѣлѣ не дурной.

Онъ нѣсколько времени молча покачивался въ креслѣ-качалкѣ, глядя передъ собой. Затѣмъ опять протянулъ руку къ полкѣ съ книгами.

— „Затишье“ вы читали? — спросилъ онъ.

— Читалъ.

Онъ раскрылъ Тургенева и, перекинувъ нѣсколько листовъ, прочелъ громко:

„Марья Павловна опять взглянула на него.

„— Вы увѣряете, что слушаетесь меня?

„— Конечно, слушаюсь.

„— Слушаетесь? А вотъ сколько разъ я васъ просила... не пить вина.

„Онъ засмѣялся.

„— Эхъ Маша, Маша! И вы туда же... Да, во-первыхъ, я вовсе не пьяница, а во-вторыхъ, знаете ли, для чего я пью. Посмотрите-ка вотъ на эту ласточку... Видите, какъ она смѣло

распоряжается своимъ маленькимъ тѣломъ, — куда хочетъ, туда его и броситъ... Вотъ взвилась, вонъ ударилась книзу, даже взвизгнула отъ радости, слышите? Такъ вотъ для чего я пью, Маша, чтобы испытать тѣ самыя ощущенія, которыя испытываетъ эта ласточка... Швыряй себя, куда хочешь, лети, куда вздувается...”

— Веретьевъ!—сказалъ я радостно. Веретьевъ мнѣ тоже очень нравился и тоже отчасти напоминалъ Авдіева: превосходно читалъ стихи, говорилъ пошляку Астахову неприятную правду въ глаза и такъ красиво „швырялъ себя, подобно ласточкѣ“. Но на этотъ разъ я тотчасъ же вспомнилъ конецъ и сказалъ довольно уныло:

— А кончаетъ тоже плохо.

— Очень плохо,—сказалъ Авдіевъ.— Ласточка, ласточка, а затѣмъ... господинъ въ поношенномъ испанскомъ плащѣ, съ слегка оплывшими глазами и крашеными усами. Знаете что,—никогда не пейте, и главное—не начинайте. Ни изъ удализма, ни для того, чтобы быть ласточкой. Запомните вы этотъ мой совѣтъ, когда станете студентомъ?

— Запомню, Веніаминъ Васильевичъ,—отвѣтилъ я съ волненіемъ и затѣмъ, по внезапному побужденію, поднялъ на него глаза, но не рѣшился высказать вставшій въ умѣ вопросъ. Онъ, вѣроятно, понялъ, потянулся въ креслѣ и быстро всталъ на ноги.

— Да,—сказалъ онъ:—„ласточка“—это у Тургенева замѣчательно вѣрно; но крашенные усы... бррр. И вообще скверность. Эти полеты нужно умѣть остановить во-время...

Онъ прошелся по комнатѣ, потомъ опять сѣлъ и закачался, смѣясь, а я, ободренный этимъ, рѣшился еще на одинъ вопросъ:

— Правда... вы женитесь?

Онъ съ улыбкою, искоса взглянулъ на меня и спросилъ въ свою очередь:

— На комъ?

— На Л.

— А вы бы мнѣ этого желали?

— Да, очень...

— Искренно?

— Искренно,—отвѣтилъ я съ убѣжденіемъ.

Онъ захохоталъ какъ-то совсѣмъ по дѣтски и потомъ сказалъ:

— Очень тронуть... но... Да будетъ вамъ краснѣть-то! Нѣтъ, не жепюсь...

Я, дѣйствительно, покраснѣлъ, должно быть, до корня волосъ. Въ городѣ начали договаривать, какъ о предполагаемой

невѣстѣ Авдіева, о той самой дѣвушкѣ, въ которую, въ числѣ другихъ, былъ влюбленъ и я. Слухъ этотъ сначала больно поразилъ мое сердце, но затѣмъ я примирился съ мыслью, что она будетъ женой Авдіева, и что тогда онъ броситъ пить. Мое довольно подвижное воображеніе рисовало мнѣ на этомъ фонѣ разныя болѣе или менѣе красивыя картины. Черезъ много лѣтъ я, пожилой и одинокій, такъ какъ остался вѣренъ своему чувству, посѣщаю, послѣ разныхъ бурныхъ скитаній по свѣту, ихъ счастливую семью. И только тогда онъ узнаетъ тайну моей любви и моего самоотверженія и то, какую огромную жертву принесъ ему горячо любившій его ученикъ...

Переливчатый смѣхъ Авдіева спугнулъ эти фантазіи. На этотъ разъ я покраснѣлъ оттого, что почувствовалъ ихъ ребячество и... вспомнилъ сразу, что въ сущности великодушіе мое было довольно дешеваго свойства, такъ какъ, и безъ Авдіева, мои шансы были довольно плохи... Реализмъ отвоевывалъ мѣсто у сантиментально-фантастической драмы...

Русскихъ писателей я бралъ у Авдіева одного за другимъ и читалъ запоемъ. Часто мнѣ казалось, что все это въ сущности только вскрываетъ и освѣщаетъ мысли и образы, которые давно уже толпились въ глубинѣ моего собственного мозга. Каждый урокъ словесности являлся свѣтлымъ промежуткомъ на тускломъ фонѣ обязательной гимназической рутины, часомъ отдыха, наслажденія, неожиданныхъ и яркихъ впечатлѣній. Часто я даже по утрамъ просыпался съ ощущеніемъ какой-то радости. А, это—сегодня урокъ словесности! Весь педагогическій хоръ съ голосами средняго регистра и выкрикиваніями маніаковъ, — покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами. И ярче всѣхъ звучалъ баритонъ Авдіева: хоръ въ цѣломъ пріобрѣталъ какъ будто новое значительное выраженіе.

Однажды на улицѣ вечеромъ я встрѣтилъ Авдіева. Онъ шелъ подъ-руку съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, нѣсколько старше меня, съ южнымъ профилемъ и черными кудрявыми волосами. Я уже видѣлъ его раньше. Это былъ Гаврило Ждановъ, впоследствии мой пріятель, недавно пріѣхавшій въ нашъ городъ, чтобы поступить въ одинъ изъ старшихъ классовъ гимназіи. Онъ приходился родственникомъ учителю Тыссу и держался запросто въ учительской компаніи. Это дѣлало его въ моихъ глазахъ чѣмъ-то высшимъ, чѣмъ мы, бѣдняги-ученики въ застегнутыхъ мундирахъ, съ вѣчной опаской передъ начальствомъ. Встрѣтивъ меня у одинокаго фонаря на углу, Авдіевъ остановился и сказалъ:

— А! Это вы. Хотите ко мнѣ пить чай? Вотъ, кстати по-

знакомьтесь: Ждановъ, вашъ будущій товарищъ, если только не срѣжется на экзаменѣ,—что, однако, весьма вѣроятно. Мы вамъ споемъ малорусскую пѣсню. Чи може вы нашихъ пѣсень цураетесь? — спросилъ онъ по-малорусски.—А коли не цураетесь,—идемъ.

Вечеръ весь прошелъ въ пѣннн. У Авдіева былъ глубокій и свободный баритонъ. Ждановъ подтягивалъ небольшой, но пріятной октавой. Я сидѣлъ у открытаго окна и слушалъ. Въ окно виднѣлся прудъ, островъ, тополи и замокъ. Надъ дальними камышами, почти еще не свѣти, подымалась во мглѣ задумчивая красная луна, а небольшая комната, освѣщенная мягкимъ свѣтомъ лампы, вся звенѣла мечтательной, красивой тоской украинской пѣсни. Никогда впослѣдствіи я не испытывалъ такихъ сильныхъ ощущеній отъ пѣннн, какъ въ подобные вечера у Авдіева. Послѣ двухъ-трехъ знакомыхъ пѣсень, Авдіевъ сказалъ:

— Ну, Ждановъ,—теперь давайте ту. новую...

И, взявъ тонъ, онъ запѣлъ пѣсню „про бурлаку“.

— Бурлакъ робить, заробляе.

А хозяинъ пье, гуляе.

Гей-гей! Яромъ за товаромъ,

Та горама за волами...

Тяжко житы зъ ворогама.

Несомнѣнно, въ пѣснѣ есть свои краски и формы. Нужно только, чтобы въ центрѣ сталъ ясный образъ, а уже за нимъ, въ туманныя глубины воображенія, въ безконечную даль непознаннаго, невѣдомаго въ природѣ и жизни, потянутся свои живые отголоски и будутъ уходить, дрожа, вспыхивая, плача, угасая. Я живо помню, какъ въ этотъ вечеръ въ замирающихъ тонахъ глубокаго голоса Авдіева, когда я закрывалъ глаза или глядѣлъ на смутную гладь камышей, мнѣ *видѣлась* степь, залитая мечтательнымъ сіяніемъ, колыхающаяся буйной травой, изрѣзанная молчаливыми ярами. А басовая октава Жданова разстилалась подъ изгибами высокаго и свѣтлаго баритона, какъ ночныя тѣни въ этихъ ярахъ и долинахъ... И среди этой озаренной степи стоялъ и оглядывался сиротина-бурлакъ и кричалъ: гей-гей! на затерявшихся воловъ и на свою одинокую долю...

Эта пѣсня безотчетно понравилась мнѣ тогда больше всѣхъ остальныхъ. Авдіевъ своимъ чтеніемъ и пѣніемъ вновь разбудилъ во мнѣ украинскій романтизмъ, и я опять чувствовалъ себя во власти этой поэтической дали степей и дали временъ...

Гетьманы, гетьманы! Якъ бы то вы встали,

Встали, подывыдысь на свій Чигиринь,

Шо вы будувалы, де вы панувалы..

У трубы затрубили,
У дзваны задзвонили,
Вдарыли з гарматы..
Знаменами, буньчуками
Гетьмана укрыли..

И я грустиль, что это ушло, что этого уже нельзя встрѣ-
тить на этомъ скучномъ свѣтѣ, что уже

Не вернется козаччина,
Не встануть гетьманы,
Не покріють Україну
Червони жуланы.

Теперь, подъ влияніемъ Авдіева, это настроеніе, казалось, должно вспыхнуть еще сильнѣе... Но... въ сущности этого не было, и не было потому, что та самая рука, которая открывала для меня этотъ призрачный міръ,—еще шире распахнула окно родственной русской литературы, въ которое хлынули потоками простые, ясные образы и мысли. Безъ моего сознанія и вѣдома въ душѣ происходила чисто стихійная борьба настроеній. И теперь на вопросъ Авдіева, понравилась ли мнѣ пѣсня „про бурлаку“, я отвѣтилъ, что понравилась больше всѣхъ. На вопросъ,—почему больше всѣхъ, я нѣсколько замялся.

— Потому что... напоминаетъ Некрасова.—И я опять покраснѣлъ, чувствуя, что въ сущности сходства нѣтъ, а между тѣмъ мой отзывъ всетаки выражалъ что-то дѣйствительное.

— Вы хотите, вѣроятно, сказать, что тутъ рѣчь идетъ не о прошломъ, а о настоящемъ? — сказалъ Авдіевъ. — Что это современный бурлакъ и современный хозяинъ? У Шевченка тоже есть такіе мотивы-были. Онъ часто осуждалъ прошлое...

И онъ прочелъ нѣсколько отрывковъ. Я тогда согласился, но въ глубинѣ сознанія всетаки стояло какое-то различіе: такіе мотивы-были:

Варшавське смиття ваши паны,
Ясновельможные гетьманы!

Но основной, господствующей нотой всетаки была глубокая тоска объ этомъ прошломъ, разрѣшавшаяся безпредметной мечтой о чемъ-то смутномъ, какъ говоръ степного вѣтра на казацкой могилѣ...

Это я теперь раскрываю скобки, а тогда въ душѣ уживались оба настроенія, только одно становилось все живѣе и громче. Въ это время я сталъ бредить литературой, и порой, собравъ двухъ-трехъ охочихъ слушателей, иногда даже довольствуясь однимъ,—готовъ былъ цѣлыми часами громко чи-

тать Некрасова, Никитина. Тургенева, комедіи Островскаго... Однажды, въ воскресенье, я залучилъ такимъ образомъ товарища-еврея, Симху. У него были художественныя наклонности, и я охотно слушалъ его игру на скрипкѣ. Въ свою очередь, я угостилъ его чтеніемъ „Гайдамаковъ“. Читалъ я на этотъ разъ недурно, голосъ мой сталъ гибкимъ, выразительнымъ, глубокимъ. Однако, вскорѣ почувствовалъ, что живая связь между мной и слушателемъ оборвалась и не восстанавливается. Я взглянулъ въ симпатичное лицо моего пріятеля и понялъ: я читалъ *еврею* о томъ, какъ герой Шевченковской поэмы, Галайда, кричитъ въ Лисянкѣ: „дайте лиха, дайте жида, мало мені, мало!..“ Какъ гайдамаки точатъ кровь „жидивочекъ“ въ воду и такъ далѣе... Это, конечно, была „исторія“, но отъ этой поэтической исторіи моему пріятелю стало больно. А затѣмъ кое-гдѣ изъ красиваго тумана, въ которомъ гениальною кистью украинскаго поэта были разбросаны полныя жизни и движенія картины безчеловѣчной борьбы,—стало проглядывать кое-что, затронувшее уже и меня лично. Гонта, служа въ уманьскомъ замкѣ начальникомъ реестровыхъ казаковъ, женился на полькѣ, и у него было двое дѣтей. Когда гайдамаки, подъ предводительствомъ того же Гонты, взяли замокъ, іезуитъ приводитъ къ ватажку его дѣтей—католиковъ. Гонта уноситъ и рѣжетъ обоихъ „свяченнымъ ножомъ“, а гайдамаки зарываютъ живьемъ въ колодцѣ школяровъ изъ семинаріи, гдѣ учились дѣти Гонты.

У Добролюбова я прочелъ восторженный отзывъ объ этомъ произведеніи малороссійскаго поэта: Шевченко, самъ украинець, потомокъ тѣхъ самыхъ гайдамаковъ, „съ полной объективностью и глубокимъ проникновеніемъ“ рисуетъ настроеніе своего народа. Я тогда принялъ это объясненіе, но подъ этимъ согласіемъ просачивалась струйка глухого протеста... Въ поэмѣ ничего не говорится о судьбѣ матери зарѣзанныхъ дѣтей. Гонта ее прокликаетъ:

„Будь проклята маты,
Та проклята католичка,
Що васъ породыла,
Чомъ вона васъ до східъ сонця
Була не втепыла“...

Думалось невольно:—вѣдь онъ на ней женился, знаи, что она католичка, какъ мой отецъ женился на моей матери... Я не могъ раздѣлять жгучей тоски о томъ, что теперъ

Не заріже батько сына,
Своеі дитини
За честь славу, за братерство,
За волю України...

ностью. — По нимъ будутъ судить не только о вашемъ изложении, но и объ образѣ вашихъ мыслей. Я хочу вамъ напомнить, что наша программа кончается Пушкинымъ. Все, что я вамъ читалъ изъ Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, — не говоря о Шевченкѣ, въ программу не входитъ.

Ничего больше онъ намъ не сказалъ, и мы не спрашивали... Чтеніе новыхъ писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило въ насъ столько новыхъ чувствъ и мыслей, — кто-то хочетъ отнять отъ насъ; кому-то нужно закрыть окно, въ которое лилось столько свѣта и воздуха, освѣжавшаго застоявшуюся гимназическую атмосферу...

— А я отъ васъ, кажется, скоро уѣду, — сказали вскорѣ послѣ этого Авдіевъ съ мягкой грустью, когда я зашелъ къ нему.

— Отчего? — спросилъ я унавшимъ голосомъ.

— Долго рассказывать, да, можетъ быть, и не къ чему, — отвѣтилъ онъ. — Просто приишелся не ко двору...

Къ намъ пріѣхалъ новый директоръ, Долгоноговъ, о которомъ я уже говорилъ выше. Всѣ, начиная съ огромнаго инспектора и кончая Дитяткевичемъ, сразу почувствовали надъ собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно послѣ случая съ Безакомъ, но... не знали. Онъ былъ отъ насъ какъ-то далеко по своему положенію.

Можно было легко угадать, что Авдіеву будетъ трудно ужиться съ этимъ неуклоннымъ человѣкомъ. А Авдіевъ, вдобавокъ, ни въ чемъ не мѣнялъ своего поведенія. По прежнему читалъ намъ въ классахъ новѣйшихъ писателей; по прежнему мы собирались у него группами на дому; по прежнему порой въ городѣ рассказывали объ его выходкахъ...

Я почувствовалъ, безъ объясненій Авдіева, въ чемъ дѣло... и прямая фигура Долгоногова стала мнѣ теперь непріятной. Однажды, при встрѣчѣ съ нимъ на деревянныхъ мосткахъ, я уступилъ ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Онъ повернулся, но, увидя, что я все-таки поклонился, тотчасъ же прослѣдовалъ дальше своей твердой размѣренной походкой. Онъ не былъ мелочень и не обращалъ вниманія на отѣнки.

Вскорѣ въ городъ пріѣхалъ кievскій попечитель Антоновичъ. Это былъ скромный старикъ, въ мундирѣ отставнаго военнаго, съ очень простыми и симпатичными повадками. Пріѣхалъ онъ какъ-то тихо, безъ всякой помпы, и въ гимназію пришелъ пѣшкомъ, по звонку, вмѣстѣ съ учителями. На уроки онъ тоже приходилъ въ самомъ началѣ, сидѣлъ до

конца, и объ его присутствіи почти забывали. Говорили, что онъ былъ когда-то разжалованъ въ солдаты по одному дѣлу съ Костомаровымъ и Шевченкомъ и опять возвысился при Александрѣ II. Онъ остался очень доволенъ уроками Авдіева. Пробылъ онъ въ нашемъ городѣ нѣсколько дней, и въ теченіе этого времени распространилось извѣстіе, что его переводятъ попечителемъ учебнаго округа на Кавказъ.

Однажды, на гимназической улицѣ, когда я съ охабкой книгъ шелъ съ послѣдняго урока, — меня обогналъ Авдіевъ.

— Что это у васъ за походка?.. — сказалъ онъ, весело смѣясь: — съ развальцемъ... Подтянулись бы немного. А вотъ еще хуже: отчего вы не занимаетесь математикой?

— Я, Веніаминъ Васильевичъ, неспособенъ...

— Пустяки. Никто не требуетъ отъ васъ математическихъ откровеній, а въ гимназическихъ предѣлахъ — способенъ всякій. Нельзя быть образованнымъ человѣкомъ безъ математической дисциплины...

Въ это время на противоположной сторонѣ изъ директорскаго дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, онъ перешелъ черезъ улицу и пошелъ нѣсколько впереди насъ.

— Ну, вотъ, — сказалъ тихо Авдіевъ, — сейчасъ дѣло мое и рѣшится. — Кивнувъ мнѣ привѣтливо головой, онъ быстро догналъ попечителя и, приподнявъ шляпу, сказалъ своимъ открытымъ пріятнымъ голосомъ:

— У меня къ вамъ, ваше превосходительство, большая просьба. Учитель Авдіевъ, преподаю словесность.

— Знаю, — сказалъ старый генералъ съ неопредѣленнымъ выраженіемъ въ голосъ. — Какая просьба?

— Говорятъ, вы переводитесь на Кавказъ. Если это правда... возьмите меня съ собой.

— Это почему?

Авдіевъ улыбнулся и сказалъ:

— Разъ вы мени запомнили, то позвольте думать, что вамъ извѣстны также причины, почему мнѣ здѣсь оставаться... не рука.

Старый Кирилло-меѳодіевецъ остановился на мгновеніе и взглянулъ въ лицо такъ свободно обратившемуся къ нему молодому учителю. Потомъ зашагалъ опять, и я услышалъ, какъ онъ сказалъ не громко и спокойно:

— Ну, что-жъ. Пожалуй.

Мнѣ было неловко подслушивать, и я отсталъ. Въ концѣ улицы Антоновичъ попрощался и пошелъ направо, а я опять догналъ Авдіева, насвистывавшаго какой-то веселый мотивъ.

— Ну, вотъ, дѣло сдѣлано,—сказаль онъ.—Я зналъ, что съ нимъ можно говорить по человѣчески. Въ Тифлисѣ, говорятъ, ученики приходятъ въ гимназію съ кинжалами, тѣмъ менѣе основаній придирается къ мелочамъ. Ну, не поминайте лихомъ!

— Развѣ уже... такъ скоро?—спросиль я.

— Да, пелѣли черезъ три...

Черезъ три недѣли онъ уѣхаль... Первое время мнѣ казалось, что въ гимназіи точно сразу потемнѣло... Помня нашъ разговоръ на улицѣ, я подправиль, какъ могъ, свои математическія познанія и... старался подтянуть свою походку...

XXVIII.

Балмашевскій.

На мѣсто Авдіева былъ назначенъ Сергѣй Тимоѣевичъ Балмашевскій. Это былъ высокій худощавый молодой человѣкъ, съ нѣсколькой впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у него было пріятное, съ доброй улыбкой на тонкихъ губахъ, но его портили глаза, близорукіе, съ красными, припухшими вѣками. Говорили, что онъ страшно много работаль, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на вѣкахъ образовались ячмени, да такъ и не сходить... На одномъ изъ первыхъ уроковъ онъ заставиль меня читать „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“.

Ковши круговые, запѣнась, кипятъ
На тризніѣ печальной Олега.
Князь Игорь и Ольга на холмѣ сидятъ,
Дружина пируетъ у берега.

Когда я прочель предпоследній стихъ, новый учитель перебилъ меня:

— На холмѣ сидятъ... Нужно читать на холмѣ!

Я съ нелюбиміемъ взглянулъ на него.

— Размѣръ не выйдетъ,—сказаль я.

— Нужно читать на холмѣ,—упрямо повториль онъ.

Изъ-за кафедры на меня глядѣло добродушное лицо, съ нѣсколько деревяннымъ выраженіемъ и припухшими вѣками.— „Вѣчный труженикъ, а мастеръ никогда.“ — быстро, точно къ-то подсказанный, промелькнулъ у меня въ головѣ отзывъ Петра Великаго о Тредьяковскомъ.

Блеска у него не было, новыя для насъ мысли, неожиданныя, яркія, то и дѣло вспыхивавшія на урокахъ Авдіева,—погасли. Балмашевскій добросовѣстно объясняль: такое-то произведеніе раздѣляется на столько-то частей. Въ части

первой или вступленіи говорится о такомъ-то предметѣ... При этомъ авторъ прибѣгаетъ къ такому-то удачному сравненію... „Словесность“ стала опять только отдѣльнымъ предметомъ. Лучи, которые она еще такъ недавно кидала во все стороны, исчезли... Центра для нашихъ чувствъ и мыслей въ ровенской реальной гимназійи опять не было... И опять надъ голосами средняго регистра рѣзко выдѣлялись выкрикиванія желто-краснаго попугая.

Вскорѣ, однако, случился эпизодъ, поднявшій въ нашихъ глазахъ новаго словесника...

Гаврило Ждановъ, послѣ отъѣзда Авдіева поступившій таки въ гимназію, часто приходилъ ко мнѣ, и, лежа долгими зимними сумерками на постели въ темной комнатѣ, мы вели съ нимъ тихія бесѣды. Порой онъ заводилъ вполголоса тѣ самыя пѣсни, которыя пѣлъ съ Авдіевымъ. Въ темнотѣ звучалъ одинъ только басомъ, но въ моемъ воображеніи надъ нимъ вился и звенѣлъ бархатный баритонъ, такъ свободно взлетавшій на высокія ноты... И сумерки наполнялись ощутительными видѣніями...

Однажды у насъ исключили двухъ или трехъ бѣдняковъ за невзность платы. Мы съ Гаврилой безопасно шли въ гимназію, когда на-встрѣчу намъ попался одинъ изъ исключенныхъ, отосланный домой. На нашъ вопросъ, почему онъ идетъ изъ гимназіи не въ урочное время, онъ угрюмо отвернулся. Изъ глазъ у него были слезы...

Въ тотъ же день послѣ уроковъ Гаврило явился ко мнѣ, и, по общему обсужденіи, мы выработали нѣкій планъ: рѣшили обложить данью ежедневное потребленіе пирожковъ въ большую переѣмну. Сдѣлавъ приблизительный подсчетъ, мы нашли, что при извѣстной фискальной энергіи, — нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составилъ нѣчто въ родѣ краткаго воззванія, которое мы съ Гаврилой переписали въ нѣсколькихъ экземплярахъ и пустили по классамъ. Воззваніе имѣло успѣхъ, и на слѣдующій же день Гаврило во время большой переѣмны самымъ серьезнымъ образомъ расположился на крыльцѣ гимназіи, рядомъ съ еврейкой Сурой и другими продавцами пирожковъ, колбасъ и яблокъ, и при каждой покункѣ предъявлялъ требованія:

— Два пирожка... Давай копѣйку... У тебя что? Колбаса на три копѣйки. Тоже копѣйку.

Дѣло пошло. Нѣкоторые откупались за нѣсколько дней, и мы подумывали уже о томъ, чтобы завести записи и бухгалтерію, какъ наши финансовыя операціи были замѣчены надзирателемъ Дитяткевичемъ...

— Это что такое? Что вы дѣлаете?

Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой планъ и его цѣли. Дидонусъ, нѣсколько озадаченный, тотчасъ же поковылялъ къ директору.

Долгоногова въ то время уже не было. Его перевели вскорѣ послѣ Авдіева, и директоромъ былъ назначенъ Степанъ Яковлевичъ. Черезъ нѣсколько минутъ Дидонусъ вернулся оживленный, торжествующій и злорадный. Узнавъ отъ директора, что мы совершили нѣчто въ высокой степени предосудительное, онъ радостно повлекъ насъ въ учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистовъ.

Степанъ Яковлевичъ, откинувшись на стулъ, измѣрилъ насъ обоихъ взглядомъ и, подержавъ съ полминуты подъ угрозой вспышки, заговорилъ низкимъ хрипловатымъ голосомъ:

— Вы что это затѣяли? Прокламации какія-то?.. Тайные незаконные сборы?..

— Мы... Яковъ Степановичъ...—началь было изумленный Гаврило, но директоръ кинулъ на него суровый взглядъ и сказалъ:

— Молчать... Я говорю: тай-ные сборы, потому что вы о нихъ ничего не сказали мнѣ, вашему директору... Я говорю: незаконные, потому...

Онъ выпрямился на стулъ и продолжалъ торжественно:

— ...что па-ло-ги устанавливаются только государственнымъ совѣтомъ... Знаете ли вы, что, если бы я далъ оффиціальныи ходъ этому дѣлу, то вы не только были бы исключены изъ гимназіи, но... и отданы подъ судъ...

Красивые глаза Гаврилы застыли въ выраженіи величайшаго, почти сверхъестественнаго изумленія. И тоже былъ удивленъ такимъ неожиданнымъ освѣщеніемъ нашей затѣи, хотя чувствовалъ, что законодательныя права государственнаго совѣта тутъ не при чемъ.

Въ это время взглядъ мой случайно упалъ на фигуру Балмашевскаго. Онъ подошелъ въ самомъ началѣ разговора и теперь, стоя у стола, перелистывалъ журналъ. На его тонкихъ губахъ играла легкая улыбка. Глаза были, какъ всегда, занавѣшены тяжелыми припухшими вѣками,—но я ясно прочелъ въ выраженіи его лица сочувственную поддержку и ободреніе. Степанъ Яковлевичъ спустилъ тонъ и сказалъ:

— Пока—ступайте въ классъ.

Въ тотъ же день при выходѣ изъ гимназіи меня окликнулъ Балмашевскій и сказалъ, улыбаясь:

— Что? Досталось? Ну, ничего! Никакихъ послѣдствій изъ

этого, разумѣется, не будетъ. Но вы, господа, дѣйствительно, принялись не такъ. Зайдите сегодня ко мнѣ съ Ждановымъ...

Въ тотъ же вечеръ мы зашли съ Гаврилой въ холостую квартирку учителя. Онъ принялъ насъ привѣтливо и просто изложилъ свой планъ: мы соберемъ факты и случаи крайней нужды въ средѣ нашихъ товарищей и изложимъ ихъ въ формѣ записки въ совѣтъ. Онъ подастъ ее отъ себя, а учителя выработаютъ уставъ „общества вспоможенія учащимся города Ровно“.

Вышли мы отъ него, тронутые и съ чувствомъ благодарности.

— Не Авдѣевъ, а малый всетаки славный,—сказалъ на улицѣ мой пріятель. — И, знаешь, онъ тоже недурно поетъ. Я слышалъ на именинахъ у Тысса.

Записку мы составили. Мнѣ далось очень трудно это первое произведеніе въ дѣловомъ стилѣ, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали докладъ, и проектъ устава былъ отосланъ въ министерство, а пока сдѣлали единовременный сборъ и уплатили за исключенныхъ. Вслѣдствіе обычной волокиты, уставъ былъ утвержденъ только года черезъ три, когда ни насъ съ Гаврилой, ни Балмашевского въ Ровно уже не было. Но все же у меня осталось по окончаніи гимназій хорошее теплое воспоминаніе объ этомъ неблестящемъ молодомъ учителѣ, съ впалой грудью и припухшими отъ усиленныхъ занятій вѣками...

Прошло еще лѣтъ десять. „Система“ въ гимназіяхъ опредѣлилась окончательно. Въ 1888 или 1889 году появился памятный циркуляръ „о кухаркиныхъ дѣтяхъ“, которыя напрасно учатся въ гимназіяхъ. У директоровъ потребовали особую „статистику“, въ которой было бы точно отмѣчено состояніе родителей учащихся, число занимаемыхъ ими комнатъ, количество прислуги. Даже въ то глухое и смиренное время этотъ циркуляръ выжившаго изъ ума старика Делянова, слишкомъ наивно подслуживавшагося кому-то и поставившаго точки надъ і, вызвалъ общее возмущеніе: не всѣ директора даже исполнили требованіе о статистикѣ, а публика просто накидывалась на людей въ синихъ мундирахъ „народнаго просвѣщенія“, выражая даже на улицахъ чувство общаго негодованія...

Въ это время мнѣ довелось быть въ одномъ изъ городовъ нашего юга, и здѣсь я услышалъ знакомую фамилію. Балмашевскій былъ въ этомъ городѣ директоромъ гимназій. У меня сразу ожили воспоминанія о нашемъ съ Гаврилой посяга-

тельствѣ на права государственнаго совѣта, о симпатичномъ вмѣшательствѣ Балмашевскаго, и мнѣ захотѣлось повидать его. Но мои знакомые, которымъ я рассказалъ объ этомъ эпизодѣ, выражали сомнѣніе: „Нѣтъ, не можетъ быть! Это, навѣрное, другой!“

Оказалось, что это былъ тотъ же самый Балмашевскій, но... возмущившій всѣхъ циркуляръ онъ принялся примѣнять не токмо за страхъ, но и за совѣсть: призывалъ дѣтей, опрашивалъ, записывалъ „число комнатъ“ и прислуги... Дѣти уходили испуганныя, со слезами и недобрыми предчувствіями, а за ними исполнительный директоръ сталъ приывать бѣднѣйшихъ родителей и на точномъ основаніи циркуляра убѣждалъ ихъ, что воспитывать дѣтей въ гимназіяхъ имъ трудно и нецѣлесообразно. По городу ходила его выразительная фраза:

— Да что вы ко мнѣ пристааете? Я чиновникъ. Прикажутъ вѣшать десятого... Приходите въ гимназію: такъ и будутъ висѣть рядышкомъ, какъ галки на огородѣ... Адресуйте къ высшему начальству...

Мнѣ опять вспомнился тургеневскій Мардарій.

Балмашевскіе, конечно, тоже не злодѣи. Они выступали на свою дорогу съ добрыми чувствами, и, если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись, или хоть терпѣлись, — они бы ихъ старательно развивали. Но жестокой, тусклымъ режимъ школы требовалъ другого и производилъ въ теченіе десятилѣтій систематическій отборъ...

Старательный Балмашевскій сдѣлалъ карьеру, а Авдѣевъ умеръ незамѣтнымъ провинціальнымъ преподавателемъ словесности на окраинѣ.

XXIX.

Мой старшій братъ дѣлается писателемъ.

Старшій братъ былъ года на два старше меня. Казалось, онъ унаслѣдовалъ нѣкоторыя черты отцовскаго характера. Былъ, какъ отецъ, вспыльчивъ, но быстро остывалъ, и, какъ у отца, у него смѣнялись разныя увлеченія. Одно время онъ сталъ клеить изъ бумаги сначала дома, потомъ корабли, и достигъ въ этомъ бесполезномъ строительствѣ значительнаго совершенства: мишюрныя фрегаты были оснащены по всѣмъ правиламъ искусства, съ мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядѣвшими изъ люковъ. Потомъ онъ внезапно бросалъ и принимался за что-нибудь новое.

Особенно онъ увлекался чтеніемъ. Часто его можно было видѣть гдѣ-нибудь на диванѣ или на кровати въ самой не-

пязцной позѣ: на четверенькахъ, упершись на локтяхъ, съ глазами, устремленными въ книгу. Рядомъ на стулѣ стоялъ стаканъ воды и кусокъ хлѣба, густо посыпанный солью. Такъ онъ проводилъ цѣлые дни, забывая объ обѣдѣ и чаѣ, а о гимназическихъ урокахъ и подавно.

Сначала это чтеніе было чрезвычайно безпорядочно: „Вѣрный жидъ“, „Три мушкетера“, „Двадцать пять лѣтъ спусти“, „Королева Марго“, „Графъ Монтекристо“, „Тайны мадридскаго двора“, „Рокамболь“ и т. д. Книги онъ бралъ въ маленькихъ еврейскихъ книжныхъ лавчонкахъ и иной разъ посылалъ меня мѣнять ихъ. На ходу я развертывалъ книгу и жадно поглощалъ страницу за страницей. Но братъ никогда не давалъ мнѣ дочитывать, находи, что я „еще малъ для романовъ“. Такъ многое изъ этой литературы и донынѣ осталось въ моей памяти въ видѣ яркихъ, но безсвязныхъ обрывковъ...

Однажды,—братъ былъ въ это время въ пятомъ классѣ ровенской гимназій,—старый фантазеръ Лемпи предложилъ желающимъ перевести русскими стихами французское стихотвореніе:

De ta tige détaché,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas tu? je ne sais rien...

Весь классъ отказался, согласились двое. Это были нѣкто Пачковскій и мой братъ. Послѣдній кинулся на стихи такъ же страстно, какъ недавно на выклейку фрегатовъ, и ему удалось въ концѣ концовъ передать изряднымъ стихомъ меланхолическія размышленія о листочкѣ, уносимомъ потокомъ въ невѣдомые предѣлы. О стихахъ заговорили и товарищи, и учителя. Братъ прослылъ „поэтомъ“ и съ этихъ поръ цѣлые дни проводилъ, подбирая рѣзны. Мы смѣялись, глядя, какъ онъ лѣвой рукой выстукивалъ по столу число стопъ и слоговъ, а правой строчилъ, перемарывалъ и опять строчилъ. Когда нашъ смѣхъ достигалъ до его слуха, онъ на время отрывался отъ вдохновеннаго творчества, грозилъ намъ кулакомъ и опять погружался въ свое занятіе.

Такъ какъ французскіе стихи перевелъ также и Пачковскій, то сначала въ классѣ говорили: „у насъ два поэта“. Пачковскій, сынъ бѣдной вдовы, содержавшей ученическую квартиру, былъ юноша довольно великовозрастный, съ угреватымъ лицомъ, широкій въ кости, медвѣжеватый и неуклюжій. Переводъ его былъ плохъ, но все же заслужилъ нѣкоторое поощреніе. Послѣ этого Пачковскій сталъ какъ-то иначе ходить, иначе носить голову, втягивая ее между поднятыхъ

плечъ и слегка откидывая назадъ, и говорилъ, цѣдя сквозь зубы. Успѣхъ брата не давалъ ему покоя. Онъ рѣшился затмить соперника, для чего выступилъ одновременно съ „оригинальной поэмой“ и сатирой. Сатира имѣла форму „послания къ товарищу-поэту“, и въ ней, подъ видомъ лукаваго признанія чужого первенства, скрывался ядъ. Поэма изображала страданія юной гречанки, которая собирается кинуться съ утеса въ море по причинѣ безнадежной любви къ младому итальянцу. Поэтъ напрасно взываетъ къ ея благоумію, убѣждая не губить молодой жизни. Гречанка приводитъ въ исполненіе пагубное свое намѣреніе и кидается въ пучину. Но и жестокосердый итальянецъ не избѣгъ своей участи: „волны выкинули гречанкино тѣло на берегъ крутой“ именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ итальянецъ молодой. Поэма кончалась убѣдительнымъ двустипшіемъ:

И онъ не смогъ того пережить
И долженъ былъ себя жизни лишить.

Братъ пустилъ по рукамъ стихотворную басенку о „Пачкунѣ, поэтѣ народномъ“. Эта кличка такъ и осталась за Пачковскимъ.

Этотъ маленькій полемическій эпизодъ исколыхнулъ литературные интересы въ гимназической средѣ, и изъ него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное теченіе, вродѣ того, какое было нѣкогда въ царскосельскомъ лицей или нѣжинской гимназіи время Гоголя. Но словесникъ Андріевскій былъ весь поглощенъ „Словомъ о полку Игоревѣ“, а затѣмъ вскорѣ появились циркуляры, запрещавшіе всякія внѣклассныя собранія и рефераты. Д. А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы въ гимназической средѣ не били ключомъ, а смиренно и анемично журчали въ руслѣ казенныхъ программъ.

Пачковскій принялъ тонъ непризнаннаго генія: съ печатью отверженія на челѣ, онъ продолжалъ кропать длинныя и вялыя творенія. Когда однажды Андріевскій спросилъ его на урокъ что-то по теоріи словесности, онъ полунасмѣшливо, полувеличаво поднялся съ мѣста и сказалъ:

— Для человѣка съ кастальскимъ источникомъ въ душѣ мертвящія теоріи излишни.

Андріевскій отвѣтилъ обычнымъ удивленно-протяжнымъ „а-а-а!“—и поставилъ поэту единицу.

Къ концу года Пачковскій бросилъ гимназію и попустилъ въ телеграфъ. Братъ продолжалъ одиноко взбираться на Парнасъ, безъ руководителя, темными и запутанными тропами: цѣлые часы онъ барабанилъ пальцами стопы, переводилъ, сочинялъ, подыскивалъ рѣшѣныя, затѣялъ даже словарь

риемъ... Классія занятія шли все хуже и хуже. Уроки, къ огорченію матери, онъ пропускалъ постоянно.

Однажды, прочитавъ проспектъ какого-то эфемернаго журнальчика, онъ послалъ туда стихотвореніе. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчикъ исчезъ, не выславъ поэту ни гонорара, ни даже печатнаго экземпляра стиховъ. Ободренный всетаки этимъ сомнительнымъ „успѣхомъ“, братъ выбралъ нѣсколько своихъ твореній, заставилъ меня тщательно переписать ихъ и отослалъ... самому Некрасову въ „Отечественныя Записки“.

Недѣли черезъ двѣ или три въ глухой городишко пришель отвѣтъ отъ „самого“ Некрасова. Правда, отвѣтъ не особенно утѣшительный: Некрасовъ нашель, что стихи у брата гладки, приличны, литературны; вѣроятно, отъ времени до времени ихъ будутъ печатать, но... это всетаки только версификація, а не поэзія. Автору слѣдуетъ учиться, много читать и потомъ, быть можетъ, попытаться использовать свои литературныя способности въ другихъ отрасляхъ литературы.

Братъ сначала огорчился, но затѣмъ пересталъ выстукивать стопы и принялся за серьезное чтеніе: Сѣченовъ, Молешотъ, Шлоссеръ, Льюисъ, Добролюбовъ, Бокль и Дарвинъ. Читалъ онъ опять съ увлеченіемъ, дѣлалъ большія выписки и порой, какъ когда-то отецъ,—кидалъ мнѣ мимоходомъ какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризмъ, мѣткое двустишіе, еще, такъ сказать, теплыя, только-что выхваченныя изъ новой книги. Матеріалъ для этого чтенія онъ получалъ теперь изъ баталіонной бібліотеки, въ которой была вся передовая литература.

— Га! Помяните мое слово: изъ этого хлопца выйдетъ ученый или писатель,—глубокомысленно предсказывалъ дядя капитанъ.

Репутація будущаго „писателя“ устанавливалась за братомъ, такъ сказать, въ кредитъ и въ городѣ. Письмо Некрасова стало извѣстно какими-то невѣдомыми путями и придавало брату особое значеніе...

Изъ гимназіи ему пришлось уйти. Предполагалось, что онъ будетъ держать экстерномъ, но, вмѣсто подготовки къ экзамену, онъ поглощалъ книги, дѣлалъ выписки, обдумывалъ планы какихъ-то работъ. Иногда, за неимѣніемъ лучшаго слушателя, братъ прочитывалъ мнѣ отрывки изъ своихъ компиляцій, и я восхищался точностью и красотой его изложенія. Но тутъ подвернулось новое увлеченіе.

На этотъ разъ причиной его явился извѣстный тогда издатель г-нъ Трубиновъ. Въ то время онъ только что поста-

виль газету „Биржевыя Вѣдомости“, которую обѣщали сдѣлать органомъ провинціи, и его рекламы, заманчивыя, яркія и вкусныя, производили на провинціального читателя сильное впечатлѣніе. „Выписалъ я, знаете, газету Трубникова...“ или „Объ этомъ надо бы написать Трубникову...“—говорили другъ другу обыватели, и „Биржевыя Вѣдомости“ замелькали въ городѣ, вытѣсняя традиціонный „Сынъ Отечества“ и успѣшно соперничая съ „Голосомъ“.

Однажды брату принесли конвертъ со штемпелемъ редакціи. Онъ вскрылъ его, и на лицѣ его выразилось радостное изумленіе. Въ конвертѣ было письмо отъ самого Трубникова. Правда, текстъ письма былъ печатный, но въ началѣ стояло имя и отчество брата... Откуда юркій издатель узналъ объ его существованіи и литературныхъ склонностяхъ, сказать трудно. Въ письмѣ говорилось о важныхъ „въ наше время“ задачахъ печати, и братъ приглашался содѣйствовать пробужденію общественной мысли въ провинціи присылкой корреспонденцій, замѣтокъ и статей, касающихся вопросовъ мѣстной жизни.

Братъ на время забросилъ даже чтеніе. Онъ досталъ у кого-то нѣсколько номеровъ трубниковской газеты, перечиталъ ихъ отъ доски до доски, затѣмъ запастя почтовой бумагой, обдумывалъ, строчилъ, перемарывалъ, считалъ буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное въ рамки газетной корреспонденціи, и черезъ нѣсколько дней упорной работы мнѣ пришлось переписывать новое произведеніе брата. Начиналось оно словами:

Гор. Ровно *(отъ нашего корреспондента)*.

За этимъ слѣдовала бойко набросанная характеристика маленькаго городка съ его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими бѣглыми чертами были зарисованы провинціальные типы, кое-гдѣ красиво выдѣлялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшіе начитанность автора. Мнѣ казалось только, что рѣчь идетъ, какъ будто, о какомъ-то городкѣ вообще, а не о нашемъ именно, типы же взяты были скорѣе изъ книгъ, чѣмъ изъ нашей жизни. Это мое замѣченіе ни мало не смутило автора. Такъ и нужно. Это вѣдь „литература“... Всегда немного иначе, чѣмъ въ жизни.

Корреспонденція была отослана. Дней черезъ десять старикъ почталіонъ, сопровождаемый лаемъ собакъ, отъ которыхъ онъ отбивался коротенькой сабелькой,—принесъ брату номеръ газеты и новое письмо со штемпелемъ редакціи. Братъ тотчасъ схватился за газету и просіялъ. На третьей

страницъ, выведенная жирнымъ шрифтомъ и курсивомъ, стояла знакомая фраза:

Гор. Ровно *(отъ нашего корреспондента)*.

Мнѣ показалось это почти чудомъ. Такъ еще недавно я выводилъ эти самыя слова неинтереснымъ почеркомъ на неинтересной почтовой бумагѣ, и вотъ онѣ вернулись изъ невѣдомой, таинственной „редакціи“ отпечатанными на газетномъ листѣ и вошли сразу въ нѣсколько домовъ, и ихъ теперь читають, перечитываютъ, обсуждаютъ, выхватываютъ листъ другъ у друга. И перечиталъ корреспонденцію, и мнѣ показалось, что на огромномъ свѣромъ листѣ она выдѣляется чуть не огненными буквами. Критика моя передъ печатнымъ текстомъ почтительно смолкла. Это—„литература“, то есть нѣчто гораздо интереснѣе нашего тусклаго городишка, съ его заросшими прудами и сонными лачугами... Листокъ съ столбцомъ бойкихъ строчекъ, набросанныхъ рукою брата, упалъ сюда, какъ камень въ застоявшуюся воду... Точно вдругъ надъ соннымъ городомъ склонился таинственный и величавый фантомъ: самъ г-нъ Трубниковъ изъ своего прекраснаго далека заглядываетъ въ него умнымъ и насмѣшливымъ взглядомъ... И городокъ начинаетъ копошиться, точно внезапно раскрытый муравейникъ.

Городокъ, дѣйствительно, закопошился. Номеръ ходилъ по рукамъ, о таинственномъ корреспондентѣ строились догадки, въ общихъ характеристикахъ узнавали живыхъ лицъ, ловили намеки. А такъ какъ корреспондентъ въ заключеніе обѣщалъ вскрыть на этомъ фонѣ „разные эпизоды повседнежнаго обывательскаго прозябанія“, то у Трубникова опять прибыло въ нашемъ городѣ нѣсколько подписчиковъ.

Этотъ эпизодъ въ значительной степени ослабилъ благотворное дѣйствіе некрасовскаго письма. Братъ почувствовалъ себя чѣмъ-то въ родѣ Атласа, держащаго на плечахъ ровенское небо. Въ то время, когда въ городѣ старались угадать автора, — авторъ сидѣлъ за столомъ, покачивался на стулѣ, съ опасностью опрокинуться, глядѣлъ въ потолокъ и придумывалъ новыя темы. Онъ былъ весь поглощенъ этимъ занятіемъ. Корреспонденція летѣла за корреспонденціей, и хотя печатались не всѣ, но нѣкоторыя все же печатались, а однажды почталіонъ принесъ повѣстку на 18 рублей 70 коп. Эта сумма въ то время, когда штатные чиновники суда получали по три и по пяти рублей въ мѣсяцъ, казалась цѣлымъ богатствомъ. Правда, вялый городокъ доставлялъ мало темъ, но братъ былъ на этотъ счетъ изобрѣтателенъ. Наибольшее волненіе въ городѣ было вызвано его письмомъ о

вечерѣ въ мѣстномъ клубѣ, куда были допущены гимназисты. Корреспондентъ изобразилъ ихъ успѣхъ нѣсколько преувеличенными красками. „Питомцы Минервы (гимназисты) рѣшительно оттѣснили сыновъ Марса (гарнизонные и стрѣлковые офицеры), и прелестная богиня любви, до тѣхъ поръ благосклонная къ усамъ и эполетамъ, съ стыдливой улыбкой поощренія протянула ручку безусымъ юношамъ въ синихъ мундирахъ“. Офицеры обидѣлись и заговорили объ „оскорбленіи военной чести“. Полковникъ ѣздилъ объясняться съ директоромъ... Городокъ долго не могъ успокоиться... Въ качествѣ практическаго результата — гимназистамъ посѣщеніе танцевальныхъ вечеровъ было воспрещено...

Къ экзаменамъ братъ такъ и не приступалъ. Онъ отпустилъ усики и бородку, сталъ носить пенснэ, и въ немъ вдругъ проснулись инстинкты щеголя. Въмѣсто прежняго увальня, сидѣвшаго цѣлые дни надъ книгами, онъ представлялъ теперь что-то вродѣ щеголеватаго дэнди, въ плюсовыхъ манжетахъ и лакированныхъ сапогахъ. „Мнѣ нужно бывать въ обществѣ,—говаривалъ онъ:—это необходимо для моей работы“. Онъ посѣщалъ клубы, сталъ отличнымъ танцоромъ и имѣлъ „свѣтскій“ успѣхъ... Всѣмъ давно уже было извѣстно, что онъ „сотрудникъ Трубникова“, „литераторъ“.

Однажды онъ коснулся темы болѣе „серьезной“. Въ городѣ обокрали какого-то обывателя, и братъ очень картинно изобразилъ безпомощный городишко въ темныя осеннія ночи, безъ освѣщенія, со стражами, благополучно спящими по своимъ угламъ... Помощникъ исправника, представлявшій изъ себя, за окончательной дряхлостью исправника Гоца, высшую фактическую полицейскую власть въ городѣ, пригласилъ брата „для нѣкотораго секретнаго разговора“. Любезно предложивъ папиросу, высшій представитель полицейской власти приступилъ къ дипломатическому объясненію: онъ хорошо зналъ и глубоко уважалъ отца. Кромѣ того, онъ питаетъ уваженіе къ литературѣ. Онъ находитъ, что описаніе вечера было очень остроумно и мило. Но въ послѣднее время газета Трубникова стала уже касаться нѣкоторымъ образомъ „дѣятельности правительства“.

Братъ выразилъ удивленіе: о правительствѣ, кажется, ничего не было. — Да, не прямо. Но было о ночной стражѣ и бездѣйствіи, такъ сказать, власти. Участились грабежи... „А кто, позвольте спросить, обязанъ за этимъ наблюдать?“ Полиція! Полиція есть органъ правительства. И если впредь корреспонденціи будутъ касаться дѣятельности правительственной власти, то онъ, помощникъ исправника, при всемъ

уваженіи къ отцу, а также къ литературѣ, будетъ вынужденъ произвести секретное дознаніе о вредной дѣятельности корреспондента и даже... ему неприятно говорить объ этомъ... ходатайствовать передъ губернаторомъ о высылкѣ господина литератора изъ города...

Затѣмъ онъ вѣжливо попрощался, увѣряя, что очень уважаетъ печать, восхищается острымъ перомъ неизвѣстнаго ему, въ сущности, корреспондента и ничего не имѣетъ противъ обличенія нравовъ. Лишь бы не подрывали власть.

Братъ вернулся домой нѣсколько озабоченный, но вмѣстѣ польщенный. Онъ — сила, съ которою приходится считаться правительству. Вечеромъ, расхаживая при лунномъ свѣтѣ по нашему небольшому саду, онъ разсказалъ мнѣ въ подробностяхъ разговоръ съ помощникомъ исправника и прибавилъ:

— Да, вотъ неприятная сторона извѣстности... А скажи: думалъ ли ты, что твой братъ такъ скоро станетъ руководителемъ общественнаго мнѣнія?

— Ну-у...—протянулъ я скептически.—Это ужъ слишкомъ громко.

Онъ остановился въ аллеяѣ, пронизанной пятнами луннаго свѣта, и сказалъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ (мое сомнѣніе врывалось диссонансомъ въ его настроеніе):

— Ты еще глупъ. А я тебѣ по всѣмъ правиламъ логики докажу, что это такъ. Посылка: печать руководитъ общественнымъ мнѣніемъ! Отвѣчай: да или нѣтъ?

— Ну, положимъ, да!

— А я теперь писатель?..

— Д-да,—протянулъ я менѣе рѣшительно.

— Несомнѣнно, такъ какъ человекъ, печатающій свои статьи, есть писатель. Отсюда выводъ: я тоже руководитель общественнаго мнѣнія. Совѣтую: почитай логику Милля, тогда не будешь дѣлать глупыхъ возраженій.

Я не возражалъ болѣе, а онъ смягчился и, продолжая ходить по аллеяѣ, развивалъ свои планы.

Читатель отнесется снисходительно къ маленькимъ преувеличеніямъ брата, если приметъ въ соображеніе, что ему было тогда лѣтъ семнадцать или восемнадцать, что онъ только что избавился отъ скучной школьной ферулы, и что, въ сущности, у него были на-лицо все признаки такъ называемой литературной извѣстности.

Что такое, въ самомъ дѣлѣ, литературная извѣстность? Золя въ своихъ воспоминаніяхъ, разсуждая объ этомъ предметѣ, рисуетъ юмористическую картинку: однажды его, уже „всемирно-извѣстнаго писателя“, одинъ изъ читателей просилъ

сдѣлать ему честь быть свидѣтелемъ со стороны невѣсты на бракосочетаніи его дочери. Дѣло происходило въ небольшой деревенской коммунѣ близъ Парижа. Записывая свидѣтелей, мэръ, мѣстный торговецъ, услышавъ фамилію Золя, поднялъ голову отъ своей книги и съ большимъ интересомъ спросилъ:

— Мосье Золя? Шляпный магазинъ на такой-то улицѣ?

— Нѣтъ, писатель.

— А! — произнесъ мэръ равнодушно и записать фамилію.

За писателемъ послѣдовалъ какой-то мосье Мишель. Мэръ опять поднялъ голову:

— Мосье Мишель... Магазинъ бѣлья на такой-то улицѣ?

— Да.

Мэръ засуетился: — Стулъ г-ну Мишелю... Покорно прошу садиться. Очень польщенъ...

Этотъ маленькій эпизодъ, который я передаю по памяти, довольно вѣрно рисуется предѣлы самой громкой „всемирной извѣстности“. Извѣстность — это значить, что имя человѣка распространяется по свѣту извѣстными тройками. Знаютъ тамъ, гдѣ читаютъ — это въ лучшемъ случаѣ. А читаютъ вообще на этомъ свѣтѣ мало. Читающее человѣчество — это, приблизительно, поверхность рѣкъ по отношенію ко всему пространству материковъ. Капитанъ, плавающий по данной части рѣки, весьма извѣстенъ въ этой части. Но стоитъ ему отѣхать на нѣсколько верстъ въ сторону отъ берега... Тамъ другой міръ: широкія долины, лѣса, разбросанныя по нимъ деревни... Надъ всѣмъ этимъ проносятся съ шумомъ вѣтры и грозы, идетъ своя жизнь, и ни разу еще къ обычнымъ звукамъ этой жизни не примѣшалась фамилія нашего капитана или „всемирно-извѣстнаго“ писателя.

Зато въ своей средѣ, на своей линіи — братъ сталь, дѣйствительно, извѣстенъ.

Съ нимъ считалось „правительство“, его знало „образованное общество“, чиновники, торговцы-евреи, — народъ, питающій большое уваженіе къ интеллекту.

Въ погожія сумерки „весь городъ“ выходилъ на улицу, и вся его жизнь въ эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой на одной сторонѣ и почтовой станціей на другой. Обыватели степенно прохаживались, мѣся ногами пыль, встрѣчались, здоровались, дѣлились рѣдкими новостями. Порой среди примелькавшихся лицъ появлялся заѣзжий магнатъ, графъ Плятеръ, кн. Вишневецкій или „столичный чиновникъ“, ѣдущій на таинственную „ревизию“. И всѣ взгляды обращались за ними, а толпа около нихъ густѣла... Порой показывался директоръ гимназіи, судья, по-

мощникъ исправника, казначей... Все это составляло своего рода аристократію... Но были извѣстности неофициальныя. Чиновникъ Михаловскій, недавно пріѣхавшій изъ столицы, носилъ пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкія брюки. Объ немъ говорили, что по утрамъ онъ вскакиваетъ въ нихъ со стола, какъ принцъ д'Артуа, по разсказу Карлейля, а по вечерамъ дождь лакей вытряхиваетъ его прямо на кровать... Все это было смѣшно, но... инициалы его совпали съ именемъ и отчествомъ извѣстнаго въ то время поэта-переводчика, и потому, когда въ дымкѣ золотистой пыли, поднимаемой ногами гуляющихъ, появлялась пестрая вертлявая фигурка,—то за ней оглядывались и шептали другъ другу:

— Господинъ Михаловскій... Поэтъ. Знаете?.. Въ „Дѣлѣ“...

— Какъ же, какъ же... читать...

И только когда недоразумѣніе разъяснилось, — престижъ пріѣзжаго упалъ. Остались лишь пестрыя брюки и смѣшные анекдоты.

Однажды на такомъ гуляніи появился молодой человекъ, одѣтый щеголемъ, худощавый, подвижной и веселый. Онъ пожималъ руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за нимъ говорили:

— Арёпа, Арёпа. Сотрудникъ „Искры“. Свалилъ губернатора Бесе...

Арёпа окончилъ нашу гимназію и служилъ въ Житомирѣ, кажется, письмоводителемъ стряпчаго. Однажды въ „Искрѣ“ появился фельетонъ, озаглавленный: „Разговоръ Чемодана Ивановича съ Самоваромъ Никифоровичемъ“. Въ Чемоданѣ Ивановичѣ узнавали губернатора, въ Самоварѣ Никифоровичѣ—купца Журавлева. Разговоръ касался взятки при сдачѣ почтовой гоньбы. Пошли толки. Положеніе губернатора пошатнулось. Однажды въ клубѣ онъ увидѣлъ въ билліардной Арёпу и, вѣроятно, желая вырвать у него покаянное отреченіе, сразу подошелъ къ нему и сказалъ:

— Вы, молодой человекъ... Я слышалъ... Распустили грязную сплетню.

Арёпа вытянулся и, прикидываясь испуганнымъ, дрожа и заикаясь, сказалъ:

— Смѣю спросить, ваше-ство... что именно?

Генераль ободрился. При разговорѣ присутствовали посѣтители, чиновники, видѣлся даже синій жандармскій мундиръ...

— Ну, тамъ... — продолжалъ губернаторъ съ величавымъ пренебреженіемъ, — будто съ Журавлева... какихъ-то тамъ пять тысячъ...

— Клевета-съ, ваше-ство,—говорилъ Арета, и его фигура изображала самое жалкое раболѣпіе...—Враги, ваше-ство... хотѣть меня погубить въ вашихъ глазахъ...

И вдругъ, выпрямившись, онъ прибавилъ:

— Десять тысячъ, ваше-ство... И говорилъ: десять тысячъ...

Губернатора чуть не хватилъ ударъ, и вскорѣ онъ „по домашнимъ обстоятельствамъ“ подалъ въ отставку...

Такъ рассказывали эту исторію обыватели. Фактъ состоялъ въ томъ, что губернаторъ послѣ корреспонденціи ушелъ, а обличитель остался живъ, и теперь, пріѣхавъ на время къ отцу, наслаждался въ родномъ городѣ своей славой...

Онъ промелькнулъ метеоромъ и исчезъ, оставивъ по себѣ великое почтеніе къ званію корреспондента. Свалить губернатора—это не шутка. Братъ мой былъ тоже корреспондентъ. И хотя ни одного губернатора еще не свалилъ, но всѣ знали, что это именно его перо сотрясаетъ время отъ времени нашъ мірокъ, волнуя то чиновниковъ, то ночную стражу, то офицерство. На него обращали вниманіе. Его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его подъ руку и, уведя въ сторонку, разсыпались въ похвалахъ его „таланту“ и просили продернуть того или другого...

Мудрено ли, что нѣкоторое время братъ мой плавалъ въ атмосферѣ этой „извѣстности“, не замѣчая, что вращается въ пустомъ пространствѣ и что его потрясающія корреспонденціи производятъ бесплодное волненіе, ничего никуда не подвигающее...

Во мнѣ эти „литературные успѣхи“ брата оставили особый слѣдъ. Они какъ будто перекинули живой мостикъ между литературой и будничной жизнью: при мнѣ слова были брошены на бумагу и вернулись изъ столицы напечатанными.

Уже раньше, прочитавъ книгу, я сравнивалъ порой прочитанную книгу съ впечатлѣніями самой жизни, и меня занималъ вопросъ: почему въ книгѣ всегда какъ будто „иначе“. У брата было тоже иначе. Когда первое преклоненіе передъ печатной строкой прошло,—я опять чувствовалъ это, какъ недостатокъ, и мнѣ стало интересно искать такихъ словъ, которыя бы всего ближе подходили къ явленіямъ жизни. Все, что меня поражало, я старался перелить въ слова, которыя бы схватывали внутренній характеръ явленія. Иа главной нашей улицѣ стояла маленькая избушка, нижніе вѣнцы которой подгнили и осѣли. Стѣны ея стали ниже человѣческаго роста... Проходя мимо нея, я говорилъ себѣ: она нахмуренная... нахлобученная... прижмурившаяся... обиженная... печальная... И когда изъ нея, нагнувшись, выходилъ пьяненькій чиновникъ Красускій, я искалъ словъ для чиновника...

Это входило у меня въ привычку. Когда же, послѣ Тургенева и другихъ русскихъ писателей, я прочелъ Диккенса и „Исторію одного города“ Щедрина,—мнѣ показалось, что юмористическая манера должна какъ разъ охватить и внѣшнія явленія окружающей жизни, и ихъ внутренній характеръ. Чиновниковъ, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса и сталъ переживать то въ диккенсовскихъ, то въ щедринскихъ персонажахъ.

Выходило всетаки „не то...“ И странно: порой, когда я не дѣлалъ намѣренныхъ усилій, въ умѣ пробѣгали стихи и рифмы, мелькали какіе-то періоды, плавные и красивые... Но они пробѣгали произвольно и захватывали ничего изъ жизни... Форма какъ будто рождалась особо отъ содержанія и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь опредѣленное.

Только во снѣ я читалъ иной разъ собственные стихи или рассказы. Они были уже нанечатаны, и въ нихъ было все, что мнѣ было нужно: нашъ городокъ, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечернія гулянія. Все было живое, и надъ всѣмъ было что-то еще, уже не отъ этой дѣйствительности, что освѣщало будничныя картины не будничнымъ свѣтомъ. Я съ восхищеніемъ перечитывалъ страницу за страницей.

Но... когда просыпался,—все улетало, какъ стая птицъ, испуганныхъ приближеніемъ охотника. А тѣ концы, которые мнѣ удавалось порой задержать въ памяти, оказывались совершенно плохи: въ стихахъ не было размѣра, въ прозѣ часто недоставало даже грамматическаго смысла, а слова стояли съ не своимъ, чуждымъ значеніемъ...

Это опять было броженіе въ пустотѣ безъ откликовъ... Толчокъ ему далъ Авдѣевъ и отчасти корреспонденціи брата. Авдѣевъ уѣхалъ. Вкусъ корреспонденцій притуплялся.

Запрещеніе гимназистамъ посѣщать клубъ было, кажется, ихъ единственнымъ практическимъ результатомъ. Впрочемъ, однажды въ самомъ центрѣ города у моста починили фонарь. Нѣсколько разъ въ темные вечера въ честь гласности горѣлъ огонекъ... Это было всетаки торжество. Каждый, кто проходилъ мимо этого фонаря глухою ночью,—думалъ: „А! проbralъ ихъ трубниковскій корреспондентъ“.

Но скоро и этотъ одинокій огонекъ погасъ...

XXX.

Духъ времени въ Гарномъ Лугѣ.

Изолированные факты отдѣльной жизни сами по себѣ далеко не опредѣляютъ и не уясняютъ душевнаго роста. То,

что разлито кругомъ, что проникаетъ однимъ общимъ тономъ многоголосый хоръ жизни,—неволью незамѣтно просачивается въ каждую душу и заливааетъ ее, подхватываетъ, уноситъ своимъ потокомъ. Оглядываясь назадъ, можно отмѣтить въ-хами только начало наводненія... Потому это уже сплошное ровное теченіе, въ которомъ давно исчезли первые отдѣльные ручьи.

Настроеніе или, какъ тогда говорили, „духъ времени“, просачиваясь во всѣ уголки жизни, заглянулъ и въ Гарный Лугъ.

Въ одно время здѣсь собралась группа молодежи. Тутъ былъ, во-первыхъ, сынъ капитана, молодой артиллерійскій офицеръ. Мы помнили его еще кадетомъ, потомъ юнкеромъ артиллерійскаго училища. Года два онъ не пріѣзжалъ, а потомъ явился новоиспеченнымъ поручикомъ, въ свѣжемъ съ иголочки мундирѣ, въ блестящихъ эполетахъ и самъ весь свѣжій, радостно сіяющій новизной своего положенія, какими-то обѣщаніями и ожиданіями на порогъ новой жизни.

Затѣмъ мой братъ, еще недавно плохо учившійся гимназистъ, теперь явился въ качествѣ „писателя“. Капитанъ не то въ шутку, не то по незнанію литературныхъ отношеній, называлъ его „редакторомъ“ и такъ, не безъ гордости, рекомендовалъ сосѣдямъ.

Но еще большее почтеніе питалъ онъ къ кievскому студенту, Брониславу Янковскому. Отецъ его недавно поселился въ Гарномъ Лугѣ, арендуя сосѣднія земли. Это былъ человекъ стараго закала, отличный хозяинъ, очень авторитетный въ семьѣ. Студентъ съ нимъ не особенно ладилъ и больше тяготѣлъ къ семьѣ капитана. Каждый день чуть не съ утра, въ очкахъ, съ книгой и зонтикомъ подъ мышкой, онъ приходилъ къ намъ и оставался до вечера, серьезный, сосредоточенный, молчаливый. Оживлялся онъ только во время споровъ.

Эта маленькая группа молодежи сразу заняла въ усадьбѣ центральное положеніе. Когда теперь я оглядываюсь на тогдашнія впечатлѣнія, то мнѣ кажется, будто эти молодые люди, еще недавно казавшіеся совершенно заурядными, теперь вдругъ засіяли и заблестали, точно эти года два покрыли ихъ блестящимъ лакомъ.

Двоюродный братъ былъ еще недавно веселымъ мальчикомъ въ кургузомъ и некрасивомъ юнкерскомъ мундирѣ. Теперь онъ артиллерійскій офицеръ, говоритъ объ ученыхъ книгахъ и умныхъ людяхъ, которыхъ называетъ „личностями“, и имѣетъ собственнаго денщика, съ которымъ собирается установить особья „не рутинно-начальственные“ отношенія.

Янковскій былъ, правда, первымъ ученикомъ въ нашей

гимназіи, но... мы никогда не преклонялись передъ первыми учениками и медалистами. Теперь онъ студентъ, „подающій блестящія надежды“. „Голова“,—говорилъ объ немъ капитанъ почтительно.—„Будущій Пироговъ, по меньшей мѣрѣ“.

У капитана были три дочери, двѣ изъ нихъ уже невѣсты. Старшая—веселая, недурная собой хохотушка, хорошо играла на фортепіано и любила танцы. Средняя—смуглая, некрасивая, съ большими задумчивыми и печальными глазами. Женскихъ гимназій тогда почти не было, и дѣвушки учились у гувернантокъ чему-нибудь и какъ-нибудь. Теперь молодежь принялась ихъ „развивать“. Со старшей дѣло шло не особенно успѣшно; средняя жадно накинулась на новыя книги, которыя, впрочемъ, бѣдняжка безъ подготовки понимала съ трудомъ. Студентъ обратилъ на нее особенное вниманіе. Нерѣдко ихъ можно было видѣть вдвоемъ. Студентъ поучалъ, дѣвушка слушала. Иногда студентъ шагалъ вокругъ клумбы передъ домомъ и, держа въ рукахъ свѣже-сорванный цвѣтокъ, объяснялъ его устройство съ важнымъ спокойствіемъ молодого профессора. Если бы это сдѣлалъ кто-нибудь другой,—капитанъ поднялъ бы пѣлую бурю. Студентъ безжалостно вытаскивалъ съ корнями лучшіе цвѣты, и капитанъ только провожалъ ихъ невольными вздохами. Однажды на деревнѣ пришлось сдѣлать перевязку запущенной раны на рукѣ жницы. Студентъ промывалъ и перевязывалъ, дѣвушка благоговѣйно подавала бинты и корпіи. Когда то же самое дѣлалъ фельдшеръ,—и вѣроятно, дѣлалъ лучше,—это выходило далеко не такъ интересно. У студента было интересно. Походило даже на священнодѣйствіе.

У капитана была давняя слабость къ „наукѣ“ и „литературѣ“. Теперь онъ гордился, что подъ соломенной крышей его усадьбы есть и „литература“ (мой братъ), и „наука“ (студентъ), и вообще—умная новая молодежь. Его огорчало только, что умная молодежь какъ будто не признаетъ его, и жизнь ея идетъ особой струей, къ которой ему трудно примкнуть.

Правда, его рассказы о гарнолужскомъ панствѣ пользовались успѣхомъ и вызвали комментаріи объ „отжившемъ словіи“. Но вотъ однажды, послѣ анекдотовъ о панахъ, послѣдовалъ веселый рассказъ о мужикѣ.

Относился онъ ко времени „эмансипаціи“. Крестьянъ только что освободили. Былъ праздникъ. Мужики нарядными толпами шли изъ церкви и съ базара; много было пьяныхъ. Капитанъ съ женой и дѣтьми въ коляскѣ возвращался изъ костела. Вдругъ лошади стали... Что такое? Оказалось, что на дорогѣ,

раскинувшись поперекъ въ самой безпечной позѣ, лежалъ одинъ изъ повыхъ „свободныхъ гражданъ“. Кучеръ кричить: „Пошелъ съ дороги, такой-сякой! Паны ѣдутъ“. Свободный гражданинъ приподнимаетъ пьяную голову и отвѣчаетъ, что теперь воля, что онъ хочетъ вотъ такъ себѣ лежать на дорогѣ, а на пановъ ему... И онъ выразился самымъ дерзкимъ и неприличнымъ образомъ.

Капитана это, разумѣется, взорвало, но вдругъ его мысли приняли юмористическое направленіе. А! Дорога для всѣхъ! Теперь воля! Хорошо! Пусть такъ. Онъ приказалъ женѣ и дочерямъ отвернуться и, ставъ надъ пьянымъ, продѣлалъ то, что нѣкогда Гулливеръ продѣлалъ надъ лилипутами. „Панская шутка“ вызвала веселье среди празднично-настроеннаго народа, собравшагося вокругъ этой сценки и ожидавшаго, какъ-то панъ выйдетъ изъ щекотливаго положенія. „Свободный гражданинъ“, озадаченный и огорченный, только поворачивалъ лицо, сплевывалъ и говорилъ съ укоризной заплетающимся языкомъ:

— Э! Пане, пане! Не робить бо кешства...

И затѣмъ, вдругъ собравшись съ силами, быстро поползъ подъ обій хохотъ съ дороги въ канаву.

Этотъ рассказъ мы слышали много разъ и каждый разъ онъ казался намъ очень смѣшнымъ. Теперь, еще не досказавъ до конца, капитанъ почувствовалъ, что не попадаетъ въ настроеніе. Закончилъ онъ уже, видимо, не въ ударѣ. Всѣ молчали. Сынъ, весь покраснѣвъ и виновато глядя на студента, сказалъ:

— Папа... Вѣдь это... поруганіе личности.

— Д-да,—прибавилъ „редакторъ“:—униженіе человѣческаго достоинства.

Студентъ молча, съ обычнымъ серьезнымъ видомъ и сжатыми губами, глядѣвшій въ синія очки, не сказалъ ни слова, но... всталъ и вышелъ изъ комнаты.

Это было внушительнѣе всякаго осужденія.

Въ комнатѣ водворилось неловкое, тягостное молчаніе. Жена капитана смотрѣла на него испуганнымъ взглядомъ. Дочери сидѣли потупясь и ожидая грозы. Капитанъ тоже всталъ, хлопнулъ дверью и черезъ минуту со двора донесся его звонкій голосъ: онъ неистово ругалъ перваго попавшаго на глаза работника.

Скоро, однако, умный и лукавый старикъ нашелъ средство примириться съ „новымъ направленіемъ“. Начались религіозные споры, и въ капитанской усадьбѣ рѣзко обозначились два настроенія. Женщины—моя мать и жена капитана—были

на одной сторонѣ, мой старшій братъ, офицеръ и студентъ— на другой.

Я рѣшительно примкнулъ къ женщинамъ; младшіе братья и сестры составляли публику.

Особенно памятенъ мнѣ одинъ такой споръ. Рѣчь коснулась знаменитой въ свое время полемики между Пуше и Пастеромъ. Первый отстаивалъ самозарожденіе микроорганизмовъ, второй критиковалъ и опровергалъ его опыты. Писаревъ со своимъ молодымъ задоромъ накинулся на Пастера. Самозарожденіе было нужно: оно кидало мостъ между міромъ организмовъ и мертвой природой, расширяло предѣлы эволюціонной теоріи и, какъ тогда казалось, доставляло побѣду матеріализму.

Писарева я тогда еще не читалъ, о Дарвинѣ у меня почти только и было воспоминаніе изъ разговоровъ отца: старый чудакъ, которому почему-то хочется доказать, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны. И оба теперь стучались въ дверь, которую я еще въ дѣтствѣ заперъ наглухо своимъ обѣтомъ: никогда не отступать отъ „вѣры“. Споръ велся шумно и страстно. Ну, хорошо: микроорганизмы зародились въ водѣ или, по Геккелю, на неизмѣримой глубинѣ океана. А вода, а океанъ откуда? Изъ облаковъ? А облака? Изъ водорода и кислорода. А водородъ и кислородъ?

Въ серединѣ спора со двора вошелъ капитанъ. Нѣкоторое время онъ молча слушалъ, затѣмъ... неожиданно для обѣихъ сторонъ,—примкнулъ къ „материалистамъ“.

— Га!—сказалъ онъ рѣшительно:—я давно говорю, что пора бросить эти бабьи сказки. Философія и наука что-нибудь значать... А священное писаніе? Его писали люди, не имѣвшіе понятія о наукѣ. Вотъ, напримѣръ, Иисусъ Навинъ... „Стой, солнце, и не двигись луна“...

Я вдругъ вспомнилъ далекій день моего дѣтства... Капитанъ опять стоялъ среди комнаты, высокій, сѣдой, красивый въ своемъ одушевленіи, и развивалъ тѣ же соображенія о мірахъ, солнцахъ, планетахъ, „круговращеніи естества“ и пылинкѣ Навинѣ, который, не зная астрономіи, останавливаетъ все мірозданіе... Я вспомнилъ также отца съ его увѣренностью и смѣхомъ...

Молодежь радостно встрѣтила новаго союзника. Артиллеристъ прибавилъ, что ядро, остановленное въ своемъ полетѣ, развиваетъ огромную теплоту. При остановкѣ земли,—даже алмазы мгновенно обратились бы въ пары... Міръ съ трескомъ расплылся бы въ междупланетномъ пространствѣ... И все изъ-за слова одного человѣка въ незамѣтномъ уголкѣ міра...

Вечеръ закончился торжествомъ „матеріализма“. Капитанъ затронулъ воображеніе. Сбитые съ позиціи, мы молчали, а старикъ, довольный тѣмъ, что его приняла философія и наука,—изошрлся въ сарказмахъ и анекдотахъ...

Было поздно, когда студентъ сталъ прощаться. Молодежь съ дѣвицами его провожала. Они удалились веселой гурьбой по переулку, смѣясь, перебивая другъ друга, дѣлясь новыми аргументами, радостно упраздняя Бога и безсмертіе. И долго этотъ шумливый комокъ двигался, удаляясь по спящей улицѣ, сопровождаемый лаемъ деревенскихъ собакъ.

Я не пошелъ съ ними. Мое самолюбіе было оскорблено: меня третировали, какъ мальчика. Кромѣ того, я былъ взволнованъ и задѣтъ самой сущностью спора, и теперь, расхаживая вокругъ клумбы, на которой чуть свѣтились цвѣты ранней осени, вспоминалъ аргументы отца и придумывалъ новые.

Ночь была тихая, звѣздная. Изъ-за стараго магазина еще не поднялась луна, но очертанія остроконечной крыши и силуэты тополей, казалось, плавали въ загорающемся сіяніи. Младшій братъ и Саня уже спали на сѣновалѣ. Я прошелъ туда же, нашелъ въ темнотѣ лѣстницу и поднялся къ нимъ, стараясь потише шуршать душистымъ сѣномъ. Было темно, только въ одномъ мѣстѣ свѣтъ вливался черезъ прорѣху въ соломенной крышѣ. Я улегся подъ ней, уставившись въ клочъ ночного неба, усѣяннаго звѣздами. Одна изъ нихъ, самая большая, пока я думалъ, передвинулась съ одной стороны прорѣхи къ другой, точно проплыла по синему пруду. И я ясно представилъ себѣ огромный сводъ, тоже тихо совершающій свое вращательное движеніе... Вѣрнѣе, это движется земля... Одну землю остановить легче, чѣмъ весь этотъ сводъ. Но... всетаки трудно. Правда, Богъ всемогущъ. Онъ могъ остановить землю и приказать, чтобы не было отъ этого дурныхъ послѣдствій. И даже еще иначе. Солнце зашло, а въ вышинѣ все еще играютъ его лучи... Если свѣтлое облако, какъ экранъ, оградило эти лучи на землю, Іисусу Навину было свѣтло еще часъ-другой... И, значить, цѣль его молитвы достигнута...

А въ прорѣхѣ появлялись новые звѣзды и опять проплывали, точно по синему пруду... Я вспомнилъ звѣздную ночь, когда я просилъ себѣ крыльевъ... Вспомнилъ также спокойную вѣру отца... Мой міръ въ этотъ вечеръ всетаки остался на своихъ устояхъ, но теперешнее мое звѣздное небо было уже не то, что въ тотъ вечеръ. Воображеніе охватывало его теперь иначе. А воображеніе и творить, и подтачиваетъ вѣру часто гораздо сильнѣе, чѣмъ логика...

Тѣмъ не менѣе, на слѣдующій день я кинулся въ полемику уже съ космографическими соображеніями, и споры закипѣли съ новою силою...

Такъ шло дѣло до конца каникулъ. Капитанъ оставался вѣрнымъ союзникомъ „матеріалистовъ“, и порой его кощунственныя шутки заходили довольно далеко. Однако, по мѣрѣ того, какъ вечера становились дольше и темнѣе, его задоръ нѣсколько остывалъ.

Однажды засидѣлись поздно. Снаружи въ открытыя окна глядѣла темная мгlistая ночь, въ которой шелестѣла листва, и чувствовалось на небѣ безформенное движеніе облаковъ. Въ комнатѣ тревожно и часто звонилъ невидимый сверчокъ.

Въ этотъ вечеръ капитанъ нѣсколько перехватилъ въ своемъ остро словіи. Жена была имъ недовольна; кажется, и онъ былъ недоволенъ собою. Лицо его какъ-то увяло, усы опустились книзу.

— Ну, будетъ, — сказала тетка. — Пора спать.

Капитанъ тяжело поднялся съ мѣста и, окинувъ взглядомъ своихъ союзниковъ, сказалъ неожиданно:

— Э! Такъ-то оно такъ. И наука, и все такое... А все таки, знаете, стану ложиться въ постель, — перекрещусь на всякій случай. Какъ-то спокойнѣе... Что нѣтъ тамъ ничего, — это вѣрно... Ну, а вдругъ *оно* есть...

Подъ конецъ онъ спохватился и придалъ голосу полуюмористическую нотку. Но жена простодушно пояснила:

— Эхъ, старый! Кошунствуетъ цѣлый вечеръ, а потомъ крестится, вздыхаетъ, боится темноты и будить меня, чтобы я его перекрестила...

— Ну, ну! — остановилъ ее недовольный мужъ.

Этотъ маленькій эпизодъ доставилъ мнѣ минуту ироническаго торжества, возстановивъ воспоминаніе о вѣрѣ отца и легкомысленномъ отрицаніи капитана. Но все же основы моего міровоззрѣнія вздрагивали. И не столько отъ прямой полемики, сколько подъ косвеннымъ вліяніемъ какого-то особаго вѣянія отъ новаго міросозерцанія.

Я все еще не зналъ ни Писарева, ни Дарвина, ни физиологій и ловилъ только отрывки, вылетавшіе, какъ искры, изъ разсужденій и споровъ старшей молодежи. Борьба за свободу ирландцевъ противъ англичанъ не имѣла усѣха потому, что ирландцы питаются картофелемъ, а англичане — ростбифами... Это изъ Бокля. Между тѣмъ, мѣшокъ картофеля прибавляетъ меньше крови, чѣмъ одинъ фунтъ мяса. Это, кажется, изъ Бюхнера. Тѣмъ объясняетъ сильныя страсти шекспировскихъ героевъ, ихъ пламенные монологи и неистово грубыя руга-

тельства тѣмъ, что предки Шекспира англо-саксы набивали животы сырыми ростбифами и пивомъ... „Мысль, — говоритъ Фохтъ, — есть выдѣленіе мозга, какъ желчь есть выдѣленіе печени“. „Матерія“ и „сила“, простѣйшій атомъ и его механическія свойства, слагаясь, даютъ все, что мы чувствуемъ, какъ душевные процессы. Разложите на составныя части вдохновенный порывъ, — останется такое-то количество атомовъ съ ихъ тяготѣніемъ и ничего больше... Человѣкъ — машина и химическій препаратъ вмѣстѣ. Такъ его и слѣдуетъ изучать. „Дана нервная дама“, — говоритъ Сѣченовъ въ одномъ этюдѣ, — и разматриваетъ ее, какъ простой препаратъ...

Все это на меня производило впечатлѣніе блестящихъ холодныхъ снѣжинокъ, падающихъ на голое тѣло. Я чувствовалъ, что эти отдѣльныя блестки, разрозненные, случайно вырвавшіяся въ жару случайныхъ споровъ, — свѣтятся какимъ-то особеннымъ свѣтомъ, рѣзкимъ, холоднымъ, но идущимъ изъ общаго источника...

XXXI.

Потерянный аргументъ.

Мы вернулись въ Ровно; въ гимназiи давно шли уроки, но гимназическая жизнь отступила для меня на второй планъ. На первомъ было два мотива. Я былъ влюбленъ и отстаивалъ свою вѣру. Ложась спать, въ тѣ промежуточные часы передъ сномъ, которые прежде я отдавалъ буйному полету фантазiи въ страны рыцарей и казачества, — теперь я вспоминалъ милыя черты или продолжалъ гарнолужскіе споры, подыскивая аргументы въ пользу безсмертія души. Иисусъ Навинъ и формальная сторона религіи незамѣтно теряли для меня прежнее значеніе...

Юная особа, плѣнившая впервые мое сердце, каждый день ѣздила съ сестрой и братомъ въ маленькой таратайкѣ на уроки. Я отлично изучилъ время ихъ проѣзда, стукъ колесъ по шоссе и звяканіе бубенцовъ. Къ тому времени, когда имъ предстояло возвращаться, я, будто случайно, выходилъ къ своимъ воротамъ или на мостъ. Когда мнѣ удавалось увидѣть розовое личико съ каштановымъ локономъ, выбивающимся изъ-подъ шляпки, уловить взглядъ, поклонъ, благосклонную улыбку, это разливало радостное сіяніе на весь мой остальной день.

Однажды бубенчики прогремѣли въ необычное время. Таратайка промелькнула мимо нашихъ воротъ такъ быстро, что я

не разглядѣлъ издали фигуры сидѣвшихъ, но по знакомому сладкому замранію сердца былъ убѣжденъ, что это проѣхала она. Вскорѣ телѣжка вернулась пустая. Это значило, что сестры остались гдѣ-нибудь на вечерѣ и будутъ возвращаться обратно часовъ въ десять.

Послѣ 9 часовъ я вышелъ изъ дому и сталъ прохаживаться. Была поздняя осень. Вода въ прудахъ отяжелѣла и потемнѣла, точно въ ожиданіи морозовъ. Ночь была ясная, свѣжая, прохладный воздухъ зянокъ и чутокъ. Я былъ весь охваченъ своимъ чувствомъ и своими мыслями. Чувство летѣло навстрѣчу знакомой маленькой телѣжкѣ, а мысль искала доказательствъ бытія Божія и безсмертія души.

Время шло; сказывалась усталость. Последнія лавки были заперты, уличное движеніе стихало. Таратайка съ долговязымъ кучеромъ давно проѣхала по направленію къ предмѣстью Волѣ, но назадъ еще не возвращалась. Я ходилъ вдоль рѣчки, не удаляясь отъ моста, по которому она должна была проѣхать. Потомъ остановился и сталъ глядѣть на темную рѣчку. По ней тихо проплывали какія-то бѣлыя птицы, — не то гуси, не то молодые лебеди, — обмѣниваясь осторожнымъ невнятнымъ клетаніемъ, и мои мысли шли, какъ эти темныя струи съ бѣлыми птицами... Казалось, вотъ-вотъ я найду то, что мнѣ нужно...

Вдругъ до моего сознанія долетѣлъ чуть внятный звукъ, будто гдѣ-то далеко ударили ложечкой по стакану. Я зналъ его: это — отголосокъ бубенчиковъ. Она уже выѣхала, но еще далеко: таратайка пробирается съѣзью узенькихъ переулковъ въ предмѣстіи. Я успею дойти до моста, перейти его и стать въ тѣни угловой лавки. А пока... еще немного додумать.

Мысль, точно подъ вліяніемъ толчка, заработала вдругъ ярко, быстро и сильно. Я остановился, прислушиваясь къ внутренней работѣ мозга. Да, несомнѣнно, это складывается „неопровержимое“ доказательство безсмертія. Аргументы стройно вытягивались положеніе за положеніемъ, неразрывною цѣпью. Еще немного, и материализмъ (какимъ я зналъ его въ нашей полемикѣ) — рушится. Меня охватывала радость перваго самостоятельнаго творчества и открытія. Надо остановиться, уйти куда-нибудь подальше, въ ту сторону, куда поплыли птицы, бѣлѣвшія на поворотѣ между ивами, и додумать до конца. Но ноги сами собой торопливо несли меня вдоль рѣчки, къ шоссе и къ мосту. Звонъ бубенцовъ уже вылился на шоссе и приближался съ неожиданной быстротой, заполняя своими растущими трелями чуткій воздухъ ночи... Успею или не успею? Я торопился, ловя слухомъ

тарахтѣніе колесъ, а мыслью — свои доказательства... Черезъ минуту я былъ на мосту, но телѣжка уже гремѣла по деревянной настилкѣ. Обѣ сестры съ удивленіемъ оглянулись на одинокую и, вѣроятно, очень глупую фигуру, неизвѣстно зачѣмъ застывшую въ лунномъ свѣтѣ на серединѣ моста. Онѣ меня не могли не узнать, но я не успѣлъ даже поклониться, потому что въ это самое мгновеніе жадно хваталъ обрывки разлетѣвшагося силлогизма. Стройный рядъ посылокъ и почти готоваго заключенія снялся, какъ стая вснугнутыхъ птицъ, и улеталъ въ спящій сумракъ, вслѣдъ за телѣжкой. Звонъ бубенцовъ убѣжалъ въ конецъ улицы и остановился въ ея перспективѣ, недалеко отъ заставы. Двѣ фигурки чуть мелькнули, какъ тѣни, у подъѣзда, и все исчезло. Осталась пустота передъ глазами, пустота въ сердцѣ, пустота въ головѣ: „неопровержимое доказательство“ улетѣло. Я вернулся на прежнее мѣсто, глядѣлъ на воду, искалъ глазами лебедей, но и они уже затерялись гдѣ-то въ тѣни, какъ мои мысли... На душѣ было ощущеніе важной утраты, раскаяніе, сожалѣніе. И было тускло, какъ на улицѣ, на которой нечего было ждать въ этотъ вечеръ...

Ночью я долго искалъ исчезнувшую мысль, но она не вернулась...

Вѣроятно, именно въ этотъ періодъ я молился на площади, на статую Мадонны... Мнѣ все еще казалось, что я остаюсь вѣренъ своему давнему обѣту, но, какъ это часто бываетъ, самыми сильными аргументами являлись не тѣ, которые выступали въ полемикѣ въ качествѣ прямыхъ возраженій. Гораздо сильнѣе, хотя незамѣтно, дѣйствовало измѣненіе умственнаго горизонта, занимаемаго шагъ за шагомъ какъ будто нейтральными фактами, образами, приѣмами мысли. Потомъ приходило воображеніе, охватывало ихъ, и составъ моего міра измѣнялся. Наивный ужасъ передъ Дарвиномъ испарился какъ-то незамѣтно, положенія эволюціонной теоріи такъ же незамѣтно вросли въ понятія. Какъ-то въ это время случилось мнѣ прочитатъ „Подводный камень“ забытаго теперь романиста Авдѣева. Почему-то я прочелъ его не весь, и содержаніе его вспоминается мнѣ тускло. Но одно мѣсто осталось въ памяти. Жена хорошаго человѣка заинтересовывается пріятелемъ мужа, атеистомъ. И мужъ, и она — люди вѣрующіе. Простая, искренняя вѣра освѣщаетъ ихъ жизненную дорогу, утѣшаетъ, побуждаетъ къ добру... Но и атеистъ тоже хорошій человѣкъ, способный на самопожертвованіе. Идти суровой дорогой борьбы безъ надежды на награду въ будущей жизни, безъ опоры въ высшей силѣ, безъ утѣшенія... съ гордой увѣ-

ренностью въ своей правотѣ... Она не можетъ отказать этому міросозерцанію въ своего рода красотѣ и величіи...

Это мѣсто романа меня поразило. Значить, можно не вѣрить по иному, чѣмъ капитанъ, который кощунствуетъ вечеромъ и крестится ночью „на всякій случай“... Что, если бы отецъ встрѣтился съ такимъ человѣкомъ. Сталъ ли бы онъ смѣяться тѣмъ же смѣхомъ снисходительнаго превосходства?..

Въ такомъ настроеніи я встрѣтился съ Авдѣевымъ. Онъ никогда не затрогивалъ религіозныхъ вопросовъ, но годъ общенія съ нимъ сразу вдвинулъ въ мой умъ множество образовъ и идей... За героемъ „Подводнаго камня“ пришелъ тургеневскій Базаровъ. Въ его „отрицаніи“ мнѣ чуялась уже та самая спокойная непосредственность и увѣренность, какія были въ вѣрѣ отца...

И опять новая „вѣха“ отмѣчаетъ поступательное движеніе прилива.

XXXII.

Отклоненная исповѣдь.

Я былъ, если не ошибаюсь, въ шестомъ классѣ. Въ гимназии случилась шалость, помнится, довольно скверная. Сочувствія она ни въ комъ не вызвала, но виновныхъ, по обыкновенію, не выдали. Начальство вдругъ сдѣлало распоряженіе, чтобы ученики старшихъ классовъ исповѣдывались непременно у законоучителя. Это удивило и огорчило многихъ. Обыкновенно для помощи гимназическому священнику приглашался священникъ Барановичъ, человѣкъ глубоко вѣрующій, чистый сердцемъ и добрый. Гимназисты шли больше къ нему, и въ то время, какъ около апалоя протоіерея бывало почти пусто, къ Барановичу тѣснились и дожидались очереди...

Теперь выбора не было. Старшимъ приходилось поневолѣ идти къ законоучителю... Затѣмъ случилось, что тотчасъ послѣ перваго дня исповѣди виновники шалости были раскрыты. Священникъ наложилъ на нихъ эпитимью и лишилъ причастія, но еще до начала службы три ученика были водворены въ карцеръ. Имъ грозило исключеніе...

Это произвело въ нашей средѣ сильное впечатлѣніе. Явилось подозрѣніе, что законоучитель выдалъ тайну исповѣди.

На слѣдующій день предстояло исповѣдываться шестому и седьмому классамъ. Идя въ церковь, я догналъ на Гимназической улицѣ рыжаго Сучкова.

— Слышалъ? — спросилъ онъ у меня. Онъ былъ взволнованъ, и я сразу понялъ, что такъ занимаетъ его.

— Да, — отвѣтилъ я. — Но можно ли быть увѣреннымъ, что это именно протоіерей?

— Положимъ. А можно ли быть увѣреннымъ, что это не онъ?

Я представилъ себѣ непривлекательно-умное лицо священника обрусителя... Шалость дрянная... Протоіерей больше чиновникъ и педагогъ и политикъ, чѣмъ вѣрующій пастырь, для котораго святыня таинства стояла бы выше всѣхъ соображеній... Да, кажется, онъ *могъ бы* это сдѣлать.

— Я... не увѣренъ,—отвѣтилъ я на вопросъ Сучкова.

— Я... тоже. А можно ли раскрывать душу, когда... нѣтъ даже такой увѣренности? Я не могу.

— Я тоже... Но тогда?

Возникаль тяжелый вопросъ: въ священникѣ для насъ уже не было святыни, и обратить вынужденную исповѣдь въ простую формальность, вродѣ отвѣта на урокѣ — не казалось труднымъ. Но какъ же быть съ причастіемъ? Къ этому обряду мы относились хотя и не безъ сомнѣній, но съ уваженіемъ, и намъ было больно осквернить его ложью. Между тѣмъ, не подойти съ другими—значило обратить вниманіе инспектора и надзирателей. Мы рѣшили, однако, пойти на серьезный рискъ. Это была своеобразная дань недавней святынѣ...

Никогда, кажется, въ жизни я не приступаль къ исповѣди съ такимъ волненіемъ. Это было передъ вечерней. Въ церкви желтые огни свѣчей какъ бы спорили съ сумерками, расплывавшимися въ тонкой мглѣ отъ ладана. Справа за аналоемъ сидѣлъ отецъ Крюковскій. У него была больная печень, и желчное страданіе виднѣлось во взглядѣ его маленькихъ глазъ, которыми онъ внимательно окидываль подходившихъ. А невдалекѣ, высокій и блѣдный, съ добрымъ скуластымъ лицомъ, на которомъ теплилось простодушное умиленіе, другой священникъ, Барановичъ, принималь малышей, накрывая ихъ эпитрахилью, и тотчасъ же наклонялся съ видомъ торжественнаго и добраго вниманія.

Какъ я завидоваль въ эту минуту малышамъ, и какъ мнѣ хотѣлось подойти къ этому доброму великану и излить передъ нимъ все настроеніе данной минуты, вплоть до своего намѣренія солгать на исповѣди.

Но меня уже ждалъ законоучитель. Онъ отпустилъ одного исповѣдника и смотрѣлъ на кучу старшихъ учениковъ, которые какъ-то сжимались подъ его взглядомъ. Никто не выступаль. Глаза его остановились на мнѣ; я вышелъ изъ ряда...

Лицо у меня горѣло, голосъ дрожалъ, на глаза просились слезы. Протоіерея удивило это настроеніе, и онъ, кажется, приготовился услышать какія-нибудь необыкновенныя призна-

нія... Когда онъ накрылъ мою склоненную голову, — обычное волненіе исповѣди пробѣжало въ моей душѣ... „Сказать, признаться?“

Но это было мгновеніе... Я встрѣтился съ его взглядомъ изъ-подъ эпитрахили. Въ немъ не было ничего, кромѣ внимательной настороженности духовнаго „начальника“... Я отвѣчалъ формально на его вопросы, но мое волненіе при этихъ краткихъ отвѣтахъ его озадачивало. Онъ тщательно перебралъ весь перечень грѣховъ. Я отвѣчалъ, по большей части, отрицаніемъ: „грѣховъ“ оказывалось очень мало, и онъ рѣшилъ, что волненіе мое объясняется душевнымъ потрясеніемъ отъ благоговѣнія къ таинству...

„Разрѣшеніе“ онъ произнесъ смятченнымъ голосомъ. „Эпитиміи не налагаю. Помолись по усердію... и за меня грѣшнаго“, — прибавилъ онъ вдругъ, и эта послѣдняя фраза вновь кинула мнѣ краску въ лицо и вызвала на глаза слезы отъ горькаго сознанія вынужденнаго лицемѣрія...

На слѣдующій день, когда всѣ подходили къ причастію подѣ внимательными взглядами инспектора и надзирателей, мы съ Сучковымъ замѣшались въ толпу, обошли причащавшихся не безъ опасности быть замѣченными и вышли изъ церкви...

Это было какъ бы прощаніе... Съ этихъ поръ религіозные экстазы сплывали съ души, и религіозные вопросы постепенно уступали мѣсто другимъ. Не то, чтобы я рѣшилъ для себя основныя проблемы о существованіи Бога и о безсмертіи. Окончательной формулы я не нашелъ, но самая проблема теряла свою остроту, и я пересталъ искать. Мой умственный горизонтъ заполнялся новыми фактами, понятіями, вопросами реальнаго міра. И все это было такъ ярко и толпилось такъ заманчиво и такъ, повидимому, бесконечно... И столько въ этомъ было жизни, глубины, наконецъ, столько невѣдомаго и тайно-манящаго, что для другихъ вопросовъ не оставалось мѣста. Они перекрывались фактами жизни, какъ небесная синева перекрывается быстро несущимися, свѣтлыми, громаздящимися другъ на друга облаками, развертывающими все новые образы, комбинаціи и формы... А высоты, казалось, и въ нихъ достаточно...

Къ концу гимназическаго курса я опять стоялъ въ раздуміи о себѣ и о мірѣ. И опять мнѣ показалось, что я охватываю взглядомъ *весь* мой теперешній міръ и уже не нахожу въ немъ мѣста для „пшѣтизма“. Я гордо говорилъ себѣ, что никогда ни лицемѣріе, ни малодушіе не заставятъ меня измѣнить „твердой правды“ не вынудятъ искать праздныхъ

утѣшеній и блуждать во мглѣ призрачныхъ, не подлежащихъ рѣшенію вопросовъ...

Это продолжалось многіе годы, пока... яркія облака не сдвинулись, вновь измѣняя еще разъ міровую декорацію, и изъ-за нихъ не выглянула опять безконечность, загадочно ровная, заманчивая и дразнящая старыми загадками сфинкса въ новыхъ формахъ... И тогда я убѣдился, что эти вопросы были только отодвинуты, а не рѣшены въ томъ или другомъ смыслѣ

XXXIII.

Ч ѣ м ѣ б ы т ь ?

Я былъ въ послѣднемъ классѣ, когда на квартирѣ, которую содержала моя мать, жили два брата Конахевичи: Людвигъ и Игнатій. Они были православные, не смотря на неправославное имя старшаго. Не обращая вниманія на насмѣшки священника Крюковского, Конахевичъ не отказывался отъ своего имени и на вопросы въ классѣ упрямо отвѣчалъ:— „Людвигъ. Меня такъ окрестили“.

Это былъ юноша уже на возрастѣ, запоздавшій въ гимназіи. Небольшого роста, коренастый, съ крутымъ лбомъ и кривыми ногами, онъ напоминалъ гунпа, и его порой называли гунномъ. Меня заинтересовала въ немъ какая-то особенная манера превосходства, съ которой онъ относился къ малышамъ, товарищамъ по классу. Кромѣ того, онъ говорилъ намеками, будто храня что-то недосказанное про себя.

Однажды, когда всѣ въ квартирѣ улеглись, и темнота комнаты наполнилась тихимъ дыханіемъ сна,—я долго не спалъ и ворочался на своей постели. Я думалъ о томъ, куда идти по окончаніи гимназіи. Университетъ былъ закрытъ, у матери средствъ не было, чтобы мнѣ готовиться еще годъ на аттестатъ зрѣлости...

— Вы не спите?—тихо окликнулъ меня Конахевичъ.

— Не сплю.

— Думаете? О чемъ?

— У меня есть о чемъ подумать.

— Да, вы кончаете курсъ... Выбираете карьеру?..

Въ его голосѣ послышалась нотка иронии.

— Да, именно,—отвѣтилъ я.

Онъ помолчалъ съ подминуты, какъ бы прислушиваясь къ дыханію спящихъ товарищей, и потомъ сказалъ, понизивъ голосъ:

— Счастливый вы человекъ.

— Это почему?

— У васъ маленькія желанія и маленькія задачи. Поэтому вы всего достигнете въ жизни: окончите курсъ, поступите на службу, женитесь... И жизнь ваша покатится по ровной, гладкой дорогѣ...

— А ваша?—спросилъ я, невольно улыбаясь въ темнотѣ.

— Моя?—Опять съ его кровати пронесся глубокій вздохъ, бурный и печальный.

— Мнѣ суждена другая доля... Меня манитъ недостижимое. Жизнь моя пройдетъ бурно... Уничтожая все на своемъ пути, приноси страданія всѣмъ, кого роковая судьба свлечетъ со мною. И прежде всего тѣхъ, кого я люблю.

— Не понимаю,—сказалъ я наивно.— Зачѣмъ же вы выбираете карьеру, связанную съ такими неудобствами?..

Конахевичъ горько усмѣхнулся и сѣлъ на своей кровати.

— Вашъ вопросъ показываетъ, что вы, въ своемъ счастливомъ невѣдѣніи, не можете даже понять природы, подобной моей. Карьера?... Это только счастливцевъ, какъ вы, ждеть карьера, вродѣ гладкаго шоссе, обставленнаго столбами... Мой путь?... Пустынные скалы... пропасти... обрывы... блудящіе огни... Черная туча, въ которой ничего не видно, но она несетъ громы... Вы въ Бога вѣрите?

Что-то помѣшало мнѣ пуститься въ откровенности, и я отвѣтилъ кратко:

— Да, вѣрю.

— А я,—мрачно сказалъ Конахевичъ,—давно утратилъ дѣтскую вѣру...

Мнѣ было интересно узнать, что скрывается въ этой мглѣ съ мрачнымъ невѣріемъ, бурей и громами... Но въ это время на одной изъ кроватей послышалось движеніе, и раздался голосъ младшаго Конахевича. Это былъ мальчикъ не особенно способный, но усидчивый и серьезный. Старшій былъ прежде его кумиромъ. Теперь онъ догналъ его, и оба были въ одномъ классѣ.

— Ахъ, Людвигъ, Людвигъ,—сказалъ онъ укоризненно.— Опять говоришь глупости, а алгебру на завтра, вѣрно, не выучилъ... Тучи, громы, а завтра получишь единицу.

— Врешь, — отвѣтилъ старшій сердито. — Знаю лучше тебя...

— Знаешь?—скептически возразилъ Игнатій.—Когда же ты выучилъ? Въ четверти опять будутъ двойки. Даже неприятно ѣхать съ тобой домой: что скажешь старикамъ?

Людвигъ демонстративно захрапѣлъ, а Игнатій продолжалъ ворочаться на постели и ворчать.

— И насчетъ Бога врешь!.. Вчера стоялъ на колыняхъ и молился. Думаешь, я не видѣлъ?.. О, Господи! Начитался этого Словацкаго. Лучше бы выучилъ биномъ.

Потомъ и онъ смолкъ. Тогда Людвигъ опять высунулъ голову изъ-подъ одеяла и тихо сказалъ мнѣ:

— Вы надо мной смѣетесь?..

— Чуть-чуть,—отвѣтилъ я.

— Вы умнѣе, чѣмъ я думалъ. Я хотѣлъ посмѣяться надъ вами...

— Благодарю васъ.

На утро онъ немного стыдился и косилъ глаза, но затѣмъ скоро вернулся къ своему величаво-загадочному, байроническому тону... Онъ продолжалъ тяготѣть ко мнѣ, и часто мы прогуливались втроемъ. Третій былъ нѣкто Кордецкій.

Это былъ очень красивый юноша съ пепельными волосами, матовымъ лицомъ и выразительными сѣрыми глазами. Онъ недавно перешелъ въ нашу гимназію изъ Бѣлой Церкви, и въ своемъ классѣ у него товарищей не было. На переменахъ онъ ходилъ одинокій, задумчивый. Брови у него были какъ-то приподняты, отчего на лбу сдвигались скорбныя морщины, а на красивомъ лбу лежалъ меланхолическій нимбъ...

Не помню, какъ произошло наше знакомство. Меня онъ интересовалъ, какъ и Конахевичъ, и вскорѣ мы стали часто ходить вмѣстѣ, хотя они оба недолюбливали другъ друга...

Вскорѣ отъ Кордецкаго я тоже услышалъ туманные намеки. Конахевича угнетало мрачное будущее. Кордецкаго томило ужасное прошлое... Если бы я узналъ все, то отшатнулся бы отъ него съ отвращеніемъ и ужасомъ. Впрочемъ, и теперь еще не поздно. Мнѣ слѣдуетъ его оставить на произволь судьбы, хотя я единственный человѣкъ, котораго онъ любить...

— Знаете,—сказалъ онъ однажды, когда мы были только вдвоемъ,—я ужасный подлець... послѣдній негодяй... преступникъ...

Брови его приподнялись, морщина на лбу углубилась, но мнѣ показалось, что слова „подлець“ и „преступникъ“ онъ произноситъ съ какимъ-то особеннымъ вкусомъ, какъ будто смакуя и гордясь этимъ званіемъ...

Однажды послѣ каникулъ онъ явился особенно мрачный и отчасти приподнялъ завѣсу надъ бездной своей порочности: въ его угрюмо-покаянныхъ намекахъ выступало юное существо... дитя природы... дѣвушка изъ бѣдной семьи. Обожала его. Онъ ее погубилъ... Этимъ лѣтомъ, ночью... въ глубокомъ пруду... и т. д.

Я слушалъ все это совершенно спокойно, главнымъ образомъ потому, что не вѣрилъ ни одному слову, а ту долю его меланхолии, которая дѣйствительно слышалась въ его голосѣ,—приписывалъ предстоящей переэкзаменовкѣ по французскому языку...

— Если, вдобавокъ, я завтра срѣжусь,—прибавилъ онъ мрачно, отдавая мнѣ запечатанный конвертъ,—то вы... пошлите это письмо...

— Къ ней?—спросилъ я невинно. Онъ посмотрѣлъ на меня быстро и подозрительно и сказалъ съ досадою:

— Она—въ могилѣ.

— Почему же вы не пошлете письмо сами?

— Завтра вы узнаете,—почему.

На утро я пошелъ въ гимназію, чтобы узнать объ участи Кордецкаго. У Конахевича, увы!—тоже была переэкзаменовка по другому предмету. Кордецкій срѣзался первый. Онъ вышелъ изъ класса и печально пожалъ мнѣ руку. Выраженіе его лица было простое и искренно огорченное. Мы вышли изъ коридора, и во дворѣ я всетаки не удержался: вынулъ конвертъ.

— Посылать?..

Онъ взялъ его у меня изъ рукъ, швырнулъ въ сторону и сказалъ, слегка покраснѣвъ:

— Я вамъ вчера показался большимъ дуракомъ?.. Вамъ было смѣшно?

— Было немножко,—отвѣтилъ я,—хоти дуракомъ вы мнѣ не казались...

— Не глупъ... знаю самъ. Но чортъ его знаетъ: неисправимый фразеръ.

И мнѣ показалось, что слово „фразеръ“ онъ опять произнесъ съ такимъ же вкусомъ и особаго рода самоуслажденіемъ, какъ недавно произносилъ слово „подлецъ“...

Въ это время выходная дверь на блокъ хлопнула, и по мосткамъ застучали частые шаги. Насъ нагонялъ Конахевичъ, стуча каблуками такъ энергично, будто каждымъ ударомъ мрачный юноша вколачивалъ кого-то въ землю. Глаза Кордецкаго сверкнули лукавой искоркой.

— Что, батенька? Тоже срѣзались?

— Срѣзали, п-подлецы,—сказалъ Конахевичъ съ натискомъ.—Но я отомщу... Отомщу ужасно.

Кордецкій насмѣшливо посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Ну, Конахевичъ. Я—фразеръ, а вы вдесятеро.

— Фразеръ? Что такое фразеръ?—спросилъ Конахевичъ быстро. Кордецкій усмѣхнулся и пожалъ плечами... Онъ гордился словомъ, котораго Конахевичъ даже не понимаетъ...

— Я имѣю передъ вами то преимущество, — сказалъ онъ, и опять скорбный нимбъ легъ на его челъ, — что, по крайней мѣрѣ, сознаю, что я такое...

У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкиванія отъ избитыхъ дорогъ и застывающихъ формъ. На порогѣ жизни молодость какъ будто упирается, колеблясь ступить на проторенныя тропинки, какъ бы жалѣя разстаться съ неосуществленными возможностями. Литература часто раздуваетъ эту искру, какъ вѣтеръ раздуваетъ тлѣющей костеръ. И цѣлыя поколѣнія переживаютъ лихорадку отрицанія дѣйствительной жизни, которая грозитъ затянуть ихъ и обезличить.

Конахевичъ читалъ Словацкаго. Кордецкій зналъ наизусть „Героя нашего времени“ и имѣлъ нѣкоторое понятіе о „Донъ-Жуанѣ“. Она были романтики. Пусть преступникъ, но не обыкновенный обыватель. Вапроновскій Лара тоже преступникъ. Пусть фразеръ. Рудинъ тоже фразеръ. Это не мѣшаетъ стоять на нѣкоторой высотѣ надъ средой, которая даже не знаетъ, кто такой Лара и что значить фразеръ.

Но въ сущности и романтизмъ, и печоринство уже выдохлись въ тогдашней молодежи. Ея воображеніемъ завладѣвали образы, выдвигаемые тогдашней „новой“ литературой, стремившейся по своему отвѣтить на дѣйствительные вопросы жизни.

У обществовъ бывають свои настроенія и предчувствія. Такое настроеніе, смутное, но широко охватывающее всѣхъ, — и даетъ то, что принято называть „духомъ времени“. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ великая реформа всколыхнула всю жизнь, но волна обновленія скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно, что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точкѣ, и эта неопредѣленность кидала свою тѣнь на общее настроеніе. Дорога, на которую страна такъ радостно выступала въ началѣ десятилѣтія — упиралась въ неопредѣленность. Невольно чувствовался впереди кризисъ, неизбежность потрясеній и героическихъ усилій.

Въ наличности не было силъ для разрѣшенія кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придетъ съ этимъ будущимъ, и прежде всего на „новаго человека“, котораго должны выдвинуть молодые поколѣнія.

Молодежь стала предметомъ особаго вниманія и надеждъ, и вотъ что покрывало такимъ свѣжимъ блестящимъ лакомъ недавнихъ юнкеровъ, гимназистовъ и студентовъ. Поручикъ въ свѣженькомъ мундирѣ казался много интереснѣе полков-

ника или генерала, а студентъ юридическаго факультета интереснѣе готоваго прокурора. Тѣ—люди, уже захваченные колесами стараго механизма, а изъ этихъ могутъ еще выйти Гоши или Дантоны... Въ туманахъ близкаго, какъ казалось, будущаго начинали роиться образы „новаго человѣка“, „передоваго человѣка“, „героя“.

Въ дѣйствительной жизни этихъ необыкновенныхъ героевъ еще не было: „почувствовать“ ихъ, созерцать творческимъ воображеніемъ было невозможно. Приходилось не создавать, а выдумывать, живость изображенія замѣнять одушевленіемъ ожиданія и вѣры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый планъ художественной литературы все еще занимали Лаврецкіе и Рудины съ ихъ меланхолически отрицательнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности и туманными предчувствіями. Тургеневъ въ „Наканунѣ“ гениально отмѣтилъ это ожиданіе, но „героя“ всетаки увелъ за границу. Изъ русской дѣйствительности по прежнему брались отрицательные типы, и даже Добролюбовъ только спрашивалъ съ горечью: „Когда же придетъ настоящій день?“... За то второй планъ художественной литературы съ половины шестидесятыхъ годовъ заполняется величаво-мглистыми очертаніями героевъ-великановъ... И это было на обѣихъ сторонахъ: герои прогрессивной беллетристики несли разрушеніе старому міру. Художники консерваторы звали своихъ героевъ на его защиту... Будущее кидало впереди себя свою тѣнь, и мглытые образы сражались въ воздухѣ задолго еще до того времени, когда борьба назрѣла въ самой жизни.

Среди этой литературы выдѣлялись „Знаменія времени“ Мордовцева и „Шагъ за шагомъ“ Оммулевскаго („Что дѣлать“ Чернышевскаго я прочелъ гораздо позже). Мордовцевъ былъ писатель не вполнѣ искренній и сильно „себѣ на умѣ“. Молодежь восхищалась его „Историческими движеніями русскаго народа“, не замѣчая, что книга кончается чуть не апопееозомъ государства, у подножія котораго, какъ вокругъ могучаго утеса, бьются безсильныя народныя волны. Онъ приводилъ въ восхищеніе „областниковъ“ и „украинофиловъ“ и могъ внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, въ которой доказывалъ, что „централизація“—законъ жизни, а областная литература обречена на умираніе. Свой романъ онъ началъ эффектнымъ бредомъ больнаго. Въ картинахъ этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь романъ неуловимый для цензора, но ясно осязаемый покровъ „революціонности“. Можно было подумать, что автору и его героямъ выходъ изъ современнаго положенія несленъ, и если

бы не цензура, то они бы его, конечно, указали... Романъ имѣлъ въ то время огромный успѣхъ. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые навѣрное оставались загадкой для самого автора. Въ качествѣ грядущей революціонной силы въ туманѣ рисовались... какія-то, кажется, уральскія артели...

Омулевскій былъ гораздо искреннѣе и проще. Отъ его романа вѣяло молодой вѣрой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившійся, погибавшій, онъ какъ бы раздваивался въ своемъ произведеніи: себя онъ вывелъ въ лицѣ доктора, мрачнаго меланхолика, страдающаго запоемъ, безнадежно загубленнаго уже мракомъ окружающихъ условій, но благословляющаго своего молодого друга Свѣтлова на новую жизнь и борьбу. Въ Свѣтловѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуется уже самая фамилія,—воплощена вѣра въ будущее. Онъ бодръ, силенъ, свѣтель. Все ему удастся, всѣ преклонятся передъ его знаніями, характеромъ, особенной удачливостью.

Онъ живетъ въ сибирской глуши (кажется, въ ссылкѣ), работаетъ въ столичныхъ журналахъ и въ то же время проникаетъ въ таинственныя глубины народной жизни. Пріятели у него—раскольники, умные крестьяне, рабочіе. Они понимаютъ его, онъ понимаетъ ихъ, и изъ этого союза растетъ что-то конспиративное и великое. Все, что видно снаружи изъ его дѣятельности,—только средство. А цѣль?..

Объ этомъ спрашиваетъ молодая женщина, „пробужденная имъ къ сознательной жизни“. Онъ все откроетъ ей, когда придетъ время... Наконецъ, однажды, прощаясь съ нею передъ отъѣздомъ въ столицу, гдѣ его уже ждетъ какое-то важное общественное дѣло,—онъ наклоняется къ ней и шопотомъ произноситъ одно слово... Она блѣднѣетъ. Она не въ силахъ вынести гнетущей тайны. Она заболѣваетъ и въ бреду часто называетъ его имя, имя героя и будущаго мученика.

Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Свѣтловъ шепнулъ на ухо любящей женщинѣ,—было, конечно, „революція“. Это оно стояло впереди, какъ туча, издали поблескивая своими молніями, на горизонтѣ общества, вышедшаго изъ крѣпостнаго строя и остановленнаго на пути къ всестороннему раскрѣпощенію... Какъ это будетъ?... Когда будетъ? Это было неясно. Будетъ какъ-то... Будетъ скоро. Сдѣлаютъ это новые люди изъ „молодежи“. А за ними изъ невѣдомыхъ деревень, изъ лѣсовъ, изъ нѣдръ раскола и „общины“ двинется загадочный и никому неизвѣстный „народъ“...

Много въ этомъ было наивнаго, и революціонные планы даже серьезныхъ людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако, „духъ времени“ шель неуклонно своимъ путемъ. Обѣ стороны литературы указывали впередъ на загадочную тучу: консерваторы—со страхомъ, прогрессисты—съ надеждой. Инстинктъ молодежи все больше удерживалъ ее отъ проторенныхъ дорогъ, сопротивленіе „принятію жизни“ росло. Поколѣніе за поколѣніемъ выходили изъ „толстовскихъ“ гимназій и, точно въ кипящій потокъ, кидались въ бурную университетскую полосу. Кто успѣвалъ пройти ее, тотъ болѣе или менѣе сливался съ жизнью. Изъ недавнихъ протестантовъ выходили прокуроры, инженеры, управляющіе, часто съ улыбкой вспоминавшіе о своихъ „молодыхъ увлеченіяхъ“. А на ихъ мѣстѣ уже кипѣли другіе, для которыхъ настала своеобразная очередь этой повинности...

Съ „Знаменіями времени“ и „Шагъ за шагомъ“ я познакомился тоже на каникулахъ въ Гарномъ Лугѣ. Читали громко, и даже старики—капитанъ съ женой—слушали съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ повѣствованія о „новой молодежи“. Такъ какъ это отчасти совпало съ религіозной полемикой, то сначала я къ этой литературѣ отнесся скептически. Авдіевъ на мой вопросъ о Писаревѣ отозвался, какъ о задорномъ мальчишкѣ. Вѣлинскій и особенно Добролюбовъ оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любилъ фанатично. Его герои были живые люди, у Мордовцева по сравненію съ ними выходили деревяшки. Одинъ изъ нихъ, носящій кличку „Точеная голова“, подаетъ „барышня“ стулъ. Барышня обижается: значить, ее не считаютъ равнымъ человѣкомъ. Герой объясняетъ: его поступокъ—разумно-эгоистиченъ. Барышня упадетъ въ обморокъ, и ему же придется возиться съ нею. Одна изъ героинь рекомендуетъ себя: я переросла Вѣру Павловну (изъ „Что дѣлать“). Все это казалось мнѣ неестественно и дѣланно. Свѣтловъ Омудевскаго съ его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминалъ хорошо вычищенный тазъ, а постоянное любованіе имъ автора давало сильный привкусъ антихудожественности. Вообще, это были не лица, какъ у Тургенева, Писемскаго, Гончарова, а личности, съ прибавленіемъ ходячаго эпитета: „свѣтлыя личности“.

Они не овладѣвали поэтому моимъ воображеніемъ, хотя какой-то особый духъ, просачивавшійся въ этой литературѣ, всетаки оказывалъ свое вліяніе. Положительное было надуманно и туманно. Отрицаніе—живо и дѣйствительно.

Когда вслѣдъ за этими романами мы прочли „Одинъ въ полѣ не воинъ“, переведенный Благосвѣтловымъ въ „Дѣлѣ“,---

впечатлѣніе было огромное. Вообще этотъ нѣмецкій писатель сразу овладѣлъ умами тогдашней молодежи. Его герои были уже „лица“, а не „личности“, а условія ихъ борьбы взяты изъ несомнѣнной дѣйствительности. И такъ же, какъ прежде по русскимъ захолустьямъ бродили Чайльдъ-Гарольды, Амалать-беки и Печорины,—теперь стали десятками появляться шпильгагенскіе Лео и Рахметовы Чернышевскаго. Были даже „Лео на рахметовской подкладкѣ“...

Къ концу гимназическаго курса въ моей душѣ начало складываться изъ всего этого броженія нѣкоторое, правда, довольно туманное представленіе о томъ, чѣмъ мнѣ быть за гранью гимназіи и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю: изъ реакціи романтизму и отвергъ по отношенію къ себѣ всякія преувеличенно героическія иллюзіи. Образъ Лео я призналъ себѣ не по плечу. Я имъ восхищался, но моимъ воображеніемъ завладѣлъ другой шпильгагенскій герой изъ „Между молотомъ и наковальней“. Онъ легче мыслился въ Россіи... Гдѣ-то у насъ происходятъ важныя событія. Въ нихъ принимаетъ дѣятельное участіе молодой человекъ лѣтъ двадцати пяти, небольшого роста, съ умнымъ выраженіемъ лица и твердымъ взглядомъ. Онъ отчасти напоминаетъ меня, но только отчасти (своимъ лицомъ я былъ крайне недоволенъ и въ воображеніи произвелъ въ немъ нѣкоторыя поправки). Вслѣдствіе неудачи первой любви, онъ отказался отъ „личнаго счастья“ (правда, не безъ возможности когда-нибудь неожиданнаго счастливаго поворота судьбы). Онъ не герой, широкой извѣстностью не пользуется, но когда онъ входитъ въ общество людей, преданныхъ важному и опасному дѣлу,—то, на вопросъ незнающихъ его, знающіе отвѣчаютъ: „Это—NN... человекъ умный. На него можно положиться“... Порой его положеніе становится опасно, или онъ устаеетъ отъ трудной работы. Тогда онъ исчезаетъ куда-то въ глушь. У него, какъ у шпильгагенскаго героя, есть какая-то мастерская, которую онъ предоставилъ своимъ „друзьямъ изъ народа“. Тутъ онъ становится за станокъ на ряду съ ними, а по вечерамъ они читаютъ, и онъ говоритъ имъ о томъ, что затѣвается тамъ, далеко въ столицахъ. Они этому сочувствуютъ и въ свою очередь дѣлятся тѣмъ, что зрѣтъ въ глубинѣ народной мудрости. Лица у нихъ умныя, но... національности у нихъ нѣтъ, и, не смотря на усилія моего воображенія, они отчасти похожи на нѣмецкихъ рабочихъ 1848 года...

Туманные образы Амалать-бековъ, Чайльдъ - Гарольдовъ, Печоринныхъ и Демоновъ были, въ сущности, очень безвредны: непосредственно съ таинственно-мрачныхъ высотъ они посту-

пали на службу. Конашевичъ сталъ желѣзнодорожнымъ чиновникомъ, Кордецкій успѣшно служилъ по акцизу и изъ погубителя невинныхъ существъ превратился въ отличнаго, нѣсколько даже сантиментальнаго семьянина.

Судьба русскихъ Лео и Рахметовыхъ часто бывала иная... Но я забѣгаю впередъ... Объ этомъ придется еще много говорить въ дальнѣйшихъ очеркахъ „моего современника“.

XXXIV.

Послѣдній годъ въ гимназiи.

Этотъ годъ прошелъ для меня въ особомъ настроенiи.

Каникулы были на исходѣ, когда „окончившіе“ уѣзжали—одни въ Кіевъ, другіе—въ Петербургъ. Среди нихъ былъ и Сучковъ. Въ Житомирѣ мы учились въ одномъ классѣ. Потомъ онъ обогналъ меня на годъ, и мысль, что и я могъ бы уже быть свободнымъ, выступала для меня съ какой-то особенной, раздражающей ясностью.

Я проводилъ его за заставу. Въ штатскомъ платьѣ, съ чемоданомъ въ ногахъ, съ новенькимъ саквояжемъ черезъ плечо, онъ сидѣлъ въ перекладной, которая уносила его въ незнакомую даль. На шоссе, за тюрьмой, мы разстались, и я долго еще слѣдилъ за клубкомъ пыли, который катился пятнышкомъ по дорогѣ. Мнѣ страстно хотѣлось самому на волю... Вхвать вотъ такъ же, все впередъ и впередъ, куда-то на просторъ, къ новой жизни. А тамъ что-то неясное, но великолѣпное. И странно: изъ всего этого великолѣпія прежде всего передо мной выступала маленькая комнатка гдѣ-то очень высоко... Изъ окна видны крыши и небо. На полу стоитъ мой чемоданъ, на стѣнкѣ виситъ такой же, какъ у Сучкова, новенькій саквояжъ. Это значитъ, что я приѣхалъ, и вотъ-вотъ уйду куда-то. Куда? Въ новую жизнь!

Клубокъ пыли исчезъ. Я повернулся къ городу. Онъ лежалъ въ своей лощинѣ, тихій, сонный и... ненавистный. Надъ нимъ носилась та же легкая пелена изъ пыли, дыма и тумана, мѣстами сверкали клочки заросшаго пруда, и старый инвалидъ дремалъ въ обычной позѣ, когда я проходилъ черезъ заставу. Вдобавокъ, около пруда, на узкой деревянной кладочкѣ, передо мной вдругъ выросла огромная фигура Степана Яковлевича, ставшаго уже директоромъ. Онъ посмотрѣлъ на меня съ высоты своего роста и сказалъ сурово:

— Хотите обновить карцеръ?

Я посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Что нужно этому человѣку? Страхъ передъ нимъ давно уже не было въ моей душѣ. Я сознавалъ, что онъ вовсе не грозенъ и не золъ,

пожалуй, даже по своему добродушень. Но за что же онъ накинудся?

Толстый палець потянулся къ моей груди. Двѣ среднихъ пуговицы мундира не были застегнуты.

— Только-то? — подумаль я и, застегивая пуговицы, невольно повель плечами. Онъ внимательно и строго посмтрѣль мнѣ въ лицо.

— Откуда вы идете?

— Я... провожалъ Сучкова...

— Ну... такъ что же? — спросилъ онъ опять не совѣмъ кстати, озадаченный, вѣроятно, выраженіемъ моего лица.

— Ничего, Степанъ Яковлевичъ, — отвѣтилъ я деревянно.

Директоръ опять посмтрѣль на меня, какъ будто подыскивая предлогъ для вспышки, чтобы встряхнуть мою невосприимчивость къ авторитету, но ничего не придумаль и пошелъ своей дорогой.

А я съ тоской посмтрѣль вокругъ. Сучковъ несется уже далеко... Подъѣзжаетъ къ станціи. Расписывается въ книгѣ: „студентъ Технологическаго института“!.. Даетъ на чай ямщику. Садится опять, и колокольчикъ заводитъ свою загадочную болтовню... А передо мной все тотъ же прудъ, заросшій зеленой ряской... Проголины знойно и неподвижно отражаютъ небо и солнечный свѣтъ... Ряска кое-гдѣ шевелится, — это подъ ней проплываютъ головастики и лягушки... Изъ камышей выплыль тяжко скучающій лебедь. Баба стучитъ валькомъ по мокрому бѣлью... Степанъ Яковлевичъ сейчасъ грозилъ мнѣ карцеромъ... И все это еще на цѣлый годъ! Тоска, тоска!..

Годъ этотъ тянулся для меня вяло и скучно, и я хорошо понималъ брата, который, разъ выскочивъ изъ этой колеи, не могъ и не стремился опять попасть въ нее. Передо мной конецъ близко. Я, конечно, долженъ кончить во что бы то ни стало...

Директоръ продолжалъ присматриваться ко мнѣ подозрительнымъ, но мало понимающимъ взглядомъ. Однажды онъ остановилъ меня при выходѣ изъ церкви.

— Отчего вы не молитесь? — спросилъ онъ. — Прежде вы молились. Теперь стоите, какъ столбъ.

Я подняль на него глаза, и въ нихъ, вѣроятно, опять было озадачившее его выраженіе. Что мнѣ сказать въ отвѣтъ? Начать молиться по приказу, подъ упирающимися въ спину начальственными взглядами?

— Не знаю, — отвѣтилъ я кратко.

На ученической квартирѣ, которую послѣ смерти отца со-

держала моя мать, я былъ „старшимъ“. Въ этотъ годъ одну комнату занималъ у насъ юноша Подгурскій, сынъ богатаго помѣщика, готовившійся къ поступленію въ одинъ изъ высшихъ классовъ. Однажды директоръ, посѣтивъ квартиру, зашелъ въ комнату Подгурскаго въ его отсутствіе и повелъ въ воздухѣ носомъ.

— Онъ... курить?—спросилъ онъ у меня.

— Не знаю,—отвѣтилъ я.

— Вы старшій?

— Да, но онъ еще не ученикъ.

— Это все равно... Вы *должны* узнать. Понимаете?

— Хорошо, Степанъ Яковлевичъ, я спрошу у него,—сказалъ я съ невиннымъ видомъ.

На монументальномъ лицѣ директора вспыхнулъ гнѣвъ. Онъ считалъ, что я, какъ старшій по квартирѣ, обязанъ секретно оказать ему содѣйствіе въ надзорѣ за будущимъ ученикомъ: выслѣдить, разыскать табакъ и потомъ доложить. Въ моемъ отвѣтѣ онъ увидѣлъ насмѣшку, но, кажется, тутъ даже и насмѣшки не было. Просто я мало думалъ о томъ, какое дѣйствіе произведутъ на него мои слова, и уже *могъ быть разсыпаннымъ* въ присутствіи грознаго начальства. Это было, пожалуй, инстинктивное неуваженіе, которое теперь квалифицировали бы, какъ „вредный образъ мыслей“. Но въ то время „чтеніе въ сердцахъ“ еще не было въ ходу даже въ гимназіяхъ, совѣты требовали „проступковъ“, а мое настроеніе было неуловимо.

Я думаю, многіе изъ оканчивавшихъ испытываютъ и теперь въ большей или меньшей степени это настроеніе „последняго года“. Образование должно имѣть свой культъ, подымающій отдѣльныя знанія на высоту общаго смысла. Наша система усердно барабанитъ по отдѣльнымъ клавишамъ. Разрозненныхъ звуковъ до скуки много, общая мелодія отсутствуетъ... Страхъ, поддерживающій дисциплину, улетучивается съ годами и привычкой. Внутренней дисциплины и уваженія къ школьному строю нѣтъ, а жизнь уже заглядываетъ и манитъ изъ-за близкой грани...

Настроеніе довольно опасное... Одинъ разъ оно прорвалось у меня неожиданно и бурно.

Шелъ какой-то урокъ, для котораго два класса собирались вмѣстѣ. Въ классѣ была тоскливая тишина напряженнаго полувниманія, въ которомъ чувствуется глухая борьба съ одолавающей дремотой,—идеаль классной дисциплины. Я сидѣлъ ровно, вытянувшись и, по обыкновенію, думая о чемъ-то постороннемъ, какъ вдругъ сидѣвшій рядомъ со мной това-

рищъ толкнулъ меня локтемъ и указалъ на дверь. Въ стеклѣ виднѣлся поднятый кверху хохолокъ Дитяткевича. Угадывалась фигура любознательнаго надзирателя на корточкахъ, у замочной скважины. Во мнѣ вдругъ завозился какой-то злобный бѣсенокъ. Я всталъ на своемъ мѣстѣ, невидномъ Дидонусу изъ-за угла классной доски, и попросился выйти. Получивъ разрѣшеніе, я прошелъ у стѣны и рванулъ дверь такъ рѣзко, что раскрылись сразу обѣ половинки. Передъ восхищеннымъ классомъ предстала фигура Дитяткевича на корточкахъ, съ торчащимъ кверху хохолокомъ и испуганно выпученными глазами. Въ классѣ поднялся смѣхъ. Учитель въ изумленіи оглянулся и тоже засмѣялся. А я, какъ ни въ чемъ не бывало, прошелъ въ корридоръ.

Это былъ пятый урокъ. Другіе классы и учителя разошлись раньше, и въ корридорахъ было почти пусто, когда нашъ классъ тоже шумно двинулся къ выходу... Навстрѣчу намъ, торопливо ковыляя кривыми ножками, показался Дитяткевичъ. Бѣдняга сильно страдалъ отъ насмѣшекъ: его кокъ, щегольскіе галстучки, неудачныя ухаживанія давали пищу анекдотамъ,—а молодежь въ такихъ случаяхъ безжалостна и жестока... Теперь бѣдный надзиратель чувствовалъ себя въ экстренно смѣшномъ положеніи. Онъ былъ красенъ. Маленькіе глазки тревожно бѣгали и сверкали. Растолкавъ учениковъ, онъ подошелъ ко мнѣ и взялъ за бортъ шинели.

— Вы остаетесь безъ обѣда.

— По чьему распоряженію? — спросилъ я довольно спокойно.

Дитяткевичъ гордо выпрямился и сказалъ:

— Я оставляю васъ собственной властью.

— По правиламъ вы на это не имѣете права,—возразилъ я.—Вы можете только пожаловаться инспектору, но... На что же собственно вы будете жаловаться?..

— Тамъ ужъ я знаю, на что... А пока оставайтесь.

Я пожалъ плечами.

— Я вышелъ изъ класса съ разрѣшенія учителя и... не могъ знать, что это будетъ вамъ неудобно.

Ученики размѣялись. Это окончательно вывело бѣднягу надзирателя изъ равновѣсія. Онъ забылся и, обругавшись, какъ извозчикъ, рванулъ меня за пальто, стараясь силой вывести изъ кучки товарищей.

Во мнѣ вдругъ поднялось что-то неожиданное и захватывающее. Рѣзко оттолкнувъ его руку, я назвалъ его шпиономъ и идиотомъ. Товарищи во-время разъединили насъ, иначе сцена могла закончиться еще безобразнѣе. Въ первый разъ

въ жизни во мнѣ поднялась волна отцовской вспыльчивости, которой я не сознавалъ въ себѣ до тѣхъ поръ. Въ маленькой фигуркѣ съ зелеными глазами я будто видѣлъ олицетвореніе всего, что давило и угнетало всѣхъ насъ въ эти годы, и сознание, что мы стоимъ другъ противъ друга съ открытымъ вызовомъ, доставляло странно щекочущее наслажденіе...

Это столкновеніе сразу стало гимназическимъ событіемъ. Матери я ничего не говорилъ, чтобы не огорчать ее, но чувствовалъ, что дѣло можетъ стать серьезнымъ. Вечеромъ ко мнѣ пришелъ одинъ изъ товарищей, старшій годами, съ которымъ мы были очень близки. Это былъ превосходный малый, туговатый на ученье, но съ большимъ житейскимъ смысломъ. Онъ сѣлъ на кровати и, печально помотавъ головой, сказалъ:

— Эхъ, Карла, Карла (это была моя гимназическая кличка)! Вотъ, до чего доводитъ остроуміе... Я обошелъ нѣкоторыхъ учителей, чтобы предупредить... Они говорятъ, что дѣло твое плохо.

— Ну, и пусть,—отвѣтилъ я упрямо, хотя сердце у меня сжалось при воспоминаніи о матери. И все же я чувствовалъ, что если бы опять Дитяткевичъ схватилъ меня за бортъ, я бы отвѣтилъ тѣмъ же.

Дѣло кончилось благополучно. Показанія учениковъ были въ мою пользу, но особенно поддержалъ меня сторожъ Савелій, философски, съ колокольчикомъ подъ мышкой, наблюдавшій всю сцену. Впрочемъ, онъ показалъ только правду: Дитяткевичъ первый обругалъ меня и рванулъ за шинель. Меня посадили въ карцеръ, Дитяткевичу сдѣлали замѣчаніе. Тогда еще ученикъ могъ быть болѣе правымъ, чѣмъ „начальство“...

XXXV.

Послѣдній экзамень. Свобода.

Часовъ въ пять чуднаго лѣтняго утра въ концѣ іюня 1870 года, съ книжками Филаретовскаго катехизиса и церковной исторіи, я шелъ за городъ къ грабовой рошѣ. Въ этотъ день былъ экзамень по Закону Божію, и это былъ уже послѣдній.

Настроеніе мое было тягостно и непріятно. Я уже усталъ отъ экзаменовъ. Вчера легъ поздно, всталъ сегодня очень рано, еще до восхода солнца. Глаза невольно слипались, мозгъ дремалъ, и я пришелъ сюда въ надеждѣ, что чистый утренній вѣтеръ на этомъ холмѣ разгонитъ дремоту. Взойдя на возвышеніе, я залюбовался широкой далью. Городъ лежалъ

внизу, какъ на ладони. По утрамъ его часто затягивало туманами отъ прудовъ, и теперь туманная пелена разрывалась, обнаруживая то крышу, то клокъ зелени, то бѣлую стѣну... Статуя Мадонны точно плавала въ воздухѣ, а далеко за городомъ чуть видѣлись поля, деревни, полосы лѣсовъ... Нѣсколько минутъ я не могъ оторваться отъ этого зрѣлища, которому незамѣтное движеніе тумановъ придавало особую жизнь... Мнѣ казалось, что я еще въ первый разъ настоящимъ образомъ вижу природу и начинаю улавливать ея внутреннее содержаніе, но... глядѣть было некогда. Я долженъ былъ заучивать сухое перечисленіе догматовъ, соборовъ и ересей, въ которыхъ не было даже, отдаленной связи съ красотой этого изумительнаго міра... Это дѣлало меня несчастнымъ. Счастье въ эту минуту представлялось мнѣ въ видѣ возможности стоять здѣсь же, на этомъ холмѣ, съ свободнымъ настроеніемъ, глядѣть на чудную красоту міра, ловить то странное выраженіе, которое мелькаетъ, какъ дразнящая тайна природы, въ тихомъ движеніи ея свѣта и тѣней.

Я далъ себѣ слово, какъ только выдержу экзамень, тотчасъ же придти опять сюда, стать на этомъ самомъ мѣстѣ, глядѣть на этотъ пейзажъ и уловить, наконецъ, его выраженіе... А затѣмъ... глубоко заснуть подъ деревомъ, которое шумѣло рядомъ своей темно-зеленой листвою.

Я еще зубрилъ „Законъ Божій“, когда до меня долетѣлъ переливчатый звонъ гимназическаго колокола, въ послѣдній разъ призывавшій меня въ гимназію. Ну, будь, что будетъ! Книга закрыта, и черезъ четверть часа я входилъ уже во дворъ гимназіи.

А черезъ часъ выбѣжалъ оттуда, охваченный новымъ чувствомъ облегченія, свободы, счастья! Какъ случилось, что я выдержалъ и при томъ выдержалъ „отлично“ по предмету, о которомъ, въ сущности, не имѣлъ понятія,—теперь уже не помню. Знаю только, что, выдержавъ, какъ сумасшедшій, забѣжалъ домой, къ матери, радостно обнялъ ее и, швырнувъ ненужныя книги, побѣжалъ за городъ.

Раннее утро кончилось, его свѣжесть исчезла, тумана не было, только надъ прудами еще тянулись чуть замѣтныя сизыя струйки. Тургеневъ говоритъ, что въ первый разъ уже за-границей, гдѣ-то подъ Берлиномъ, онъ сознательно наслаждался природой и пѣньемъ жаворонка. Это странно, но это правда. Это не значить, что онъ не чувствовалъ природу ранѣе. Но наступаетъ моментъ, когда это свое чувство человекъ сознательно наблюдаетъ въ-себѣ, какъ особое душевное явленіе. И это бываетъ поздно, а у иныхъ людей, быть можетъ,

не наступаетъ никогда. Въ ту минуту я тоже, быть можетъ, въ первый разъ такъ смотрѣлъ на природу и такъ полно давалъ себѣ отчетъ въ своемъ ощущеніи. И въ первый разъ эта заканчивающаяся симфонія утра показалась мнѣ стройной, одухотворенной и цѣльной. Что-то „отходило“, какъ отходить вечера при пѣннѣ „Свѣте тихій“. Въ природѣ я чувствовалъ именно „священнодѣйствіе“, полное гармоніи и смысла.

Спать подь деревомъ мнѣ совсѣмъ не хотѣлось. Я опять ринулся, какъ сумасшедшій, съ холма и понесся къ гимназіи, откуда одинъ за другимъ выходили отъѣзжавшіеся товарищи. По Закону Божію, да еще на послѣднемъ экзаменѣ, „рѣзать“ было не принято. Выдерживали все, и городишко, казалось, было заполнено нашей оныняющей радостью. Свобода, свобода!

Это ощущеніе было такъ сильно и такъ странно, что мы просто не знали, что съ нимъ дѣлать и куда его пристроить. Цѣлой группой мы рѣшили снести его къ „чехамъ“, въ новооткрытую пивную... Крѣпкое чешское пиво всеѣмъ намъ казалось горько и отвратительно, но... еще вчера мы не имѣли права входить сюда и потому пошли сегодня. Мы сидѣли за столами, глубокомысленно тянули изъ кружекъ и старались подавить невольныя гримасы...

Черезъ нѣсколько дней, получивъ аттестаты, мы рѣшили сообща отпраздновать нашу свободу. И праздникъ былъ опять вродѣ горькаго пива. Мы собрались въ большой комнатѣ виноторговца Вайнтрауба, куда доступъ ученикамъ былъ воспрещенъ подь страхомъ исключенія, и пригласили учителей. Учителя „по товарищески“ пили съ нами, варили жжонку, пьянѣли, цѣловались. Жжонка казалась отвратительно крѣпкой, но... мы пили ее вмѣстѣ съ учителями, хлопая ихъ дружески по плечамъ, и это было ново, необычно, какъ будто нужно и пріятно... Поздно ночью кто-то потребовалъ музыку. Юркій факторъ-еврей поднялъ музыкантовъ, а на разсвѣтѣ мы ходили по спящему и темному еще городу, сопровождаемые кларнетомъ, флейтой, двумя-тремя скрипками и турецкимъ барабаномъ. Музыка тревожила тишь спящихъ улицъ. Мы кричали „ура“, качали учителей и... чувствовали, что все это какъ-то нехорошо, ненастояще и фальшиво.

А между тѣмъ, что же дѣлать съ этимъ не дающимъ покоя новымъ ощущеніемъ свободы?

На слѣдующій день, съ тяжелой головой и съ сквернымъ чувствомъ на душѣ, я шелъ купаться и зашелъ за однимъ изъ товарищей, жившимъ въ казенномъ зданіи, сосѣднемъ съ

гимназіей. Когда я подымался по лѣстницѣ, одна изъ дверей открылась, и на-встрѣчу мнѣ спустился молодой еще человекъ съ умнымъ лицомъ и окладистой небольшой бородкой... Мнѣ запомнился очень выпуклый лобъ и серьезный упорный взглядъ. Лицо было новое, очевидно „не ровенское“. Когда онъ сошелъ съ лѣстницы, дверь вверху открылась, и на площадкѣ показался учитель исторіи, Андрускій. Наклоняясь съ периль, онъ крикнулъ:

— Драгомановъ! Пойдите, еще два слова!

Незнакомый господинъ поднялся наверхъ, и когда я спустился съ лѣстницы, незнакомца уже не было.

Драгомановъ, Драгомановъ! Я вспомнилъ эту фамилію изъ сочиненій Добролюбова. Въ полемику по поводу пироговскаго инцидента вмѣшался студентъ Драгомановъ, при чемъ въ своихъ статьяхъ, направленныхъ противъ Добролюбова, довольно безцеремонно раскрылъ его инициалы. Неужели тотъ господинъ съ крутымъ лбомъ и такимъ умнымъ взглядомъ, — тотъ самый „студентъ Драгомановъ“?

На полевой дорожкѣ, которая вела къ рѣкѣ, меня обогналъ Андрускій. Объ этомъ учителѣ я говорилъ: онъ преподавалъ сухо и скучновато, но пользовался общимъ уваженіемъ, какъ человекъ умный, твердый и справедливый. Вчера онъ только показался въ началѣ нашего вечера, ничего не пилъ и рано исчезъ. Теперь онъ шелъ съ полотенцемъ черезъ плечо, бодрый, свѣжо одѣтый и самъ свѣжій. И остановился и по ученически снялъ передъ учителемъ фуражку, но онъ подошелъ ко мнѣ и протянулъ руку. Я опять почувствовалъ въ этомъ новую черту моего новаго положенія.

— Вы купаться?—спросилъ онъ.

— Да.

— Идемъ вмѣстѣ.

Мы пошли на то самое мѣсто, гдѣ Дитяткевичъ устраивалъ свои засады на учениковъ. Была своя новая прелесть и въ этомъ обстоятельстве.

— Съ кѣмъ вы разговаривали на лѣстницѣ?—рѣшился я спросить дорогой.

— Съ Драгомановымъ.

— Это... Тотъ самый?

— Да, писатель и профессоръ. Мы съ нимъ товарищи по университету.

Онъ не зналъ, что для меня „тотъ самый“ значило противникъ Добролюбова. Я его себя представлялъ иначе. Этотъ казался умнымъ и приятнымъ. А то обстоятельство, что человекъ, о которомъ (хотя и не особенно лестно) отзывался До-

бродяговъ, теперь появился на нашемъ горизонтѣ,—казалось мнѣ чудомъ изъ того новаго міра, куда я готовлюсь вступить. Послѣ кунанья Андрускій у своихъ дверей задержалъ мою руку и сказалъ:

— У меня самоваръ и газета съ отчетомъ объ интересномъ дѣлѣ. Хотите зайги?

Я охотно зашелъ въ холостую квартиру учителя. На столѣ стоялъ самоваръ. Андрускій заварилъ чай, покрылъ чайникъ чистой салфеткой и протянулъ мнѣ номеръ „Голоса“.

— Не прочтете ли громко? Вотъ тутъ.

Это былъ отчетъ по нечаевскому процессу.

Я ничего тогда не зналъ объ этомъ дѣлѣ и началъ читать довольно безразлично. Но постепенно меня охватило непонятное одушевленіе. Въ номерѣ говорилось о типографіи Ткачева и Дементьевой и приводилась прокламація Нечаева къ студенчеству... „Мы сидѣли тогда по угламъ, понутивъ унылыя головы, со сквернымъ выраженіемъ на озлобленныхъ лицахъ...“ „Развивъ наши мозги на деньги народа, вскормленные хлѣбомъ, забраннымъ съ его поля,—станемъ ли мы въ ряды его гонителей?..“ Въ прокламаціи развивалась мысль, что интересы учащейся молодежи и народа одни. „У насъ есть товарищи, у которыхъ нѣтъ правъ, положеніе которыхъ самое худшее въ Европѣ, и ожесточеніе которыхъ тѣмъ сильнѣе, что не имѣеть исхода“...

Когда я кончилъ читать, умные глаза Андрускаго глядѣли на меня черезъ столъ. Замѣтивъ почти опьяняющее впечатлѣніе, которое произвело на меня чтеніе, онъ просто и очень объективно изложилъ мнѣ суть дѣла, идеи Нечаева, убійство Иванова въ Петровскомъ паркѣ... Затѣмъ сказалъ, что въ студенческомъ мірѣ, куда мнѣ придется скоро окунуться, я встрѣчусь съ тѣмъ же броженіемъ и долженъ хорошо разбираться во всемъ...

Все это опять падало на дѣвственную душу, какъ холодныя снѣжинки на голое тѣло... Убійство Иванова казалось мнѣ рѣзкимъ диссонансомъ. „Можетъ быть, неправда?..“ Но надъ всѣмъ преобладала мысль: значитъ, и у насъ есть уже *это*... Что именно?.. Студенчество, умное и серьезное, „съ озлобленными лицами“ думающее тяжкіи думы о безправіи всего народа... А при упоминаніи о „генералахъ Тимашевыхъ и Треповыхъ“ въ памяти вставалъ Безакъ.

Въ одинъ изъ послѣднихъ вечеровъ, когда я прогуливался по шоссе, все времянося съ собой новое ощущеніе свободы,—изъ сумеречной и пыльной мглы, въ которой двигались гу-

ляющіе обыватели, передо мною вынырнули двѣ фигуры: одинъ изъ моихъ товарищей, Леонтовичъ, шель подъ руку съ высокимъ молодымъ человѣкомъ въ синихъ очкахъ и мягкой широкополой шляпѣ на длинныхъ волосахъ. Фигура была, очевидно, не ровенская.

— Киевскій студентъ Піотровскій, — отрекомендовалъ незнакомца мой товарищъ.—А это тоже будущій студентъ такой-то.

Піотровскій крѣпко пожалъ мнѣ руку и пригласилъ насъ обоихъ къ себѣ, въ номеръ гостиницы. Въ углу этого номера стояли двѣ пачки какихъ-то бумагъ, обвязанныхъ веревками и обернутыхъ газетными листами. Леонтовичъ съ почтеніемъ взглянулъ на эти связки и сказалъ, понизивъ голосъ:

— Это... онѣ?

— Да,—съ важностью кивнулъ студентъ.

— Знаешь... это въ углу стояли запрещенныя книжки,—сказалъ мнѣ Леонтовичъ уже на улицѣ.—Піотровскаго послали... Понимаешь... Очень опасное порученіе...

Это былъ первый „агитаторъ“, котораго я увидѣлъ въ своей жизни. Онъ прожилъ въ городѣ нѣсколько дней, ходилъ по вечерамъ гулять на шоссе, привлекая вниманіе своимъ студенческимъ видомъ, очками, панамой, длинными волосами и пледомъ. Я иной разъ ходилъ съ нимъ, ожидая откровеній. Но студентъ молчалъ или говорилъ глубокомысленные пустяки...

Когда онъ уѣхалъ, въ городѣ осталось нѣсколько таинственно розданныхъ, довольно невинныхъ украинскихъ брошюръ, а въ моей душѣ—двойственное ощущеніе. Мнѣ казалось, что Піотровскій малый пустой и надутый ненужною важностью. Но это таилось гдѣ-то въ глубинѣ моего сознанія и робѣло пробиться наружу, гдѣ всетаки царило наивное благоговѣніе: такой важный, въ очкахъ и съ такимъ опаснымъ порученіемъ...

Наконецъ, наступила счастливая минута, когда и я покидалъ тихій городокъ, оставшійся позади въ своей лощинѣ. А передо мной разстилалась далекая лента шоссе, и на горизонтѣ клубились неясныя очертанія: полосы лѣсовъ, новыя дороги, дальшіе города, невѣдомая новая жизнь...

(Конецъ I-ой части).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Студенческіе годы.

I.

Въ розовомъ туманѣ.

Раннимъ лѣтнимъ утромъ на нашемъ дворѣ послышался отчаянный лай собакъ. Такъ онѣ лаютъ обыкновенно только на почталіоновъ. Это уже законъ природы, что между провинціальными почталіонами и собаками положена вѣчная вражда. И, дѣйствительно, выглянувъ въ окно, я увидѣлъ писмоносца. Онъ былъ въ высокомъ кэпи, съ прямымъ козыремъ и съ орломъ на тульѣ. Черезъ плечо висѣла большая сумка, а въ рукѣ была обнаженная коротенькая сабелька, которою онъ отбивался отъ нашихъ дворнягъ. Это было настоящее сраженіе; почталіонъ то наступалъ, то ретировался и бралъ каждый шагъ съ бою. Войдя, наконецъ, въ сѣни, онъ снялъ кэпи, обтеръ потный лобъ и подалъ пакетъ, адресованный мнѣ. Съ бьющимся сердцемъ я вскрылъ его и вынулъ печатный бланкъ, въ которомъ наверху было вписано мое имя. Директоръ Технологическаго института Ермаковъ извѣщалъ такого-то, что онъ принять на первый курсъ и обязанъ явиться къ 15-му августа.

Когда послѣ этого я оглянулся кругомъ, то мнѣ показалось, что за эти нѣсколько минутъ прошли цѣлыя сутки: до прихода почталіона было вчера, теперь наступило новое сегодня. Я точно проспалъ ночь и проснулся не только другимъ, но немножко и въ другомъ мірѣ... Это ощущеніе исходило отъ плотной сѣрой бумаги съ печатнымъ текстомъ и подписью Ермакова. И когда я несся послѣ этого по улицамъ, то мнѣ казалось, что и дома, и заборы, и встрѣчные обыватели тоже смотрѣли на меня иначе. Вѣдь въ самомъ

дѣлѣ, и они въ первый разъ съ сотворенія міра видятъ... студента такого-то.

Съ „извѣщеніемъ“ я не разставался нѣсколько дней. Порой наединѣ я вынималъ его и перечитывалъ каждый разъ съ новымъ удовольствіемъ, точно это былъ не сухой официальный бланкъ, а поэма. И въ самомъ дѣлѣ — поэма: разрывъ со старымъ міромъ, призывъ къ чему-то новому, желанному и свѣтлому... Зоветъ „директоръ Ермаковъ“. Съ этой фамиліей связывалось въ моемъ воображеніи что-то очень твердое, почти гранитное (вѣроятно, отъ сибирскаго Ермака) и вмѣстѣ — недосыгаемо возвышенное и умное. И этотъ Ермаковъ ждетъ меня къ 15-му августа. Я нуженъ ему для выполненія его высокаго назначенія...

Настроеніе было глупое, и я, конечно, сознавалъ, что оно глупо. Однажды я даже громко сказалъ себѣ дурака: „смотри, вѣдь самая подпись Ермакова печатная. Такія извѣщенія онъ даже не подписываетъ, а ихъ сотнями разсылаетъ канцелярія“. Я зналъ это, но это знаніе не измѣняло настроенія. *Зналъ я по умному, а чувствовалъ по глупому.* Въ то самое время, какъ я внушалъ себѣ эти трезвыя истины, — ротъ у меня невольно раскрывался до ушей. И я долженъ былъ отворачиваться, чтобы люди не видѣли этой идиотской улыбки и не угадали бы по ней, что меня зоветъ Ермаковъ, которому я лично необходимъ къ пятнадцатому августа...

Правда, совѣсть у меня по отношенію къ Ермакову была не совсѣмъ чиста: я не былъ увѣренъ, что не измѣню ему. У меня было намѣреніе подготовиться по латыни и черезъ годъ перейти въ университетъ. Но это будетъ уже гдѣ-то тамъ, въ другомъ лучезарномъ мірѣ. А пока — Ермаковъ посвящаетъ меня въ студенты, какъ когда-то посвящали въ рыцари, и я былъ ему глубоко благодаренъ.

Съ юношескимъ эгоизмомъ я какъ-то совсѣмъ не принималъ участія въ заботахъ матери о моемъ снаряженіи. Она закладывала гдѣ-то свою пенсіонную книжку, продавала какія-то вещи, просила, гдѣ могла, займы и, наконецъ, сколотила что-то около двухсотъ рублей. Послѣ этого происходили долгія совѣщанія съ портнымъ Шимкомъ.

Портной Шимко былъ небольшого роста коренастый еврей, съ широкимъ лицомъ, на которомъ тонкія губы и заостренный носъ производили впечатлѣніе почти угрюмаго комизма. Пока былъ живъ отецъ, мы всегда смѣялись надъ Шимкомъ, изоцряя свое остроуміе надъ его наружностью и надъ его предполагаемыми плутнями. Когда отецъ умеръ и мать осталась безъ средствъ, — онъ явился къ ней, критически

облѣдывалъ состояніе нашихъ костюмовъ и сказалъ серьезно:

— Ну, пора шить одну шинель и два мундира.

— Ты знаешь, Шимко, что у меня теперь нѣтъ денегъ, и что еще будетъ, я не знаю,—грустно отвѣтила мать.

— Ну,—возразилъ Шимко,—у васъ нѣтъ денегъ, но есть дѣти... Развѣ это не деньги?..

И онъ опять работалъ на насъ, не заикаясь о срокахъ уплаты и никогда не торгуясь, какъ это бывало прежде.

Теперь онъ развернулъ свою дѣятельность у насъ на квартирѣ. Освѣдомившись, желаю ли я, чтобы онъ шилъ „по самой послѣдней модѣ“, и узнавъ, что послѣднюю моду я презираю, онъ даже крикнулъ отъ удовольствія и далъ полную волю своей творческой фантазіи. Онъ мочилъ и парилъ матеріалы, снималъ мѣрки, кроилъ, примѣрялъ, шилъ и, наконецъ, изъ его рукъ я вышелъ экипированнымъ не особенно щеголевато, но за то дешево. Онъ сшилъ мнѣ лѣтній костюмъ изъ какой-то очень прочной и жесткой матеріи, съ бѣлыми букетцами по коричневому полю. Передѣлалъ мундиръ въ тужурку и сшилъ пальто. Мнѣ смутно казалось, что прочная матерія съ букетами даетъ идею скорѣе обивкѣ мебели, чѣмъ о костюмѣ для столицы, а пальто походитъ на испанскій плащъ или альмавиву... Но на этотъ счетъ я былъ непріхотливъ и беззаботенъ. Оставивъ въ сторонѣ моду, я чувствовалъ себя одѣтымъ съ иголки, „довольно просто, но со вкусомъ“.

Увы! въслѣдствіи этого полета творческой фантазіи честнаго Шимка доставилъ мнѣ не мало горькихъ и непріятныхъ минутъ...

На каникулы пріѣхалъ Сучковъ, уже годъ прожившій въ столицѣ, и, конечно, я закидалъ его вопросами. Онъ почему-то былъ скупъ на рассказы, но все же я узналъ, что институтъ это—совсѣмъ не то, что гимназія, профессора нисколько не похожи на учителей, а студенты — не гимназисты. Полная свобода... Никто не слѣдитъ за посѣщеніемъ лекцій... И есть среди студентовъ замѣчательныя личности. Иного примешь за профессора. А какіе споры! О какихъ предметахъ! Нужно много прочитать и подготовиться, чтобы только понять, о чемъ идетъ рѣчь...

Вскользь и какъ бы мимоходомъ онъ сообщилъ мнѣ, что остался по разнымъ причинамъ на первомъ курсѣ, и, значитъ, мы опять будемъ идти вмѣстѣ.

Это было немного, но и этого было достаточно для моего воображенія, витавашаго въ золотистомъ туманѣ.

Въ серединѣ этихъ каникулъ мнѣ исполнилось восемнадцать лѣтъ, но мнѣ казалось, что я далеко переросъ окружающій меня мірокъ. Вотъ онъ весь тутъ, точно на плоской тарелкѣ, волнующійся въ предѣлахъ отъ тюрьмы до почты, знакомый, прозаическій и постылый. Въ одинъ изъ послѣднихъ моихъ вечеровъ, когда я прощальнымъ взглядомъ смотрѣлъ на гуляющую по шоссеиной улицѣ публику, — передо мной вдругъ вынырнуло изъ сумерекъ лицо чиновника Михаловскаго, котораго я считалъ когда-то „известнымъ по-этомъ“. Въ зубахъ у него была большая сигара, и ея огонекъ, вспыхнувъ, освѣтилъ удивительно неинтересное, плоское лицо, съ выпуклыми, ничего не выражающими глазами. Господинъ Михаловскій пыхтѣлъ сигарой, взглянулъ скользящимъ взглядомъ по моему лицу и прослѣдовалъ дальше, но впечатлѣніе этого мгновеннаго, почти призрачнаго появленія осталось. И, по своей тогдашней привычкѣ, я тотчасъ перевелъ его на литературный языкъ.

— Въ этихъ тусклыхъ и неинтересныхъ чертахъ передъ нимъ (т. е. передъ воображаемымъ героемъ разсказа) мелькнуло какъ будто олицетвореніе покидаемаго города... Какъ еще недавно этотъ человекъ казался ему окруженнымъ поэтическимъ ореоломъ. И какъ много другихъ казались высшими существами, только потому, что они были взрослые, а онъ былъ мальчикъ. Теперь онъ выросъ, а тѣсный мірокъ сузился и умалился... Кого теперь поставить на высоту, передъ кѣмъ или передъ чѣмъ преклониться? Вотъ купцы, чиновники, учителя. Каждый изъ нихъ знаетъ больше его, но каждый только въ своемъ ремеслѣ. Гдѣ же здѣсь люди, которые знаютъ и могутъ указать высшее въ жизни, къ чему стремится молодая душа?.. Кто изъ нихъ хотя бы только думаетъ объ этомъ высшемъ, ищетъ его, тоскуетъ, мечтаетъ... Никто, никто!

Мысли предполагаемаго героя были мои мысли... Во мнѣ тоже сложилось заносчивое убѣжденіе, что я едва ли не самый умный въ этомъ городѣ. Мѣрка у меня была такая: я могу понять всѣхъ людей, мелькающихъ передо мною въ этомъ потокѣ, колышущемся, какъ вода въ тарелкѣ, отъ шлагбаума до почты и обратно. Я знаю все, что они знаютъ изъ того, что нужно знать всякому. А они и не догадываются, какія мысли о нихъ и какія мечты бродятъ въ моей головѣ.

Я былъ глухъ. Впослѣдствіи, когда самъ я сталъ умнѣе, я легко находилъ людей выше себя въ самыхъ глухихъ закоулкахъ жизни. Но въ ту минуту я, кажется, мѣрлялъ все одною только мѣркой „литературнаго развитія“.

Вирочемъ, нужно сказать, что по отношенію къ другому міру, который ждалъ меня тамъ, за рубежомъ 15-го августа, я не былъ заносчивъ. Наоборотъ, я готовился къ нему съ искреннимъ убѣжденіемъ, что передъ нимъ я малъ, тусклъ и ничтоженъ. Правда, во мнѣ жила надежда, что и тамъ, въ этомъ свѣтломъ потокѣ могучей и полной жизни, я пойду тоже впередъ, выровняюсь съ одними, стану обгонять другихъ... Но если бы кто-нибудь пожелалъ убѣдить меня, что между этимъ міркомъ, который я покидалъ, и тѣмъ заманчивымъ міромъ, куда стремился, нѣтъ качественного различія, что „великое студенчество“ есть только простая сумма изъ единицъ такихъ же мало интересныхъ, какъ и я въ данную минуту,—и бы не повѣрилъ и даже, вѣроятно, обидѣлся бы за свою мечту...

Потому что туда, въ этотъ розовый туманъ, ушло все, чѣмъ красилась жизнь... Все большое и прекрасное. Неясное и заманчивое. Чего нѣтъ въ настоящемъ, но что должно свѣтить въ будущемъ. Что можетъ быть свѣтилось передъ дѣтскимъ взглядомъ сквозь синія волны камильонаго дыма, среди теплаго мерцанія огоньковъ у иконостаса, въ пронизанной солнечными лучами высотѣ купола и въ тихихъ сумеркахъ, насыщенныхъ мечтательной мелодіей „Свѣте тихій“... Оно ушло вмѣстѣ съ преклоненіемъ передъ міромъ взрослыхъ; храмы для меня опустѣли, огни потускли, и я ничего не слышу въ звонѣ колоколовъ, который звучитъ уже безъ таинственныхъ манящихъ отголосковъ, точно стукъ палкой по дереву...

Но все это въ другихъ формахъ, совсѣмъ непохожихъ на прежнія—новыхъ, лучшихъ—найдется опять тамъ, впереди, гдѣ розовый туманъ залегаетъ надъ свѣтлыми далями безпредѣльной жизни!

II.

Я знакоплюсь съ „свѣтлою личностью“.

Мать и одинъ изъ ея братьевъ, жившіи недалеко, — проводили меня до Бердичева, откуда начинался желѣзнодорожный путь. Онъ лежалъ на Кіевъ, Курскъ, Орелъ, Тулу и Москву.

Мой отецъ умеръ, ни разу не увидавъ локомотива. Представленія о желѣзной дорогѣ были у насъ самыя фантастическія: что-то огромное, какъ „рядъ домовъ на колесахъ“, и неимоვნно быстрое. Стальные рельсы лежатъ прямо, какъ стрѣла, отъ одного горизонта до другого. Однажды два охот-

ника подошли къ дорогѣ, когда въ одной сторонѣ появился дымокъ. Одинъ изъ нихъ, шутя, поставилъ ногу на рельсъ. Другой схватилъ его за руку, чтобы оттащить въ сторону, но было уже поздно. Земля задрожала, прошумѣло что-то, и на пути лежала отрѣзанная ступня, а дымокъ уже виднѣлся на другомъ горизонтѣ... Такой разсказъ сохранился въ моей памяти отъ дѣтскихъ лѣтъ, и хотя я зналъ теперь, что это чепуха, но все же дѣйствительность поразила меня своими ничуть не грандіозными размѣрами: по обширному полю передъ Бердичевскимъ вокзаломъ тихо ползъ черный локомотивъ, а за нимъ, мелкая на солнцѣ свѣже выкрашенными спицами, катились съ легкимъ грохотомъ ряды балластныхъ платформъ. Вдали, на парѣ узкихъ рельсовъ, стоялъ темный квадратъ приближающагося поѣзда и, казалось, не двигался, а только росъ и разбухалъ на мѣстѣ. И желѣзнодорожные служащіе, не торопясь, уходили передъ нимъ съ дороги.

Третій звонокъ. Я горячо обнялся съ матерью, которая затѣмъ спрятала заплаканное лицо на груди дяди, и сѣлъ въ вагонъ. Рѣзкій свистокъ, вспугнувшій непривычную публику, потомъ толчокъ, отъ котораго въ вагонѣ упало нѣсколько человекъ. Потомъ оттолчка, лязгъ, громыханіе (тогда въ поѣздахъ все еще не было слажено, какъ теперь)—и вокзалъ съ платформой поплылъ назадъ. Фигуры матери и дяди исчезли. Я сѣлъ на свое мѣсто и постарался скрыть отъ соудей невольныя слезы...

Прямыхъ сообщеній тогда не было, каждая дорога дѣйствовала самостоятельно. Поѣздъ изъ Кіева на Курскъ ушелъ раньше, чѣмъ нашъ пришелъ въ Кіевъ, и, въ ожиданіи слѣдующаго, мнѣ пришлось переночевать въ „Софійскомъ подворьи“. На утро я вышелъ изъ своего номера и остановился на площади, ошеломленный и растерянный отъ шума и движенія большого города. Въ такомъ положеніи меня застали двѣ ровенскія „учительши“: Завилейская и Комарова. Онѣ радушно поздоровались и пригласили меня пройти вмѣстѣ съ ними осмотрѣть соборъ, а послѣ того позвали къ себѣ, въ номерахъ того же подворья, пить чай. Мнѣ очень хотѣлось принять это милое приглашеніе, но изъ-за застѣнчивости я отказался, о чемъ очень жалѣлъ въ то самое время, какъ отказывался. Прежде, чѣмъ разстаться со мной, эти молодья дамы осмотрѣли меня критическимъ взглядомъ, и одна сказала:

— Слушайте. Когда пріѣдете въ Петербургъ, закажите себѣ другой костюмъ... Этотъ, знаете, для столицы не годится.

— Да-да,—подхватила другая. — Сшейте себѣ приличную

пару... И тоже пальто. А то у вась какая-то мантилья. Теперь носят узкія, въ обтяжку... И много короче.

— Шляпу можете оставить... Она идетъ къ вашимъ курчавымъ волосамъ.

Онѣ ушли, весело переговариваясь и радушно кивая мнѣ головами. А я остался съ жуткой тоской одиночества въ сердцѣ и неприятнымъ сознаниемъ, что мой „немодный, но простой и изящный“ костюмъ привлекаетъ ироническое вниманіе...

Слѣдующее утро опять застигло меня въ вагонѣ между Кіевомъ и Курскомъ. Съ вечера я какъ-то незамѣтно заснулъ, и теперь взглядъ мой прежде всего упалъ на выразительную надпись на стѣнѣ вагона: „Остерегайтесь воровъ“. О томъ же предостерегали меня усиленно мать и дядя, и, проснувшись, я прежде всего схватился за сумку. Она была тутъ, но я сразу почувствовалъ себя окруженнымъ вѣроятными заговорщиками, старающимися проникнуть въ мою сокровищницу. Я сѣлъ на скамейку и оглянулся кругомъ „пылливо-проницательнымъ“ взглядомъ: конечно, я сразу угадаю, отъ кого именно слѣдуетъ ждать здѣсь опасности...

Вагонъ третьяго класса стоялъ у какой-то станціи и былъ весь пронизанъ веселыми лучами солнца. Народу было не очень много, большинство еще спало въ растяжку на скамьяхъ, на верхнихъ полкахъ, иные прямо на полу, подъ скамьями. Съ одного конца вагона несли живой и нервный говоръ на еврейскомъ жаргонѣ. Возможно, конечно, что это „кіевскіе евреи“ обсуждаютъ вопросъ о томъ, гдѣ я храню деньги и какъ ихъ добыть изъ моей сумки. Но пока они еще далеко. Ближе, у окна, за спинкой слѣдующей скамьи сидѣли двое молодыхъ людей и о чемъ-то тихо разговаривали, почти соткнувшись головами...

Одинъ изъ нихъ былъ одѣтъ въ рыжее, полинялое пальто. Когда я зашевелился на своемъ мѣстѣ, онъ повернулъ въ мою сторону лицо, широкое, нѣсколько угреватое, съ маленькими зеленоватыми глазами, и потомъ заговорилъ съ товарищемъ еще тише. „Вотъ этого нужно остерегаться“, — рѣшилъ я про себя, и только послѣ того взглянулъ на своего ближайшаго сосѣда.

Это былъ господинъ въ сѣромъ пальто и клеенчатой фуражкѣ, какія тогда были въ большомъ ходу. Онъ, кажется, сѣлъ на этой станціи и, повидимому, смотрѣлъ на меня, пока я просыпался. Возраста онъ былъ небредѣннаго. Сначала показался мнѣ совсѣмъ юношей, но затѣмъ я увидѣлъ, что это впечатлѣніе ошибочно: морщины около глазъ, желтизна

и одутловатость лица говорили не то о солидных годах, не то о преждевременномъ увиданіи. Его маленькіе каріе глазки ходили по всей моеи фигурѣ съ выражен емъ вкрадчивой ласки, какъ будто онъ собирался сейчасъ же заговорить со мною и выразить мнѣ чувство невольной симпатіи. Я, пожалуй, готовъ былъ съ своей стороны выказать полную взаимность, но въ это время взглядъ мой остановился на новой и болѣе интересной фигурѣ.

Это былъ молодой офицеръ въ золотыхъ очкахъ и въ сѣрой шинели изъ простаго солдатскаго сукна. Солдатскія шинели съ офицерскими погонами были тогда въ ходу у либерально настроенной военной молодежи милютинской школы. Такихъ фигуръ съ демократически-военнымъ отпечаткомъ было тогда не мало, и вообще среди офицерства было болѣе „интеллигенціи“. Въ глухихъ мѣстечкахъ они часто завѣдывали прекрасно составленными „баталіонными бібліотеками“ и даже „руководили чтеніемъ“ мѣстной молодежи...

Лицо у офицера было серьезное и симпатичное. На крючкѣ около него висѣла шапка, а на небольшомъ чемоданчикѣ лежала пачка газетъ. Онъ только что отложилъ одинъ прочитанный номеръ и закурилъ папиросу, пуская дымъ въ открытое окно...

Около него было свободное мѣсто, и я подумалъ, какъ хорошо было бы устроиться въ близкомъ сосѣдствѣ съ этимъ пріятнымъ офицеромъ. Но мнѣ мѣшала застѣнчивость: это мое внезапное переселеніе можетъ показаться страннымъ, пожалуй, даже по озрительнымъ.

Пока я колебался, дверь вагона открылась, и къ намъ вошелъ новый пассажиръ. Это былъ господинъ среднихъ лѣтъ, одѣтый съ изящной простотой, въ золотыхъ очкахъ и коричневыхъ перчаткахъ. Живые каріе глаза весело и немного насмѣшливо глядѣли изъ золотой оправы. Подъ русыми мягкими усами ютилась, какъ у одного изъ героевъ Оммулевскаго, особая „интеллигентная складка“.

Мнѣ страстно захотѣлось, чтобы онъ сѣлъ рядомъ со мною. Но онъ только скользнулъ взглядомъ по моеи неинтересной фигурѣ и тотчасъ же указалъ носильщику на уголь рядомъ съ офицеромъ. „Рождественныя интеллигентныя натуры“ — формулировалъ я въ умѣ...

Носильщикъ поставилъ чемоданъ на свободное мѣсто. Господинъ раскрылъ кошелекъ и, вынувъ пальцами въ перчаткахъ маленькую серебряную монетку, подаль ее черезъ плечо носильщику. Тотъ взялъ, разочарованно посмотрѣлъ, хотѣлъ что-то сказать, но, видимо, не посмѣлъ и вышелъ. Господинъ обратился къ офицеру:

— Я васъ не стѣсню? Ва! счастливая встрѣча! Не узнаете? Офицеръ повернулся къ нему, присмотрѣлся и сказалъ:

— Если не ошибаюсь... господинъ Негри?

— Именно-съ. Теодоръ Михайловичъ Негри. Артистъ-декламаторъ. Встрѣчались въ Н... Не безпокойтесь, пожалуйста, мѣста довольно. Что это у васъ, какая куча газетъ? А, „Голосъ“... полный отчетъ о нечаевскомъ процессѣ? Да, интересное дѣльце... Очень интересное... — прибавилъ онъ, усаживаясь.—Послѣ декабристовъ, пожалуй, еще первое...

— Были еще петрашевцы...

— Да, но вѣдь это было раздуто правительствомъ. Невинный кружокъ... Вы позволите?

— Пожалуйста.

Господинъ взялъ номеръ газеты и, раскрывая ея, сказалъ черезъ минуту:

— Обратили вы вниманіе на крылатое слово въ рѣчи Снасовича, которымъ онъ окрестилъ нашу братію... ин-тели-гентный проле-таріатъ... Очень мѣтко. Неправда ли?..

Офицеръ кивнулъ головой и отвѣтилъ что-то, улыбувшись. Я насторожился, ожидая дальнѣйшаго разговора этихъ двухъ симпатичныхъ людей, которые такъ сразу нашли другъ друга въ безразличной толпѣ. „Точно члены одного ордена“, — опять нашелъ я литературную формулу. Уголокъ вагона, гдѣ они сидѣли, казался мнѣ освѣщеннымъ островкомъ среди тусклаго, неинтереснаго, можетъ быть, даже враждебнаго міра. Какъ хотѣлось бы мнѣ прибѣсть и самому къ этому островку... Но это, конечно, только несбыточная мечта. Можетъ быть, когда-нибудь, современемъ, когда я стану умнѣе и интереснѣе, я тоже сумѣю подходить къ такимъ людямъ открыто и просто, съ первыхъ же словъ давать имъ понятъ: „я тоже вашъ“.

Вагонъ давно мчался, громыхая на стыкахъ рельсовъ и лязгая цѣпями. Господинъ Негри и офицеръ, молча, читали газеты, обмѣниваясь изрѣдка короткими, тихими замѣчаніями. Евреи продолжали говорить нервно и быстро на своемъ жаргонѣ, а мой сосѣдъ въ клеенчатомъ картузѣ давно познакомился со мною и говорилъ, говорилъ долго, мѣрно, ласково и неинтересно. Я слушалъ краемъ уха, боясь проронить что-нибудь изъ „обмѣна мыслей“ въ углу, а мой сосѣдъ, между тѣмъ, выражалъ мнѣ свои симпатіи. Я, повидимому, новичокъ, неправда ли? Ъду изъ глухого города въ столицу? Очъ совѣтуетъ мнѣ очень остерегаться: вагоны кишатъ карманщиками, а я, конечно, везу съ собой деньги? Вотъ самъ ояъ, такъ ничего не боится. Во-первыхъ, онъ очень опытенъ. А

во-вторыхъ, у него, кромѣ билета, только „руль тридцать копѣекъ“... Вотъ здѣсь, въ кошелькѣ...

Онъ, смѣясь, раскрывалъ свой кошелекъ и выворачивалъ его наизнанку. Я смотрѣлъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ на этотъ пріемъ, который онъ повторялъ зачѣмъ-то нѣсколько разъ, и мнѣ было совѣстно, что я какъ-то не могу удѣлять его разсказамъ достаточно вниманія... Онъ казался мнѣ доброжелательнымъ и симпатичнымъ, но удивительно неинтереснымъ... Вѣки мои тяжельби. Я чувствовалъ, что его глаза опять съ ласковой симпатіей заглядываютъ въ мое лицо, но мои глаза невольно слипались, моргали все рѣже и открывались труднѣе... Я прислонился спиной къ стѣнкѣ и начиналъ засыпать, чувствуя въ то же время, что мой благорасположенный сосѣдь склоняетъ голову мнѣ на плечо и тоже довѣрчиво засыпаетъ у меня на груди...

Черезъ нѣсколько минутъ я сладко спалъ, охваченный ощущеніемъ грѣющей тѣсноты и чьего-то тяжелаго благорасположенія... А еще черезъ нѣсколько минутъ проснулся отъ ощущенія какой-то перемены...

Сразу я не могъ сообразить, что именно происходитъ. Мой сосѣдь, дѣйствительно, лежалъ головой на моей груди, въ странной и, повидимому, неудобной для него позѣ, а прямо противъ меня на скамейкѣ (я едва могъ этому вѣрить) сидѣлъ господинъ Негри, упершись локтями въ колѣнки и глядя на насъ обоихъ своими живыми, умными и смѣющимися глазами. Нѣсколько заинтересованныхъ чѣмъ-то пассажировъ окружали насъ и тоже улыбались...

Я покраснѣлъ и двинулся на своемъ мѣстѣ, но господинъ Негри сдѣлалъ мнѣ знакъ, чтобы я не шевелился и, указывая на моего ласковаго сосѣда,—продекламировалъ:

— На зарѣ ты ее не буди!
На зарѣ она сладко такъ спитъ...

Слушатели засмѣялись, а г-нъ Негри, крѣпко нажавъ ладонью мою колѣнку, чтобы не дать мнѣ измѣнить положеніе,—закончилъ утрированно-нѣжнымъ пѣвучимъ голосомъ:

Утро дышитъ у ней на груди.
Ярко пышетъ на ямкахъ ланитъ...
На зарѣ ты ее не буди...

Я почувствовалъ, что грѣющая тяжесть сразу облегчилась, и хотя ласковый сосѣдь даже всхрипнулъ въ эту минуту довольно натурально, но я сознавалъ ясно, что онъ не спитъ, а только дѣлаетъ видъ, что не слышитъ безцеремонныхъ насмѣшекъ. Мнѣ стало жаль его... Въ это время послышался

заглушенный грохотомъ свистокъ, и поѣздъ загромыхалъ рѣже, очевидно, подходя къ станціи. Господинъ въ клеенчатой фуражкѣ рѣзко очнулся, протеръ глаза и всталъ.

— Станція?—сказалъ онъ встревоженно.

— Д-да-съ, станція, неизвѣстно еще какая,—невинно отвѣтилъ господинъ Негри.—Но вамъ, ко-печ-но, здѣсь выходить? Неправда ли?..

— Да, да, здѣсь,—забормоталъ ласковый господинъ и потянулся за своимъ тощимъ узелкомъ...

Поѣздъ жестоко стучалъ буферами, подползая къ дебаркадеру. Господинъ Негри положилъ руку на рукавъ незнакомца и сказалъ:

— Одну минуточку, господинъ. Молодой человекъ,—обратился онъ ко мнѣ,—все ли у васъ въ порядкѣ?

Мнѣ все стало ясно, и я схватился за свою сумку такъ порывисто, что кругомъ послышался смѣхъ. Сумка была тутъ, и на днѣ ея лежалъ кошелекъ... Я вздохнулъ съ облегченіемъ...

Господинъ въ клеенчатомъ картузѣ быстро вышелъ изъ вагона, сопровождаемый частью насмѣшливыми, частью враждебными замѣчаніями. Когда поѣздъ двинулся дальше,—онъ стоялъ на краю платформы и, поровнявшись съ нами, погрозилъ въ окно кулакомъ...

Нѣкоторое время послѣ этого въ вагонѣ шли рассказы о разныхъ случаяхъ воровства. Потомъ пассажиры разошлись по мѣстамъ, а господинъ Негри остался со мною.

— Ну, поздравляю васъ, юноша, — сказалъ онъ мнѣ съ усмѣшкой.—Вы отдѣлались довольно дешево. Вы имѣли дѣло съ несомнѣннымъ профессиональнымъ жуликомъ. Замѣтили вы, что онъ нѣсколько разъ показывалъ вамъ свой кошелекъ? Это пріемъ... Такіе, извините, шизоны, какъ вы... то есть я хочу сказать новички, въ первый разъ ѣдущіе по желѣзнымъ дорогамъ изъ глубокой провинціи,—при каждомъ наоминаніи о кошелекѣ, сейчасъ хватаются за сумку или за карманъ, гдѣ у нихъ деньги... Вы, я замѣтилъ, брались за сумку... Вотъ онъ и прильнулъ къ вамъ... И если бы я не разбудилъ васъ... Ну, ну, пустяки. За что же тутъ благодарить?..

Я сильно покраснѣлъ и мнѣ было досадно, что проклятая застѣнчивость мѣшала мнѣ какъ слѣдуетъ выразить мои чувства. Хорошія, настоящія слова въ такихъ случаяхъ приходили мнѣ на умъ тогда, когда уже были сказаны другія, сбивчивыя, тусклыя, не настоящія... Во всякомъ случаѣ, мнѣ было необыкновенно пріятно чувствовать себя обязаннымъ такому замѣчательному человеку.

Мечта моя сбылась наяву. Поѣздъ мчался дальше, а я сидѣлъ рядомъ съ господиномъ Негри, и мы тихо разговаривали. Онъ сразу угадалъ, что я въ этомъ году окончилъ гимназію и ѣду въ столицу. Куда? Въ Технологическій? Это онъ одобрилъ: отъ прогресса техническихъ знаній зависитъ будущее страны... Кроме того... рабочій вопросъ на очереди. Когда я признался, что въ техническое заведеніе поступаю временно и поневолѣ, какъ „реалистъ“, а затѣмъ надѣюсь перейти въ университетъ, — въ его глазахъ проступило насмѣшливое выраженіе...

— Сразу, значитъ, на проторенную дорожку? Въ чиновники? Нѣтъ? А куда же? Въ адвокаты?.. Гмъ... Это еще лучше... Куши, значитъ, хотите огребать?.. Правильно-съ, молодой человѣкъ, очень правильно. Адвокаты, дѣйствительно... народъ благополучный...

Я попытался оправдаться. Вѣдь вотъ Спасовичъ и другіе... Въ нечаевскомъ процессѣ... И защищали даромъ.

— А, вотъ что! Ну, простите, когда такъ. Если васъ влечетъ эта сторона, дѣло десятое-съ... Только всетаки лучше бросьте эту идею. Ораторомъ вамъ не сдѣлаться, потому что у васъ отвратительный акцентъ. Не русскій и не малорусскій, а новороссійскій, мѣстечковый... Съ такимъ „прононсомъ“ говорить рѣчи и волновать сердца трудно-съ...

— А вотъ опять-таки... Спасовичъ, — защищался я робко.

— Ну, батюшка! То — Спасовичъ. Не вѣмъ быть Спасовичами... А впрочемъ, что-жь... давай вамъ Богъ...

Поѣздъ летѣлъ, быстро пожирая пространство, и мнѣ казалось, что такъ же быстро онъ пожираетъ время. Еще немного, и обаятельная сказка кончится... Мнѣ придется навсегда разстаться съ этимъ человѣкомъ, уже завоевавшимъ мое сердце...

Негри поднялся.

— Ну, юноша, мы еще поговоримъ съ вами, — сказалъ онъ. — До Курска еще порядочно.

— Мнѣ только до Ворожбы, — отвѣтилъ я упавшимъ голосомъ.

— Это почему? — спросилъ онъ.

— Въ Сумахъ у меня дядя, къ которому я долженъ заѣхать по дорогѣ. Въ Ворожбѣ я найму лошадей.

Въ лицѣ г-на Негри мелькнуло оживленіе. Онъ опять сѣлъ на мѣсто, посмотрѣлъ на меня съ нѣкоторымъ раздумьемъ и сказалъ:

— Знаете... Вѣдь это счастливое совпаденіе. Мнѣ вѣдь тоже нужно въ Сумы... Я дамъ тамъ концертъ. Вашъ дядя человѣкъ съ положеніемъ? Давно живетъ въ Сумахъ?

— Судебный слѣдователь... Живеть лѣтъ пять.

Онъ опять подумалъ и сказалъ:

— Положительно, намъ по пути. Тѣмъ вмѣстѣ. Кстати, вамъ и лошади обойдутся дешевле. Но, позвольте. Вы мнѣ сказали все о себѣ, а я вамъ еще не представился: Теодоръ Михайловичъ Негри. Артистъ-декламаторъ, прибавлю — довольно извѣстный въ провинціи... Что? Вы разочарованы? Говорите правду. Думаете: скоморохъ, балаганщикъ, кривляющійся на подмосткахъ для потѣхи публики.

Онъ ласково положилъ мягкую ладонь на мою руку и сказалъ задушевымъ голосомъ:

— Нѣтъ, юноша. Вы ошибаетесь. Не скоморохъ, а артистъ — и человѣкъ идеи! Подмостки для меня кафедра, декламация — проповѣдь. Я несу въ невѣжественную массу Никитина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Петефи, Гюго. Я бужу въ толпѣ чувства, которыя безъ меня спали бы глубокимъ сномъ. И когда съ высоты подмостокъ звуки моего голоса... какъ набатный колоколь... кидаютъ ихъ въ дрожь... какъ электрическая искра, зажигаютъ эти нетронутыя простыя сердца...

Говорилъ онъ тихо, задушевно, только для меня, но все же сосѣдъ въ рыжемъ пальто повернулъ къ намъ свое лицо съ любопытными глазами. Негри сразу оборвалъ рѣчь, помолчалъ и затѣмъ, протягивая мнѣ руку, — сказалъ:

— Итакъ, значить: ѣдемъ?

Я отвѣтилъ ему молчаливымъ взглядомъ, въ которомъ, вѣроятно, онъ могъ прочесть благодарное восхищеніе. Когда я теперь вспоминаю эту минуту, то мнѣ кажется, что нашъ вагонъ несся по какимъ-то лучезарнымъ полямъ, залитымъ яркимъ свѣтомъ, а кругомъ меня стоялъ золотистый туманъ, и въ немъ плавалъ восхитительный образъ Теодора Негри, артиста-декламатора... проповѣдника... „новаго человѣка“...

— Станція Ворожба... Десять минутъ...

Я захватилъ свой чемоданчикъ. Негри попрощался съ офицеромъ. Пассажиръ въ рыжемъ пальто съ утинымъ носомъ хотѣлъ что-то сказать мнѣ, но я, подхваченный вихремъ восторга, не обратилъ на него вниманія и выскочилъ изъ вагона. Негри, въ сопровожденіи посильщика, вышелъ вслѣдъ за мною, кивнулъ посильщику на мой чемоданъ и, взявъ меня подъ руку, повелъ въ залъ 1-го класса. Мнѣ было неловко, но онъ усадилъ меня за столъ такъ мягко и такъ властно, что я не посмѣлъ сопротивляться.

— Карту, — сказалъ онъ лакею.

Я почувствовалъ себя въ затрудненіи, когда лакей во фразѣ

и нитяныхъ перчаткахъ подаль карту. Трата „на обѣдъ въ первомъ классѣ“ казалась мнѣ непростительной роскошью. Впрочемъ, глаза мои уткнулись въ „борщъ—30 копѣекъ“. Это было сносно. Негри велѣлъ себѣ подать рюмку водки, рюмку коньяку и третью рюмку пустую. Затѣмъ икры и осетрины... Въ пустой рюмкѣ онъ смѣшалъ коньякъ съ водкой и аппетитно выпилъ.

Публика прошумѣла около буфета и склынула. Поѣздъ свиснулъ, громыхнулъ и умчался. Остался пустой залъ съ скромнымъ буфетомъ и мы двое. Въ открытую дверь виднѣлся немощенный дворикъ, скромныя желѣзнодорожныя постройки и поля съ новымъ заманчивымъ просторомъ. Слышался звонъ бубенцовъ и виднѣлись костистыя лошади, запряженныя по-русски.

Негри обтеръ усы салфеткой и поманилъ лакея. Боясь, чтобы онъ не заплатилъ и моихъ тридцати копѣекъ, я торопливо схватился за кошелекъ. Негри, улыбаясь, посмотрѣлъ на меня и сказалъ.

— Вы хотите! Ну, что-жъ, хорошо! Въ Сумахъ сочтемся. Лучше всего, когда въ дорогѣ ведетъ расходъ кто-нибудь одинъ. Приучайтесь, юноша, приучайтесь... За меня рупь пятьдесятъ, вашихъ тридцать... Гривенникъ ему на чай. Позови, братецъ, ямщика.

Вошелъ ямщикъ въ кафтанѣ, съ очень короткой таліей и въ очень грязныхъ сапогахъ, и почтительно остановился. Негри посмотрѣлъ на него смѣющимися глазами и сказалъ:

— Здравствуй, другъ Павло. Какъ поживаешь?

— Я Герасимъ,—отвѣтилъ ямщикъ съ удивленіемъ.

— Да, да, Герасимъ... Я забылъ. Павло другой.

— Вы меня знаете, ваше благородіе?—спросилъ ямщикъ простодушно.

— Конечно, знаю. И знаю, у кого ты служишь.

И, повернувшись ко мнѣ, онъ сказалъ, весело играя карими глазами:

— Хозяинъ его — человекъ популярный, но... — прибавилъ онъ тише:—страшный кулакъ. Это вѣдь про вашего хозяина есть стихи:

Чи рыба, чи ракъ,—
Кандыба дуракъ.
Чи ракъ, чи рыба,
Все дурень Кандыба.
Чи такъ, чи сякъ,
Все Кандыба дуракъ.

— Что? Неправда?—вернулся онъ къ ямщику.

— Въ аккуратъ,—отвѣтилъ тотъ съ простодушнымъ удивле-

нѣсмъ и растерянно оглянулся на лакеевъ и буфетчиковъ. Тѣ смѣялись выходкамъ затѣйливаго господина.

— Ну, Герасимъ, поѣдемъ въ Сумы. Что возьмешь?

— Цѣна извѣстная. Три пѣлковыхъ.

— Два съ полтиной, двадцать на чай. Хозяину скажи: везъ господина Негри, артиста. Онъ знаетъ. Ну, бери чемоданы.

Ямщикъ опять безпомощно оглянулся и покорно взялъ наши вещи...

Минуть черезъ двадцать крыша вокзала и верхушка водочапки едва видѣлись за неровностью степи, а гдѣ-то очень далеко надъ горизонтомъ бѣжалъ клубокъ бѣлаго пара. Негри съ наслажденіемъ вдохнулъ свѣжій воздухъ и сказалъ:

— Спасибо, сторона родная, за твой врачующій просторъ!.. Вы, конечно, этого еще не понимаете? Вамъ врачующій просторъ не нуженъ. А Некрасова любите?

— Очень.

— И знаете?

— Знаю изъ Некрасова много...

— Прочтите-ка что-нибудь.

Я оглянулся кругомъ. Поля были почти убраны, но кое-гдѣ лежали еще кресты сноновъ, розовѣли загоны гречи и по дорогѣ ползли нагруженные возы. Изъ-за бугра выдѣлялись соломенные крыши деревеньки. Я началъ читать:

— Межъ высокихъ хлѣбовъ затерялося
Небогатое наше село...

Негри сначала слегка поморщился, но потомъ сталъ внимательно слушать. Последнюю строфу онъ вдругъ выхватилъ у меня и закончилъ самъ. Миѣ показалось это такъ, точно онъ схватилъ всю тихую поэзію этихъ полей, и шорохи вѣтра въ жнивьяхъ, и звонъ гдѣ-то въ лощинѣ оттачиваемой косы— и перевелъ все это въ задушевную гармонию некрасовскаго стиха. Отъ ощущенія щемящей, счастливой грусти, на глазахъ у меня проступили слезы.

Онъ взглянулъ искоса и сказалъ:

— А, у васъ есть чувство. Читаете вы, положимъ, еще неважно. Теперь уже не скандируютъ... Но можете, пожалуй, при нѣкоторой выучкѣ прочесть прилично. А Шевченко?

— Еще хуже,—отвѣтилъ я.

— Попробуйте.

Я прочелъ что-то неувѣренно и сбиваясь, такъ какъ совсѣмъ не владѣлъ украинскимъ выговоромъ. Онъ опять поморщился и сказалъ:

— Н-да... Это ужъ совсѣмъ плохо... А Некрасова вы чувствуете. Да, да... Съ Некрасовымъ могло бы сойти, — прибавилъ онъ про себя.

Хотя мы ѣхали по Харьковской губерніи, бывшей слободской Украинѣ, но я, дѣйствительно, всю деревенскую природу видѣлъ сквозь некрасовскую поэзію.

Стало темнѣть. Надъ полями стояли тишина и угасаніе. Незамѣтно зажигались одна за другой яркія звѣзды. На горизонтѣ долго лежала свѣтлая полоса, потомъ и она расплылась. Мы ѣхали молча. Скоро пріѣдемъ и разстанемся. Мнѣ было жаль терять время на молчаніе...

— Скажите, пожалуйста, — заговорилъ я робко...

— Что такое, юноша?

— Вы вотъ разговаривали съ этимъ молодымъ офицеромъ о нечаевскомъ процессѣ...

— Да, да... Вы слушали?

— Слышалъ кое-что. И мнѣ хочется спросить: зачѣмъ они убили Иванова?

— Такъ было нужно, — сказалъ Негри жестко.

— Но вѣдь Ивановъ былъ честный человекъ... всѣ говорятъ, что онъ не былъ доносчикомъ.

— Да... и хороший былъ... а такъ было нужно, — отрѣзала Негри категорично и смолкъ...

„Онъ, вѣроятно, знаетъ больше, чѣмъ напечатано въ газетахъ... Можетъ быть, онъ тоже участвовалъ въ этихъ дѣлахъ... И онъ, и тотъ молодой офицеръ...“

Ночь наполнилась для меня туманными и таинственными образами. Хотя я всетаки не понималъ, зачѣмъ „это“ было нужно, и не могъ согласиться, что это могло быть нужно, но разспрашивать дальше не рѣшился.

Гдѣ-то вдали замелькали неясные огоньки. Должно быть, городъ. Еще полчаса, и конецъ пути. Мнѣ это было такъ неприятно, точно я ѣхалъ съ любимой дѣвушкой... Негри, какъ бы угадавъ мои мысли, повернулся ко мнѣ и сказалъ:

— Слушайте, юноша! Вы не могли бы остаться въ Сумахъ на нѣсколько дней?

И, не ожидая отвѣта, сказалъ живо:

— Знаете, мы бы съ вами вмѣстѣ выступили въ концертъ...

Я удивился, почти испугался. Я? Въ концертъ, передъ публикой на подмосткахъ... Это невозможно! Но Негри настаивалъ, что это пустяки. Онъ все обдумалъ. Въ моемъ чтеніи есть всетаки чувство. Дни въ два, пока напечатаютъ афиши, онъ меня „поставитъ“. Фракъ для меня можно достать на впрокатъ. Мой дядя постарается заинтересовать публику, раз-

дасть между судейскими билетами... Вѣдь это будетъ чудесно.

Не знаю, что бы изъ этого вышло и сумѣлъ ли бы я при другихъ обстоятельствахъ отказать этому „замѣчательному человѣку“, сильно овладѣвшему моею волей, но у меня было мало времени: пятнадцатое близко, а мнѣ еще нужно остановиться въ Москвѣ, чтобы повидаться съ сестрой, нанять въ Петербургѣ компану...

— Жаль, жаль, — сказала Негри разочарованно. — Ну, а въ томъ, что я у васъ теперь попрошу, вы уже мнѣ, навѣрное, не откажете?..

— Что только могу, — отвѣтилъ я горячо.

— Это вы можете: ночь мы переночуемъ вмѣстѣ въ гостинницѣ, а дядю вы разыщете завтра утромъ. Скажу вамъ правду: мнѣ просто жаль разставаться съ вами...

— О, конечно... — заговорилъ я, сбиваясь... — Я тоже... Вы не знаете... я... мнѣ...

Я окончательно сконфузился и смолкъ.

Въ Сумы мы прѣхали поздно и остановились въ плохоньбой „гостинницѣ съ номерами“. Я кое-какъ устроился на стульяхъ, которые нѣсколько разъ разъязжались подо мною. Но и сонъ, и частое просыпаніе отъ безпокойнаго ложа были пріятны. Я проектировалъ въ умѣ письмо къ матери: она можетъ быть спокойна на мой счетъ. Я сумѣю найти то, что мнѣ нужно. Мнѣ везетъ: вотъ я уже познакомился съ замѣчательнымъ, необыкновеннымъ человѣкомъ!

Когда я проснулся, Негри, умытый и свѣжій, сидѣлъ за столомъ и что-то писалъ.

— А, вы проснулись. Ну, вставайте, будемъ пить чай. А я пока вотъ тутъ окончу маленькое дѣло.

Я живо умылся и былъ готовъ въ пять минутъ. Негри позвонилъ. Вошелъ какой-то человѣкъ и остановился у двери.

— На, вотъ, братецъ, и скажи, чтобы поскорѣе прислали корректуру. Понялъ?

— Такъ точно... Приказали, чтобы задатокъ.

— Ступай! — сказалъ Негри повелительно и обратился ко мнѣ. — Ну-съ. Я узналъ, гдѣ живетъ вашъ дядя. Недалеко. Сколько времени вы у него пробудете?

— Не болѣе двухъ дней.

— Такъ. Ну, мы, конечно, еще увидимся... Сегодняшній день вы проведете въ родственныхъ объятіяхъ, а завтра утромъ заходите сюда. Непремѣнно! Тогда мы сведемъ съ вами и наши маленькіе счеты. Ты все еще здѣсь? — повернулся онъ къ типографскому разсылному, который неподвижно стоялъ у дверной притолки.

— Такъ точно... Приказали, чтобы задатокъ...—повторилъ онъ тономъ автомата.

По лицу Негри прошла красивая нервная гримаса.

— Вотъ, не угодно ли!—сказалъ онъ брезгливо:—вѣчная прелюдія ко всякому концерту... Изнанка жизни бродячаго артиста. Знаете что... Я хочу взять съ васъ маленькій залогъ въ удостовѣреніе, что вы еще меня навѣстите: вы тамъ платили въ буфетъ... и потомъ за лошадей. Продолжимъ до завтра эти наши общіе расходы. Дайте вотъ этому разбойнику два рубля.

И торопливо отдалъ деньги.

— Спасибо. А теперь ступайте къ дядѣ, а я пойду по дѣламъ. Нуженъ залъ... полицейское разрѣшеніе, ну и такъ далѣе... Неужто вы не останетесь хотя бы для того, чтобы послушать вашего пріятели, артиста Теодора Негри? Нельзя? Ну, Богъ съ вами, Богъ съ вами... Итакъ—до завтра!

Дядя ждалъ меня еще вчера, по письму матери, и нѣсколько беспокоился. Выслушавъ мой рассказъ о счастливой встрѣчѣ, онъ комически приподнял брови и сказалъ:

— Денегъ займа просилъ?

И покраснѣлъ отъ обиды за моего новаго друга.

— Дядя!—сказалъ я съ упрекомъ:—вы не знаете, что это за человѣкъ... Артистъ, проповѣдникъ... Это единственная у насъ сторона общественной проповѣди...

— Сколько занялъ?—спросилъ онъ опять, но, замѣтивъ мое огорченіе, сказалъ:—ну, ну... Богъ съ тобой. Послушаемъ твоего артиста...

Этотъ мой дядя былъ когда-то весельчакъ и остроумецъ. Теперь онъ былъ въ чахоткѣ, но въ глазахъ его все еще по-временамъ загорался огонекъ юмора. Я очень любилъ его, но все-таки онъ былъ только дядя, а Теодоръ Негри, артистъ-декламаторъ и проповѣдникъ, стоялъ неизмѣримо выше его суда и его насмѣшекъ.

На слѣдующее утро я побѣжалъ въ номера, точно на любовное свиданіе. Въ корридоръ, впереди меня, шель мальчишка-половой, неся въ обѣихъ рукахъ подносы съ графинами, рюмками и закусками. Остановившись около одного номера, онъ осторожно отдалъ ногой дверь, и я увидѣлъ внутренность комнаты. Сквозь густые клубы табачнаго дыма видѣлась за столомъ какая-то веселая компанія. Особенно бросилась мнѣ въ глаза фигура какого-то молодого богатыря съ широкимъ лицомъ, краснымъ, какъ сырое мясо, въ шелковой косовороткѣ, съ массивной золотой цѣпочкой поперекъ груди, отъ одного кармана косоворотки къ другому. Изъ за-

гурсеннаго номера несся шумный и, кажется, пьяный говоръ, крикъ, смѣхъ. Повидимому, компанія заканчивала позднимъ утромъ ночь, проведенную за картами.

Господинъ Негри въ нашемъ номерѣ не было. Половой мальчишка, увидѣвъ меня въ открытую дверь, вошелъ въ комнату, махнулъ зачѣмъ-то салфеткой по столу и сказалъ:

— Чпчасъ доложу. Они у акцизнаго. Приказали, чтобы вамъ непременно дожидаться, не уходить.

И скрылся.

Черезъ минуту дверь отворилась, и вошелъ господинъ Негри. Лицо у него было не то нѣсколько помятое, не то печальное. Онъ молча подошелъ ко мнѣ, сильно и какъ-то многозначительно сжалъ мою руку и нѣсколько секундъ пытливо глядѣлъ мнѣ въ лицо. Потомъ, оставивъ мою руку, сдѣлалъ два, три шага и сѣлъ къ столу, положивъ голову на руки. Меня охватило непонятное волненіе... Въ напряженную и торжественную тишину этой минуты ворвался шумъ изъ сосѣдняго номера. Тамъ смѣялись... Стучали, звали кого-то.

Лицо господина Негри повернулось ко мнѣ съ выраженіемъ сарказма и душевной боли...

— Хороши? — спросилъ онъ.

Я ничего не отвѣтилъ; я не думалъ объ этой компаніи и не составилъ о ней опредѣленнаго мнѣнія, очевидно, отъ недостатка наблюдательности. А господинъ Негри думалъ и составилъ.

— Что дѣлаютъ? — спросилъ онъ съ сдержаннымъ гнѣвомъ и печалью. И тотчасъ отвѣтилъ коротко и выразительно:

— Гррра-бять...

Послѣдовала пауза, полная для меня жуткаго, электризующаго напряженія.

Зачѣмъ г-нъ Негри сталъ ровнять въ тишину фразу за фразой, отчетливыя, тихія, точно раскаленные...

— И вотъ! Они веселятся. Пируютъ... Слышите? Слышите?..

— ...А я!..

— ...За мою проповѣдь... За мою честную проповѣдь... О!..

Онъ глухо застоналъ и, рѣзко повернувшись ко мнѣ, заговорилъ еще тише и еще отчетливѣе, какъ будто стремясь запечатлѣть во мнѣ важную и горькую тайну.

— Зачѣмъ скрывать истину? Знаете ли вы, мой милый, чистый юноша, въ какомъ я положеніи? Денегъ — ни гроша! Кредитъ!.. Боже! Какой кредитъ странствующему проповѣднику на Русь?.. За афиши, которыя я заказалъ тогда при

васъ... надо заплатить впередъ; иначе типографщикъ... Кудлакъ и эксплу-ататоръ... ихъ не выпустить. Значить: концерта моего не будетъ. Завтра меня, артиста-проповѣдника, вышвырнуть изъ этого жалкаго номера, какъ саб-баку... А вы... вы еще...

Сердце у меня упало. Все кругомъ такъ ужасно и такъ преступно. Еще секунда, и я узнаю о своей долѣ участія въ этомъ общемъ преступленіи...

Но глаза господина Негри смотрѣли на меня изъ золотой оправы съ мягкою лаской.

— Вы вчера спрашивали: „З-зачѣмъ? И нужно ли было это дѣлать?“ (Я понялъ, что рѣчь шла о Нечаевѣ и Ивановѣ). Да! Нужно!.. Все, понимаете: *все* можно и *все* нужно въ этой странѣ, гдѣ такіе вотъ субъ-ек-ты (большимъ пальцемъ онъ ткнулъ назадъ черезъ плечо) хохочутъ сытымъ, утробнымъ смѣхомъ, а такимъ, какъ мы съ вами, остается только плакать... да, плакать кро-вавными слезами.

Онъ опять уронилъ голову на руки и смолкъ. Плечи его чуть-чуть вздрагивали... Неужели онъ... господинъ Негри, котораго вчера я видѣлъ такимъ великолѣпнымъ, — плачетъ? Я стоялъ, затаивъ дыханіе, потрясенный, ошеломленный. А изъ-за двери „грабителей“, дѣйствительно, слышались опять крики и смѣхъ...

Я робко подошелъ къ г-ну Негри и сказалъ:

— Теодоръ Михайловичъ. Я... простите меня, но я... не могу... Если бы вы согласились взять у меня, сколько нужно на эти афиши и прочее... Вотъ тутъ... у меня...

И я протягивалъ ему свой тощій кошелекъ.

Негри поднялъ голову и снизу вверхъ посмотрѣлъ на меня влажнымъ, растроганнымъ взглядомъ.

— Вы... вы сдѣлаете это?.. Но нѣтъ, нѣтъ... Я не могу, не долженъ...

Кошелекъ былъ у него въ рукахъ. Онъ раскрылъ и сталъ перечислять его содержимое такимъ голосомъ, точно читалъ трогательную надгробную надпись:

— Багажная квитанція... Записка съ адресомъ, вѣроятно, товарищей въ Петербургѣ... десять... двадцать... тридцать пять, пятьдесятъ...

Онъ вопросительно посмотрѣлъ на меня и продолжалъ тѣмъ же умилненнымъ тономъ, не спуская глазъ съ моего лица:

— Гдѣ-нибудь еще... вѣроятно... любящая рука матери зашила въ сумочку сотню-другую рублей... И это все... И все-таки этотъ юноша, самъ пролетарій, протягиваетъ руку помощи такому же пролетарію-артисту... О, спасибо, спасибо

вамъ!.. Не за деньги, конечно, я еще не знаю, смогу ли ихъ взять, а за ту чистую вѣру въ человѣка, которая...

Онъ заморгалъ глазами и вытеръ что-то подъ золотыми очками кончикомъ тонкаго платка. Затѣмъ, перемѣнивъ тонъ, сказалъ:

— Однако, постойте... Если уже вы хотите, то... денежные дѣла такъ не дѣлаются. Садитесь. Вотъ такъ. Давайте выяснимъ: сколько же у васъ всѣхъ денегъ?

Я покраснѣлъ почти до боли въ лицѣ, чувствуя себя такъ, какъ будто я обманулъ довѣрившагося мнѣ замѣчательнаго человѣка.

— Тутъ... все, — сказалъ я съ усиліемъ.

Въ глазахъ г-на Негри мелькнуло быстрое и сложное выраженіе разочарованія, мгновеніе холоднаго блеска, какъ будто онъ дѣйствительно разсердился, потомъ — юмористическое удивленіе, потомъ просто недоумѣніе...

— Все? — переспросилъ онъ. — И съ этимъ вы ѣдете въ столицу? Значитъ, вамъ прішлютъ туда? Правда?

— Я найду уроки, — пробормоталъ я совѣмъ виноватымъ голосомъ...

Онъ засмѣялся.

— Ну, это дѣло нелегкое. Вамъ придется испить горькую чашу... Ну, ничего, не краснѣйте, юноша. Я вижу, что ваши средства нѣсколько не соответствуютъ вашему доброму желанію... Тѣмъ болѣе спасибо... Но, конечно, намъ нужно рассчитать... Постойте: до Курска... до Ту-улы... до Москвы... до Петербурга... Я, значитъ, возьму у васъ десять рублей на афиши... и потомъ еще... Ну, хорошо, хорошо: еще пять рублей... Вы всетаки меня спасаете... Концертъ состоится. Деньги у меня будутъ... Вашъ петербургскій адресъ?.. Впрочемъ, что-жъ я. Конечно, можно адресовать въ институтъ. Я даже самъ, вѣроятно, скоро буду въ Петербургѣ и разыщу васъ, мой милый юноша. И тогда, быть можетъ, вы, въ свою очередь, не оттолкнете руку помощи скромнаго бродяги-артиста... Да? Вѣдь правда: вы мнѣ не откажете въ этомъ?.. Ну, а пока...

Онъ всталъ со стула и взялъ мою руку. Не выпуская ея, онъ отклонился нѣсколько назадъ, смотря мнѣ въ лицо съ какой-то внезапно явившейся мыслью, и сказалъ:

— Еще, дорогой мой, маленькая просьба: своему дядѣ вы лучше не говорите ничего о... о нашихъ отношеніяхъ. Эти люди съ сердцемъ, охлажденнымъ житейской прозой... Поймутъ ли они...

— Конечно, — сказалъ я съ убѣжденіемъ.

— Ну, вотъ.

Дверь нашего номера скринула. Въ ней показалась глупая рожа полового.

— Господи въ акцизный... — началъ онъ, но Негри сдѣлалъ болѣзненную гримасу и сказалъ гнѣвно страдающимъ голосомъ:

— Знаю, зна-аю... Провалитесь вы всѣ съ вашими акцизными...

Малый исчезъ, а господинъ Негри опять обратился ко мнѣ и заговорилъ тономъ, который такъ легко проникалъ въ мою душу:

— Ну, пора разстаться... Но повѣрьте мнѣ, юноша... Да, да, я знаю: вы мнѣ повѣрите... Теодоръ Негри вѣчный жидъ, цыганъ, бродяга. Но онъ не забудетъ, что на его пути, на суровомъ пути странствующаго проповѣдника, судьба послала ему встрѣчу съ чистымъ юношей... доврчивымъ... съ неохлажденной, отзывчивой душой. Прощайте же... прощайте!

Господинъ Негри крѣпко обнялъ меня. Я почувствовалъ прикосновеніе его мягкихъ усомъ, а затѣмъ его губы прижались къ моей щекѣ. Я не успѣлъ отвѣтить на это объятіе, какъ онъ меня выпустилъ и быстро исчезъ, оставивъ одного въ пустомъ номерѣ. Было тихо. Только изъ комнаты „грабителей“ вырвалась, будто въ мгновенно открытую дверь, волна особенно шумнаго ликованія, хохота, криковъ...

На улицахъ мало знакомаго города было сѣро и скучно. Печально моросилъ дождикъ, по небу ползли сѣрые клочья тумана, мостовая облипла жидкою, скользкою грязью. Но на душѣ у меня, какъ будто, играла музыка, немного печальная, но еще болѣе торжественная... Какой замѣчательный человѣкъ!.. „Что дѣлаютъ?.. Гррабятъ!“ О, какъ онъ сказалъ это! И какъ одной фразой охарактеризовалъ эту пошлую компанію, которую я видѣлъ въ накуреномъ грязномъ номерѣ, среди табачнаго дыма... Этотъ молодой человѣкъ съ самодовольною, красною рожей!.. Вѣроятно, это и есть акцизный? Конечно... вчера половой говорилъ, что занять только одинъ номеръ, и именно господиномъ акцизнымъ... И сегодня онъ опять приходилъ отъ господина акцизнаго... Затѣмъ? Что общаго у этого пошляка съ странствующимъ проповѣдникомъ? Совершенно понятна болѣзненная гримаса господина Негри при одномъ упоминаніи объ этомъ субъектѣ. Навѣрное, беретъ взятки... И щеголяетъ въ золотой цѣпи... „А я за мою проповѣдь... за мою честную проповѣдь...“ Куда онъ ушелъ, попрощавшись съ мною? Съ кѣмъ теперь говорить?.. Кого это „грабители“ встрѣтили такимъ ликованіемъ послѣ того,

какъ мы распрощались?.. „На моемъ пути, на суровомъ пути странствующаго проповѣдника... судьба послала мнѣ чистаго юношу...“ Неужели онъ говорилъ это обо мнѣ? Что я такое для него?.. Неинтересный, мало развитой, въ смѣшной альмавивѣ... И на меня же глядѣли его умные глаза, глядѣли *снизу вверхъ* съ такой глубокой печалью... О, господинъ Негри, милый, красивый, умный господинъ Негри! Артистъ, декламаторъ, интеллигентный пролетарій, странствующій проповѣдникъ... Неужели, о, неужели я никогда не увижу васъ болѣе!

При этой мысли глаза мои становились влажны...

А между тѣмъ, если читатель подумаетъ, что мой современникъ былъ такъ безнадежно глупъ, какъ можетъ показаться по описанному здѣсь его настроенію, то онъ, пожалуй, ошибется. Этотъ застѣнчивый молодой человекъ не былъ лишенъ даже въ эти минуты нѣкоторой наблюдательности... Въ то самое время, когда въ душѣ его звучала торжественная симфонія, онъ всетаки замѣчалъ, что на улицахъ грязно и скучно, а по мостовой дребезжитъ какая-то обмызганная пролетка. Правда, образъ г-на Негри плавалъ передъ нимъ въ золотистомъ туманѣ, обалтельный и блестящій, властно занимая солнечную сторону его сознанія. Но наряду съ нимъ, въ сѣрой и скучной тѣни, выступалъ и другой образъ, тусклый, но все же довольно отчетливый. Стоило только выпустить его на солнечную сторону, и онъ обрисовался бы не менѣе рельефно, чѣмъ его великолѣпный двойникъ. *Этотъ* господинъ Негри ѣхалъ въ Курскъ, вѣроятно, послѣ какихъ-то неудачъ, съ неопредѣленными планами. Онъ свернулъ въ Сумы, собственно, для меня... Я платилъ за его обѣдъ, за лошадей, за номеръ, за афиши. Въ его глазахъ мелькнуло разочарованіе при подсчетѣ моихъ капиталовъ... Онъ думалъ, что у меня больше. Онъ „нарочно“ говорилъ, что *надо было* убить Иванова. Самъ онъ ничего объ этомъ не знаетъ... Наконецъ... положительно онъ вышелъ ко мнѣ изъ номера „грабителей“ и опять ушелъ къ нимъ. И, можетъ быть, продолжаетъ теперь игру на взятія у меня деньги и спустить ихъ этому молодцу съ красной рожей до послѣдней копѣйки... А у меня едва ли останется десять рублей, когда я приѣду въ Петербургъ...

Но я слишкомъ грубо и рѣзко обрисовалъ этотъ второй образъ. Тогда онъ только пытался возникнуть въ моемъ сознаніи—легкій, воздушный и такой роковой, что исчезалъ при каждомъ движеніи своего великолѣпнаго двойника. Когда же онъ дѣлалъ попытки перейти изъ тѣни на солнечную сторону, то мнѣ дѣлалось обидно и больно. Я только что разстался съ

живымъ господиномъ Негри... Неужели придется разстаться и съ воспоминаніемъ?.. Нѣтъ, нѣтъ! Тутъ великолѣпный господинъ Негри произноситъ для меня одну изъ своихъ фразъ, отъ которыхъ жутко замирало сердце, — и презрѣнный двойникъ расплывался въ туманѣ.

Однимъ словомъ, я и тутъ *зналъ* господина Негри по умному, но *чувствовалъ его* по глупому, съ преклоненіемъ, съ желаніемъ *только такого* господина Негри... И онъ оставался для меня именно такимъ... И *такой* онъ продолжалъ владѣть мною. И если бы судьба вскорѣ опять свела насъ вмѣстѣ, и онъ опять сказалъ бы нѣсколько такихъ же потрясающихъ фразъ, и опять посмотрѣлъ бы снизу вверхъ страдающими печальными глазами, — я, вѣроятно, пошелъ бы за нимъ всюду, куда бы онъ позвалъ меня, не слушая робкаго предостерегающаго шопота его двойника.

И долго потомъ, уже въ Петербургѣ, въ тяжелыя минуты жизни, печальныя и тусклыя, какъ эта уличная слякоть, — образъ великолѣпнаго г-на Негри, артиста-декламатора, выплывалъ передо мною изъ розоваго тумана во всемъ своемъ обаяніи. Миѣ казалось, вотъ онъ откроетъ дверь, войдетъ, посмотритъ сквозь золотыя очки своими живыми глазами и скажетъ:

— Вотъ и я. Бродяга и дыганъ... Разыскалъ васъ, зная, что вамъ очень трудно. А вы, признайтесь, юноша, сомнѣвались?..

Дядя опять шутя сталъ спрашивать „о моемъ артистѣ“, но, замѣтивъ мое настроеніе, оставилъ эту тему. Вмѣсто того онъ произвелъ основательную ревизію моимъ денежнымъ и инымъ ресурсамъ. Результаты оказались довольно печальныя. Самъ онъ былъ небогатъ и боленъ. Въ его когда-то веселыхъ черныхъ глазахъ отражалась теперь неустанная и тяжелая забота о дѣтяхъ. Тѣмъ не менѣе, онъ пополнилъ брешь, нанесенную декламаторомъ въ моихъ финансахъ, и, кромѣ того, снабдилъ еще меня своею черною парой. Онъ былъ очень высокъ, и его сюртукъ полами покрывалъ мои пятки. Дядя расхохотался и сказалъ:

— Ничего, ничего... Въ Петербургѣ позовешь портного и передѣлаешь. А то ты, чортъ знаетъ, на что похожъ въ этомъ своемъ костюмѣ.

Подъ вечеръ, когда я уѣзжалъ изъ города на лошадахъ Кандыбы — надъ Сумами опять ползли облака, поливая мелкимъ дождикомъ скучныя, грязныя улицы. На столбахъ и заборахъ мелькали большіе листы, на которыхъ я могъ разобратъ крупныя надписи:

Теодоръ Негри. Артистъ-декламаторъ.

Ихъ поливалъ мелкій дождь, и я съ грустью думалъ, что погода помѣшаетъ концерту моего замѣчательнаго друга.

III.

Я попадаю въ разбойничій вертепъ.

И въ дорогѣ, подъ шарканье бубенцовъ, и въ поѣздѣ до Курска мнѣ было очень скучно.

Въ Курскѣ, въ вагонъ, гдѣ я усѣлся, вошли двое знакомыхъ уже мнѣ пассажировъ: господинъ съ утинымъ носомъ и его товарищъ. Они прямо направились ко мнѣ и поздоровались, назвавъ себя. Господинъ съ утинымъ носомъ оказался Зубаревскимъ, студентомъ-технологомъ третьяго курса (наружность и фамилія другого какъ-то совсѣмъ исчезли изъ моей памяти). Они провели эти два или три дня по дѣламъ въ Курскѣ... Останутся еще въ Москвѣ. Я сдѣлалъ видъ, что вѣрю всему, но, въ сущности, мнѣ казалось невѣроятнымъ, чтобы человѣкъ съ такой незамѣчательной наружностью и такъ одѣтый могъ быть дѣйствительно студентомъ. Впрочемъ, я теперь человѣкъ опытный, и меня провести нелегко. На предложеніе остановиться въ Москвѣ вмѣстѣ въ Кокоревской гостинницѣ я отвѣтилъ вѣжливымъ отказомъ: мнѣ нужно остановиться гдѣ-нибудь около Екатерининскаго института. Тамъ у меня сестра...

На старомъ курскомъ вокзалѣ въ Москвѣ я пожалѣлъ объ этомъ. Когда съ чемоданчикомъ въ рукахъ я очутился на дебаркадерѣ,—вокругъ меня образовался сразу вихрь криковъ, нахальныхъ рожъ, приподнятыхъ фуражекъ, звонкихъ зазываній. Хватали за полы моей злополучной мантилы, вырывали изъ рукъ чемоданъ, заглядывали въ глаза, дышали въ лицо разными, преимущественно виннымъ запахами, кажется — насмѣхались... Гдѣ-то вдали мелькнула фигура Зубаревского и его товарища. Они казались мнѣ теперь пріятными. У Зубаревского, въ сущности, добрые глаза, и лицо очень неглупое. Пожалуй, онъ, можетъ быть, и студентъ. И ужъ во всякомъ случаѣ не грабитель. Я рванулся за нимъ, но его уже не было. А надъ самымъ моимъ ухомъ слышался сиповатый, мягкій голосъ:

— Домвиковскіе номера-съ... Всего сорокъ копѣекъ. Извозчика не требуется. Вещи донесу самъ...

Я усталъ бороться и отдался на волю судьбы.

Чернобородый субъектъ, довольно мрачнаго полу-монашескаго вида, взялъ у меня чемоданъ, взвалилъ себѣ на плечи и пошелъ впередъ, энергично прокладывая путь въ толпѣ.

Онъ двинулся такъ быстро, что я сразу отсталъ и уже прощался со своимъ чемоданомъ; но на подъѣздѣ черномазый ожидалъ меня, и мы пошли рядомъ по улицамъ Москвы.

Шли довольно долго. Прошли „Балканъ“, потомъ углубились въ какіе-то переулки. Я уже думалъ взять перваго попавшагося извозчика и ѣхать въ Кокоревскіе номера, какъ мой провожатый остановился передъ двухъэтажнымъ домомъ. Переулокъ былъ узкій и грязный. Вверху сумрачное небо, внизу мокрая мостовая. На стѣнѣ дома большими буквами было написано: „Домниковскіе номера для пріѣзжающихъ“. Надпись была, кажется, сдѣлана сажей и потекла отъ дождя, разведя по грязной стѣнѣ траурныя полосы. Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми. Провожатый дернулъ ручку звонка. Раздался дребезжащій, унылый звонъ и вслѣдъ за нимъ хриплый собачій лай. Толстая баба отперла калитку, пустила насъ и тотчасъ же заперла опять.

Въ маленькомъ квадратномъ дворикѣ было грязно и печально. Я еще первый разъ въ жизни очутился въ такомъ дворѣ, и мнѣ казалось, что я, дѣйствительно, на днѣ колодца. На одной стѣнѣ опять виднѣлась расплывшаяся надпись — „номера“, и мы вошли въ низкую дверь, показавшуюся мнѣ входомъ въ пещеру. Ходъ былъ черезъ кухню. Небольшимъ корридорчикомъ чернобородый провелъ меня въ заднюю комнату и сказалъ:

— Здѣсь. Сорокъ копѣекъ въ сутки. Прикажете самоварчикъ?

Когда онъ вышелъ,—я оглянулся въ своемъ новомъ помѣщеніи. Комната была узкая, съ однимъ окномъ, засиженнымъ мухами. Темный потолокъ, темные обои, темное небо, на дворѣ сумерки. Окно было низко. Я подошелъ и попробовалъ тихонько открыть его. Тотчасъ же изъ какой-то темной двери показалась собачья морда и раздался лай, хриплый и сердитый.

Итакъ,—рѣшилъ я про себя,—похоже, что я въ ловушкѣ. Дворъ запертъ, у окна собака. Да если бы и удалось вырваться на дворъ,—все равно идти некуда. Подслѣпныя окна глядѣли со стѣнъ въ этотъ колодець таинственно и зловѣще...

Въ корридорѣ слышалась возня, заставившая меня насторожиться. Кто-то рвался куда-то, кто-то другой не пускалъ. Жидкая переборка шаталась и вздрагивала.

— П-пусти... Тебѣ гов-во-рять! — съ усиліемъ говорилъ сильный мужской голосъ. — Агафья... Агашъ... кто здѣсь хозяинъ?... Одолели вы меня съ Ермишкой, съ разбойникомъ... душегубы, анафемы!

Онъ рванулся, и перовные быстрые шаги застучали по корридору. Моя дверь внезапно раскрылась, и на порогъ появился мужчина лѣтъ за пятьдесятъ, въ разстегнутомъ мѣховомъ полукафтапчикѣ и разорванной косовороткѣ. Нанковые легкіе штаны и опорки на босу ногу дополняли костюмъ незнакомца. Глаза у него были дикіе, бѣгающіе, какъ будто испуганные, сѣдоватые жидкіе волосы торчали врозь, борода сбилась въ одну сторону. Онъ схватился за косякъ двери, чтобы не упасть, и, тяжело перевалившись въ мою комнату, подошелъ ко мнѣ вплоть и заговорилъ, дыша запахомъ перегару и горячки:

— Слышалъ ты?.. Будь свидѣтель. Не пуцаютъ... Разбойники, душегубы онѣ съ Ермишкой. Нѣ-ѣтъ, врешь... мамонишь, концы хоронишь...

Онъ прищурилъ одинъ глазъ, лукаво мигнулъ мнѣ и сказалъ:

— Я самъ съ усамъ... Я имъ, душегубамъ, не потатчикъ... Я... до самого царя...

Въ корридорѣ стукнула дверь. Должно быть, на помощь баба призвала Ермишку. Пьяный насторожился и, наклонясь ко мнѣ, заговорилъ таинственно, торопливо и тихо:

— Молчи уже. Дай мнѣ скорѣя двугривенной, хорошо будетъ, небось... А съ ихъ, подлецовъ, вычти потомъ. Я хозяйинъ, въ обиду не дамъ. Э-эхъ ты, мил-л-ай! Молоденькій какой...

Поддавшись его испуганной торопливости, я наскоро далъ ему двугривенный. Онъ жадно схватилъ его и сунулъ въ ротъ. Какъ разъ во-время, потому что въ комнату уже входилъ чернобородый и толстая баба. Незнакомецъ не оказывалъ теперь сопротивленія и только съ порога кивнулъ мнѣ многозначительно и общающе... Скоро возня стихла гдѣ-то въ дальнемъ концѣ. Слышались только неразборчивое ворчаніе, вздохи... чей-то плачь...

Чернобородый съ сурово-угрюмымъ видомъ внесъ сначала поднось съ чайникомъ и стаканомъ, потомъ небольшой самоваръ и тарелку съ французской булкой. Все это онъ дѣлалъ молча, не глядя на меня, и такъ же молча вышелъ.

Мое положеніе стало передо мной съ ужасающей ясностью. Можно ли сомнѣваться? Я попалъ въ одинъ изъ вертеповъ, вродѣ притона „на бойкомъ мѣстѣ“ въ драмѣ Островскаго. Только не въ лѣсу, а на какомъ-то московскомъ Балканѣ, хуже всякаго лѣса. Они, очевидно, только затѣмъ и выходятъ на вокзалы, чтобы заманивать неопытныхъ юношей, одѣтыхъ такъ выразительно, какъ меня нарядилъ портной Шимко. Квартиры кругомъ, очевидно, нежилыя... Только въ одномъ движется тусклый огонекъ... Тамъ, вѣроятно, члены той же шайки. У окна сторожитъ свирѣлый церберъ. Ворота на запорѣ...

Воображеніе мое разрабатывало дальше эту мрачную тему. Въ одномъ изъ членовъ шайки, очевидно, не погасла еще искра совѣсти... Но онъ заливаеъ ее виномъ, и только въ пьяномъ видѣ грозитъ товарищамъ разоблаченіями и старается предупредить несчастныя жертвы... Онъ такъ таинственно порывался что-то сказать мнѣ, такъ многозначительно мигалъ отъ порога. Обѣщать что-то?.. Ясно: онъ обѣщать мнѣ помощь. Можетъ быть, этому доброму, раскаявшемуся преступнику удастся какъ-нибудь обмануть ихъ бдительность, привести людей и спасти меня въ послѣднюю роковую минуту... Это иногда бывало... Но... удастся ли?..

Мнѣ только казалось странно, что и чернобородый разбойникъ, и толстая мегера, увидя пьянаго, какъ будто плакали. Да, положительно, я помню заплаканное бабье лицо. Что-жь. И это легко объяснить. Она — женщина... Ей, можетъ быть, стало жаль моей молодости. У нея, вѣроятно, былъ сынъ... Онъ умеръ, но теперь былъ бы моихъ лѣтъ. Такая чувствительность у закоренѣлыхъ разбойницъ тоже бываетъ. Я, кажется, читалъ объ этомъ въ какомъ-то страшномъ разсказѣ... Но это, въ концѣ концовъ, не помогаетъ невиннымъ жертвамъ. Такія счастливыя развязки бывають только въ романахъ... а меня окружаеъ теперь суровая дѣйствительность...

На столѣ стоитъ самоваръ и лежитъ пятикопѣчная булка. Чай, конечно, отравленъ соннымъ порошкомъ. Я снялъ чайникъ, вылилъ содержимое въ грязное ведро, всполоснулъ нѣсколько разъ и заварилъ своего чаю. На блюдѣ лежало нѣсколько кусочковъ сахару. Я лизнулъ опять языкомъ: вкусъ странный, какъ будто металлическій. Мышьякъ вѣдь тоже похожъ на сахаръ. Ну, хорошо, пусть думаютъ, что я усыпленъ или отравленъ. А я, между тѣмъ, напьюсь крѣпкаго чаю и не засну всю ночь... Можетъ быть, найду какое-нибудь средство спасенія... И, во всякомъ случаѣ, дорого отдамъ свою жизнь...

Не надо сидѣть спиной къ двери. Я попробовалъ перейти на другой стулъ, у стѣны, но онъ сразу подогнулся подо мной: одна ножка была отломана. Я по прежнему приставилъ его къ стѣнѣ и пересѣлъ со своимъ стаканомъ на кровать.

Я былъ сильно голоденъ. Чай показался мнѣ превосходнымъ, булка тоже. „Можетъ, въ послѣдній разъ въ жизни“, подумалъ я печально и налилъ другой стаканъ. Хорошо бы еще одну булку... Я постучалъ...

Вошла мегера. Глаза у нея все были заплаканы. Отъ угрызеній своей мрачной совѣсти она, повидимому, не могла глядѣть на меня и отворачивала лицо. Я попросилъ принести

еще хлѣба, она ушла, не сказавъ ни слова, и такъ же молча принесла черезъ нѣсколько минутъ двѣ булки. За ними она, кажется, выходила со двора.

Вскорѣ послѣ ея ухода сильно лаяла собака и металась, лязгая цѣпью...

Напившись чаю, я попробовалъ запереть дверь, но задвижка не входила во втулку.

Время тянулось медленно. Самоваръ допѣлъ свою жалобную нѣсенку и смолкъ. Гдѣ-то, въ другомъ концѣ квартиры, шелъ тревожный разговоръ, раза два хлопали двери, одинъ разъ опять сильно лаяла собака. Потомъ все стихло...

Я рѣшилъ, что можно немного прилечь. Вѣдь прилечь не значить еще заснуть. Наоборотъ, въ такомъ положеніи воображеніе работаетъ еще лучше. Я придумаю какой-нибудь выходъ.

Что-то жесткое сразу проступило изъ-подъ тонкаго тюфяка. Засунувъ руку, я цапнулъ... ту самую пожку, которой не доставало у стула. Очевидно, кто-то здѣсь уже переживалъ тѣ же чувства, что и я, и, вѣроятно, вооружился ножкой для защиты. Какая судьба постигла этого моего предшественника? Можетъ быть, та же самая, которая ждетъ и меня черезъ два-три часа... Когда *это* случится? Конечно, передъ утромъ, когда бываетъ самый крѣпкій сонъ... Во всякомъ случаѣ, я благодаренъ невѣдомому товарищу за его предсмертную выдумку... вмѣстѣ съ клопами, которые сразу произвели на меня жесточайшую атаку, — это жесткое орудіе защиты, конечно, не дастъ мнѣ заснуть...

Свѣчу я не гасилъ. Она нагорала и потрескивала жалобно и печально. Было тихо. Гдѣ-то тутъ за стѣнами катится шумная жизнь столицы, гремятъ извозчики, снуютъ публика... Отдаленный свистокъ, — точно изъ другого міра. Это на курскомъ вокзалѣ. Пришелъ поѣздъ, валить пріѣзжая толпа... Разбѣгаются по гостиницамъ... Въ томъ числѣ въ Кокоревское подворье, куда звалъ меня студентъ Зубаревскій и гдѣ теперь онъ спитъ на хорошей постели, безъ клоповъ, безъ ножки подъ тюфякомъ, въ безопасности и комфортѣ. А гдѣ-то еще ближе (мнѣ сказалъ это чернобородый) большое зданіе института... Въ дортуарѣ ряды чистыхъ кроватей. Въ одной спитъ моя сестренка... Чувствуетъ ли она, что я тутъ близко, въ этомъ вертепѣ, въ смертельной опасности? Можетъ быть, чувствуетъ и мечется по своей подушкѣ и вежливаешь во снѣ, произнося мое имя... На глаза у меня просятся слезы...

Ужасно неудобно съ этой ножкой, но — пусть! Не время думать объ удобствахъ. Рахметовъ спалъ на полѣвняхъ

дровъ... Кто-то еще,—не помню, кто именно... Спать я ни въ какомъ случаѣ не стану... При первомъ подозрительномъ шорохѣ въ корридорѣ я схвачу эту ножку, вотъ такъ, и уде жу ее около себя... Они войдутъ вотъ тамъ, въ эту дверь... Я вижу ихъ отлично. Впереди — зловѣщая физиономія чернобородаго. Изъ-за его плечъ — другая, незнакомая, еще мрачнѣе... Они думаютъ, что я усыпленъ, но я гляжу сквозь прищуренныя рѣсеницы и крѣлко сжимаю ножку въ рукѣ... Подходятъ, трусливо крадучись. Я сразу вскакиваю на ноги. А, не ожидали? Быстрый, какъ молнія, ударъ... Чернобородый падаетъ... Борьба... долгая, глухая, неясная... я, кажется, обезсиливаю... навалились какія-то рожи... Но тутъ приходитъ помощь... Раскаившійся пьяница вваливается со свѣтомъ, съ шумомъ, съ людьми... Я спасенъ. Ужасная ночь миновала... Свѣтъ дня и солнца. Полиція, протоколы, любопытные люди спрашиваютъ меня... Да, это я раскрылъ разбойничій вертепъ, въ которомъ погибло уже много наивныхъ провинціаловъ.

Въ темномъ подвалѣ, охраняемомъ злющимъ церберомъ, находятъ груду человѣческихъ костей... Ужасаются, мотають головами... нищутъ въ газетахъ. Сестра, мать, Теодоръ Негри читають. Сначала пугаются, потомъ, конечно,—радость... Все хорошо. Мнѣ наперебой предлагаютъ работу. Три часа въ день. Сорокъ пять рублей въ мѣсяцъ. Я богатъ, могу еще посылать матери. Перехожу съ курса на курсъ... Въ Технологическомъ... въ университетѣ... еще гдѣ-то. Вообще — все отлично...

Все такъ отлично, что я сладко сплю, несмотря на клоповъ и на деревянную ножку подъ бокомъ, одѣтый, въ разбойничьемъ вертепѣ...

Когда я проснулся, точно отъ внезапнаго толчка, первой моей мыслью было: живъ ли я.

Я былъ живъ, ночь уже прошла. Въ комнатѣ было свѣтло. Лучъ солнца, перебравшись черезъ крыши, заигралъ сверху на стѣнѣ, и желтоватыя разсѣянные лучи попали на дно двора-колодца. У стола стоялъ чернобородый, позванивая убираемой посудой.

— Такъ и спали ночь, не раздѣвши, — сказалъ онъ печально и прибавилъ, потупясь:

— Побезпокоили васъ вчерась... Извините...

— Кто это былъ пьяный? — спросилъ я, рѣзво подымаясь на ноги съ ощущеніемъ необыкновеннаго благополучія...

Чернобородый глубоко вздохнулъ.

— Грѣхи! И сказать стыдно. *Самъ* это, хозяинъ здѣшній.

Закрутиль, что станешь дѣлать. Запираемъ, да нѣшто углидишь. Вчерась вотъ, вышелъ я. Хозяйку вы за булкой послали. Думали, спитъ онъ. Сама въ ворота, а онъ тихоечко за нею... Собака взлаяла. Оглянулась она, а онъ — что ты думасишь: дереть по улицѣ, не догодишь... Вернулся опять пьяной... Господи, помилуй насъ грѣшныхъ. И откуда денегъ добыль, удивительное дѣло.

Я вспомнилъ свой двугривенный и покраснѣль. Чернобородый уставилъ посуду на подносѣ и опять обратилъ ко мнѣ унылое лицо.

— А я вотъ купческій братъ считаюсь. Хозяинъ, значить, братъ мнѣ приходится. Ну, теперича хожу у нихъ за померного. Что станешь дѣлать. Кабы достатки. А то сами, чай, видите: нѣшто это помера! Ведешь хорошаго господина съ вокзалу—самому совѣстно въ глаза поглядѣть.

Онъ скорбно помоталъ головой и прибавилъ:

— А вѣдь жили-то какъ въ своемъ мѣстѣ! Купцы были настоящіе. Сама-то Агафья Парѣеновна поидеть, бывало, въ бархатномъ салоуѣ въ церковь—прямо графиня! Теперь слезой вся изошла. И я съ нею. Чего ни дѣлали: свѣчи угодникамъ ставили, молебствовали... А что?—спросилъ онъ вдругъ, мѣняя тонъ,—вамъ самоварчикъ-то нужно?

— Пожалуйста.

— А то, извините, можетъ, и съ нами бы пошли. Дешевле, а самоваръ горячій. Сама пьетъ.

Мнѣ было такъ совѣстно передъ этими добрыми людьми, что я охотно согласился. Хозяйка сидѣла за самоваромъ въ маленькой тѣсно заставленной спаленкѣ. У кіота печально теплилась лампадка, изъ-за полога слышался храпъ и кошмарное бормотаніе запойнаго хозяина. Глаза у женщины были красны, но лицо ея сегодня показалось мнѣ совсѣмъ другимъ. Оно еще носило слѣды былой красоты, и держалась она съ такимъ достоинствомъ, что, когда подавала мнѣ налитой стаканъ, я чувствовалъ потребность привстать и конфузливо раскланивался.

Чернобородый пилъ чай отдѣльно въ кухонкѣ, но это было такъ близко, что разговоръ у насъ шелъ общій. И когда они опять рассказали мнѣ исторію хозяйскаго заноя и раззоренія, — мнѣ стало такъ жаль ихъ обоихъ, что я принялся утѣшать ихъ и наговорилъ много глупостей. Конечно, ни иконы, ни знахари изъ Замоскворѣчья тутъ не помогутъ. Поможетъ только наука. Я читалъ гдѣ-то, что теперъ есть лѣчебницы для алкоголиковъ... Я ѣду въ Петербургъ, узнаю все это обстоятельно и непременно имъ наишу... Наука, о, наука одна теперъ дѣлаетъ чудеса...

— Ну, дай тебѣ Господи, за доброту за твою,—сказала бѣдная женщина, прощаясь со мной. Не знаю, повѣрила ли она въ спасительную силу науки, но мнѣ такъ хотѣлось оказать имъ эту маленькую услугу, что говорилъ я съ искреннимъ увлеченіемъ и вѣрой.

Чернобородому пужно было опять идти къ поѣзду, и онъ взялся указать мнѣ дорогу къ институту. Былъ праздникъ. Гудѣли колокола,—протяжно, низко, печально... И мнѣ казалось, что вся Москва нохожа на заплаканную раззорившуюся рыхлую хозяйку моихъ померовъ, и что она этими колоколами вопить, разливаясь слезами о какихъ-то лучшихъ дняхъ, когда она ходила въ бархатныхъ салопакъ...

Короткое свиданіе съ сестрой не разсѣяло этого впечатлѣнія. Мы сидѣли въ огромномъ залѣ съ колоннами. Я чувствовалъ, какъ что-то рвется на-встрѣчу этой родной маленькой фигуркѣ въ институтскомъ платьѣ, и что-то другое сдерживаетъ и холодитъ эти порывы... Сестру скоро позвали, а когда я вышелъ изъ института, то къ печально перекликающемуся хору колоколовъ присоединился еще Иванъ Великій... Онъ бухалъ съ размѣренно-важною скорбью, и казалось, какая-то неизбывная печаль кружить и плавать надъ Москвой...

Отъ всего этого вѣяло такой тоской, что я остановился на Самотекѣ, совершенно не зная, что мнѣ съ собой дѣлать. Къ счастью, мнѣ вспомнились мои спутники — Зубаревскій съ товарищемъ. Времени до поѣзда оставалось еще довольно. Я пошелъ по улицамъ, разспрашивая дорогу, и вскорѣ былъ у Кокоревского подворья.

Оба студента были въ номерѣ, гдѣ-то очень высоко, чуть не на чердакѣ. Когда я вошелъ, они немного смѣшались: они были заняты упаковкой въ чемоданъ какихъ-то книгъ. Увидѣвъ меня, Зубаревскій радушно протянулъ руку.

— Отлично, что зашли. Хотите чаю? Вотъ самоваръ на столѣ, наливайте сами... Мы тутъ, какъ видите, разбираемся съ кое-какой литературой. Съ этимъ вотъ вы не знакомы?

Онъ протянулъ мнѣ книгу, кажется, „Азбуку социальныхъ наукъ“ Флеровскаго. Я не имѣлъ о ней понятія.

— А Лассалья знаете? Нѣтъ? Значить, у васъ тамъ еще и не слыхали о социализмѣ.

Это слово я слышалъ въ первый разъ. Одно мнѣ теперь было совершенно ясно: какъ я былъ непроницателенъ и глупъ, сомнѣваясь въ Зубаревскомъ. Теперь, наоборотъ, все въ немъ казалось мнѣ необыкновенно привлекательнымъ: и некрасивое лицо, безпечныя манеры добродушнаго русскаго бурша, и даже

рыжій сюртукъ изъ толстаго грубаго трико... Оба студента долго, съ товарищескимъ участіемъ, рассказывали мнѣ о Петербургѣ и давали совѣты, гдѣ остановиться на первое время. Потомъ мы распрощались, какъ добрые знакомые, и я вышелъ ободренный, хотя московскіе колокола продолжали званивать свою тигучую, неизбывную печаль...

IV.

Въ Петербургѣ!

Странно: въ теченіе этихъ двухъ-трехъ дней я нѣсколько разъ имѣлъ случай убѣдиться въ своей глупости. Меня чуть не обокралъ субъектъ въ клеенчатой фуражкѣ въ то самое время, какъ я подозрѣвалъ и остерегался Зубаревского... Господинъ Негри... впрочемъ, и теперь фигура господина Негри стояла въ памяти во всемъ обаятельномъ блескѣ, отъбсняя своего тусклаго реального двойника, и я ловилъ себя на томъ, что порой мои губы невольно складываются въ „интеллигентную складку“... Затѣмъ, добродушнѣйшіе простые люди изъ Домниковскаго переулка показались мнѣ бандитами. Наконецъ, считая себя въ опасной ловушкѣ, — я позорно заснулъ...

Все это, повидимому, должно было сильно сбавить у меня самоувѣренности. Но вышло наоборотъ. Отправляясь опять на вокзалъ, — я чувствовалъ себя такъ, какъ будто дѣйствительно пережилъ всѣ эти опасности и вышелъ побѣдителемъ, единственно благодаря своей опытности и необыкновенной находчивости.

На вокзалѣ среди толкотни, криковъ и движенія я опять ходилъ въ розовомъ туманѣ. У кассы мнѣ попался, между прочимъ, одинъ изъ товарищей, ровнецевъ, Корженевскій. Онъ окончилъ годомъ раньше, былъ на кондиціи, и теперь ѣхалъ съ заработанными деньгами въ Петербургъ. Бѣдняга совершенно растерялся въ сутолокѣ, пугливо оглядывался по сторонамъ, и его лѣвая рука судорожно держалась за сумку.

— Господи! — подумалъ я, — вѣдь и я былъ такой еще два-три дня назадъ... И я тотчасъ взялъ его подъ свое покровительство, отдалъ его вещи на храненіе провожавшему меня „купеческому брату“, пока мы ждали очереди у кассы, и вообще держалъ себя такъ увѣренно и развязно, что бѣдняга ни на шагъ не отставалъ отъ меня, держась за мое пальто, какъ за якорь спасенія. Съ „купеческимъ братомъ“ я попрощался за руку, какъ со старымъ знакомымъ, а когда затѣмъ мы усѣлись въ плотно набитомъ вагонѣ, я чувствовалъ себя такъ, точно Корженевскій—еще недавній я въ

вагонъ подъ Кіевомъ, а я—его великодушный покровитель вродѣ великолѣпнаго г-на Негри...

Тогда пассажирскіе поѣзда изъ Москвы въ Петербургъ ходили ровно сутки, и, выѣхавъ изъ Москвы подъ вечеръ, въ сумерки слѣдующаго дня мы съ Корженевскимъ вышли изъ вокзала на Николаевскую площадь.

Сердце у меня затрепетало отъ радости. Петербургъ! Здѣсь сосредоточено было все, что я считалъ лучшимъ въ жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души.. Это было время, когда лѣто недавно еще уступило мѣсто осени. На неопредѣленно свѣтломъ вечернемъ фонѣ неба грузно и какъ-то мечтательно рисовались массивы домовъ, а внизу уже бѣжали, какъ свѣтлыя четки, ряды фонарныхъ огоньковъ, которые въ это время обыкновенно начинаютъ опять зажигать послѣ лѣтнихъ ночей... Они кажутся такими яркими, свѣжими, молодыми. Точно послѣ каникулъ впервые выходятъ на работу, еще не особенно нужную, потому что воздухъ еще полонъ мечтательными отблесками, бьющими кверху откуда-то изъ-за горизонта... И этотъ веселый блескъ фонарей подъ свѣжимъ блистаніемъ неба, и грохотъ, и звонъ конки, и гдѣ-то потухающая заря, и особенный крѣпкій запахъ моря, несшійся на площадь съ западнымъ вѣтромъ, — все это удивительно гармонировало съ моимъ настроеніемъ.

Мы стояли на главномъ подъѣздѣ, выжидая, пока разрѣдятся беспорядочная туча экипажей, и я всѣмъ существомъ впивалъ въ себя ощущеніе Петербурга. Итакъ, я—тотъ самый, что когда-то въ первый разъ съ замирающимъ сердцемъ подходилъ „одинъ“ къ воротамъ пансіона,—теперь стою у порога великаго города. Вонъ тамъ,halb—устье широкой, какъ рѣка, улицы...

Это, конечно, Невскій... Я зналъ это, такъ какъ все подробно разспросилъ у Сучкова и много разъ представлялъ себѣ первую минуту, когда его увижу. Вотъ, значить, гдѣ гулялъ когда-то гоголевскій поручикъ Пироговъ... А гдѣ-то еще, въ этой спутанной громадѣ домовъ, жилъ Бѣлинскій, думалъ и работалъ Добролюбовъ. Здѣсь коченѣющей рукой онъ написалъ: „Милый другъ, я умираю оттого, что былъ я честенъ“... Здѣсь и теперь живетъ Некрасовъ, и, значить, я дышу съ нимъ однимъ воздухомъ. Здѣсь, наконецъ, ждетъ меня директоръ Ермаковъ и новая, совсѣмъ новая заманчивая жизнь студента. Все это было красиво, мечтательно, свѣжо, и, какъ ряды этихъ фонарей, уходило въ таинственно мерцающую перспективу, наполненную невѣдомой, неясной,

кипучей жизнью... И фонари, вздрагивая огоньками под вѣтромъ, казалось, жили и играли, и говорили мнѣ что-то обаятельно-ласковое, общающее...

Я остапавливаюсь на этой минутѣ съ такой подробностью потому, во-первыхъ, что она на вѣки запечатлѣлась въ моей памяти, какъ одна изъ вѣхъ, отличающихъ уходящія дали жизни. А, во-вторыхъ, еще и потому, что тѣ же фонари впоследствии заговорили моей душѣ другимъ языкомъ и даже... этой же мечтательной игрой своихъ огоньковъ впоследствии погнали меня изъ Петербурга...

Въ ту минуту я былъ счастливъ сознаниемъ молодости, здоровья, силы и ожиданій. Когда извозчики развѣзжались, я пустился по площади въ сопровожденіи скромнаго прислужника изъ номеровъ въ домъ Фредерикса *), который несъ наши чемоданы, и Корженевского, который буквально держался за мой рукавъ.

Только небольшой и, въ сущности, совершенно незначительный случай нѣсколько нарушилъ мое восторженное настроеніе. У самаго подъѣзда скромныхъ номеровъ, пріютившихся на задахъ великолѣпной „Сѣверной гостинницы“, я увидѣлъ въ окнѣ подвальной лавочки аппетитные караванъ свѣжаго хлѣба. Спустившись туда, я спросилъ... французскую булку. Бородатый широкомордый пекарь, отрѣзавшій кому-то поль-каравая, смѣрилъ меня холодно-насмѣшливымъ взглядомъ и сказалъ:

— Французскихъ булочекъ не имѣемъ-съ... Продаемъ русскій хлѣбецъ...

И онъ самъ, и два его молодца при этомъ посмотрѣли на меня такъ насмѣшливо, что... я сразу почувствовалъ себя точно выкинутымъ изъ Петербурга въ далекій глухой городишко съ залеснѣвшими прудами... И ярче всего мнѣ припомнился портной Шимко, такъ какъ несомнѣнно, что отчасти его творчеству я былъ обязанъ этими удивленно-насмѣшливыми взглядами...

Но, это такой пустякъ!.. Какъ бы то ни было, я—въ Петербургѣ!..

V.

Я кидаю якорь въ Семеновскомъ полку.

Я проснулся рано, кажется, отъ нестерпимаго восторга. Мой спутникъ еще спалъ. Я подошелъ босикомъ къ огню и выглянулъ на улицу. Лиговка тогда представляла еще каналъ

*) Кажется, впрочемъ, тогда онъ назывался иначе.

или, вѣрнѣе, гнилую канавку, черезъ которую на близкихъ разстояніяхъ были кинуты мостки. Небо было пасмурное, сѣрое. Такъ и надо: не даромъ же Достоевскій сравниваетъ его съ сѣрой солдатскою шинелью... Вотъ оно. Дѣйствительно, похожее. На верхушку Знаменской церкви надвигалась отъ Невскаго ползучая мгла. Превосходно. Вѣдь это опять много разъ описанные „петербургскіе туманы“. Все такъ! И, несомнѣнно, въ Петербургѣ.

На столикѣ въ нашемъ номерѣ лежала небольшая книжонка съ планомъ города. Я жадно схватилъ ее и, neodѣтый, сталъ изучать улицы, по которымъ намъ нужно будетъ идти, чтобы разыскать ровенскихъ товарищей: Семеновскій полкъ, Малый Царскосельскій проспектъ, д. № 4, кв. 8. Когда Корженевскій всталъ, и мы напились чаю, я очень увѣренно повелъ его по Невскому проспекту. Онъ удивлялся, не довѣрялъ мнѣ и все останавливался, боясь „заблудиться“.

— Послушайте, вотъ вы говорили—будетъ Аничковъ мостъ съ лошадьми. Гдѣ же онъ? Никакихъ лошадей нѣтъ.

— Вотъ и лошади, а это вотъ Александринскій театръ. Видите? А за нимъ мы свернемъ направо, по Садовой... Вѣтъ это публичная библіотека.

— Послушайте,—опять сомнѣвался онъ,—вотъ вы говорите—будетъ Сѣнная площадь... Идемъ, идемъ, а площади нѣту.

Но и площадь оказалась на мѣстѣ, что, правду сказать, и во мнѣ вызывало пѣкоторое радостное удивленіе. На Обуховскомъ проспектѣ стоялъ вагонъ конки. Онъ только-что пришелъ, и кучеръ переводилъ лошадей съ задняго конца на передній. Во мнѣ созрѣла дерзновенная рѣшимость сѣсть на верхушку. Не столько отъ того, что мои провинціальныя ноги уже чувствовали непривычную каменную мостовую, сколько для познанія всякаго рода петербургскихъ вещей, какъ сказалъ бы Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Корженевскій опять усомнился.

— Послушайте, что вы! Посмотрите: никто не садится...—говорилъ онъ тихо, останавливая меня за пальто. Но я отчаянно отмахнулся и сталъ подыматься по лѣсенкѣ.

Вагонъ тронулся. Направо—надпись: „Институтъ инженеровъ путей сообщенія“. Кто туда поступилъ изъ нашихъ? Кажется—никто. Мостъ. Фонтанка. Мы оба привстали и, вытягивая шею, слѣдимъ за невиданнымъ зрѣлищемъ: подъ мостъ втягивалась барка, груженная дровами. Дальше—длинное зданіе „Константиновскаго военнаго училища“. Сюда поступили два брата Заботины и Завердяевъ... А вотъ направо длинное зданіе съ красновато-желтыми стѣнами. Сидѣ-

пшій съ нами рядомъ молодой человекъ въ синей блузѣ, очкахъ, высокихъ сапогахъ и шапкѣ съ зеленымъ околышемъ, поднялся и быстро сошелъ по лѣсенкѣ. „Смотрите, смотрите! Это Технологическій институтъ...“ Широкой фасадъ на углу двухъ улицъ. Положительно, зданія имѣютъ свою физиономію. Какая умная физиономія! Похожа... на что?.. На то, какъ я представлялъ себѣ директора Ермакова. Величаво и серьезно... У подъѣзда виднѣлись входящія, выходящія, останавливающіяся фигуры. Нашъ недавній сосѣдъ шелъ, точно домой, здороваясь и весело переговариваясь на ходу.

— Вотъ типичный студентъ,—сказалъ я Корженевскому.— И какая умная физиономія.

Впоследствии я съ нимъ познакомился. Увы! еще разъ пришлось убѣдиться въ своей непроницательности. Молодой человекъ, дѣйствительно, былъ очень типиченъ по наружности, но и очень недалекъ.

Однако, оглядываясь на институтъ и пяля глаза по сторонамъ, я зазѣвался. Вагонъ, тихо погромыхая, миновалъ роту за ротой и поровнялся съ небольшой часоуенкой на углу двухъ улицъ... Я поднялся.

— Господинъ кондукторъ, это не Малый Царскосельскій?—спросилъ я съ тревогой.

— Онъ самый.

Я, какъ сумасшедшій, кинулся внизъ, увлекая встревоженнаго Корженевскаго... Часоуенка осталась уже назади... Повернувшись къ ней лицомъ, я соскочилъ съ площадки вагона. Кто-то, будто, прихватилъ меня за пятки и кинулъ на грязную мостовую. А вагонъ уплывалъ дальше, точно корабль, съ котораго человекъ упалъ въ море... И на задней площадкѣ я видѣлъ испуганное лицо моего спутника...

Кондукторъ позвонилъ и спустилъ бѣднягу не особенно любезно, пояснивъ, что прыгать надо впередъ.

Итакъ, — вотъ это уголь Малаго и Большаго Царскосельскихъ *). Часоуенка. Такъ. Она прописана въ запискѣ. Домъ номеръ второй... Мелочная лавочка... Домъ четвертый. Все такъ. Квартира 12, по этой вотъ лѣстницѣ...

— Ну, что! Видите, привелъ!—похвастался я передъ Корженевскимъ, который всетаки имѣлъ такой видъ, точно не вѣрилъ, что все это предпріятіе можетъ кончиться благополучно. Правду сказать, и мнѣ казалось все это маленькимъ чудомъ: недѣли три назадъ, въ Ровно, на мосту Сучковъ набросалъ въ моей записной книжечкѣ нѣсколько линій и

*) Теперь Забалканскій проспектъ.

цифръ. И теперь все это разворачивалось съ такой точностью вотъ въ эту часовенку, лавочку, домъ съ тѣми самыми номерами... И черезъ минуту у насъ окажется свой человѣкъ, землякъ и товарищъ среди этого шумно-грохочущаго человѣческаго океана... А что, если мы позвонимъ, откроется дверь, и чужіе люди скажутъ намъ, что мы ошиблись? Никакого Гриневецкаго нѣтъ. А есть только все чужое, равнодушное, незнакомое. Вотъ только дернуть за звонокъ... Пожалуй, еще разсердятся...

Дверь открылась. Молодая горничная, которую мы приняли за „барышню“, не разсердилась и не удивилась, а равнодушно отвѣтила, что Гриневецкій, Мирославъ Ивановичъ, живетъ здѣсь, но его нѣту дома. „Войдите, можетъ скоро будутъ“.

Въ просторной, но очень безпорядочно обставленной комнатѣ, куда мы вошли, было двое молодыхъ людей. Одинъ сидѣлъ на стулѣ. Далеко протянувъ ноги и закинувъ голову такъ, что видѣлся конецъ носа, онъ безпорядочно и неумѣло тренькалъ на гитарѣ. Другой у окна крутилъ папиросу, кося глаза на какую-то толстую книгу.

Нашъ приходъ не произвелъ на нихъ особаго впечатлѣнія. Гитаристъ еще нѣкоторое время перебиралъ струны, потомъ поднялся.

— Вы, вѣрно, Мирочкѣ будете ты-ываришши?—спросилъ онъ. Лицо у него было почти мѣдно-красное, не совсѣмъ чистое, и говорилъ онъ съ какимъ-то своеобразнымъ акцентомъ на *ы*, точно выдавливая слова.

— Да, мы изъ Ровно.

— Ты-ыварилъ онъ. Ды вотъ укрутило ево. Сами ждемъ.

— Шатъ-атся... долго что-то,—буркнулъ читающій и опять уткнулся въ книгу. Лицо у него показалось мнѣ необыкновенно интеллигентнымъ и серьезнымъ: крупныя черты, тонкіе усики надъ полными губами, раздвоенная бородка и темные густые волосы, закрывавшіе лицо, когда онъ наклонялся надъ книгой. Тогда дымъ папиросы проходилъ черезъ эти волосы, и мнѣ почему-то вспомнилось некрасовское: „студентъ не будетъ посыпать твоихъ листовъ золой табачной“. — „Настоящій, серьезный“,—подумалъ я почтительно.

— Будемъ зныкомы,—сказалъ молодой человѣкъ, тренькавшій на гитарѣ.—Икулинъ, Ардальонъ. Студентъ-технологъ.

— Веселитскій,—сказалъ пріятной грудной октавой другой.

Раздался опять звонокъ, и въ комнату вошелъ Гриневецкій. Это былъ высокій красавецъ, съ золотисто-русскими волосами, падавшими ему на плечи, и большими сѣрыми глазами. Въ

бѣлой ризѣ онъ могъ бы сойти за архангела въ какой-нибудь мистеріи. Такимъ, какъ теперь, въ пледѣ, небрежно кинутомъ на плечи,—онъ походилъ на нѣмецкаго художника времени романтизма. Въ гимназіи онъ шелъ двумя классами впереди меня и считался звѣздой. Я смотрѣлъ на него снизу вверхъ, и теперь меня тронуло открытое радушіе, съ какимъ онъ насъ встрѣтилъ. Впрочемъ, радостное оживленіе тотчасъ же сошло съ его лица, и на немъ проступила забота. Скинувъ пледъ, онъ швырнулъ на постель какой-то свертокъ и зашагалъ по комнатѣ. Ступалъ онъ тихо, не стуча, а какъ-то шлепая по полу пятками. Приглядѣвшись, я убѣдился въ печальной истинѣ: каблуконъ въ сапогахъ вовсе не было, и на полу оставались сырые слѣды.

— Ну-съ, слѣ-ды-вательно, Мирочка?—протянулъ Ардальонъ Никулинъ, глядя на Гриневецкаго вопросительно.

— Слѣдовательно, ни черта! — сердито отвѣтилъ Гриневецкій.

— Ы-ыд-нако?

— Полтора, вотъ тебѣ и однако.

Ардальонъ громко и язвительно фыркнулъ.

— Пх-хы-ы — исто-оря. Да ты-ба, чудакъ, объяснилъ ему: вѣдь только весной выкупили за восемь...

— Онъ говоритъ: носите еще лѣто, и полтинника не дамъ.

— Резонъ,—спокойно сказала Веселитскій. Онъ все читалъ, какъ будто не интересуясь ни разговоромъ, ни послѣдствіями неудачи. А я почтительно догадывался, что Гриневецкій, навѣрное, ходилъ въ кассу ссудъ, носилъ что-нибудь закладывать. Ожиданія обмануты, и теперь они въ безвыходномъ положеніи. Конечно. Можетъ ли быть иначе: студенты, интеллигентные пролетаріи! Еще это, кажется, называется „богема“... Въ Парижѣ есть Латинскій кварталъ... Тамъ тоже наука и нищета живутъ, какъ родныя сестры... Что, если бы...

Я посмотрѣлъ на моихъ новыхъ знакомыхъ. Сносно одѣтъ былъ только Никулинъ. Веселитскій былъ безъ сюртука, одинъ рукавъ рубахи не застегнуть, карманы широкихъ брюкъ надорвались и оттопырились. Я подумалъ, что съ моей стороны, можетъ быть, не было бы дерзостью мечтать о томъ, чтобы примкнуть къ ихъ коммунѣ.

Дѣло это сладилось какъ-то само собой, легко и просто. Компания, дѣйствительно, переживала кризисъ. Въ комнатѣ имъ уже отказали. Она была для нихъ слишкомъ дорога и роскошна. Въ томъ же домѣ освободилось подъ самой крышей помещеніе какъ разъ для четверыхъ, и оно можетъ быть названо великолѣпнымъ литературнымъ словомъ „мансарда“.

За прежнюю квартиру осталось четыре рубля, а у компании ни копѣйки, ни чаю, ни сахару. Гриневецкій заходилъ къ Сучкову, на его прежнюю квартиру, въ четвертую роту, но онъ еще не пріѣхалъ.

Мои семнадцать рублей, оставшіеся послѣ дорожныхъ расходовъ и финансовыхъ операцій Теодора Негри, артиста-декламатора, оказались цѣлымъ богатствомъ. Черезъ полчаса у нихъ весело кипѣлъ самоваръ, на столѣ былъ бѣлый хлѣбъ и колбаса, а подъ вечеръ мы перевезли наши чемоданы прямо въ „мансарду“. Корженевскій къ намъ не примкнулъ. Побѣдивъ свою робость и разспросивъ, какъ это дѣлается, — онъ пустился по Семеновскому полку, читалъ билетки, осторожно подымался по лѣстницамъ, робко звонилъ, вѣжливо торговался и къ вечеру уже нанялъ себѣ дешевую и удобную комнату.

— Ы-ыста-рожный молодой человекъ, — сказалъ Ардальонъ, — блы-ыгаразумный. Уклонился отъ зла и сотворилъ благо...

— Што-шь, — серьезно подчеркнул Веселитскій. — И вѣрно... Съ нами тутъ тоже, братецъ... добра не наживешь.

И онъ махнулъ рукой. Мнѣ очень понравилась эта самообличительная фраза и серьезный тонъ, какимъ она была сказана... Но по существу я, конечно, былъ съ нею не согласенъ и чувствовалъ себя совершенно счастливымъ. Можно ли такъ, сразу устроиться лучше.

Вечеромъ мы уже были на новой квартирѣ. Низкая комната, раздѣленная надвое деревянной переборкой. Небольшія квадратныя окна. Уголь потолка скошенъ, такъ какъ комната подъ крышей.

Мои новые товарищи давно легли, а я стоялъ у окна и смотрѣлъ... Таинственная мутная тьма. Беспорядочные огни: гдѣ-то надъ трубой красный огонь, гдѣ-то свистокъ паровоза, и цѣпочка огней бѣжитъ по равнинѣ... Что окажется днемъ въ этомъ туманномъ хаосѣ изъ темноты, огней и тумана? Конечно, что-то превосходное, необычайное, неожиданное.

Спать мнѣ опять не хотѣлось. Сонъ вытѣснялся почти восторженной радостью. Поэтому я подсѣлъ къ деревянному простому столу и сталъ писать письмо брату. „Да, мнѣ везетъ необычайно. Сразу же я успѣлъ устроиться среди интеллигентныхъ пролетаріевъ, живущихъ, какъ птицы небесныя. Мои новые товарищи — народъ великолѣпный. Гриневецкій нашъ, ровенскій... Только между теперешнимъ Гриневецкимъ и тѣмъ, какого мы знали въ Ровно, отношеніе такое же, какъ между скромнымъ гимназистомъ и типичнымъ студентомъ. Онъ возмужалъ и развернулся. Никулицъ — не особенно привлекателенъ по наружности, но очень своеобразенъ. Много

читалъ по философіи. Цитируетъ Льюиса, а передъ Куно-Фишеромъ преклоняется за то, что этотъ философъ (къ стыду моему и о немъ не имѣю понятія) очень рѣшительно расправляется съ представителями старыхъ системъ.— „Кы-ыкъ онъ яво, братецъ ты мой, двинулъ пы-ы ба-ашкѣ...—говорить онъ своимъ удивительнымъ акцентомъ, — дыкъ только звонъ пышоль!“ . И при этомъ угрюмо фыркаетъ, заливаясь тоже своеобразнымъ смѣхомъ. Но самымъ замѣчательнымъ изъ этой компаніи казался мнѣ Василій Ивановичъ Веселитскій. Онъ костромичъ, сынъ священника, изъ семинаровъ. Уравновѣшенный, спокойный, увѣренный. Говоритъ мало, съ костромскимъ акцентомъ на а (шатѣ-атся, гуля-атъ), серьезно и вѣско. Другіе называютъ его Васькой и слегка надъ нимъ посмѣиваются. Онъ относится къ этому философски, и мнѣ чувствуется въ немъ еще невысказавшаяся, крупная сила, которой суждено когда-нибудь проявиться чѣмъ-нибудь глубокимъ. Онъ постоянно читаетъ, почти не отрываясь отъ книги. Когда мы переносились въ свою новую комнату,—онъ представилъ намъ всѣ хлопоты, а самъ захватилъ только книги, и мы его застали на новой квартирѣ у подоконника, опять за чтеніемъ. Крутить и муслить напросу, а глаза скошены на раскрытыя страницы. Точно онъ вѣкъ живетъ здѣсь и читаетъ. Я заглянулъ въ книгу, когда онъ ненадолго вышелъ въ другую комнату, и удивился: это былъ календарь Германа Гоппе!.. Раскрыто было на отдѣлѣ „Статистика. Пространство и народонаселеніе“. И въ другой разъ: „Санитарныя условія Петербурга“. Тутъ же лежитъ толстая книга „Уложеніе о наказаніяхъ“. Почитаетъ одну, отодвинетъ, заглянетъ въ другую. Углубится, обдумаетъ что-то и опять придвинетъ первую. Надъ этимъ способомъ чтенія другіе посмѣивались, но мнѣ не смѣшно. Еще не такъ давно даже Добролюбовъ и Бѣлинскій казались мнѣ труднымъ чтеніемъ. А вотъ чловѣкъ, который находитъ интересными столбцы цифръ. Статистика! Санитарное состояніе Петербурга! И онъ не только разбирается въ этихъ цифрахъ, но еще находитъ какія-то целозначныя связи между санитарнымъ состояніемъ Петербурга и уложеніемъ о наказаніяхъ. Какая нужна глубина ума, чтобы ихъ постигнуть, уловить и слѣдить за ними!.. Очевидно, этотъ своеобразный умъ идетъ какими-то своими оригинальными путями“.

Письмо я кончилъ поздно. И когда потушилъ свѣчу, то долго еще улыбался въ темнотѣ, подъ храпъ товарищей. Громче всѣхъ храпѣлъ Ардальонъ. За нимъ Веселитскій подхрапывалъ какъ-то особенно солидно, внятно.

Утро было только продолженіемъ того же восторженнаго настроенія. Въ квадратныя окошки искося и игриво заглядывало солнце, и улица вся оглашалась разнообразными и очень музыкальными криками. Тогда петербургскія улицы были гораздо пѣвучѣе, чѣмъ теперь. Звонкій женскій голосъ пѣлъ: „Клюква яг-года, клюква!“ Мужской баритонъ: „То-очить ножи, ножницы, бритвы править!“ Солидная низкая октава тянула что-то длинное и, какъ будто, печальное, кончавшееся словами: „Що-отки половыя“. Наконецъ, горловой голосъ татарина гикалъ кверху, точно орлиный клекотъ: „Хал-лять, хал-лять!“

А когда по улицѣ громоздко пробзжали тяжелые возы, то нашъ домъ весь вздрагивалъ мелкою дрожью и чуть-чуть позванивали стекла. Я знаю: вѣдь это Петербургъ, городъ, построенный на зыбкихъ болотахъ.

Изъ окна характерный видъ петербургской окраины — крыши, пустыри, дворы, заводскія трубы. Надъ деревянными домишками высились каменные громады, виднѣлись полу-круглые резервуары газоваго завода, скучные фасады фабрикъ. Далѣе у горизонта лежала полоса деревьевъ, и на солнцѣ среди нихъ сверкали стѣны церквей. Это было Волково кладбище.

Мнѣ казалось, что все это — и пѣвучіе крики разносчиковъ, и заводскіе гудки, и торопливые свистки паровозовъ на вѣткѣ, соединяющей Николаевскую дорогу съ Царскосельской, — имѣетъ какое-то отношеніе къ моему приѣзду... Все, какъ будто, радуется вмѣстѣ со мною.

VI.

Я увлекаюсь технологіей.

Зданіе института кишѣло, какъ муравейникъ, хотя лекціи еще не начинались.

Въ то время выпускъ за выпускомъ кончали реалисты, и все это хлынуло въ техническія заведенія. Центръ тяжести студенческой жизни замѣтно перетягивался съ Васильевскаго острова къ Измайловскому и Семеновскому подкамъ. Въ одинъ Технологическій институтъ въ тотъ годъ поступило на первый курсъ полторы тысячи человекъ, и вся эта масса еще до 15-го августа наполнила корридоры канцелярій, чертежныя. Земляки назначали здѣсь первыя свиданія, встрѣчались послѣ каникулъ прежніе товарищи, получали письма, записывали адреса, брали въ канцеляріи виды на жительство, занимали мѣста въ чертежныхъ.

Студенческая толпа того времени совершенно не походила на нынѣшнюю. Формы не было. Костюмы были самые разнообразные, но преобладали высокіе сапоги и сѣрые или синія

блузы съ ременными кушаками. Блузы бывали щегольскія, съ расшитыми карманами, въ которыхъ утопали золотыя цѣпочки, и ихъ перехватывали широкіе спортсменскіе пояса. Но большей частью это были блузы простыя, покупаемыя по 60 или 75 копѣекъ въ Александровскомъ рынкѣ, подпоясанныя узкими ремешками. Такъ какъ институтъ былъ въ вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ, то къ этому костюму студенты прибавляли порой фуражки съ зелеными околышами.

Но и безъ этой фуражки студента-технолога можно было узнать на улицѣ. Общій видъ этой студенческой толпы былъ демократическій. Много длинныхъ шевелюръ, очковъ и пледовъ. Падъ всей этой нестротой лицъ, фигуръ, костюмовъ зарисовывался, какъ будто, общій типъ, и я съ радостью ловилъ въ немъ странно-знакомыя черты... Крѣпкій и грубоватый заводскій рабочій, съ интеллигентнымъ лицомъ и „печатю мысли“. Тотъ самый идеальный молодой человекъ, какого я выдумалъ послѣ чтенія Шпильгагена. Герой изъ „Между молотомъ и наковальней“, съ высотъ культуры сходящій въ рабочую среду... Связь двухъ міровъ, рабочій интеллигентъ или интеллигентный рабочій.

Я шелъ съ Гриневецкимъ по корридору, и глаза у меня разбѣгались, восторженно ловя детали этого новаго міра. Гриневецкаго окликнули. Ему протягивалъ руку высокій блондинъ, съ крупными чертами лица и съ ухватками добродушнаго медвѣдя; его сѣрая блуза носила слѣды замытыхъ масляныхъ пятенъ. Онъ крѣпко потрясъ руку Гриневецкаго и сказалъ:

— Здравствуйте. Ну, что, какъ живете? Что дѣлали на канкулахъ?

Гриневецкій слегка покраснѣлъ. Они были вмѣстѣ на первомъ курсѣ. Теперь этотъ русый богатырь перешелъ уже на третій.

— Ничего...—отвѣтилъ Гриневецкій и спросилъ въ свою очередь:—а вы?

— Я ѣздилъ на паровозѣ въ Полѣсьи, съ балластными поѣздами... Для практики.

— Трудно?

— Ничего. Я здоровъ. Сначала кочегаромъ, потомъ помощникомъ машиниста. Интересно.

Около насъ образовался кружокъ. Другіе тоже были на разныхъ „практикахъ“: простыми рабочими, табельщиками, монтерами. „Хожденіе въ народъ“ съ политическими цѣлями тогда еще не началось. Студентовъ принимали охотно, покро-

вительствовали имъ, ничтожныя жалованья увеличивали умѣренными „наградами“. Возвращались студенты съ большимъ запасомъ впечатлѣній и съ небольшими деньгами на первое время. Я жадно прислушивался къ этимъ разговорамъ, отъ которыхъ на меня вѣяло бодростью и вмѣстѣ — отголосками моей мечты.

Все огромное зданіе казалось приспособленнымъ къ выработкѣ именно этого интеллектуальнаго типа, создавало его атмосферу и обстановку. На стѣнахъ таблицы съ чертежами и элементами машинъ. Огромные винты, вычерченные по точно вычисленнымъ кривымъ, рычаги, кривошипы, валы, маховыя колеса, эксцентрики. Изъ цифръ рождаются линіи, изъ линій возникаютъ формы. Вотъ онѣ уже окривляются въ цвѣта чугуна, желѣза и мѣди, облекаются своей металлической плотью, выстраиваются молчаливыми моделями... Воображеніе невольно бѣжитъ дальше, туда, гдѣ онѣ грохочутъ на фабрикахъ, летятъ по рельсамъ. Тяжко и размѣренно дышатъ паровики, взадъ и впередъ движутся поршни, дребезжатъ зубчатки, вѣтеръ летитъ отъ маховыхъ колесъ, поѣзда мчатся по безконечнымъ равнинамъ... И около этой стихіи движутся люди, — сотни тысячъ, огромный, невѣдомый рабочій народъ, загадочнымъ обликомъ котораго заинтересована вся литература...

Все это, конечно, не въ такихъ точныхъ понятіяхъ, общи и смутно, но сильно овладѣвало моимъ воображеніемъ. Огромное зданіе, наполненное говоромъ и шумомъ, смѣхомъ и гуломъ разговоровъ, казалось мнѣ тоже чѣмъ-то вродѣ интеллектуальной фабрики, вырабатывающей поваго человѣка для новой жизни. Образъ адвоката на кафедрѣ, въ черномъ фракѣ, съ выразительными жестами обращающагося къ судьямъ, — какъ-то сразу поблѣднѣлъ въ моихъ глазахъ по сравненію съ колоритной фигурой „технолога“. Почему, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ стать непременно адвокатомъ? Развѣ все, что я здѣсь вижу, чувствую, угадываю, — не интереснѣе? Развѣ не поэма — этотъ переходъ отвлеченной математической формулы въ тяжелую машину, покорную движенію человѣческой воли?.. Тяжелая работа скованной металломъ стихіи... Власть ума надъ бессмысленной силой природы и... неясное, но заманчивое участіе въ стихійной жизни миліонной рабочей массы.

Готовыхъ народническихъ программъ тогда тоже еще не было, но это стихійно носилось въ воздухѣ, возникая изъ общей интеллектуальной атмосферы того поколѣнія.

По корридорамъ, а затѣмъ черезъ дворикъ, гдѣ дымила труба и бойко вылетали шипящія струйки блага пара, Гриневецкій провелъ меня въ мастерскія. Здѣсь работали сту-

денты и простые рабочіе, подъ руководствомъ мастеровъ. Студенты выбирали мѣста и записывались, переговариваясь съ знакомыми по прошлому году сосѣдями. Пахло машиннымъ масломъ, вертѣлись валы, волнуясь, бѣжали въ воздухѣ безконечныя ремни, легко повизгиваль супортъ токарнаго станка. Въ тискахъ видѣлись красиво выпиливаемыя гайки, металлическія формы, возникающія изъ безформенныхъ обрубковъ.

Гриневецкій и тутъ встрѣтилъ знакомыхъ. Пока онъ разговариваль съ ними, я стоялъ въ мастерской, слѣдя за ея своеобразной жизнью. Подъ слитное жужжаніе шкивовъ и движеніе ремней, мое подвижное воображеніе уносилось далеко отъ данной минуты... Еще нѣсколько лѣтъ... Я овладѣю техникой, разработаюсь въ такого же умнаго и крѣпкаго рабочаго, какъ этотъ полѣсскій практикантъ. Живу въ рабочей казармѣ, среди простыхъ, суровыхъ, но добрыхъ людей. Въ свободныя часы читаю имъ умныя книги, говорю о наукѣ, о какомъ-то, теперъ еще и для меня неясномъ, но лучшемъ устройствѣ жизни. Всѣ должны быть равны, всѣ братья... Подходить моя рабочая очередь. Я надѣваю кожаную куртку и становлюсь на площадку паровоза. Перевожу рычагъ. Клокочетъ паръ, стучать и лязгаютъ буфера, тяжело ворочаются колеса. Быстрѣе, быстрѣе. Огромный тяжкій поѣздъ, съ сотнями людей, везущихъ куда-то свои радости и горе, свои надежды и стремленія, летитъ на-встрѣчу буйному вѣтру, поглощай пространство... Гудкій свистокъ кричитъ „прочь съ дороги“ всему, что можетъ быть еще тамъ, впереди... Мелькаютъ мимо разноцвѣтные сигнальные огоньки, столбы, мостики, будки... Деревья, точно скошенные, валятся назадъ, огни деревень вспыхиваютъ по сторонамъ и проваливаются въ сумеречную тьму...

Маленькая станція. Остановка. Дебаркадеръ, освѣщенный фонарями. Машинистъ заботливо осматриваетъ паровозъ, смотритъ манометръ, пробуетъ рычаги. Публика прохаживается въ ожиданіи звонка. Къ паровозу подходитъ нарядная дама объ руку съ важнымъ господиномъ. Это, конечно, она, пренебрегшая тихой, но глубокой любовью скромнаго гимназиста. Съ выраженіемъ празднаго мимолетнаго интереса она заглядываетъ въ будку паровоза... Что-то въ лицѣ загорѣлаго челоуѣка въ кожаной курткѣ привлекаетъ вниманіе дамы, будить неясныя воспоминанія... Но приглядываться некогда. Звонокъ. Они уходятъ. Поѣздъ опять ныряетъ въ темноту ночи. Изъ окна перваго класса задумчиво смотритъ женское лицо. Она и не подозреваетъ, что ихъ жизнь, надежды,

счастье—въ рукахъ этого человѣка въ кожаной курткѣ, тамъ, въ головѣ поѣзда, у пышущей огнемъ тонки паровоза. Вонъ впереди туманное зарево. Огни... Какой-то городъ. Тутъ ихъ дороги расходятся. Она пойдетъ своимъ широкимъ путемъ, къ свѣтлымъ вершинамъ жизни... Его путь не туда... Онъ понесется дальше, въ тьму и ненастье, все впередъ и впередъ, на-встрѣчу невѣдомой новой жизни... И свѣтять ему тамъ, впереди, лишь скромные огоньки убогихъ избъ, гдѣ живутъ въ нуждѣ и горѣ простые и темные люди...

Гриневецкому пришлось сильно дернуть меня за рукавъ, чтобы вернуть къ дѣйствительности изъ дальняго путешествія на паровозѣ. Когда мы вернулись опять въ главный корпусъ,— въ одномъ изъ музеевъ меня поразила новая сцена. Высокій молодой человѣкъ, въ черномъ сюртукѣ и золотыхъ очкахъ, стоялъ среди группы заинтересованныхъ студентовъ и, держа руку на головкѣ какого-то цилиндрическаго чугунаго сооруженія, — рассказывалъ объ его устройствѣ и дѣйствиіи. Видь у него былъ совершенно профессорскій, и я очень удивился, узнавъ, что это только студентъ четвертаго курса. Онъ изобрѣлъ какую-то печку съ специальными техническими цѣлями. Модель ея была изготовлена въ мастерскихъ, и вскорѣ предстояла демонстрація новаго изобрѣтенія...

— Первый поясъ,—говорилъ молодой ученый, глядя безстрастнымъ взглядомъ куда-то поверхъ головъ своихъ слушателей, — соответствуетъ зонѣ подготовленія въ доменной печи... Онъ доходитъ отъ колосниковъ вотъ сюда, приблизительно до одной трети. Второй — зона возстановленія. Здѣсь, какъ извѣстно, углекислота, дѣйствуя на раскаленный уголь...

Я ничего не понималъ въ этой лекціи, но красивая, чисто интеллигентная фигура лектора, съ тонкими чертами и необыкновенно выразительными черными глазами на блѣдномъ лицѣ, въ свою очередь, завладѣвала моимъ воображеніемъ. Въ идеальномъ образѣ моего современника наскоро производились нѣкоторыя усовершенствованія по новому плану. Что, если мнѣ выбрать ученую карьеру?.. Но дальнѣйшій полетъ фантазіи наткнулся тотчасъ же на явную несообразность. Черезъ нѣсколько лѣтъ... Точнѣе—черезъ четыре года... Нѣтъ, совершенно невѣроятно. Мы въ своей гимназіи надъ гниющими прудами учились кое-какъ, безъ одушевленія, безъ искренняго стремленія къ знанію... И опять казался себѣ такимъ маленькимъ и тусклымъ...

Уходилъ я въ этотъ первый день изъ института съ самымъ возвышеннымъ представленіемъ о студенчествѣ и съ

самымъ печальнымъ о себѣ. У самого выхода я столкнулся съ юношей моего возраста, очевидно, тоже повичкомъ. Онъ былъ моего роста, безусый и одѣтъ смѣшно, какъ и я. На немъ была сѣрая шинель, на которой гимназическія пуговицы были спороты и замѣнены черными кожаными. Наши взгляды какъ-то значительно встрѣтились. Казалось, мы оба, какъ въ зеркалѣ, увидѣли другъ въ другѣ свое отраженіе, и оно намъ обоимъ не нравилось. „И этотъ тоже... студентъ!“— прочиталь я собственную мысль въ его недружелюбномъ взглядѣ.

Нѣтъ, никогда мнѣ, кажется, не сдѣлаться настоящимъ студентомъ,—думаль я уныло. Гриневецкій тоже какъ-то померкъ; встрѣчи съ бывшими товарищами напомнили ему о двухъ напрасно ушедшихъ годахъ. На улицѣ моросилъ тонкій пронизывающій дождикъ. Утромъ было тепло, и я вышелъ безъ пальто, въ одномъ лѣтнемъ костюмѣ работы почтеннаго ровенскаго Шимка. Пиджачекъ букетиками промокъ и облилъ на мнѣ, какъ тряпка. Я проклиналъ его. Мнѣ вспомнились патетическія слова Гейне о нанковыхъ панталонахъ... „Молодой человѣкъ сидитъ и спокойно пьетъ кофе, а между тѣмъ въ широкомъ, отдаленномъ Китаѣ растетъ и цвѣтетъ его гибель. Тамъ она придется и ткется и, не смотря на высокую стѣну, находитъ дорогу къ молодому человѣку. Онъ принимаетъ ее за пару нанковыхъ панталонъ, беззаботно надѣваетъ и дѣлается несчастнымъ“. Такъ и я беззаботно надѣлъ въ Ровно этотъ костюмъ, и съ тѣхъ поръ всѣ замѣчаютъ прежде всего, что я смѣшонъ. Точно онъ спитъ съ заклятіемъ: дѣлать изъ своего обладателя мокрую курицу, мѣшать превращенію жалкаго ровенскаго гимназиста во взрослого и „типичнаго“ петербургскаго студента...

Въ этотъ или одинъ изъ ближайшихъ дней мы съ Гриневецкимъ шли въ Александровскій рынокъ за какими-то покупками. Теплый дождь опять поливалъ насъ на первой ротѣ, на Фонтанкѣ, на Вознесенскомъ. Я опять чувствовалъ себя мокрой курицей, когда на-встрѣчу намъ попался Зубаревскій. Я полюбилъ эту фигуру и встрѣтилъ его, точно родного. Онъ былъ все въ томъ же заношенномъ, рыжемъ пальтишкѣ. Оно тоже обмокло и тоже облипло на плечахъ, а съ некрасиво обвисшихъ полей его шляпенки стекали капли дождя. Но онъ не замѣчалъ этого. Онъ весь былъ поглощенъ разговоромъ съ какимъ-то товарищемъ, и оба они шли подъ дождемъ такъ царственно-беззаботно, точно не было ни дождя, ни шляпающихъ лужъ, ни облипшихъ пальтишекъ, ни смѣшныхъ промокшихъ шляпеночъ. Я радостно поздоровался съ

нимъ и нѣкоторое время съ восхищеніемъ смотрѣлъ ему вслѣдъ... Вѣдь вотъ и онъ плохо одѣтъ и несколько не подходитъ къ эстетическому типу студента. Но, очевидно, совершенно свободенъ отъ угнетающаго меня чувства. Почему это? Потому, что совѣмъ не думаетъ о виѣшности... Да, и мнѣ нужно забыть о виѣшности и думать только о важномъ, добиваться того, что составляетъ сущность этой новой жизни.

Около одной лавченки или даже, кажется, лотка Гриневецкій остановился и сказалъ:

— Знаешь что: купи себѣ технологическую фуражку.

Мы купили ее за полтинникъ. Торговецъ завернулъ въ бумагу мою мокрую шляпу, а я надѣлъ на голову фуражку съ зеленымъ околышемъ. „Не надо бы и этого“ — подумалъ я про себя, но не устоялъ противъ соблазна: видно все-таки, что и я принадлежу къ великой корпораціи, а тамъ — какъ кому угодно. Потомъ мы купили еще удобную и дешевую сѣрую блузу, кажется, за 75 копѣекъ. Послѣ этого я уже не помню, чтобы меня тяготилъ вопросъ о костюмѣ...

VII.

Легкое увлеченіе въ сторону.

До начала серьезныхъ занятій прѣѣзжая молодежь цѣлыми стадами бродила по Петербургу. Знакомились со столицей, разыскивали товарищей, при чемъ каждая встрѣча за гранью привычной жизни казалась особенно интересной и значительной... Заходили во дворы-колодцы, поднимались по лѣстницамъ, врывались въ меблированные комнаты, наполняя ихъ шумомъ и преувеличенной развязностью новичковъ, раздражающихъ опытнымъ старожиламъ. Толкались по панелямъ освѣщенныхъ улицъ, завязывали случайныя знакомства, кое-гдѣ нарывались на легкіе скандалы и съ гордостью рассказывали объ этомъ другъ другу...

Однажды громкимъ стукомъ въ двери запертаго номера (въ знаменитомъ домѣ Яковлева на Садовой), — гдѣ жилъ товарищъ Залуцкій, — мы заставили открыть ихъ. Залуцкій открылъ, неодѣтый, немного сконфуженный и испуганный. У ширмы, загораживавшей постель, стояла пара женскихъ ботинокъ... Черезъ четверть часа номерной подаль самоваръ, принесъ булокъ, и вся компанія, шумно переговариваясь, пила чай, который разливала наскоро одѣвнящаяся случайная хозяйка съ улицы...

Это была грязь и безстыдство, но безстыдство какое-то непосредственное, открытое, почти несознанное. Въ немъ не было рефлексіи, оно скользило, не затрогивая совѣсти. Тогда

не было анкетъ по этому вопросу среди учащейся молодежи. Взрослые, по большей части, говорили съ юношами объ этихъ предметахъ просто, какъ объ обычныхъ житейскихъ дѣлахъ или еще хуже: съ циническимъ юморомъ, а въкоторые учителя совершали съ только что окончившими гимназистами самыя рискованныя эскурси. Еще недавно этимъ юношамъ нельзя было курить. Это воспрещалось гимназическими правилами. Теперь учитель либерально протягивалъ юношѣ портсигаръ... Гимназическое правило исчезло. Другого „правила“ въ глазахъ „средняго мужчины“ не было... И юноши спѣшили пользоваться свободой... Самое большее, что у насъ было — это инстинктивная стыдливость, безсознательный остатокъ семейныхъ влiяній...

Только впоследствии, когда въ студенческую среду хлынуло такъ называемое „движеніе“, оно, царяду съ общественной нравственностью, затронуло и расшевелило смежные вопросы личной морали.

Въ одинъ изъ ближайшихъ вечеровъ цѣлой компаніей мы отправились въ танцклассъ господина Марцинкевича. Это почтенное учрежденіе, хотя подъ другимъ названіемъ, существуетъ, кажется, и въ настоящее время на томъ же мѣстѣ — на углу Гороховой и Фонтанки. Подъвздъ его, освѣщенный электричествомъ, такъ же торжественно обтянутъ полосатымъ тикомъ.

За входъ брали тогда дешево, что-то около 30 копѣекъ, но тщательно слѣдили, чтобы костюмы „гостей“ были приличны. Впрочемъ, приличіе понималось довольно широко. Для студентовъ дѣлалось исключеніе. Не допускали, помнится, только высокихъ сапогъ...

Мы пришли еще сравнительно рано. По ярко освѣщеннымъ заламъ бродили великолѣпныя, какъ мнѣ показалось, дамы, и я былъ очень удивленъ, когда одна изъ нихъ безъ церемоніи усѣлась на колѣни къ незнакомому Гриневецкому. Это была совсѣмъ еще молоденькая блондинка, съ шрамомъ на лицѣ, который придавалъ странную оригинальность ея почти дѣтскимъ чертамъ.

Манеры у нея были, точно у красиво-ласковой кошечки, она слегка картавила и безъ церемоніи звала „красавчика студента“ къ себѣ на Большую Гребецкую.

Гости начипали съѣзжаться, становилось шумнѣе. Къ намъ подошелъ и, поздоровавшись съ Гриневецкимъ, усѣлся рядомъ на стулѣ молодой человекъ, одѣтый съ небрежнымъ изяществомъ. Съ Гриневецкимъ онъ заговорилъ по польски,

съ пѣвучимъ варшавскимъ акцентомъ. Въ тѣ годы въ Технологическомъ институтѣ было много студентовъ-варшавянъ.

Въ аудиторіяхъ то и дѣло перелетали звонкія польскія фразы, выдѣлявшіяся на фонѣ русскаго говора, какъ и „культурныя“ фигуры поляковъ на сѣромъ фонѣ русскаго студенчества.

Они лучше одѣвались, и въ ихъ манерахъ сквозилъ особенный варшавскій шикъ, пренебрежительно щеголеватый. Подонедшій къ намъ студентъ являлся даже нѣсколько превеличеннымъ выраженіемъ этого варшавскаго типа. У него была лѣнивая походка, черные волосы съ проборомъ à la Sarouf красивыми кольцами спускались на лобъ. Легкая полупрезрительная улыбка какъ будто застыла на губахъ, въ уголкѣ которыхъ онъ держалъ большую сильно обкуренную сигару... Онъ тотчасъ заговорилъ съ дѣвушкой. Самъ не сказавъ ни одного грубаго слова, онъ очень комично вызывалъ ее на двусмысленности и даже не смѣялся, а только поощрялъ ее съ ласковымъ пренебреженіемъ. Отъ нечего дѣлать, онъ игралъ съ нею, какъ съ зайитной кошкой или комнатной собачонкой. Но вдругъ, среди разговора вскинулъ пенснэ и заинтересованно повернулся къ дверямъ.

Въ залъ входила новая пара. Какой-то плотный господинъ въ штатскомъ вель подъ руку молоденькую дѣвушку. Въ немъ можно было угадать не то крупнаго коммерсанта, не то виднаго чиновника, привыкшаго властвовать и приказывать. Лысый черепъ, крупная нижняя челюсть, толстая красная шея, сильно нафабранные усы и выраженіе грубой надменности въ лицѣ придавали этой крупной банальной фигурѣ что-то непріятное, но вмѣстѣ дѣлали ее раздражающе замѣтной. Ею дама была одѣта съ бьющей въ глаза роскошью. На ней было свѣтло-розовое шелковое платье, съ бѣлой мѣховою оторочкой кругомъ глубокаго декольте. Прекрасное лицо полу-ребенка, каштановые волнистые волосы, слегка надменное выраженіе, — все показалось мнѣ обаятельно-чистымъ, свѣжимъ и невиннымъ. Въ груди шевельнулось что-то, — смутное сходство, волнующее воспоминаніе. Я наклонился къ Гриневецкому и сказалъ тихо:

— Послушай, Мирочка... Здѣсь, значить, бываютъ и порядочныя женщины.

Полякъ, сидѣвшій по другую сторону Гриневецкаго, поправилъ пенснэ и комично приподнял бровь.

— Неофитъ?— тихо спросилъ онъ у Гриневецкаго. — A to dopiero smieszny facetus z tego pana (какой смѣшной господинъ).

Но тотчас же, очень вѣжливо повернувшись прямо ко мнѣ, сказали:

— Это, если вамъ угодно знать, — Галька изъ Влодавы. Я зналъ ее еще въ королевствѣ. Галька, Галечка, Галина!

И, глядя въ упоръ на подходящую къ намъ пару, — онъ сказалъ, не повышая и не понижая голоса:

— Знаете, зачѣмъ она сюда явилась? Чтобы показать своего... вотъ этого... И чтобы вотъ такія бѣдняжки (онъ съ презрительной безцеремонностью взялъ за подбородокъ свою молоденькую собесѣдницу) завидовали ей шелковому платью... А? Что, неправду я говорю?..

— Ишь... фигурируетъ, — съ нескрываемою завистью сказала дѣвушка...

Господинъ сдѣлалъ видъ, что не слышитъ. Красивая головка его дамы вскинулась еще надменнѣе...

И они прошли дальше, привлекая общее вниманіе...

Въ этомъ вниманіи, повидимому, было что-то особенное, вызывавшее легкое безпокойство. Господинъ, поворачивая назадъ, что-то шепнулъ своей дамѣ. Она „покраснѣла“ и чуть замѣтно кивнула головой... Повидимому, они рѣшили уѣхать...

Когда они поровнялись опять съ нашими стульями, студентъ вынулъ изо рта свою сигару, посмотрѣлъ на нее, какъ будто, съ сожалѣніемъ и вдругъ неожиданнымъ движеніемъ бросилъ передъ собой, какъ бы не замѣчая проходящихъ. Дама испуганно вскрикнула. Мелькнувъ въ воздухѣ, сигара ударилась въ приподнятый вѣеръ. Горячая зола просыпалась на обнаженное плечо и за корсажъ. Дама выдернула свою руку изъ-подъ руки кавалера и побѣжала въ уборную.

Все это сдѣлалось такъ быстро, что ея кавалеръ не сразу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Онъ оглянулся съ недоумѣніемъ на смѣющихся кругомъ гостей и потомъ повернулся къ студенту... Молодой человѣкъ сидѣлъ, какъ ни въ чемъ не бывало, все въ той же позѣ, съ протянутыми впередъ ногами и даже заложивъ руки въ карманы. Господинъ посмотрѣлъ на него съ тупо-недоумѣлымъ бѣшенствомъ... Мгновеніе казалось, что этотъ грузный человѣкъ обрушится на своего изящнаго некрупаго противника. Но вдругъ онъ повернулся и пошелъ на-встрѣчу дамѣ, которая вышла изъ уборной, закрывая платкомъ заплаканное лицо. Онъ подаль ей руку, и они прошли по залу среди наглаго хохота, свиста, циничныхъ замѣчаній и ругательствъ... Въ залу вбѣжалъ полный господинъ во фракѣ, самъ Марцинкевичъ или его управляющій, и, тревожно оглядываясь, говорить:

— Господа, господа... Пожалуйста, у насъ приличное заведеніе... Скандаловъ дѣлать нельзя... Господа, прошу покорно...

Съ эстрады, по его знаку, грянулъ ригурнель... Танцоры кинулись приглашать дамъ и занимать мѣста. Публика отхлынула къ танцующимъ, и черезъ минуту въ залѣ начался бѣшеный, невиданный, невообразимый шабашъ. Наемные канканеры сразу и, вѣроятно, нарочно взяли самый разнузданный темпъ. Взлетали кверху ноги и извивались туловища, подымались кверху и вѣяли въ воздухѣ юбки. Мужчины, нарумяненные женщины, красивыя дѣвушки, почти подростки бѣшено кружились, налетали другъ на друга съ циническимъ хохотомъ. Хлестали по воздуху отвратительныя взвизгиванія, дрожало пламя лампъ, звенѣли стеклянными подвѣски канделябръ, оркестръ скакалъ въ какомъ-то бѣшенствѣ, подхлестывая изступленныхъ людей. Съ лѣстницы входили полицейскіе, встрѣченные хохотомъ, свистками, мяуканіемъ. Оскорбленный студентомъ господинъ шелъ вмѣстѣ съ ними, оглядываясь по сторонамъ и впиваясь въ толпу гнѣвно выпученными глазами. Между тѣмъ, въ сосѣдней залѣ закипалъ новый скандалъ. Какой-то невзрачный господинъ, похожій на простого русскаго приказчика, выпившій и верткій, какъ обезьяна, кинулъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ въ цилиндръ высокаго, прямого, какъ палка, господина, который одиноко фланировалъ по заламъ, держа цилиндръ назади. Монеты громко звякнули, а когда господинъ рѣзко повернулся, онѣ покатались по полу. Для г-на Марцинкевича выдался тревожный вечеръ. Опять смѣхъ, крики, свистки...

Мы, нѣсколько новичковъ, инстинктивно собрались около Гриневецкаго, который оглядывался съ характерной озабоченностью въ выразительно выпуклыхъ глазахъ.

— Пойдемъ, господа... Будетъ огромный скандалъ. А этотъ франтъ, Лазовскій, чортъ бы его побралъ, сидѣлъ съ нами...

Мы торопливо спустились внизъ, когда наверху появилась фигура Лазовскаго. Тамъ, въ залахъ, его разыскивали, а онъ стоялъ на площадкѣ, такой же щеголеватый и презрительно спокойный. Не торопясь, онъ раскуривалъ сигару отъ спички, которую ему почтительно подаль официантъ. Закуривъ, онъ сталъ тихо спускаться по ступенямъ, между тѣмъ какъ швейцаръ торопливо снималъ съ вѣшалки его пальто.

Безконечный дождь тихо моросилъ съ мутнаго неба, закрытаго мгlistымъ заревомъ фонарей. Къ освѣщенному подъѣзду подкатывали рысаки и извозчики. Щеголеватые го-

спода подавали руки дамамъ, которыя, поддерживая шлейфы, соскакивали съ пролетоѣ и быстро вбѣгали въ переднюю. Подходили студенты, мелкіе чиновники, приказчики, дѣвушки съ улицы. Все поглощалось освѣщеннымъ вестибюлемъ и подымалось на лѣстницу въ залъ, гдѣ гремѣла музыка, чтобы заглушить и потопить разыгравшіеся скандалы.

Для меня на первое время все это было слишкомъ сильно. Въ душѣ стояла какая-то муть. Наглая музыка. Обиліе женщинъ. Ихъ цинизмъ и открытая доступность. Вихрь канкана... Жуть смутнаго воспоминанія, печаль о женскомъ образѣ, застилаемая ядовитой мглой чувственныхъ впечатлѣній, — все это еще кружилось въ душѣ, какъ темный иль на днѣ омута... Потомъ всего яснѣе и устойчивѣе сталъ выдѣляться изъ этого хаоса образъ Лазовскаго, съ его красиво-сдержанной наглостью и спокойнымъ цинизмомъ. Лицо съ черными кудрями на лбу и холоднымъ взглядомъ, будто, вырѣзалось среди слякотной тьмы, и предательское воображеніе уже пыталось накинуть на него покровъ идеализирующаго романтизма. Конечно, это было жестоко. Въ моей памяти встало на мгновеніе молодое женское лицо, искаженное стыдомъ, обидой и физической болью... И мнѣ стало до боли жалко... Но почему онъ сдѣлалъ это? Гдѣ-то тамъ, у себя, онъ встрѣчалъ эту дѣвушку? Былъ влюбленъ? Мечталъ? Разстался, мечталъ? И теперь встрѣчаетъ ее подъ руку съ этимъ наглецомъ, русскимъ чиновникомъ. Вотъ почему онъ бросилъ сигару. Любовь, выродившаяся въ гнѣвное презрѣніе. И какъ онъ это сдѣлалъ! Мысль, какъ молнія, и движеніе, какъ молнія. И какое самообладаніе, когда этотъ сильный человекъ повернулся къ нему. Ни одного жеста, ни движенія бровью.

И... нужно признаться. Это было не на долго, но все же воображеніемъ моего современника начиналъ овладѣвать на время образъ танцъ-класснаго мѣфистофеля, съ такой красивой небрежностью устраивающаго скандалы съ романической или тенденціозной подкладкой... Местъ за поруганную любовь... Преслѣдованіе торжествующей пошлости въ жанрѣ „М-г Батманова“ (героя повѣсти Писемскаго).

Мой современникъ стоялъ на раздорѣ съ воображеніемъ, богатымъ отъ природы и развитымъ преждевременнымъ чтеніемъ. Никто еще, кажется, не обращалъ достаточно вниманія на это вліяніе литературы. Своей критикой и своими летучими образами она разрушаетъ въ поколѣніяхъ душевную цѣльность, созданную въ данныхъ условіяхъ. И лишеныя старой цѣльности молодыя души ищутъ другой, новой, стремятся сложиться по новому, еще только угадывае-

тому будущему типу. А въ это время молодая душа легко порывается вслѣдъ за всякой, поражающей ее чужой непосредственностью и силой...

Впрочемъ, это маленькое влеченіе въ сторону держалось только на разстояніи отъ Семеновскаго моста до Малаго Царскосельскаго проспекта. На чердачкѣ номеръ 12 оно погасло.

VIII.

Чердакъ № 12, его хозяева и жильцы.

Впослѣдствіи, когда розовый туманъ, застилавшій мои глуше глаза, разсѣялся, смѣнившись ощущеніемъ разочарованія и безвкусицы, нѣсколько прочныхъ свѣтлыхъ образовъ всетаки остались въ памяти отъ этого года. Въ числѣ ихъ я храню благодарное воспоминаніе о нашей мансардѣ вообще и объ ея хозяевахъ: Ѳедорѣ Максимовичѣ и Маврѣ Максимовнѣ Цывенкахъ, въ частности.

Онъ былъ типичный николаевскій солдатъ съ характерными николаевскими усами, переходившими въ бакены. Когда, собираясь на ежедневную службу въ „ланбартъ“ на Казанской, онъ надѣвалъ свой долгополый мундиръ съ тугимъ воротникомъ, то лицо его краснѣло, а усы щетинились необыкновенно сердито, даже грозно. Но, въ сущности, это былъ молчаливый добрякъ, совершенно подчинившійся своей суиругѣ.

Мавра Максимовна была „изъ шпитонокъ“. Въ раннемъ дѣтствѣ изъ воспитательнаго дома она была отдана въ финскую деревню, въ которой и усвоила на всю жизнь характерный русско-финскій жаргонъ. Ѳедоръ Максимовичъ у нея каждый день уходила въ должность, а кошка лакала молоко и выскакивала на крышу. Это придавало ея рѣчи наивно-дѣтскій оттѣнокъ, да и вся она была похожа на толстаго крупнаго ребенка. Человѣкъ служивый и пенсіонеръ, Ѳедоръ Максимовичъ, будучи уже въ почтенномъ возрастѣ, взялъ безродную сиротку „за красоту“, и жизнь ихъ текла необыкновенно мирно. Онъ называлъ ее не иначе, какъ Мавра Максимовна, и обращался на вы, а она его попросту Цывенко или „мой Цывенко“ и говорила ему ты. Онъ съ утра наряжался, принималъ строгій видъ и уходилъ на службу, а она приступала къ стряпнѣ. Стряпня, впрочемъ, не занимала много времени: Мавра Максимовна раза два въ недѣлю варила въ большомъ горшкѣ кусокъ мяса съ костью, и этотъ наваръ служилъ на нѣсколько дней, превращаясь то въ щи, то въ супъ, то въ лапшовникъ. Отъ него въ квартирѣ стоялъ густой характерный запахъ калусты и свѣчнаго сала.

Затѣмъ въ маленькой комнаткѣ хозяйевъ начинала стучать машинка. И стучала долго, ровно, съ короткими перерывами, въ теченіе дѣлныхъ часовъ. Это Мавра Максимовна прирабатывала въ добавокъ къ пенсіи и жалованью мужа шитьемъ больничныхъ балахоновъ по 6 копѣекъ за штуку. Въ серединѣ дня по всей квартирѣ разносился запахъ цикорнаго кофе; заходила какая-нибудь сосѣдка, чтобы за чашкой сообщить послѣднія новости нашей лѣстницы. Потомъ опять начинался стукъ машинки. Часовъ въ шесть Мавра Максимовна откладывала работу и собирала обѣдъ въ той же комнаткѣ. Когда раздавался звонокъ, ея круглое лицо озарялось такой радостью, точно ся Цывенко возвращался изъ опаснаго далекаго путешествія. Они обѣдали, отдыхали полчаса за пологомъ, а потомъ сѣли за работу уже вмѣстѣ. Она продолжала сметывать балахоны, а онъ, вооруживъ вздернутый кверху носъ роговыми очками, ковырялъ толстой иглой штаны изъ необыкновенно грубаго богадѣннаго сукна... Потомъ пили чай и играли въ дурачки. Въ это только время мы и слышали иногда голосъ Цывенки: это бывало какое-то радостное курлыканіе, когда ему удавалось выиграть. По онъ больше проигрывалъ, и потому чаще слышались звонкія, наивно радостныя восклицанія Мавры Максимовны. Казалось, Цывенко былъ все еще влюбленъ въ свою молодежавую толстуху. Онъ подчинялся ей вполне и безпрекословно, но она съ бессознательнымъ женскимъ лукавствомъ дѣлала видъ, что онъ ея повелитель, и что она его боится.

— Вотъ, ужо... какъ прикажетъ мой Цывенко, — говорила она совершенно серьезно...

Дѣтей у нихъ не было, и это являлось постояннымъ источникомъ общей ихъ печали. Неизрасходованный запасъ материнства свѣтился на лицѣ Мавры Максимовны трогательнымъ выраженіемъ жалости и грусти. Она изливала его на мужа, на кота Ваську и даже на насъ, ея случайныхъ жильцовъ. Порой у Мавры Максимовны бывали заплаканы глаза, а у Ѳедора Максимовича сдвигались необыкновенно длинныя и густыя брови. Мы знали, что это значитъ: мы долго не платимъ денегъ за квартиру, и супругъ-повелитель находилъ, что намъ надо бы отказать. За то когда, при первой возможности, мы уплачивали все или хоть часть долга, лицо Мавры Максимовны озарялось гордымъ торжествомъ, а Цывенко нѣсколько дней сконфуженно и виновато косилъ глаза.

Ходъ въ нашу комнату былъ черезъ кухню и маленькую спальню хозяйевъ, служившую и столовой, и мастерской, и гостиной. Ложились они рано, а мы часто приходили и уxo-

дили поздно. На звонокъ подымался Федоръ Максимовичъ. Кажется, даже не давая себѣ труда проснуться, онъ отодвигалъ задвижку входныхъ дверей и ложился опять. Пробравшись черезъ темную и тѣсно заставленную кухонку, мы проходили затѣмъ мимо спящихъ супруговъ. У большого кота теплилась лампадка, кидая свѣтъ на широкое супружеское ложе, задернутое занавѣской, такъ что были видны только головы. Съ краю виднѣлось щетинистое лицо Цывенка, дальше улыбалось во снѣ круглое, какъ луна, лицо Мавры Максимовны... И мнѣ всегда казалось, что это дѣйствительно лежать два ребенка, чистые сердцемъ и совершенно чуждые шумно-грохочущей и сложной жизни большого города.

Иной разъ входная дверь въ кухонку при открываніи оказывала нѣкоторое сопротивленіе. Приходилось открывать ее съ усиленіемъ и постепенно, чтобы не нанести увѣчья еще одному жильцу Цывенковъ. Это былъ „художникъ“ Кузьма Ивановичъ, тоже изъ шпитонцевъ, существо очень жалкое, тщедушное, съ разбитой грудью и слезящимися глазами. Онъ жилъ, собственно, на большомъ сундукѣ, помѣщавшемся между печкой и дверью, и порой, протянувшись, упирался ногами въ дверь. На сундукѣ онъ ночью спалъ, а днемъ устраивалъ мастерскую. Работа его состояла въ раскрашиваніи ламповыхъ абажуровъ. Для этого онъ разводилъ на блюдечкѣ акварельныя краски, бралъ лѣвой рукой абажуръ и механически поворачивалъ его около оси. А правая рука такъ же механически кидала въ разныхъ мѣстахъ мазки кисти. Такъ онъ послѣдовательно бралъ на кисть розовую, красную, потомъ зеленую и коричневую краски, и въ нѣсколько оборотовъ па абажурѣ изъ беспорядочныхъ пятенъ образовывался красивый вѣночекъ. Кузьма Ивановичъ отодвигалъ абажуръ, смотрѣлъ на него слезящимися слабѣющими глазами, и на его желтомъ лицѣ мелькало мгновенное выраженіе художественнаго удовольстворенія... Затѣмъ онъ бралъ другой абажуръ и задумывался: какой теперь пустить колеръ и какіе вывести цвѣты: опять розу, или пустить незабудочекъ съ фіалкой...

Когда я порой слѣдилъ за его работой и удивлялся ея быстротѣ и точности, на лицѣ Кузьмы Ивановича являлась улыбка тихаго довольства.

— Нѣтъ... что же-съ, помилуйте,—говоритъ онъ скромно,—такъ ли еще мы работали-съ?.. Глаза слабѣють-съ. Слеза бьетъ.

Онъ былъ тоже изъ „шпитонцевъ“ и Маврѣ Максимовнѣ приходился „молочнымъ братомъ“, а такое братство у этого своеобразнаго петербургскаго сословія замѣняетъ всякія ниня

степени родства. Жилецъ онъ, конечно, былъ не особенно выгодный, и его держали именно „по родственному“. Считалось, что онъ платитъ только „за уголь“, но Мавра Максимовна понемногу прикармливала его, какъ будто тайно отъ Цывенка. Послѣдній дѣлалъ видъ, что этого не замѣчаетъ.

По праздникамъ Цывенки устраивали игру „въ короли“, въ которой порой участвовалъ я или Веселитскій. Приглашали также и Кузьму Ивановича. Онъ покорно выиолзалъ изъ своего угла, запахивался, извинялся, бралъ дрожащими руками карты. Но игра, видимо, доставляла ему только страданіе. Особенно, когда ему начинало везти... Однажды, сдѣлавшись „королемъ“, онъ сконфузился такъ сильно и мучительно, что Мавра Максимовна его пожалѣла:

— Эхъ, ты, бѣдовая... Ну, иди, иди, Богъ съ тобой: король! Пропусти его, Каролинъ Ивановичъ. Видишь: стыдится она.

Каролиномъ Ивановичемъ добрая женщина прозвала меня послѣ напрасныхъ попытокъ заучить мое трудное имя и отчество...

— А какой человѣкъ была! — съ безцеремонной жалостью прибавила Мавра Максимовна. — Все водочка-матушка... Все онъ, проклятый... Никуда ты, Кузя, не годишься. Даже въ карты играть.

Мнѣ этотъ бѣдняга казался интереснымъ. Мнѣ казалось, что онъ могъ бы рассказать что-то глубоко-печальное и значительное. Но онъ былъ очень неразговорчивъ. Даже за работой, около своего сундучка, гдѣ онъ чувствовалъ себя наиболѣе свободно, онъ сообщалъ только отрывочныя свѣдѣнія, лишеныя всякой связи и значенія...

— А у насъ,—говорилъ онъ, поворачивая въ рукахъ абажуръ,—на такой-то мануфактурѣ мастеръ былъ... Такъ у него, позвольте сказать, носъ былъ красный... Вотъ до какой степени: карминъ съ баканомъ-съ... Ей-Богу, не вру-съ... хэ-хе-хе... съ добавленіемъ еще берлинской лазури-съ...

Онъ начиналъ тихо смѣяться, но даже смѣяться не умѣлъ. Смѣхъ переходилъ въ хрипоту и кашель...

— Эхъ, Кузя, Кузя,—говорила Мавра Максимовна,—молчи ужъ... Скажи лучше, гдѣ пропадалъ три дня?

— На Петербургской сторонѣ-съ,—покорно отвѣчалъ Кузя, откашлявшись.

— Въ части, небось, ночевалъ?

— Въ части-съ, Мавра Максимовна. На другой день отпустили-съ... Меня потому что знаютъ-съ...

Однажды, приди съ лекцій, я засталъ Кузьму Ивановича

въ необычномъ настроеніи. Онъ былъ „вынивши“, держался развязно и съ какимъ-то особеннымъ самодовольствомъ. Говорилъ много, не капляя и не запахивая сюртучишка, хватая своими талантами и успѣхами, Цывенка снисходительно хлопалъ по плечу, но не скрывалъ отъ него, что онъ „Маврушѣ не пара“. Около Мавры Максимовны ходилъ пѣтушкомъ, подбоченясь и многозначительно подмигивая. Цывенко немного хмурился, но не говорилъ ничего. Мавра Максимовна покатывалась отъ смѣха...

Вечеромъ того же дня я поздно возвращался домой. Было темно и ненастно. Фонари стояли въ мгlistыхъ нimbахъ, лужи шевелились на свѣту, какъ живыя, отъ капель дождя. Самой середной нашего переулка шелъ пьяный человѣкъ и, пошатываясь, надтреснутымъ, но громкимъ голосомъ пѣлъ какую-то финскую пѣню... Я узналъ въ немъ нашего Кузьму Ивановича...

Сзади послышался грохотъ колесъ. Ъхалъ извозчикъ съ какимъ-то грузнымъ сѣдокомъ, уткнувшимся въ воротникъ шинели... Извозчикъ крикнулъ: „берегись!“ Кузьму Ивановича качнуло, и онъ чуть не попалъ подъ лошадь... Нимало этимъ не смутившись, онъ сталъ въ величавую позу и громко на всю улицу продекламировалъ:

— Дур-ракъ ѣдетъ на скотинѣ,
А мудрецъ пѣшкомъ идетъ...

„Дуракъ, ѣхавшій на скотинѣ“ тотчасъ соскочилъ съ прорезки и, схвативъ художника за шиворотъ, крикнулъ городового. Напрасно я и еще какой-то проходившій студентъ просили этого господина отпустить бѣднягу, указывая, что вѣдь онъ пьянъ и не знаетъ, кого оскорбляетъ. Господинъ не отвѣчалъ, даже не глядѣлъ на насъ, и пустая улица оглашалась его громкимъ ревомъ: „Гор-ро-да-авой! Гор-ро-да-авой!“

Стали подходить прохожіе... Отъ часовенки бѣжалъ, придерживая саблю, полицейскій, явились два дворника, а нераскаянный Кузьма Ивановичъ стоялъ, разставивъ ноги, покачиваясь съ глуповато-горделивой улыбкой и громко вторяя:

— Дур-ракъ ѣдетъ на скотинѣ,
А мудрецъ пѣшкомъ идетъ...

И при словѣ „мудрецъ“ тыкалъ себя въ грудь указательнымъ пальцемъ...

Господинъ далъ свою карточку (при видѣ которой полицейскій вытянулся, точно въ столбикъ), и Кузьму Ивановича повлекли, не смотря на наше заступничество, въ участокъ. Зрители медленно разбрелись... Улица опустѣла...

Съ этихъ поръ художника мы уже болѣе не видѣли... Мавра Максимовна плакала и посылала Цывенка за справками... Послѣ многихъ хлопотъ и вечернихъ хожденій по разнымъ мѣстамъ, Цывенко принесъ печальное извѣстіе: художникъ отъ неизвѣстной причины въ участкѣ умеръ, и уже похороненъ въ безыменной могилѣ, на Волковомъ...

Мавра Максимовна всплакнула, утирая слезы оборотными сторонами своихъ пухлыхъ рукъ... Цывенко снесъ въ магазинъ нѣсколько оставшихся абажуровъ; и на полученныя деньги супруги заказали панихиду въ сосѣдней церкви Миронія на Обводномъ...

„Уголь“ опустѣлъ. Но тѣнь художника, казалось, еще нѣкоторое время витала въ квартиркѣ, и по вечерамъ я такъ же осторожно открывалъ дверь, чтобы не задѣтъ Кузьму Ивановича на его сундукъ...

Была въ нашей квартиркѣ, кромѣ злополучнаго художника, и еще одна тѣнь, принимавшая для меня живыя, почти ошутительныя формы. Года за два до насъ половину нашей комнаты за перегородкой занималъ какой-то рабочий. Отъ него Цывенкамъ осталась клѣтка съ канарейкой. Каждый разъ, когда Мавра Максимовна замѣчала ее, она сообщала что-нибудь о бывшемъ жильцѣ...

— Чюдачокъ тоже была,—говорила она съ тихой улыбкой, какъ и при воспоминаніи о Кузѣ. — Ну, не пьяница. Нѣтъ. Капли въ ротъ не брала... Придетъ съ работы, сейчасъ кинареечку кормить... Клѣточку чистить... И вотъ чюдное дѣло, Каролинъ Иванычъ, — какъ эта кинареечка его зналъ: свиснетъ, дверку откроетъ, она ему на плечо... Чивикъ, чивикъ... Черезъ книжки пропала она...

— Какъ черезъ книжки, Мавра Максимовна?

— Книжки много читалъ.

— Такъ что же, Мавра Максимовна? Вѣдь вотъ и у насъ книжки.

— Ваша служба такой. Вы студенты. А его служба: работалъ бы на заводѣ, жалованье хорошее получалъ... Ну, правда: пьютъ они, заводскіе всѣ, шибко. Ругаются, дерутся... А онъ никогда не пила.

— Вотъ видите. Развѣ это лучше книжекъ?

— Поди вотъ... Товарищей такихъ же нашла. Придутъ, начнутъ читать. Потомъ говорить. Что вы, я говорю, кричите, да споритесь... Мы, говорить, объ томъ, чтобы всѣмъ жить въ согласіи... И чтобы всѣ были равные... Чтобы, говорить, не было богатыхъ и бѣдныхъ. Всѣхъ, говорить, надо поровнять... Эко! я ей говорю. Какъ же вы поровняете? Вотъ

у моего Цывенка шуба есть хорошая. А у тебя вонъ пальтишка, вѣтромъ подбитая. Ты у моего Цывенка шубу и отнимешь?—Зачѣмъ,—говорить,—отнимать, когда у всѣхъ шубы будутъ... Кому надо бери...—Откуль возьмете вы?—На казенный счетъ,—говорить...

Она заливается такимъ веселымъ смѣхомъ, что на щекахъ у нея проступаютъ ямки...

— Что-нибудь не такъ, Мавра Максимовна,—говорю я съ сомнѣніемъ.

— Нѣтъ, вѣрно... Всѣ, говоритъ, будутъ работать, — и графы, и князья, и дворяне... Тогда всего много будетъ... Всѣмъ хватить... Да вы, я говорю, сейчасъ все растащите... Зачѣмъ, говоритъ, я свое воровать стану... Читала, читала и дочитался...

Круглое лицо Мавры Максимовны дѣлается необыкновенно печально.

— Взяли его на заводъ... Домой зайти не дали... Пришли сюда... Я испугался до смерти. Цывенка моего дома не было. Переверочаль все, книжки забралъ. Такъ и не видали мы больше нашу Павлушу... Посылала я Цывенку: поди, Цывенко, спроси. Потомъ самъ не радъ сталъ.

— Что-жъ ему сказали?

— Офицеръ вышелъ. — Что вы, говоритъ, г-нъ Цывенко... Вѣрный слуга, а объ такихъ людяхъ спрашиваете. Такого человѣка надо въ каменный столбъ замуровать...

Простодушный рассказъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе... Я кое-что отрывочно читалъ уже о Фурье и Сень-Симонѣ... Но это были только формулы... А вотъ здѣсь, въ этой комнатѣ жилъ простой рабочій, который обсуждалъ эти вопросы съ товарищами, такими же рабочими... И онъ пожертвовалъ за нихъ своей свободой, можетъ быть жизнью...

Я, конечно, не вѣрилъ, что его замуровали живьемъ, какъ думала Мавра Максимовна и, кажется, ея молчаливый супругъ... Что съ нимъ сдѣлали? Вѣроятно, сослали куда-нибудь... И теперь въ дальнемъ углу Сибири онъ опять развиваетъ передъ кѣмъ-нибудь свои теоріи... А я здѣсь, въ его бывшей комнатѣ, вспоминаю о немъ съ интересомъ и сочувствіемъ и вдыхаю ту же атмосферу неопредѣленной мнѣющей мечты...

Оглавление

VII тома.

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННОКА.

Отъ автора. Стр. 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Раннее дѣтство.

I. Первые впечатлѣнія бытія.	5
II. Мой отецъ.	10
III. Отецъ и мать.	17
IV. Дворъ и улица.	24
V. „Тотъ свѣтъ“.—Мистическій страхъ.	30
VI. Молитва звѣздной ночью...	40
VII. Уляницкій и „куплеиные мальчики“.	46
VIII. „Щось буде“.	57
IX. „Оомка изъ Сандомира“ и „помѣщикъ Дешертъ“.	70

Начало ученія.—Возстаніе.

X. Пансіонъ.	77
XI. Первый спектакль.	88
XII. Время польскаго возстанія.	91
XIII. Кто я?	104
XIV. Житомирская гимназія.	112
XV. Отъѣздъ.	129

Въ уѣздномъ городѣ.—Ученическіе годы.

XVI. Уѣздный городъ Ровно.	133
XVII. „Уѣздный судъ“, его нравы и типы.	136
XVIII. Еще одна изнанка.	144
XIX. Первое впечатлѣніе новой гимназіи.	148
XX. Желто-красный попугай.	149
XXI. Религія дома и въ школѣ.	171
XXII. Наши бунты.—Генераль-губернаторъ и директоръ.	184

Въ деревнѣ.

XXIII. Гарнолуужское панство	194
XXIV. Деревенскія отношенія	208
XXV. Смерть отца	223

Новыя вѣянiя.

XXVI. „Новые“	227
XXVII. Вѣнiаминъ Васильевичъ Авдiевъ	231
XXVIII. Балмашевскiй	256
XXIX. Мой старшiй братъ дѣлается писателемъ	260
XXX. Духъ времени въ Гарномъ Лугѣ	271
XXXI. Потерянный аргументъ	278
XXXII. Отклоненная исповѣдь	281
XXXIII. Чѣмъ быть?	284
XXXIV. Послѣднiй годъ въ гимназiи	293
XXXV. Послѣднiй экзаменъ.—Свобода	297

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Студенческiе годы.

I. Въ розовомъ туманѣ	303
II. Я знакомлюсь съ свѣтлою личностью	307
III. Я попадаю въ разбойничiй вертепъ	327
IV. Въ Петербургѣ!	335
V. Я кидаю якорь въ Семеновскомъ полку	337
VI. Я увлекаюсь технологiей	344
VII. Легкое увлеченiе въ сторону	356
VIII. Чердакъ № 12, его хозяева и жильцы	356



**INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAM
-BIBLIOTEKA**

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

— Контора „Нивы“ считает долгом обратить внимание гг. подписчиков на то, что на изготовленных нижею переплетною крышках къ соч. Э. И. Тютчева, Л. Андреева, В. В. Вересаева и Мольера вытиснены: надпись „Заявленъ Отдѣлу Промышленности“ в утвержденныхъ нарка Товаршества, и что нашего изготовления являются только переплеты съ указанной надписью и маркой и только того рисунка, который изображенъ на помѣщенныхъ здѣсь снимкахъ. Съ своей стороны, Контора будетъ преслѣдовать законнымъ порядкомъ всякую поддѣлку.

КРЫШКИ НА ПРИЛОЖЕНІЯ „НИВА“ 1913 г.,



изготовленные изъ лучшаго англійскаго колленкора, съ красивыми тисненіями золотомъ и красками по рисункъ художника Я. Я. Бельзена и др.

1 крышка на полн. собраніе сочиненій (въ 3 кн.). **Э. И. ТЮТЧЕВА**

Цѣна: 25 к., съ перес. 40 к.

4 крышки на полн. собраніе сочиненій (въ 17 кн.). **ЛеоН. АНДРЕЕВА**

(по одной крышкѣ на каждыя 4—5 книгъ).

Цѣна: 4 крышк. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

2 крышки на полн. собраніе сочиненій (въ 10 кн.). **В. В. ВЕРЕСАЕВА**

(по одной крышкѣ на каждыя 5 книгъ).

Цѣна: 2 крышк. 50 к., съ перес. 75 к.

2 крышки на полн. собр. сочиненій (въ 10 кн.). **МОЛЬЕРА**

(по одной крышкѣ на каждыя 5 книгъ).

Цѣна: 2 крышк. 50 к., съ перес. 75 к.

Крышки имѣются красн., зелен., коричне., фиолет., кремь, голуб. и снѣга цвѣтовъ. При выпискѣ крышекъ просимъ обозначать 2—3 желательныхъ цвѣта на случай замѣны распроданнаго цвѣта другимъ.

1 КРЫШКА НА журналъ „НИВА“ 1913 г.

Цѣна этой крышкѣ на полн. томъ журн. за весь годъ—75 к., съ перес. въ Европ. Россіи 1 р.

Выписывающіе одновременно крышки на соч. Тютчева, Андреева, Вересаева и Мольера, на „Ниву“ и „Литер. Прилож.“ платятъ за совмѣстную перес. въ Европ. Россіи лишь 1 р.

3 КРЫШКИ НА 12 КНИГЪ

„Литературныхъ Приложеній“ за 1913 г.

(по 1 крышкѣ на 4 книги). Цѣна 3 крышкамъ

75 к., съ перес. 1 р.

КРЫШКИ НА „НИВУ“ И ПРИЛОЖЕНІЯ прошлыхъ лѣтъ

Соч. ГАРШИНА, ПОМЯЛОВСКАГО. Ц. 1 крышкѣ на полн. собр. соч. каждаго автора 25 к., съ перес. 40 к. Соч. МЕЯ, ГОРВУНОВА, ФЕТА, УАЙЛЪДА. Ц. 2 крышк. на соч. каждаго автора 50 к., съ перес. 75 к. Соч. ГАУТМАНА, ЖУКОВСКАГО. Ц. 3 крышк. на соч. каждаго автора 75 к., съ перес. 1 р. Соч. КУПРИНА, гр. А. ТОЛСТОГО, ИВЕНА. Ц. 4 крышк. на полн. собр. соч. кажд. автора 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. Соч. ГАМСУНА. Ц. 5 крышк. на полн. собр. соч. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. Соч. УСПЕНСКАГО, ТЕННЕ, ГОГОЛЯ, ГРИГОРОВИЧА, БОБОРЫКИНА. Цѣна 6 крышкамъ на полн. собр. сочинен. каждаго изъ означенныхъ 5 авторовъ 1 в. 50 к., съ перес. 2 руб. Соч. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКАГО, ПЛАНИЛЕВСКАГО, ГОНЧАРОВА, ТУРГЕНЕВА. Цѣна 7 крышк. для полн. собр. соч. каждаго изъ означенныхъ 4-хъ авторовъ 1 р. 75 к., съ перес. 2 р. 25 к. Соч. ПИСЕВСКАГО. Цѣна 8 крышкамъ на полн. собр. сочиненій 2 руб., съ перес. 2 р. 50 к. Соч. САЛТЫКОВА-ШЕДРИНА, СТАНЮКОВИЧА, ЛЪСКОВА, ДОСТОВЕСКАГО. Цѣна 12 крышк. на полн. собр. соч. каждаго изъ этихъ 4-хъ авторовъ 3 руб., съ перес. 3 р. 50 к. Соч. ШЕДЛЕРА-МИХАЙЛОВА. Цѣна 16 крышкамъ на полн. собр. соч. 4 руб., съ перес. 4 р. 75 к. Соч. АНТ. П. ЧЕХОВА. Ц. 9 кр. на полн. собр. соч.—2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 75 к. (Ц. 6 крышк. на 16 том. (1903 г.)—1 р. 50 к., съ перес. 2 р. Ц. 3 кр. на дополи. 12 кн. (1911 г.)—75 к., съ перес. 1 р.



Цѣна 1 крышкѣ на полный томъ журн. „Нива“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ—75 к., съ перес. въ Европ. Россіи—1 руб. Цѣна одному комплекту крышекъ на 12 книгъ Ежем. Литер. Приложеній за каждый изъ прошлыхъ годовъ—75 коп., съ перес.—1 руб.

Требованія адресовать въ Контору журнала „НИВА“, Петроградъ, ул. Гоголя, 22.

При каждом № „НИВЫ“ подписчики получают по одной книге, всего в год — 52

F
24.108/7

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ

(46-й год издания)
на еженедельный иллюстриро-
ванный
ЖУРНАЛЪ
со многими приложениями.

НИВА

Гг. подписчики „НИВЫ“ получают в течение одного 1915 г.

52 №№ еженедельн. художеств.-литер. журн. „НИВА“: повести и рассказы в популярно-науч. очерки, биографии, военные и политич. очерки и обзор красоты, саники с картин, рисунки, портреты и иллюстрации с театр. действий.

52 КНИГИ, отпечатанные убористым четким шрифтом, став которых войдут:

12 КНИГЪ ежемѣсячнаго журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ПР“ повести, рассказы, популярно-научн. и критич. статьи современн. с иллюстрациями и отдалы библиографн, списки шахматъ и шахомъ, зад

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ“ **40**

которыя подписчики получают в течение одного 1915 года, соде

первую серию—18 книгъ больш. формата **Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКОВА**
ПОЛНОГО СОБР. СОЧИН. **И. А. БУНИНА**
ПОЛНОЕ СОБР. СОЧИН. **А. И. КУПРИНА**
въ 12 книгахъ **М. МЕТЕРЛИНА**

Новое произведение (оконч. повѣсти „ЯМА“) въ 2-хъ книгахъ **ПОЛНОЕ СОБР. СОЧИН.** въ 8 книгахъ

1 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА средне-европейскаго и южнаго театра военных **подъ ред. проф. Ю. М. ШОКАЛЬСКАГО.**
Въ 6 красокъ. Размѣръ 108×130 сант., въ масштабѣ 30 верста въ дюйм

12 №№ „НОВѢЙШИХЪ МОДЪ“. До 200 страницъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовыми **1915.**

12 ЛИСТОВЪ до 200 стр. и иллюстрир. работы и др. в до 200 страницъ **1915.**

1 „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ“ на 1915 годъ, отпечатанный

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ“ со всеми приложениями на г.

въ Петро- } безъ доставки — 6 р. 50 и.
градѣ } съ доставкой — 7 р. 50 и.
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской — 7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. „Образование“ — 7 р. 50 к.

Съ пересылкою **всѣхъ вѣста Россіи** —
За границу — 12 р.

Депонируется разорочна платежа въ 2, 3 и 4 орон

Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учрежденіяхъ, при ко подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, д **разорочна платежа на самыхъ льготныхъ условіяхъ.**

Желающие получить, кромѣ „Нивы“ 1915 г., еще собр. соч. (21 тт.) Куприна „Нивѣ“ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ перес. въ Европ. Ро **ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ** высыл. **БЕЗПЛАТНО** по первому

Адресъ: Петроградъ, въ Контору журнала „НИВА“, улица Гоголя